

ПЕТР КУРАКИН

У.С.

ДК

К-93

К372548



ПЕТР КУРАКИН

Жизнь ПОБЕЖДАЕТ

РОМАН



ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Вологодское Книжное Издательство
1959

372.548

Ленинскому комсомолу посвящаю.

Петр Куракин

ОТ АВТОРА

Никогда я прежде не думал, что возьмусь за перо.

Я прожил более полувека, был слесарем, потом комсомольским и партийным работником, хозяйственником, и наверное никогда бы ничего не написал, если бы не серьезное ранение на фронте, а затем тяжелая болезнь, на долгие годы уложившая меня в постель и лишившая возможности передвигаться. Мне казалось, что болезнь оторвала меня от любимых дел, от людей, от самой жизни. Мне оставалось лишь одно — воспоминания. Перебирая в памяти события, свидетелем и участником которых я был, я понял: нет, жизнь не кончена, я еще могу быть полезным Родине, своему народу, родной Коммунистической партии.

Началась работа над книгой. Конечно, мне, не имеющему опыта литературной работы, пришлось очень трудно. Помогли писатели, товарищи по партии. Значительную помощь оказал мне литератор Евг. Воеводин.

Первая часть книги печаталась в журнале «Молодая гвардия» под названием «Поколение». В последующем я решил назвать роман «Жизнь побеждает», так как, по моему мнению, это название больше соответствует идейному содержанию книги.

Я буду считать, что достиг цели, если молодежь прочтет эту книгу и задумается над тем, сколько невероятных трудностей и испытаний вынесло на своих плечах мое поколение, родившееся в начале века, первые комсомольцы, внесшие свой вклад в строительство нового мира.



Раннее
утро!

I

Городская окраина больше напоминала деревню: те же рубленые избы, те же колодцы с «журавлями», ограды палисадников и сладковатый, с малых лет знакомый Яшке, запах свежего хлеба и парного молока. Быть может, поэтому он и любил тихую Духовскую улицу, заросшую по краям огромными, серыми от дорожной пыли лопухами, и терялся всякий раз, попадая на шумную базарную площадь или в вокзальную толчею.

Здесь, на Духовской, всегда было спокойно, и сама жизнь, казалось, текла неторопливо, ничего не изменяя в своем течении. Разве что только подгулявшие мастеровые заведут поздним вечером нестройную песню, переполошив слободских псов, — и снова наступает тишина, и становится слышно, как далеко-далеко, на другом конце города, перекликаются маневровые паровозы да вскрикивает спросонья в деревьях беспокойная птица.

У дяди Яшка жил уже второй год и вспоминал о матери только тогда, когда дядина жена говорила, отворачиваясь:

— И не дерет тебе кусок рта? Кукушка — мать у тебя...

После таких слов Яшка долго не мог уснуть, лежал в углу на своем сенике, зорко всматривался в темноту и слушал, как тикает где-то жук-точильщик да за стеной, в хлеву, тяжело ворочается и вздыхает хозяйская корова. И ведь не удерешь никуда...

Дядя Коля — брат матери — работал в депо паровозным машинистом. Длинный, немного сутулый, будто стесняющийся своего роста человек, с огромными,

похожими на грабли, руками, он по-своему любил и по-своему жалел Яшку, и когда Аннушка начинала свое «не дерет тебе кусок рта», он только хмурился и молча подмигивал племяннику: мол, не слушай ты ее, вздорную бабу. Аннушка и на самом деле была вздорной; иногда Яшка просыпался по ночам от ее неприятного, резкого голоса:

— Где ты все шляешься? Погубить нас хочешь, ирод? Куда я с двумя ребятами денусь? По миру хочешь пустить?.. У, аспид.

Дядя отмалчивался, хмурился, но когда жена расходилась особенно яростно, пытался уговорить ее:

— Да чего ты кричишь-то?.. Ну, посидел с ребятами, поговорил... Так уж за это и в тюрьму что ли посадят?

Уговорить Аннушку было невозможно; дядя махал рукой и шел спать, но долго еще слышались всхлипывания Аннушки и ее злые слова...

Раз в месяц дядя, тишайший человек, запивал, и хотя в слободе пили все, часто и помногу, но так люто не пил никто. Дядя загуливал бесшабашно, не зная меры, и пил все: денатурат, политуру, одеколон — лишь бы пахло спиртом. Во хмелю дядя был буен. Он не дрался, не избивал жену, как другие, — он ломал и рвал все, что попадалось под руку.

Потом он «отходил» и начинал ругаться; он ругал всех — жену, начальство, царя, и ворчливая Аннушка сидела на лавке, беспомощно сложив на коленях больные от вечной стирки руки, сидела молча, только иногда прося шепотом:

— Тише ты, родненький... Тише про царя-то.

Единственной радостью были для Яшки друзья. Здесь, на Духовской, жили такие же ребята, как и он сам, — чумазые, сытые только по праздникам, и, быть может, потому близкие Яшке. Временами на улице раздавался пронзительный, тройной свист, и Яшка, чем бы он ни был занят, бросал все: три свистка — бой с екатерининцами...

На соседней, мощеной булыжником, Екатерининской улице, где вечерами зажигались фонари, жил разный, но по большей части богатый народ. Батагу ребят с Екатерининской возглавлял сын жандармского ротмистра Генка. Щеголеватый гимназист, он первым

находил на Духовскую и, раскручивая над головой лакированный ремень с пряжкой, кричал:

— Эй, золоторотцы!.. Идите, вымоем.

Если попадало «духовчанам» — Генка молчал; но стоило только поколотить «екатерининцев» — и на Духовской появлялся жандармский ротмистр, Генкин отец. Заходил он и к дяде Коле, грозя штрафами «за щенка»; это давало Аннушке повод сказать лишний раз о куске хлеба и о том, что мать у Яшки — кукушка.

Но к осени у ребят с Духовской появились совсем другие дела...

Там, где дорога, выбравшись из слободы, пересекала поле и сворачивала к лесу, на скорую руку были выстроены длинные серые, с крохотными оконцами бараки. Никто не знал, зачем они здесь выстроены и почему натянута на кольях колючая проволока. Лишь когда в один из ненастных дней прошла по Духовской колонна грязных, измученных людей в куцых серо-зеленых шинелях, все поняли: лагерь. Пленные шли мимо молчаливых жителей слободы, пряча глаза и боязливо оборачиваясь; толпа ребятишек бежала поодаль, не обращая внимания на лужи; женщины, проводив взглядом пленных, начинали робко вытирать глаза.

Не прошло и недели, как ребята с Духовской уже подбирались к лагерю. В воскресенье пленные не работали, и из барakov доносились негромкие, грустные песни. Яшка прислушивался к незнакомым словам и говорил Паше Залевину:

— Слышишь — тоже поют... Подойдем поближе?

— Боязно.

И все-таки знакомство состоялось...

С обеих сторон забора, выстроенного позади барakov, рос мелкий кустарник. Здесь ребята и проделали лаз. Пленные германцы оказались вовсе уж не такими страшными, как об этом говорили все. Некоторые из них искусно плели из конского волоса с бисером кольца, браслеты и сережки, а один сплел стек, который ребята продали за три рубля сыну купца Свешникова. Пленные давали ребятам свои изделия для продажи, а те приносили им конский волос, бисер, ветки рябины — для дудок... На этой «коммерции» ребята немного зарабатывали. Новое знакомство было для Яшки

первым толчком для долгих раздумий. Однако, чем больше он думал, тем безнадежней запутывался в своих собственных мыслях.

Вот, например, Франц... Он часто вынимал из кармана помятую, поломанную по краям фотографию и показывал ребятам; там, на фотографии, было двое маленьких девочек.

— Клеба, клеба им нато! Вот нета Франц; Ирма, Марта — кушать нет. Франц пу-пу, пьлен.

Он прятал фотографию и, медленно встав, уходил в барак, не оборачиваясь... Яшка, ложась дома спать, думал: «Зачем же тогда война? А как же: за веру, царя и отечество. А зачем же тогда надо всем воевать? Раз за веру, собрались бы все попы и монахи с одной и другой стороны и подрались бы. Чья возьмет — того и вера будет. Раз за царя — вышли бы Вильгельм, Николай, Франц Иосиф и султан Абдул-Хамид и подрались бы на кулачках. Кто кого положит, тот и будет главным царем. А вот за отечество?..» — здесь его мысли путались окончательно. Однажды, не выдержав, он спросил об этом у дяди, когда Аннушки не было дома. Тот, внимательно поглядев на Яшку, неожиданно протянул к нему свои длинные руки, прижал к куртке и так же неожиданно сказал:

— Мал ты еще, брат, не поймешь... Только ведь, и отечество бывает разное. Вырастешь — узнаешь.

Однако это знакомство с пленными оказалось для Яшки не только источником раздумий...

Конский волос ребята доставали у извозчиков. Както раз трое ребят, в том числе и Яшка, шли из лагеря продавать браслеты, сделанные пленными. Возле чайной они увидели несколько пролетов; впряженные в них лошади лениво помахивали длинными, блестящими хвостами. Извозчиков не было — они пили чай. Не долго думая, ребята вытащили складные ножички и начали резать волос. Вдруг раздался вопль Мишки Косолапова:

— Ой, дяденька! Отпусти, больше не буду!

Его держал за ухо здоровенный извозчик. Через секунду Яшка и его приятель Паша Залевин тоже бились в сильных руках двух других. Все трое очутились в полицейском участке. Сквозь слезы Яшка не сразу разглядел, кто это стоит перед ними, и вздрогнул, ког-

ди откуда-то сверху раздался знакомый голос Генкиного отца:

— Ну, подлецы, что это вы вздумали лошадям хвосты портить? Зачем резали, ну?

Ротмистр ударил кулаком по столу. Ребята молчали.

— Что молчите, золоторотцы? Ну-ка, Пашута, покляжи им, как цыганы пашут!

Невысокий, коренастый городской вразвалку подошел к Пашке Залевину и провел большим пальцем по его стриженной голове против волоса. Пашка закричал.

— Посмотри, что там у них в карманах? — приказал ротмистр. — Давай все ко мне на стол.

И на стол посыпались кольца, браслеты, серьги, сделанные пленными.

Ротмистр, щуря глаза, повертел в руках эти безделушки, зевнул и, отойдя к окну, тихо спросил:

— Значит, с врагами отечества водитесь? Так...

«Откуда он знает?» — тревожно подумалось Яшке. А ротмистр, не меняя позы, величественный в своем серо-голубом мундире, все говорил тем же тихим, даже, пожалуй, ласковым голосом:

— Научил вас кто-нибудь, а? Да вы не бойтесь, рассказывайте. Или, хотите, я вам все расскажу? Плечечку за три рубля продали? А третьего дня еще на три рубля восемь гривен наторговали? Пять фунтов воблы снесли врагам веры нашей, а?

«Знает, — тоскливо мелькнуло в Яшкиной голове. — Все знает...»

Ротмистр, словно наслаждаясь растерянностью ребят, продолжал перечислять фунты и гривенники с такой точностью, что Яшка, подавив в себе первый страх, покосился на всхлипывающего Пашку: не он ли сказал? Нет, не он, иначе ему не показали бы «цыгана»...

— Ну? — веселился ротмистр. — Как же теперь? Кто научил — может скажете?

— Сами мы пошли, — буркнул Яшка.

— Сами? А ну, тогда и... — он не договорил. Удар обжег Яшкину щеку, и, не удержавшись, он упал. Голос ротмистра гремел сверху:

— Марш отсюда! Я еще покажу вам, черноморское семя!

Все трое, выскочив из дверей, толкая друг друга, наконец очутились на улице. Внезапно Залевин схватил Яшку за рукав:

— Гляди!

Небрежно сдвинув на затылок фуражку, возле забора стояя, заложив одну ногу на другую, Генка. Улыбаясь, он глядел на ребят, так же, как и отец, щуря зеленоватые глаза.

— Может, продадите браслетик? — спросил он.

Все стало ясно: «продал» их Генка.

А через три дня в класс вошло несколько учителей во главе с заведующим и отец Николай — преподаватель закона божьего. Ученики поднялись, гремя крышками парт, и застыли, и каждый думал о том, что не его ли сейчас вытащат к стене, исцарапанной многими поколениями провинившихся.

Однако никого не вызывали. Встав на кафедру, отец Николай воздел руки. Что он говорил — Яшка так и не мог вспомнить позже: что-то о богоотступниках, об «отечестве не радеющих», и о каре земной и небесной. Как сквозь туман донеслись до него слова:

— Иаков Курбатов, признаешь ли ты, что богоотступничая презрел и власть Божию на земле и отечество свое?

— Отечество бывает разное, — буркнул Яшка.

— Что-о? Вон!..

Кто-то схватил его за ухо, кто-то толкнул в спину. Он очнулся только тогда, когда чей-то голос сказал: «Можешь сюда больше не приходить» — и дверь, задребезжав стеклами, захлопнулась.

Тихо заскрипели половицы, когда он пошел по длинному коридору. Потом, остановившись, прижался горячей щекой к холодной стене, глотая плотный, неприятный комок, подступивший к горлу.

Двери в учительскую были распахнуты. Яшка, проходя мимо, увидел знакомые, с блестящими застежками поповские боты. Тихо было в коридоре, тихо — в учительской. Он шагнул туда, нащупав в карманах гвозди, оглянулся, схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и, встав на колени, начал приколачивать боты к полу... Потом он снова оглянулся. На столе стояла чернильница, и он кинул ее туда, в ненавистные боты, чувствуя, что слезы прошли...

В нескольких десятках верст от губернского города, на берегу быстрой и неширокой Сухоны, за пять лет до войны вырос целлюлозный завод. Строил его предприимчивый петербургский капиталист Печаткин. Но когда началась война, Печаткин — разумеется, за соответствующую мзду — добился от казны больших заказов на артиллерийские снаряды, приостановил производство целлюлозы и начал строить корпуса артиллерийского завода. Цеха строились наспех; рядом с ними вырастали такие же деревянные бараки для рабочих; срочно была проложена однокорейка до города, и первый состав осторожно и долго полз до нового завода, везя семьи рабочих. Не прошло и нескольких месяцев, как большой, все время разрастающийся поселок уже назывался Печаткино.

Там работала Яшкина мать. Туда, тайком удрав от диди, ехал сейчас и Яшка. Все его имущество уместилось в небольшом узелке: брюки и пара рубашек, книги и коньки «Нурмес», купленные матерью на прощное рождество.

Он ехал, еще не представляя себе, что скажет матери. Сознаться, что его выгнали из школы, — было стыдно; мать, конечно, расстроится, если узнает. Можно сказать, что школа сгорела, — но люди приезжают из города каждый день и, конечно, не подтвердят это... Можно наврать, что начался тиф и школьников выпустили. Подъезжая к Печаткино, Яшка так ничего и не придумал; он лежал на полке, подложив узелок под голову, и слушал незнакомую, плавную речь попутчиков: это были эстонцы из Тюри, завербованные на завод...

Поздней ночью, уставший, продрогший, он разыскал барак, где жила мать. Какая-то незнакомая женщина провела его по темному коридору, ощупью нашла дверь и втолкнула Яшку туда, в комнату. Он стоял, стараясь рассмотреть что-нибудь в темноте, и слышал только прерывистое дыхание людей: здесь все спали.

— Мама, — тихо позвал он. Кто-то заворочался со сна, выдохнул неразборчивые слова, и Яшка снова позвал мать.

— Что?— донеслось от окна. — Кто это?

— Это я, Яшка..

— Яшенька!

Теплые руки схватили его. Мать гладила Яшку по лицу, не понимая спросонья, как он очутился здесь, и шептала ему в самое ухо:

— Господи, как же так... Что случилось, господи... Как это ты приехал?

Яшка всхлипнул, прижимаясь к матери. Сбивчиво, глотая слова, он рассказал ей все — и про пленных германцев, и про Генку, и про то, как его бил жандармский ротмистр... Мать, не разобрав и половины того, что он рассказал, жесткой ладонью вытерла ему слезы и начала расстегивать куртку:

— Ладно, бог с ней, со школой... Ложись, усни, сынок. Завтра договорим. Ах ты, господи, господи!..

Здесь, в Печаткино, школы не было, и для Яшки начались скучные, длинные дни, похожие один на другой. В первое время он еще бродил по незнакомому поселку и присматривался. Его поражали огромные цехи артиллерийского завода, он подолгу стоял и смотрел на лесотаску, по которой непрерывно двигались то баланс для варочных котлов, то дрова для кочегарки. А потом и ходить стало некуда; хорошо, что он захватил с собой несколько интересных книг.

Все чаще и чаще он вспоминал теперь губернский город, где можно было сходить на каток или в кинематограф «Аполло», или посмотреть в заезжем балагане говорящие куклы.

Через несколько дней, вернувшись с работы, мать сказала Яшке:

— Ну, сынок, хочешь завтра посмотреть мой цех?

Яшка, конечно, очень хотел. Утром он встал вместе с матерью и торопливо глотал хлеб с луком, прислушиваясь, как разливается за окном низкий, ровный заводской гудок.

Но цех, где мать работала браковщицей, не произвел на Яшку особого впечатления. Здесь делали донцы для шестидюймовых снарядов. Из кузнечно-пресовой мастерской сюда поступала заготовка, на токарных станках с нее снимали излишек металла, нарезали резьбу. Готовые донцы мать сдавала в кладовую.

В перерыв к матери подошел какой-то рабочий и,

руки, смазанные концами в машинном масле ру-
ки, спросил, кивнув на Яшку:

— Это твой, что ли?

— Мой.

— Вот он, значит, какой... Ну, так ты сегодня с
ним придешь? — И, не дожидаясь ответа, спросил уже
Яшку: — Что, брат, интересно? Устроить бы его на за-
вод надо, Настя, чего парню не у дела сидеть. Хочешь
на завод, герой?

Яшка не знал, почему он «герой», и не ответил;
мать, отворачиваясь, ответила за него:

— Мал он еще, Павел Титович... Жалко.

Павел Титович подмигнул Яшке, открывая круп-
ные, крепкие зубы:

— Ничего, крепче будет. Так ты, Настя, значит, к
посылами приходи...

Вечером они пошли к Алешиным — на именины.
Алешины жили в отдельном домике, сколоченном, как
и все дома в поселке, на живую нитку, — но зато
адесь жила вся семья. Старик, Тит Титович Алешин,
согласился приехать сюда из Питера, заранее догово-
рившись с вербовщиком, что семью не рассуют по
разным баракам. У старика были золотые руки, и ад-
министрация согласилась...

У Тита Титовича было три сына: Павел работал на
заводе, средний сын — Михаил — был сейчас в дейст-
вующей армии. До этого он работал в Питере у Лессне-
ра, был связан с подпольной большевистской органи-
зацией и его уволили, «по подозрению», с завода в са-
мом начале войны. Младший сын Алексей был совсем
молод, ему шел двадцатый год, но это не мешало ему
быть хорошим токарем. Любил он погулять, потанце-
вать, одеться, покрутить с девушками и выпить по слу-
чаю в компании. И хотя он не был пьяницей, не хулига-
нил, работал серьезно, отец и Павел были им недоволь-
ны; Тит Титович иначе и не звал его, как шалопаем.

Всего этого, конечно, Яшка не знал. Не знал он,
что Павел Титович, овдовевший лет шесть назад, уха-
живает сейчас за его матерью. Он впервые в жизни
шел в гости, на именины, и немного волновался, забе-
гал вперед матери и заглядывал ей в глаза: как она —
спокойна ли? Мать была спокойна...

Гости уже собрались. Оказалось, справлялись име-

нины дочери Павла Титовича — Клавы, и здесь были ее подруги, сверстницы Яшки; Клава была старше его на год. Их познакомили, и Яшка, смущенно протянув Клаве руку, буркнул: «Яшка». Та прыснула: «А по бабушке как?» Яшка совсем смутился, но выручила бабушка Клавы, Марфа Ильинична:

— Цыц ты, насмешница!

Все сели за стол. Марфа Ильинична подала горячий пирог с палтусом и другой — со свиной. На столе стояла разная закуска, бутылки с самогон. Марфа Ильинична сварила пиво и брагу: пиво было хорошее, а от браги кружилась голова и слабели ноги. Все выпили; Яшке налили маленькую рюмку самогону. Когда он хлебнул этой бесцветной, чуть мутной жидкости, у него перехватило горло, он поперхнулся и закашлялся, выскочив из-за стола. Бабушка Марфа заругалась, ткнув Павла Титовича в затылок:

— Что ты, бесстыжий, делаешь? Не видишь — ребенок еще. Ух, ума-то у тебя!

— Ребенок? — Павел Титович захохотал... — Он скоро рабочим будет, а ты говоришь — ребенок.

За столом стало весело, глаза у всех заблестели, языки развязались. Спели «Варяга» и «Сказал кочегар кочегару», Павел Алешин подыгрывал на гитаре.

— Ладно, взрослым хватит, — заворчал Тит Титович. — Пускай теперь дети повеселятся, именины-то вроде бы не наши...

С шумом встали из-за стола и перешли в другую комнату. Дядя Леша сыграл марш на гармошке. Девочки были веселые, и Яшка вошел в раж. Его учили танцевать вальс. Сперва ничего не выходило, он то и дело наступал на ноги Клаве, Зине и Шуре, а когда начало что-то выходить, все уже устали; Тит Титович, довольно поглаживая седые, щеточкой, усы, крикнул:

— Ну, а кто лучше споет или стишок расскажет?

Петь Яшка не умел, а стихи любил и знал их множество. Не дожидаясь, пока кто-нибудь начнет, он встал и, протянув вверх руку, как это делал учитель словесности, прочитал первые строчки:

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена, —
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Знонкий голос Яшки перешел на высокие ноты, он переживал каждое слово, ясно представляя себе и буйный Рим, и широкую арену, и полуобнаженного, залитого кровью человека:

Прости, развратный Рим, — прости, о край родной.

Все зааплодировали, а бабушка Марфа утирала платком заплаканные глаза. Всем очень понравился и сам стих и его исполнение. Яшку попросили прочитать еще что-нибудь, и он вспомнил стихотворение, напечатанное в губернской газете. Стихотворение было о войне; она сейчас касалась всех.

От крепких твердынь Перемышля,
С далеких австрийских полей
Бедняга солдат утомленный
Плетется к деревне своей.
По прихоти баловня-ветра
Рукав его хлещет в лицо.
— А, чтоб тебя мухи заели,
Казенное треплешь добро!..

Дальше говорится, как солдат подошел к своей родной деревне, как никто не выбежал встречать калеку:

— Соседушки, братцы, скажите,
К чему этот весь маскарад?
Где мать, дорогая супруга,
Сестра и единственный брат?
— Жену твою некий проезжий
В столицу увлек за собой,
А мать твоя бедная с горя
В могилу сошла на покой.
Сестра твоя там, в лазарете:
У коек дежурит, не спит,
А брат твой, лихой доброволец,
В бою под Варшавой убит.

У Яшкиной матери и у девушек глаза были тоже влажными. Всех, кто был здесь, неожиданно растрогали эти безыскусные и не очень грамотные стихи.

— Молодец у тебя. Настасья, сын, — сказал скупой на похвалы Тит Титович. — Его бы дальше учить надо. Может быть, адвокатом будет.

«Адвокат» для Тита Титовича был самый высокий чин. Как-то ему довелось попасть на открытое заседание суда, где с речью выступал знаменитый петербургский адвокат Плевако. С той поры, если Тит Титович желал кому-либо из ребят добра, он обязательно определял его в «адвокаты». И не знал он сейчас, что

эта кличка останется за Яшкой с его легкой руки надолго...

Когда Яшка кончил читать стихи, веселье уже спало совсем, да и было уже поздно. Все стали собираться по домам. Начали прощаться, бабушка Марфа подтолкнула именинницу к Яшке:

— Поцелуйся, Клава, с Яшей. Видишь, какой он молодец, как нас стихами уважил!

Клава потянулась к нему, но он, покраснев, быстро выскочил в прихожую, схватил свое пальтишко и в одной рубашке выбежал на улицу. Мать вышла за ним и недовольно сказала:

— Ну, кавалер хороший, что же это ты? Обидел Клавочку-то. И бабушка на тебя обиделась. Что же ты не поцеловался с Клавой?

— Больно надо, — буркнул Яшка. — Буду я с девчонками целоваться. Я, мам, с женщинами никогда целоваться не буду.

— Это почему же? Чем же таким тебе женщины досадили?

Он не заметил, как неожиданно горько улыбнулась мать, и не расслышал, как она сказала: «Ребенок...»

— Что?

— Я говорю — Павел Титыч к мастеру обещался зайти, Яшенька.

III

Здесь, в Печаткино, всё было иначе, чем в губернском городе. Во всём — и в этих однообразных домах, и в самих людях — Яшке виделись следы какой-то спешки; казалось, люди спрашивали сами себя: зачем мы здесь? Все они куда-то торопились, что-то делали, почему-то хмурились, и Яшка подсознательно угадывал за этим какой-то не знакомый ему еще ритм жизни, которому должны были подчиняться все.

Там, в городе, откуда он приехал, на окраине тоже жила беднота. Жили швеи, грузчики, сапожники, жили рабочие депо и небольших мастерских и заводов; но на всём лежал спокойный обывательский налет, свойственный глухому провинциальному, хотя и губернскому городу.

В Печаткино же всё было наружу — и люди и их мысли. Даже ребята, с которыми познакомился Яшка,

шили, что Печаткин — «исплотатор». Порой во время игры кто-нибудь из ребят такое высказывал о царе, что Яшка сразу же вспоминал испуганный шепот Аннунки, урезонивающий расхोдившегося мужа, и чувствовал, что у него по коже продирает мороз. За такие слова — и он знал это — сажают в тюрьму. У одесских ребят же была какая-то притягательная легкость в словах, уверенность в своей силе, порой доходившая до бесшабашности, и Яшке приходилось привыкать к этому.

Ребята здесь были тоже другие: более развитые и смекалистые, богатые на всяческую выдумку, знающие много такого, о чем Яшка не только не знал, но и не подозревал. Да и откуда он мог знать, что «на наших батках Печаткин дворец построил», а «царица-сука то с немцем спит, то с попом».

Яшку ребята приняли не сразу. Несколько дней к нему присматривались, испытывали, и он, видимо, выдержал эти никем не установленные негласные испытания.

Почти все ребята приехали на завод из Петрограда, и выговор у них был какой-то особый. Яшка же «окал», и ребята беззлобно передразнивали его: «Эй, пойдём, родной, домой...». На долгое время за ним сохранилась эта кличка — «родной», и он так привык к ней, что отзывался на нее.

Здесь Яшка не мог верховодить ребятами. Здесь были свои вожаки и атаманы — Петька Зуев и Колька Чистяков, — и Яков, чувствуя превосходство этих двух уже работающих на заводе мальчишек, охотно подчинялся им во всём. Скоро ребята стали относиться к Яшке как к «своему» и даже полюбили его...

* * *

В этот день он проснулся рано. До первого заводского гудка оставалось еще не менее двух часов, но ему не спалось. За окном стояли робкие, серые предутренние сумерки, шел дождь — мелкий, холодный осенний дождь, и капли шуршали по стеклу то яснее, то глуше, то шелест замирал совсем, и тогда было слышно, как с потолка падают на пол звонкие капли...

Яшка, заложив руки за голову, глядел на серый, мутный квадрат окна, перечеркнутый оконной рамой,

и пытался представить себе, как он начнет работать. Пускай не гордится теперь Петька Зуев, не важничает Колька Чистяков. Где-то в глубине души Яшка завидовал им, особенно тогда, когда они возвращались с завода в промасленной одежде, с руками, пепельными от грязи.

Но вчера мать купила ему на барахолке поношенные штаны из «чертовой кожи» и такие же поношенные, большие, не по ноге, башмаки. Из своей старой юбки она сшила курточку с тремя большими карманами. Мастер Филимонов — к которому мать водила его на днях на квартиру и которому в прихожей сунула десятку — велел Яшке приходить сегодня на работу в ремонтно-механический цех: мастер сказал, что Яшка будет учеником слесаря.

И вот он не может спать, а лежит с открытыми глазами и мечтает о многом, о чем прежде и думать не смел. Еще вчера все считали его маленьким: мать едва упросила Филимонова принять его на работу, и только десятка сделала мастера уступчивым.

В каждую получку, думалось Яшке, половину денег он будет отдавать матери, а вторая половина пойдет на брюки клеш, широкую черную резину вместо ремня и белую рубашку «апаш». На остальные деньги надо обязательно купить рыболовных крючков, две волосяные лески (надоело ловить рыбу на суровую нитку, которая только запутывается), ну и, конечно, настоящих папирос и разную мелочь. Мать не знала, что Яшка уже давно курил втихомолку. Он курил окурки, подобранные на улице, а то и просто мох, которым были проконопачены стены барака.

Он не заметил, как совсем рассвело и все предметы в комнате приняли свои ясные очертания. Заскрипел топчан; мать приподнялась и, свесив босые ноги, долго зевала, зябко поводила плечами, словно боясь ступить на холодный пол. Яшка притворился спящим и сквозь полузакрытые глаза смотрел, как мать, усталым движением руки проведя по глазам, поднялась, вздохнула и тихо вышла на кухню.

Яшка встал, натянул купленные ему старые штаны, которые оказались велики и длинны, подпоясался ремешком, засучил штанины до щиколоток и стал надевать такие же старые, грубые башмаки. Они тоже

Были велики ему, но мать уверяла, что такие и надо: «Вот придет зима, будешь накручивать на ноги портянки, тогда и будут впору».

Но стоя сейчас посреди комнаты, Яшка вдруг почувствовал, что ему хочется снова лечь на теплый сеник, закрыться с головой одеялом, поджав к животу ножки, заснуть и никуда не идти. Ему стало как-то одиноко и холодно от сознания, что вот через полчаса надо будет выйти на улицу, на дождь, прошагать чуть ли не через весь поселок, войти в сырой, неуютный цех и остаться там с незнакомыми, чужими людьми. Таким — растерянным — его и увидела мать:

— Сам встал? А я уж будить тебя пришла. Ну, вот, Яшенька...

— Мам...

— Что тебе?

— Ничего. Только если драться будут — убегу.

Мать испуганно схватила его за руку, будто он собирался убежать сейчас:

— Что ты, что ты... Я попрошу, чтоб тебя не забивали. А уж ты, Яша, слушайся старших. Корнея Фаддеевича слушайся. Он в большом почете у начальства — он и тебя в люди выведет. Смотри, как живет человек. Ему начальство и дом с сараем дало, и корова, и поросенок, и куры у него — видал? Вот хорошим-то людям и бог помогает, всё у них есть...

Чтобы не разбудить спящих работниц, вернувшихся с вечерней смены, мать шептала, наклоняясь к Яшке, и тот улавливал в ее шепоте какое-то прежде неизвестное раздражение:

— Видно, прогневили мы бога, мало молились ему, — шептала мать. — Вот и ты, Яша, за стол садись, лба не перекрестишь. Может, сейчас нам легче будет, пятнадцать-двадцать целковых — всё хлеб. Дорого жить нынче стало...

За окном, сначала нерешительно, а потом набирая силу, раздался мерный, густой гудок: до начала смены оставалось пятнадцать минут. Мать намазала брусничным вареньем два куска хлеба и сунула Яшке в карман:

— Ну, иди... Дай я тебя перекрещу... О господи!..

Она стояла спиной к окну, но Яшка заметил, как на воспаленных веках у матери показались слёзы. Он

сам почувствовал, что может разреветься сейчас, — и, нахмурившись, пошел к дверям.

На улицу из бараков уже выходили рабочие. Людской поток собирался ручейками, ручейки сливались, и возле завода уже стояла, как вода у запруды, плотная, медленно движущаяся вперед, к проходной, толпа.

Сзади Яшку окликнули: «Родный, погоди!..» Работая локтями, прошмыгивая между рабочими, Петька Зуев пробирался к нему, не обращая внимания на ленивые и беззлобные окрики.

— Так за тобой бежал, сгорел весь, — переводя дыхание, сказал Петька. — Ну как — робеешь?

— Да чего робеть-то...

Петька важно кивнул: мол, робеть-то, конечно, нечего, но сейчас ты, парень, врешь, робеешь, сам знаю... Косясь на взрослых, Петька сплюнул и, подталкивая Яшку вперед, деловито сказал ему:

— Ты вот что: первым делом получи у табельщика рабочий номер, вот такой. Как придешь на работу — вешай на доску, а когда домой — тогда снимай. Если не повесишь — прогул запишут: вроде ты был на работе — вроде тебя и не было. А за каждый прогул — знаешь что? Будь здоров, а денежки из получки уж обязательно высчитают. А потом получи у мастера марки, тебе без них в кладовой никакого инструмента не выдадут...

Петька стал перечислять, какой инструмент нужен слесарю, и Яшка тщетно пытался запомнить все эти мудреные, скороговоркой произносимые названия: ручник, зубило, кронциркуль, нутромер, линейки...

Чья-то рука схватила Яшку за плечо. Он не заметил, как дошел до проходной, и сторож, проверяющий пропуска, уже протянул было руку за Яшкиным:

— Ты куда?

— Да он новенький, — объяснил Петька, — в первый раз идет.

Сзади напирали, кричали сторожу «не задерживай», а растерявшийся Яшка шарил по карманам: где-то должна быть у него записка от Филимонова — какие-то каракули на драном листке бумаги, подтверждающие, что «подател сего Яковъ Курбатовъ пропуска в заводъ».

Канторка старшего мастера ремонтно-механического цеха помещалась на втором этаже двухэтажной каменной пристройки. От этой пристройки в обе стороны шли корпуса производственных цехов артиллерийского завода. Одним окном канторка выходила в цех, а другим — на заводской двор. Отсюда было видно всё, что делалось в цехе.

Яшка стоял у дверей канторки, переминаясь с ноги на ногу. Много всяческих страхов рассказывали об этом мастере ребята. Он долго бы еще не решился постучаться, но дверь отворилась и из канторки вышел рабочий; в отворенную дверь Филимонов увидел Яшку.

— А, пришел! Ну, заходи, не напускай холода! — крикнул мастер. — Покажись-ка сюда... Ох, какой же ты заморыш. Подойди поближе — не бойся, не съем.

От такого обращения Яшке стало и страшно и обидно. Его словно бы сковало: язык, казалось, разбух во рту, а ноги стали ватными. Мастер, легонько ткнув его в плечо, усмехнулся:

— Ладно! Давай, работай. Больно просила за тебя Настасья Ивановна, а то бы не взял. Тебе еще без порток бегать положено...

Он помолчал, пожевав бесцветными, мясистыми губами, и уселся поудобнее на скрипучем резном стуле, словно ему доставляло удовольствие разговаривать с мальчишкой:

— Ты смотри только — старайся. Не будешь стараться — сразу выгону за ворота. Много вас, таких. Кем быть-то хочешь?

Яшка уже немного освоился; даже громкий, какой-то рыкающий голос Филимонова показался ему вовсе не таким уж страшным.

— Слесарем я хочу быть, Корней Фаддеич!

— Слесарем так слесарем. — Он обернулся к табельщику, который сидел здесь же, в канторке, лениво прислушиваясь к этому, должно быть привычному ему, разговору. — Митя, запиши его в списки.

Так же лениво табельщик записал Яшку, потом сунул руку в ящик стола и вытащил жестяной рабочий номер:

— Держи! Потеряешь номерок — рупь из получки

высчитаем. Не вздумай себе медного сделать, а то тебя шкеты в цеху научат. Если повесишь медный — прогул буду писать, а за это у нас — знаешь... К кому его приставим, Корней Фаддеич?

Мастер, прежде чем ответить, долго еще ковырял в зубах обломанной спичкой, смотрел за окошко в цех, будто и не слышал этого вопроса. Молчал и табельщик, ожидая, что скажет Филимонов. Наконец, тот, пососав из зуба, сплюнул на пол и сказал:

— Да хотя б к Данилычу. Валяй, веди его.

Яшка шел по длинному цеху, заглядывая вперед, пытаюсь угадать, который из рабочих Данилыч. Наконец Митя подвел его к пожилому рабочему: тот, шепотом матерясь и краснея от натуги, зажимал в слесарные тиски какую-то деталь.

— Данилыч, мастер к тебе ученика прислал. Слушаться не будет — так ты не стесняйся.

Слесарь мельком взглянул на Яшку, и тот увидел бесцветные, пустые, равнодушные глаза, отечные мешки под ними и почувствовал еле уловимый запах самогона. Он стоял, не зная, что должен сказать Данилычу, и не замечая, что сзади подошел мастер.

— Мне... за марками сходить? — буркнул Яшка.

Данилыч снова взглянул на него и снова ничего не ответил, усмехнувшись.

— Какие марки? — спросил Филимонов. — По которым инструмент получать?

Он вдруг засмеялся; под подбородком у него вздулись большие мешки, поросшие ржавой щетиной. Данилыч, вторя ему, тоже засмеялся мелко и дробно, открывая гнилые коричневые пеньки редких зубов.

— О-ох, бойкий какой! Марки ему выдай... Марки захотел! А ты знаешь, что мы по году не только марок, а инструмента в руках не держали...

Он также неожиданно, как и засмеялся, помрачнел, вытер ладонью покрасневший лоб и зло крикнул Яшке:

— Испортили вас, молокососов! Сопли вытереть не умеет — а со стариками равняется. Ты его, Данилыч, как следует, по-нашему учи...

Когда Филимонов ушел, Данилыч повернулся к ученику:

— Как звать?

— Яша.

— Ишь ты — Яша. А кто же так тебя зовет? Для
тебя ты — Яшка. Понял — Яшка. Ишь ты какой бла-
годарный!.. Яша! Тоже скажет... — ворчал Дани-
лыч. — Поди слесарем хочешь быть? Работать ду-
маешь? А знаешь ли ты, голова садовая, что ученье
сразу не начинается? До него, до ученья-то, надо до
мшолой на брюхе выползать. Я у хозяина только на
втором году первый раз ручник и зубило в руки взял.
Понял? Конечно, здесь завод, а не хозяин, а все же...

Он не договорил.

Яшка стоял и слушал. Его утренние мысли о рабо-
те, о заводе как-то сразу поблекли, потускнели; что-
то нехорошее, тревожное и тяжелое шевельнулось в
сердце.

— Значит, на слесаря выучиться хочешь? Это, ко-
нечно, можно, — продолжал Данилыч. — Ты чей бу-
дешь?

— Курбатовой сын...

— Это что — той, что в пятом цехе?

— Ее, — еле слышно, в сторону ответил Яшка.

— Ну, что ж, поучить я тебя поучу, а клепка
мне за это будет?

Яшка поглядел на него удивленно.

— Ну, угощение, — поморщившись, пояснил Дани-
лыч.

— Не знаю, — снова почти шепотом ответил Яшка.

— Вот те раз — не знаю. У кого же мне, у индю-
ка, что ли, спросить?

— Я маме деньги буду отдавать, — сказал Яшка,
подумав: «Вот на новую рубашку я бы тебе деньги
дал». Но сейчас ему хотелось одного: скорее уж за-
няться делом, и он согласился:

— Ладно уж... Я у мамы денег выпрошу...

— Вот и давно бы так! Сейчас я тебе тиски на вер-
стак приспособлю.

Данилыч куда-то ушел и, вернувшись со слесарны-
ми тисками, стал устанавливать их к верстаку. Потом
он подал Яшке ручник, зубило и закрепил в тисках
какую-то железину.

— Научись сначала рубить, — сказал он. — Дер-
жи вот, ручник. Да не так держи, а ближе к краю че-
ренка. В левую руку возьми зубило. Ну, начинай! Да

не так. На зубило-то не смотри! Смотри на острие... Опять не так... Чего ты боишься?.. По руке ударить боишься? Без этого, брат, не научишься. Ну, руби, давай!

Яшка начал рубить. Удары получались слабые, неуверенные. Рубка не удавалась. Его невольно тянуло посмотреть на ручник, когда он ударял по зубилу.

— Куда смотришь? — выругался Данилыч. — Руби, как показано... Опять не туда смотришь!

Он стукнул Яшку по затылку, и тот поклонился от этой затрешины, тоскливо подумав: «Начинается...»

Наконец Яшка ударил ручником сильно, по всем правилам. Острая боль обожгла левую руку, он выронил зубило: из большого пальца текла кровь, и он сунул его в рот.

— Ничего, ничего, — усмехнулся Данилыч. — Заживет, начинай сначала.

Яшка начал рубить, оставляя на зубиле бурные следы крови. Все шло хорошо, и он ударил по зубилу сильнее. Снова острая боль сжала сердце, перехватила дыхание: он разбил и указательный палец.

— Ты паутины приложь, останови кровь-то, — посоветовал Данилыч. — Вон паутины — сколько угодно.

Яшка приложил густую, пыльную паутину к ране, и кровь перестала течь. Но работать он уже не мог, сидел и смотрел, как рубит металл Данилыч.

На другой день тот показал Яшке, как надо нарезать болты и гайки. Яшка был уже доволен своим обучением и даже проникся благодарностью к этому человеку.

Но через три дня все неожиданно изменилось: Яшку вызвали в конторку мастера Филимонова.

IV

В заводском поселке и на заводе старший мастер Филимонов был фигурой весьма заметной. Сын крупного сибирского кулака-сектанта, двадцатилетним парнем он приехал в Петербург. Одно время служил приказчиком у купцов в бакалейных лавках, был нечист на руку, да так, что никто его больше не принимал, и волей-неволей пришлось ему поступать на завод Петербургской металлической компании. Вначале он слу-

был конторщиком, но за какую-то очередную проделку его оттуда выгнали. Филимонов выучился и стал плохоньким слесарем, зато умел подладиться к начальству. Говорили, что Филимонов был в охране негласным агентом. Как бы там ни было, начальство заметило его: вскоре Филимонов стал мастером.

Говорили и другое. Рассказывали, что в 1905 году его вывезли из цеха на тачке, но потом он вернулся на старое место, подсмеивался: «Видали революцию?» — и строил рабочим разные пакости. Один раз ему сделали «темную» — накрыли мешком и крепко избили.

Оставаться на заводе было уже опасно, и начальство посоветовало ему завербоваться в провинцию, на шпозель построенный Печаткиным военный завод.

Приехав, Филимонов сразу завел себе хозяйство: крепкая кулацкая жилка и тяга к земле так и остались у него, несмотря на долгую жизнь в городе. Кроме большого огорода, у него были корова и коза, поросяток, куры, гуси, индюшки. Филимониha продавала на рынке все, что приносило это хозяйство.

Самому Филимонову было лет пятьдесят пять. Был он коротконог; толстый, выпирающий вперед огурцом живот обтягивала жилетка с серебряной цепью и многочисленными брелоками. За этот живот рабочие, да и все в поселке, звали его не иначе, как «пузаном». Эта кличка заменяла ему имя.

В приплюснутом, одутловатом, с маленькими, вечно беспокойными глазками лице Филимонова проскальзывало что-то бабье: все оно было какое-то рыхлое, мягкое, и казалось, ткни пальцем — и, как на свежей булке, останется вмятина.

Вызванный к мастеру Яшка перепугался, и всю дорогу до дверей конторки лихорадочно соображал, в чем же он успел уже провиниться. Как и в прошлый раз, он долго не решался войти, чувствуя, как неприятно замирает и проваливается куда-то вниз сердце. Очевидно, Филимонов видел, как Яшка шел по цеху: он сам пинком отворил дверь.

— Эй, как там тебя? Шибздик! — делая вид, что он забыл имя Яшки, сказал мастер. — Знаешь, где я живу? Ну вот и пойдй ко мне домой, помоги там по хозяйству.

Опешивший Яшка ничего не мог ответить. Где живет Пузан, он знал, заходил туда с матерью, но ему совсем не хотелось помогать Филимонихе.

— За полчаса до гудка придешь обратно и номер с доски снимешь. Ну, иди, иди. Вот пропуск для проходной. И чтоб как с пушки...

Яшка медленно прошел проходную и так же медленно остановился возле дома Филимонова, опрятного, с выкрашенной суриком крышей и резными наличниками на окнах. Филимониха увидела его со двора и, махнув рукой — мол, иди сюда, недовольно крикнула:

— Больно ты долго... Ну, давай-ка, неси ведро с пойлом поросенку.

Он понес тяжелое ведро с пойлом в свинарник, где лежал на соломенной подстилке огромный боров. Борова звали Колькой. Филимонов, словно в издевку, любил давать человеческие имена животным: корову у него звали Марфой, кот был Филька, и даже индюшка называлась Сонькой. Видимо, Филимонов и этим хотел подчеркнуть свое пренебрежение к людям. Боров, почувствовав запах пищи, заворочался, неуклюже вставая на тоненькие ножки и с трудом поворачивая голову на жирной, в складках, шее. Яшка, только увидев его, ахнул и неожиданно для самого себя захохотал, прислонившись к косяку: боров до удивления походил на своего хозяина...

* * *

Мальчишки кричали ему вслед: «Яшка, Яшка, свинопас, поцелуй свинячий глаз». Он гнался за ними, но те, исчезая непостижимым образом в дровянице, вдруг оказывались на крыше и орали уже оттуда на весь поселок.

Яшка грозил кулаком и шел домой — усталый, измученный работой у Филимонихи, злой на всех — и на Филимониху, и на борова Кольку, и на ребят. Дни тянулись однообразно, и ему казалось, что он работает давно, всегда, и все прежнее — просто какой-то очень хороший и неповторимый сон.

Петька Зуев — тот просто сказал:

— Знаешь, от тебя коровьим дерьмом пахнет. И охота тебе была...

Яшка объяснил Петьке, что иначе нельзя, что мас-

тер просто прогонит с завода, что мать велит терпеть... Петька слушал, позевывал и равнодушно бросал:

— Ну, ну, давай, корми своего борова... А я на твоём месте такого бы мастеру сделал! Все равно ведь прогонит, а так — хоть с треском...

Яшка продолжал таскать свежую соломенную подстилку, приносил воду для скотины, гонял на ближайший пруд гусей. Но когда Филимониha послала его чистить свинарник, он потупился и не сдвинулся с места.

— Слышишь ты? Кому говорят...

Яшка медленно повернулся и пошел на улицу. Он вышел за калитку, постоял, ковыряя носком влажную, жирную землю, и внезапно подумал: «А ведь выгонит... возьмет и выгонит». Ему не хотелось возвращаться назад, но страх словно бы толкал его в спину, и он вернулся, подчинившись этому страху, не в силах перебороть его. Вечером он рассказал об этом Петьке; тот просто взъярился:

— Трус ты и больше никто. Вот что я тебе посоветую: не поддавайся ты Пузану, заедит он тебя, исплотатор. Он, знаешь, какой — смирных любит.

И Яшка соглашался с ним — соглашался потому, что ему не хотелось соглашаться с матерью, которая только и говорила о том, чтобы он терпел. Выход нашел тот же Петька.

В один из ясных дней они «потели цыганским потом» на берегу Сухоны, и Яшка, пересчитывая стершиеся медяки, кряхтел, качал головой, вздыхал, сбивался со счета и начинал считать снова.

— Ты что? — спросил Зув.

— Клепку надо ставить. Мой бутылку самогону потребовал. Придется в Бердинку бежать...

Деревца Бердинка была в семи верстах от поселка, и по дороге ребята придумали — напоить филимоновских куриц и петуха, а коту и борову мазнуть под хвостом скипидаром. Скипидар был у Кольки Чистякова: он кашлял, и мать каждый вечер натирала ему грудь. На обратном пути они отлили из бутылки самогона и спрятали его в штабелях бревен. Всем хотелось посмотреть, что получится из всей этой затеи.

— Сделай завтра утром. Мы во второй смене работаем, придем...

На следующее утро Яшка взял спрятанную накануне консервную банку с отлитым самогоном и принес ее в коровник. Там он нашел тарелку с отбитыми краями, перелил в нее самогон и насыпал овса: через час овес пропитался самогоном и набух.

Яшка часто кормил кур, и они знали его. Когда он вышел из коровника, куры, переваливаясь с боку на бок, бросились к нему. Овес он высыпал на землю, а тарелку снова спрятал в коровнике.

Ребята залегли в канаве, а Яшка спрятался за изгородью. Ждать им пришлось недолго: сначала прокукарекал петух. Кукареканье его было неслыханное, странное, хриплое. Потом, наступая на крыло, он попробовал было поухаживать за курицей и тут же свалился. Ребята помирали со смеху. Никто из них не видел, что Яшка, держа в руках кота, идет к свинарнику...

Он мазнул борова Кольку по «пяточку», потом сунул намоченную в скипидаре тряпку коту и отскочил в сторону.

Боров, заревев, выбежал из свинарника. Всей своей тушей он навалился на забор, повалил его, выскочил на дорогу и бросился бежать по лужам, поднимая фонтаны брызг.

Кот Филька, совсем ошалелый, с зелеными от ярости глазами, вылетел на двор, постоял на месте, трясая напряженным, как струна, хвостом, и затем, завыв, бросился на крышу.

— Ратуйте, православные! — кричала Филимониha, как мельница размахивая руками. — Светопреставление началось! Антихрист пришел! Куры подошли, скоты с ума посходили! Солнце уж заходит! Ой, как Филька-то орет! Манька, беги за Колькой, гони его с дороги.

Филимониha пнула свою испуганную, окаменевшую и ничего не понимающую дочь. Рабочие, проходившие мимо филимоновского дома, хохотали: многие перегибались, держась за животы. Старухи, слушая Филимонику, крестились, озираясь по сторонам, будто высматривая, с какой именно стороны должен появиться антихрист.

Яшка не дождался конца этого «светопреставления»: он тихонько вылез из канавы и побежал к за-

воду. В цех он вошел как ни в чем не бывало, подошел к Денилычу и попросил его дать работу.

Филимонов увидел Яшку из окна конторки: «Ишь ты, сукин сын, и двух часов не проработал». Он пошел табельщика позвать Яшку в конторку.

Ты что же, сопляк, сбежал? Я тебя совсем за ворота выгоню!

Он орал, а Яшкой овладело такое отчаяние, что ему в этот момент было уже все равно. Наставления и жалобные просьбы матери «не гневить начальство» — забылись...

Он расплакался. Промасленным рукавом своей куртки он размазывал слезы по лицу, оставляя на нем грязные полосы.

— Не пойду я больше туда... — всхлипывал Яшка, — что я, холуем к вам нанимался? Я на завод, а не к вам нанимался!

Сказав уже, как ему казалось, все, он осмелел и поднял глаза:

— Я в цеху работать хочу. Меня и так все дразнят... По улице не пройти...

Филимонов, сначала остолбенев, разразился такой бранью, что Яшка, ожидая вслед за этим удара, потянул голову в плечи. Всю эту сцену наблюдал старший мастер другой смены Александр Денисович Чухалин. Он не выдержал, подошел к столу и, обращаясь к Филимонову, тихо сказал:

— Зря ты, Корней Фаддеич, над мальчишкой издеваешься. Неровен час, управляющий узнает, что ты на счет хозяина батраков себе содержишь — ведь тебе же плохо будет. Переведи ты этого паренька ко мне в смену, по-моему толк из него будет. Ну, как, согласен?

Пузан посмотрел на Яшку. Он еще ничего не знал о его проделке и только крикнул:

— Пошел отсюда вон, негодяй!

В конце смены табельщик предупредил Яшку, что-бы завтра он уже выходил работать в смену мастера Чухалина...

V

Завод работал больше года, а люди все приезжали и приезжали в Печаткино. Никто не знал и не считал, сколько здесь собралось народу;

одни говорили — восемь, другие — двенадцать тысяч. В короткий срок возле проходной завода в один ряд выстроились четыре питейных заведения, с миллиардными и отдельными кабинетами. Быстро выросла в поселке деревянная церквушка, и хилый, чахоточный попик освятил ее под Духов день «во славу Божию». И, конечно, будто из-под земли, появились в Печаткино несколько городских, как есть по всей форме — при шашках и с красными кантами.

Все, все было, как положено...

Александр Денисович Чухалин только удивлялся: до чего же завидное постоянство! Кабак, церковь и городской — что еще надо властям, чтобы чувствовать себя совсем спокойно. Как-то он, полушутя, полусерьезно, сказал Алешину, Клавиному отцу:

— Смотри, Павел, и учись: вот работа! А мы что? Пока мы одни шрифты добываем, уже четыре портерных во всю трудятся, официанты с ног сбились.

Алешин кивнул и отвернулся, не ответив на шутку.

В самом деле, группе заводских большевиков на первых порах пришлось в Печаткино трудно. В первые же месяцы по доносу провокатора были арестованы и сосланы восемь человек. В Петрограде об этом узнали поздно, и когда Чухалин приехал в Печаткино, там оставалось только пятеро большевиков.

Первое, что сделал Чухалин, — послал Беднякова в Питер за шрифтами. Однако время шло, а тот не возвращался, и Чухалин, внешне оставаясь спокойным, был уверен, что Беднякова задержали.

Чухалин работал на заводе мастером и как мастер имел по соседству с Алешиными свой небольшой домик. Впрочем, если б не Алешин, этого домика у него никогда не было бы: Павел Титович рассказал ему, как договаривался с вербовщиками отец, и Чухалин тут же отправился к управляющему. Пришлось разыграть из себя «голубую кровь», этакое прохвоста, вроде Филимонова, зато в награду он получил прекрасное помещение, где большевики могли собираться: в бараках это было бы немыслимо.

Мастер жил один. Долгое время Алешин не решался спросить у него, женат ли он, этот немолодой уж человек. Чухалин сам сказал ему об этом в один из декабрьских дней:

Всегда меня в это время в Москву тянет...

Почему в Москву? Ты же — питерский.

Питерский-то питерский... А десять лет назад мою Варьку на Пресне убили...

На этом разговор и кончился, но после него у Алешина осталось чувство щемящей жалости к Чухалину, жалости, которую он боялся не только высказать вслух, но даже показать.

Быть может, так происходило потому, что Алешин сам был вдовцом и хорошо знал, что стоит потерять любимого человека. Скупое и немногословное он передал этот разговор отцу; Тит Титович сразу как-то засуетился, забеспокоился, и впоследствии Алешин так и не мог узнать, когда же старик близко сошелся с Чухалиным. Как бы там ни было, мастер стал бывать у них чаще — «по-соседски», как говорил Тит Титович, но Алешину ясно было, что отец просто тянет Чухалина в семью, где тот может отдохнуть, не оставаясь наедине с собою. И Чухалин, тоже понимая старика, был благодарен ему за это.

Обычно они сходились по субботам. На столе появлялся самовар, а в праздник — и бутылка самогонки, которую старик распивал один: Чухалин не пил, а Алешин стеснялся выпивать при нем. Разговор заходил о самом разном; однажды он коснулся ребят, работающих на заводе, и Чухалин вспомнил, что перевел на днях в свою смену паренька, Яшку Курбатова, которого Филимонов едва было не уволил.

— Это ты верно сделал, — одобрительно заметил Тит Титович. — Я этого парнишку знаю: ну, чистый адвокат — Плевака. А кроме того...

Он многозначительно закашлялся, сделав вид, что поперхнулся чаем, и с ехидцей поглядывал на сына. Тот покраснел, сердито шевельнув густыми, как у отца, мохнатыми бровями. Но Чухалин, ничего не заметив, спросил:

— Что?

— Да так... Вроде бы мой-то с Курбатовой того... Погуливает, одним словом.

— Вот оно что? — удивленно протянул Чухалин. — Ну, что же, дело, как говорится, молодое... На свадьбу-то пригласишь?

Алешин что-то пробормотал в ответ.

Но, прощаясь с ним в сених, Чухалин спросил его серьезно:

— Слушай, Павел, вот о чем я тебя хотел спросить. Не помешает тебе... любовь-то эта? Нет, ты не обижайся, а дело тут такое... Я ведь давно все заметил, все знаю. Ну, и не лежит у меня к Курбатовой душа, какая-то темная она, забитая, богобоязненная. А я вот тебя в Питер хочу послать. Как она — поймет, если что-нибудь с тобой случится? Жизнь-то, она, брат, у нас с тобой трудная, и жены с нами одной думкой жить должны.

Алешин ответил не скоро. В темноте сеней Чухалин не видел его лица, но чувствовал, что тот растерян.

— Так ведь что поделать, — тихо отозвался он наконец. — Люблю я ее, Александр Денисович. А в Питер — что ж, конечно, поеду. Ты думаешь — Бедняков...

— Все может быть, — отрезал Чухалин.

Три дня они к этому разговору не возвращались. А на четвертый Чухалин зашел к Алешиным и вызвал Павла Титовича во двор:

— Пойдем ко мне, потолкуем.

Алешин, чувствуя, что Александр Денисович будет сегодня говорить о том же, что и три дня назад, внутренне разозлился: какое ему, в конце концов, дело до его личной жизни? Входя в чухалинский дом, он уже заранее обдумал те слова, которыми ответит мастеру.

Но, войдя в комнату, он ахнул. Возле завешенного одеялом окна сидел смеющийся, счастливый Бедняков, а в углу — рабочий пятого цеха Пушкин.

— Ты откуда? — бросился к Беднякову Алешин.

— Где был, там нет, — хохотнул Бедняков. — Был да весь вышел.

Алешин улыбнулся: Бедняков всегда говорил прибаутками и полузагадками; проследив его взгляд, Алешин поглядел в сторону большой печи, занимающей добрую треть комнаты.

Там, в углу, на табуретке, лежал деревянный сундучок с замочком: с такими сундучками в ту пору колесили по железным дорогам мастеровые, голь перекатная, в поисках молочных рек да кисельных берегов. Замок был снят и лежал сверху.

— Да подойди, не бойся, — снова хохотнул Бедняков. — Не кусается.

Алешин, еще не веря в удачу, подошел и откинул крышку сундучка. Там, аккуратно разложенные по мешочкам, лежали шрифты... Алешин поднял один такой тяжелый мешочек, подкинул на руке и, повернувшись, спросил:

— Значит, порядок? Эх, братцы, и закрутим теперь машинку! Только...

— Печатника нет... — словно бы в раздумьи сказал Чухалин. — Ты не радуйся, Павел Титович, нам еще до машинки-то знаешь сколько сделать надо.

Он прошелся по комнате, скрипя половицами, и, остановившись перед Алешиным, пробасил:

— Придется тебе в город ехать — за печатником. Мы пока начнем собирать станок... А вот листовки носить... Ну, да там придумается.

Алешину показалось, что Чухалин просто хочет оторвать его от Курбатовой. Он побагровел, но, вспомнив недавний разговор в сенях, промолчал, забился в угол и сидел там, слушая, как Бедняков рассказывает о своих похождениях в Питере. Он так бы и молчал до конца, но Чухалин опять завел разговор о том, кто же будет переносить на завод листовки, — так, чтобы рабочие, которых время от времени обыскивали, не подвергались опасности.

— Тот же Яшка Курбатов. Я за парня ручаюсь. Поговорить с ним только надо разок — посерьезнее, — донеслось вдруг из угла, где сидел Алешин.

— Ну, вот и поговори, — обрадованно откликнулся Чухалин. — Как приедешь, так и затащи его к себе. По-моему, тоже — смышленный парнишка... Только запуганный...

А Яшка, уставший после смены, спал и не знал, что именно этой ночью на многие и многие годы вперед — да что годы: на всю жизнь! — была определена четверьяма взрослыми людьми его судьба.

* * *

Из города Алешин вернулся неожиданно быстро: через три дня. Отлучку он объяснил просто: болел, ездил в больницу. Из получки у него вычли три рубля и пригрозили, что если такое повторится — с завода

выгонят. Алешин клялся и божился, что больше он болеть не будет, и ходил именинником, с трудом скрывая улыбку и меньше всего напоминая тяжело больного, измученного недугами человека. Что взрослые! Яшка — и тот почувствовал, что здесь что-то не так, но постеснялся спросить у Павла Титовича, чем же он в конце концов болен.

Алешин, нагнав его во дворе, когда кончилась смена, обнял за плечи и спросил:

— Ну, Плевако, а к нам что не заходишь? Дочка по тебе соскучилась. Пойдем сейчас, а?

Яшка забормотал, что ему надо домой, мать будет волноваться, да и грязный он, но Алешин уже крепко держал его за плечо и посмеивался:

— Ничего. Мы матери объясним как-нибудь... А вымоешься у меня — и с мылом.

Яшка не хотел идти, но Алешин его тянул: «Да что ты ломаешься, как дешевый пряник. Сказано — идем, значит — идем...» Наконец, Яшка понял, что вовсе не в Клавде здесь дело, а нужен он самому Алешину, и пошел, едва поспевая за ним.

Первое смущение прошло, едва они приблизились к дому. Алешин вел себя как-то непонятно. Два раза он сделал вид, что у него расшнуровались ботинки, хотя Яшка видел, что с ботинками у Алешина все в порядке. Потом, проходя мимо окон, он, зачем-то оглянувшись, стукнул два раза в раму и только после этого поднялся на крыльцо.

Двери им открыл Тит Титович, и это тоже удивило Яшку: обычно двери здесь днем не запирались. И только войдя в дом, Яшка понял, в чем дело.

Из-за перегородки вышел человек и обрадованно закивал Алешину.

— Это глухонемой, — быстро сказал Алешин Яшке. — Так что не стесняйся. Родственник наш, понимаешь...

Яшка, растерявшись, смотрел на этого человека и слова не мог вымолвить, будто сам онемел от этой растерянности.

— Проходи в дом-то, — подтолкнул его Алешин.

Яшка шагнул к глухонемому и тихо сказал:

— Дядя Франц... Это я, Яшка.

Все замерли. Франц, медленно повернувшись к па-

Яшку, так же тихонько ахнул: «Мейн готт!» — и бросился к нему; они обнялись. Франц тормозил Яшку, но в полнениа он позабыл те русские слова, которые знал, и никто не мог понять, о чем он спрашивает. Потом, выпрямившись, Франц повернулся к Алешину и сказал ему:

— Карош малшик... Друг... Как это?.. Настоящий.

Яшка не понимал ничего. Ни того, зачем его привел сюда Алешин (Клавы дома не было), ни того, какими судьбами очутился здесь немецкий военнопленный Франц.

А Франц обнимал его снова, все расспрашивал, куда это «ушел маленький друг», и Яшка, с трудом подбирая слова, рассказал о жандармском ротмистре, о школе, о переезде сюда. И не понял, почему Алешин, откинув его голову, сказал, глядя ему в глаза своими синими с черным ободком — совсем, как у Клавы — глазами:

— Э, брат, да я и не знал этого. Значит, хлебнул уже шилом патоки?

* * *

Что-то перевернулось в его жизни. Товарищи — они были уже словно далеко от него, и Яков, встречаясь с ребятами, пытался скорее уйти, прибежать к алешинскому дому, оглянувшись, стукнуть два раза в оконную раму и войти в дом, где его ждали всегда. Алешин строго запретил ему носить детали станка сразу сюда. «Покрутись с ребятами, сделай вид, что играешь, потом удирай. Скажи — к Алешину пошел. Будут смеяться — не обращай внимания. Понял?»

Ребята и в самом деле смеялись: «Тили-тили-теста, жених и невеста...» Дальше они прибавляли вовсе неприличное, отчего Яшка краснел, но уходил, не оборачиваясь.

Но где собирался станок, части для которого он чуть ли не каждый день выносил с завода, Яшка не знал. На все его расспросы, куда девался дядя Франц, Алешин многозначительно подмигивал и поднимал брови. В доме все встало на свои места. Появились куда-то уезжавшие бабушка и Клава; теперь двери Яшке открывала она и командовала:

— Сними ботинки, я только что подметала... Теп-

лая вода осталась — можешь мыться. И тихо, пожалуйста, а то дедушка спит.

Яшка покорно снимал ботинки, мыл руки и тихо входил в комнаты. Он подчинялся Клаве во всем, зная, что Алешин скажет ей:

— А теперь, Клавочка, оставь-ка нас: у нас свои дела.

Клава дергала плечом: подумаешь — дела, но уходила, и Яшка внутренне торжествовал.

Однажды он пришел и не застал Алешина дома. Он собрался идти, но Клава втащила его в дом за рукав и заявила, что никуда не пустит его: она в доме одна и ей просто-напросто страшно. Яшка смутился, взглянув на нее: нетрудно было догадаться, что она что-то крутит, и ей вовсе не страшно, а так — придумала предлог, чтобы Яшка остался. Клава носилась по всему дому, притащила самовар, поставила на стол тарелку со студнем. Яшка не поднимал на нее глаз; он чувствовал, что молчать нельзя, надо что-то говорить, но слова застряли у него в горле. А Клава, сидя напротив, глядела на него в упор, подперев кулаками щеки так, что глаза у нее превратились совсем в щелочки.

Яшка, отвернувшись, увидел лежащие на подоконнике книги и для того, чтобы нарушить это тягостное молчание, спросил:

— Ты читаешь?

— Я.

Снова наступила пауза.

— А что это?

— Да так, — сказала Клава, словно бы нехотя. — Тебе неинтересно. Гоголь. «Мертвые души».

Яшка впервые поглядел на нее испытующе. «Мертвые души» он читал, но многого не понял, а теперь, услышав это «тебе неинтересно», — обиделся, столько пренебрежения слышалось в Клавином голосе. Он с грохотом отодвинул от себя стакан с недопитым чаем и поднялся, придерживая рукой металлические бабашки, насыпанные за пазуху.

— Это почему же? Думаешь, ты одна такая... умная?

Клава ответила сразу же, но с прежней насмешливостью:

Да ты разве интересуешься книгами? Борова скинидаром помазать или куриц самогоном напоят — это тебе, наверно, больше по душе.

У Яшки перехватило дыхание: знает. Ну, так что тут плохого? Ведь иначе-то он не мог уйти от Филимонова. И хотя он собирался сейчас схватить шапку и, не простившись с Клавой, убежать — что-то задержало его. Быть может, то, что в самом тоне, каким были сказаны эти слова, слышалось осуждение, а он не мог понять, в чем же осуждают его. Клава, зевнув, отвернулась:

— Нужны тебе эти книги...

— А может и нужны, — вспыхнул Яков. — Подумаешь... Что ж худого, что я борова наскипидарил? Ну, так и надо...

— Дурак, — спокойно заметила Клава. — Боров шиповат, что ли? Небось, самому Филимонову побоялся бы и кукиш показать. А на бессловесной скотине легко отыгаться.

Яшка, разозлившись, пошел к дверям. Клава остановила его:

— Ты куда? Да постой же. Принес?

Он обернулся:

— Что принес?

— Ну, да для отца — принес что-нибудь?

— А ты откуда знаешь?

— Теперь знаю, — улыбнулась она. — Давай сюда.

Яков пощупал под рубашкой теплые бабашки, отлитые из обрезков металла, и буркнул:

— Ничего я не принес. А где Павел Титович?

Клава тихонько засмеялась. Отец стоял в дверях и тоже улыбался: Яков не заметил, как тот вошел. Алешин шагнул к нему и, взлохматив Яшкины волосы, сказал:

— Молодчина ты, парень... А Клава, действительно, знает... Разве от нее чего-нибудь скроешь? Она у нас всюду пролезет.

Алешин говорил неправду. О существовании подпольной типографии знали пока только большевики; Павлу Титовичу надо было говорить неправду, чтобы ребята, не зная толком ни о чем, считали себя участниками какого-то очень важного и, конечно, опасного дела.

Ребята, конечно, не догадывались даже, чем заняты Тит Титович, Алешин, Чухалин, Бедняков, Пушкин. Не догадывались, что место для типографии было выбрано даже не в Печаткино...

В нескольких километрах от поселка, на берегу тихой речки Шограш, в ее обрывистом берегу была вырыта землянка. Вход в нее скрывали кусты буйно разросшегося ивняка. Чтобы войти в землянку, нужно было подъехать к обрыву на лодке и лезть по веревочной лестнице.

Землянка была сделана так, что в ней можно было жить и зимой. Труба от печки-буржуйки, выведенная к самой воде, была незаметна глазу. Здесь, в землянке, стояли нары, стол, несколько табуреток; в углу собранный типографский станок. А в нише, закрытой досками, хранилось святое святых, то, что с огромным трудом удалось привезти из Москвы — оружие...

VI

Листовка, которую Яшка нашел утром в своем инструментальном ящике, была невелика. Отпечатанная на серой, плотной бумаге, в которую лавочники обычно заворачивают селедку, она бы и не привлекла Яшкиного внимания, если б не удивленные и радостные голоса рабочих, Яшкиных соседей по цеху:

— Глядите, ребята: птички-залетки.

— Давно не было милых.

— А ну, кто голосистый — читай. Да пусть мальцы встанут — мастера поглядеть.

Никто и не заметил, что мастер был в цехе, стоял, улыбаясь, а когда рабочие смолкли, кивнул головой: «Читайте, читайте, мне тоже интересно послушать». Рабочие, переглянувшись, начали негромко читать, отослав учеников к дверям: пусть поглядят, не идут ли посторонние. Яшку поставили к окну. Один из рабочих приказал ему:

— Гляди на двор. Что мы тут делаем — тебя не касается. А увидишь чужого — свистни. Умеешь свистеть-то? Покажи.

Яшка вложил в рот два грязных пальца и пронзительно, так, что у самого зазвенело в ушах, свистнул.

— Вот-вот, — одобрительно похлопал его по плечу рабочий. — Чуть что — свистни во всю силу.

Зачем во всю силу, — спокойно заметил мастер Чухалин. — Надо тихонько, чтоб только мы услышали.

Рабочий удивленно поглядел на него, но смолчал.

Яшка стоял у окна и слушал голос, читающий листовку:

— «Товарищи рабочие! Выпуская смертоносную продукцию для братоубийственной войны, капиталист Печаткин несколько миллионов рублей в год выколачивает из нас, опускает прибыли в свой бездонный карман. Оглянитесь, как построен наш завод? Цехи сплошь деревянные, ни о какой охране труда капиталист не думает. Каждый день кто-нибудь да увечится. А о нашей жизни нечего и говорить. В бараках — раскладник заразы... рабочие живут по шесть-семь человек в клетушке, где и двоим-то тесно... Штрафы так и сыплются на нас... Особенно зверствует хозяйский холуй Филимонов. Забыл, видимо, как его катали на тачке в пятом году».

В конце листовка призывала рабочих восстать по первому зову партии: «Придет еще пятый год, и слетит самодержавие и капитализм». Листовка была подписана коротко: «Местная организация РСДРП(б)».

У Яшки гулко колотилось сердце. Каждое слово было неожиданно понятно ему. Здесь всё было правдой: он словно бы разом увидел ветхие цехи, и свои покалеченные пальцы, и припомнил комнату, где кроме него с матерью жило еще восемь работниц, и мастера Филимонова.

Он обернулся. Рабочие молча курили, думая каждый о своем. Возможно, они стеснялись мастера.

Но Чухалин, поднявшись с ящика, тихо спросил:

— Всё понятно, товарищи?

— Вроде бы всё... Только... как восстанешь-то. У меня, к примеру, батьку невесть куда в шестом году усади.

— К тому ж, голые мы...

— Неувязка здесь.

— Никакой неувязки нет, — тихо сказал Чухалин. — Вспомните, как было в пятом году: большевики достали оружие, сумели организовать восстание... А теперь они смогут не только организовать восстание, но и победить, свалить царизм. Теперь, товарищи, мы

сильнее, чем одиннадцать лет назад, да, сильнее...

Последние слова он проговорил словно бы в раздумьи. Рабочие молчали. Наконец один из них встал, подошел к Чухалину и, крепко сжав его руку, сказал:

— Ты прости нас, Денисич... Мы думали — ты просто хороший мужик...

Чухалин, смущенно вытащив из кармана грязный платок, снял очки и начал протирать стёкла.

* * *

Теперь Яшка не мог отвязаться от того, что сказала ему Клава. День ото дня всё острее становилось ощущение той обиды, которую нанес ему Филимонов и о которой с беспощадной прямоотой ему напомнила Алешина. Яшка, завидев Филимонова, проходил мимо него с ухмылкой, но мастер, казалось, не замечал его, и это Яшку бесило. Хоть бы за ухо схватил, дьявол: в кармане Яшка таскал теперь острый напильник и обязательно полоснул бы мастера по его рыжей, покрытой волосами и веснушками руке.

Неожиданно ему пришлось снова столкнуться с Филимоновым, но уже при других обстоятельствах...

Мастера Чухалина управляющий Молотиллов на два дня послал в губернский город. Молотиллов велел Филимонову на эти два дня заменить Чухалина. Смена была в ночь, и Филимонов пришел на работу вместе с табельщиком Митей. Он увидел Яшку и, хотя прежде не замечал его, теперь позеленел от злости:

— Марш отсюда, заморыш!

Дальше последовала такая брань, что Яшка опрометью выскочил из инструментальной кладовой, прибежал в цех и рассказал слесарям, как его шуганул Филимонов.

— Ты знаешь, а он всегда в ночной смене спит, — задумчиво сказал Петька Зуев. — Филимониха говорила, так спит, что хоть всех святых вместе с ним выноси — не услышит. Каждое утро, когда она его будит, он драться лезет, а просыпается тогда, когда рожу водой умоет. Может, смажем, а?

Яшка не понял, что значит «смажем», но согласился, догадываясь, что Зуев зря ничего не предложит. Когда же тот рассказал ему о «смазке», Яков пришел в восторг.

Ребята решили проследить, когда Филимонов уснет в конторке. Яшка вспомнил упрек Клавы, что он свою бдительность на Филимонова сорвал на животных, и усмехнулся: что-то ты скажешь теперь.

Рабочие в цехе, узнав, что на смену заступил Филимонов, подзадоривали ребят:

— Валяйте, хлопцы! Придумайте что-нибудь для Пузана. Мы хоть посмеемся.

Часа в три ночи один из рабочих, проходя мимо конторки, увидел через маленькое окошко табельщика, что Пузан и Митя спят. Об этом было сказано Яшке. Он побежал, разыскал Зуева и вместе с ним попробовал открыть дверь из цеха: она была закрыта на подвижку. Ребята побежали к другой двери, ведущей в инструментальную кладовую, подергали ее, но и эта дверь была закрыта на внутренний замок. Выручил их один из слесарей инструментальной кладовой: он спустил в скважину какую-то проволоку, повертел ею и дверь открылась.

Ребята тихо вошли в конторку. Пузан и Митя крепко спали. Филимонов лежал, развалившись на рыжем, теплом тулупе, а табельщик — в бывшем когда-то мягком кресле, вытянув ноги вперед.

У Петьки Зуева глаза просто горели, когда он кивнул на чернильницы, стоящие на столе. Яшка посмотрел: одна была с фиолетовыми чернилами — химическими, а другая с красными: ими обычно Чухалин писал сводки. Зуев вытащил из кармана мягкую тонкую кисточку, которой токари смазывали мыльной эмульсией обрабатываемые мелкие детали.

У Якова мелко тряслись колени. Зуев шикнул на него — начинай, и он, осторожно подойдя к Филимонову, обмакнул кисточку в чернила...

На лысине мастера ребята нарисовали большой крест, на лбу — рога, нос выкрасили красными чернилами, ими же провели две полосы по обе стороны рта, отчего он стал казаться огромным. Щеки сделали в крапинку, наставив множество точек. Пузан спал, он даже не пошевелился, когда его разрисовывали.

Точно так же разукрасил Зуев и табельщика. Тот часто махал рукой, будто отгоняя надоедливых мух, но не просыпался...

Взяв бечевку, ребята привязали ее к ноге Пузана и

табельщика, потом тихо вышли, слесарь снова отмычкой закрыл за ними дверь. Теперь надо было сделать так, чтобы мастер и табельщик проснулись.

Кто-то додумался позвонить по телефону, рассчитывая, что звонок разбудит спящего Митю. Так и произошло. Митя испуганно вскочил и бросился к аппарату: видимо, Пузан запретил ему спать. С разбегу, запутавшись в бечевке, табельщик дернул Филимонова, и тот заворочался, просыпаясь. Митя истошно кричал в телефонную трубку: «Я слушаю! Я слушаю! Кто говорит?» Но трубка молчала.

Отвязав от ноги бечевку, ошалевший от сна табельщик сел на свое место, включил настольную лампу. Свет озарил его лицо. Сперва искоса, а потом раскрыв от удивления рот, Пузан начал разглядывать Митю, всё более и более расплываясь в улыбке. То же самое происходило и с табельщиком. Вдруг рабочие услышали громкий, раскатистый смех Филимонова. Вслед за ним мелко и дробно засмеялся Митя. Оба хохотали долго, указывая друг на друга пальцами, не в силах что-либо выговорить от безудержного смеха.

Первым опомнился Пузан; он, еще икая от хохота, проговорил:

— Чего ты-то смеешься, рожа страшная?.. Ну и рожа! И размалевали тебя, сволочи, как икону, прости господи. Прямо вельзевул какой-то. Умойся поди, а не то, если увидят твою рожу, год смеяться будут. Вот сволочи, — не иначе, как они...

Митя уже начал соображать, что случилось. Вдруг он сорвался с места и побежал.

— Вот оглашенный! — проворчал Филимонов. — С такой рожей, такое страховище — и побежал!

Он посмотрел в окно, в цех, и увидел, что рабочие смотрят в конторку и смеются. В это время Митя открыл дверь в комнату телефонистки. Там дежурила тихая и всегда грустная Груня, предмет Митиных вздыханий. Увидев ворвавшегося в комнату табельщика, Груня закричала и прижалась к стене.

— Зеркало! — отчаянно крикнул табельщик. — Есть у тебя зеркало? Ну!

Груня молча показала на ридикюль, в котором было маленькое зеркальце. Схватив его, Митя побежал обратно, по дороге разглядывая свое размалеванное

лицо. Прибежав в конторку, Митя ткнул зеркало в лицо мастера.

Филимонов, еще ничего не подозревавший, испуганно взглянул, и то, что он увидел, заставило его более чем испугаться. Он взвыл. Так воют псы, когда им наступят на лапу.

Он всё понял. Рабочие, глядевшие в окно, смеялись. Охватив обеими руками голову, Пузан бросился из конторки.

Он прибежал в умывальную и сунул голову под кран. Фиолетовые и красные чернила расплылись, покрыв его лицо и лысину в какой-то грязно-бурый цвет. Умываясь, мастер поминутно смотрелся в зеркало. Теперь он уже не выл, а стонал как бы от боли, безжалостно растирая лицо. Отмыть чернила, тем более химические, оказалось делом вовсе не таким легким. Немзой он содрал с лысины кожу...

Немного отмывшись, Филимонов стал похож на человека. По дороге в конторку он зашел в инструментальную кладовую, и слесари не успели опомниться, как он крепко рванул Яшку за ухо и ткнул в нос кулаком:

— На, художник, шпана подзаборная... Завтра за ворота вылетишь.

У Яшки из носа текла кровь, от сильной боли он съежился, размазывая кровь по лицу.

— Ты чего парнишку бьешь? — угрюмо и вызывающе сказал один из рабочих, слесарь Мелентьев, подойдя вплотную к мастеру и держа тяжелый ручник.

Филимонов плюнул на пол, повернулся и вышел из кладовой.

— Иди, Яша, умойся, — погладил его по голове Мелентьев. — Ты бы не поддавался ему. Мы заступимся... имей в виду. Ну и цирк устроили! Я такого представления в Питере у Чинизелли не видел. Молодцы, ребята, так ему и надо!

Яшка ободрился, пошел вымылся, постоял немного с откинутой головой, чтобы остановить кровь. Нос у него распух, под глазом расплылся густо-синий подтек.

Утром, после смены, он торопливо выбежал из цеха, чтобы прошмыгнуть незамеченным за ворота. Но

Филимонов ждал его. Он схватил Яшку за руки, резким движением бросил на землю, и тот, пряча в колени лицо, громко крикнул:

— Дядя Ваня-а!..

Удара не последовало. Яшка осторожно открыл глаза. Рядом с Филимоновым стояло несколько рабочих, и даже в густых сумерках было видно, какие у них злые лица:

— Ты что, мастер? Опять парнишку бить хочешь? Кровь играет? Что же, можно и подраться. Давай с нами, с любым.

Мелентьев глухо и угрожающе сказал Пузану:

— Уйди от греха... Не то плохо может быть...

Мастер, не сказав ни слова, пошел. В дверях он обернулся:

— Вы еще, бунтовщики, вспомните меня, это как бог свят.

— Иди, иди, — махнул рукой Мелентьев. — Не боимся. В полицию иди, жалуйся, филер паршивый.

На другой день приехал Чухалин. Яшка все подробно рассказал ему. Чухалин сначала засмеялся, а потом, нахмурившись, качнул головой:

— Не так, Яшка, надо с этими пузанами драться. Ну, да вырастешь — поймешь... Таких, брат, надо... насмерть бить. Вот оно как дело-то обстоит...

VII

Мало кто знал о жизни Александра Денисовича Чухалина. Обычно все считали его просто добрым человеком, знатоком своего дела — и только. Был он среднего роста, лет пятидесяти, с совершенно голой головой: как все рано облысевшие люди, голову он брил. Ходил Чухалин в пиджаке, жилетке и в брюках на выпуск, носил неизменную кепку цвета «маренго», с желтым, засаленным ремешком у козырька. Поля кепки были сдвинуты на затылок. И не всякий, глядя на него, смог бы догадаться, что этот человек возглавляет в Печаткино партийную организацию.

Приехал он сюда, в Печаткино, из Петрограда. В 1912 году, после ленских событий, он был арестован за агитацию и сослан на два года в Шенкурский уезд Архангельской губернии. Вернувшись в Питер в самом

Войны, он нигде не мог устроиться на работу, и только как хорошего мастера его завербовали на новый военный завод, в провинцию. Правда, после появления листовок стали поговаривать, что он «самый главный революционер» на заводе, только тонко ведет дело, так, что комар носа не подточит. Когда он работал ночью, к нему не раз неожиданно являлись жандармы в штатском: в конторке начинался обыск. Был обыск у него и дома: впрочем, встревоженное заводское начальство готово было подозревать всех. И если доходили какими-то путями до жандармов слухи, что Чухалин — «главный революционер», на его защиту немедленно поднимался управляющий Молотилов:

— За Чухалина я вам полдюжины инженеров отдам, — говорил он, зная, что другого такого специалиста-практика ему и в самом деле не найти.

Яшка любил мастера. Он полюбил его еще тогда, когда тот ровным спокойным голосом попросил Филимонова перевести Яшку в его смену.

Яшка почти никогда не видел ласки, особенно от старших. Он рос без отца, да и, по существу, без матери. Его доброе мальчишеское сердце нуждалось в теплой ласке, и когда он замечал ее, сам начинал жить чувством благодарности и мальчишеской преданности к человеку, приласкавшему его.

После того как Яшка пронес на завод две пачки листовок — их дал ему Павел Титович Алешин — мастер стал относиться к нему еще теплее. Временами Яшка ловил на себе задумчивый взгляд мастера и смущенно первым опускал глаза. Ему казалось, что Чухалин смотрит на него испытующе, с какой-то непонятной затаенной грустью, и Яшке хотелось подойти к мастеру и сказать: почему вы что-то скрываете от меня?

Он угадывал, что где-то, недоступная ему, идет другая, по всей видимости, тайная жизнь, в которой участвуют и Чухалин, и отец Клавы, и Тит Титович, и Франц; и, еще не зная, какая это жизнь, Яшка невольно тянулся к ней.

Слова листовок заставляли его замирать от восторга. Он проносил на завод эти листки с сильно бьющимся сердцем, но не потому, что ему было страшно, а от ощущения того, что и он где-то коснулся той тай-

ной жизни мастера Чухалина и дяди Павла, о которой ему ничего не было известно.

Твердо он знал только одно: плохого мастер Чухалин не сделает. Когда же от Мелентьева Яшка услышал, что, по всей видимости, мастер — большевик, он спросил:

— А что это такое?

— Значит, которые за народ против царя и буржуев, — сбивчиво объяснил Мелентьев. Это объяснение не удовлетворило Яшку, и он, после работы зайдя к Алешину, спросил его, правда ли, что Александр Денисович большевик, и что если так, то и Яшка тоже хочет быть большевиком.

У Алешина дернулись широкие ноздри, он с трудом сдерживал смех. Потом он сказал:

— А ты помалкивай, брат... За одно это слово Сибирь готова.

— Ну, тогда еще листков дайте, — вздохнул Яшка. Листовок ему больше не дали, но месяц спустя Чухалин нашел ему дело...

Это было в начале февраля; смена работала ночью. Александр Денисович вызвал к себе Яшку и, кивнув — садись, задумчиво спросил:

— Знаешь, Яша... Как у тебя язык — крепко на шарнирах сидит или болтается?

Яшка обиделся:

— Я пока никому ничего не болтал...

— Ну, ну... — словно извиняясь, протянул к нему руку мастер. — Очень серьезное дело есть, Яша. Если узнают — то мне, да и другим, очень плохо будет. Понял? Плохо будет!

Чухалин произнес последние слова шепотом. Яшка заволновался: он почувствовал, что это что-то серьезное.

— Раз дело, так пускай разрубят меня на части, а я всё равно ничего не скажу, — выпалил он. В веселых глазах Чухалина появилась добрая усмешка. Яшка еще больше осмелел. — Спросите у ребят... Ябедал я на кого-нибудь? Вот, ей богу, никому не скажу!

Он даже перекрестился для убедительности.

— Не божись, Яша, — тихо сказал Чухалин. — Здесь нам бог не поможет. Ну, да я верю тебе.

Он прошелся по конторке:

— Ты через полчаса пойдешь, подежурить вниз, у дверей. Если кто пойдет в эти двери, прибежишь вперед и предупредишь меня.

Яшка уже начал разочаровываться: поручение казалось ему несерьезным. Чухалин будто прочел его мысль:

— Это очень важное дело, Яша. Если ты его как следует не выполнишь — много народа в тюрьму пойдет, — нахмутив брови, сказал он.

— Сделаю я, — в тон ему и так же хмурясь ответил Яшка. — На совесть сделаю. Пускай скорей меня в тюрьму посадят, а я вас не подведу.

— Вот и хорошо. Тебя-то в тюрьму не посадят, мал еще, а ты лучше так сделай, чтобы меня не подвести. Ну, иди! Я тебя позову, когда надо будет. Только помни: никому ни слова...

Яшка не уходил. Чухалин видел, что он о чем-то хочет его спросить:

— Чего ты?

— Скажите, дядя Шура, а что такое «большевик»? — спросил Яшка.

— Большевик? — переспросил Чухалин. — Это, Яша, зовут так людей, которые борются за то, чтобы всем рабочим жилось лучше. Об этом как-нибудь я тебе расскажу. Приходи ко мне домой в воскресенье.

— Ладно, приду. А ты не большевик, дядя Шура? — снова спросил Яшка. Чухалин засмеялся:

— Вот что, паренек. Никого об этом не спрашивай. Никто тебе не скажет. Ты лучше приглядывайся ко всему.

— Я и приглядываюсь. Только ничего понять не могу. Слышал я, что дядя Павел тоже большевик, а я смотрел, смотрел за ним, а он обыкновенный человек!

Чухалин повернул его за плечи к дверям:

— Ну, ты иди теперь...

Через полчаса Яшку позвали и велели ему дежурить вниз, на лестнице, у входа в здание. Он видел, что в конторке Чухалина собралось человек десять или двенадцать рабочих. Из соседнего цеха пришел дядя Павел...

И теперь, стоя на лестнице, Яшка размышлял, что бы такое сделать, чтобы без шума и мышь не смогла пробраться наверх.

Он вспомнил, как в губернском городе, на Екатерининской, Генка со своими ребятами ставил на мостках «капканы». Поперек мостков протягивалась тонкая проволока или бечевка; тот, кто шел по мосткам, обязательно запинался и нередко падал, проклиная хулиганов. Генка в это время сидел за забором и смотрел в щелку.

Такие же «капканы» Яшка решил поставить здесь.

Одну проволоку он натянул на крыльце у входа в дверь, вторую — у самой лестницы, третью на лестничной площадке и, наконец, еще одну — на самом верху, где оканчивался последний пролет. Вдобавок ко всему, он повесил по краям проволоки металлические обрезки.

Стояла лунная, звездная ночь. Яшка мерз в холодном подъезде. Коридор и лестница были слабо освещены; где-то на самом верху, под потолком горела маленькая, запыленная электрическая лампочка. В такой темноте нельзя было различить даже лица.

Яшка стоял уже около двух часов, его начало знобить. Он перешел на лестничную площадку и стал греться у батареи парового отопления. Случайно выглянув в окно, он увидел, как к крыльцу подходят четыре человека. Тусклый лунный свет скользнул по стволу винтовки...

Стражник остался стоять у крыльца, остальные начали подниматься по лестнице. Шедший впереди поручик Бессонов — его Яшка узнал сразу, — задев ногой за проволоку, шлепнулся на крыльце, и железины, что были подвешены на проволоке, загремели. Оттуда снизу донеслась крепкая брань.

Яшка со всех ног бросился по лестнице вверх, к дверям конторки. Когда он открывал двери, Бессонов попал во второй «капкан»: железо так и грохотало там, внизу. В конторке уже все встали и толпились у дверей на лестницу, ведущую в цех.

— Спокойнее, товарищи, быстро расходиться по цехам, — говорил Чухалин. Дядя Павел, обернувшись, хитро подмигнул Яшке.

Попав во второй «капкан», жандармы шли уже медленно. Один из них пополз по лестнице на карачках, ощупывая руками каждую ступеньку, остальные тихо шагали за ним.

Пока жандармы поднимались, конторка уже опустела. Чухалин тоже ушел в цех. Только хмурый табельщик что-то писал и около него стоял Яшка.

Дверь с грохотом открылась, как-будто бы ее хотели сорвать с петель. Жандармы не вошли, а влетели в конторку и с бранью подскочили к табельщику:

Где мастер? Встать, скотина, — ревел ротмистр.

Мастер в цеху, — спокойно ответил тот и показал рукой на окно. — А потом, ваше благородие, я не скотина, у меня человеческий облик есть. А если бы я был скотина — козел там или бык какой, — я бы на вас бодаться бросился. Так-то, ваши благородия... Позвать вам мастера что ли, или сами в цех пройти изволите?

— Позови! — отрывисто приказал Бессонов.

— Яша, сбегай...

Когда Чухалин пришел, жандармы начали спрашивать его о пожарной охране, о том, не заметил ли он в цеху посторонних. Дядя Шура отвечал спокойно: нет, посторонних в цеху нет, а пожарную охрану проверяли только вчера.

Жандармы ушли. Чухалин, протянув Яшке руку, прижал его к себе и поцеловал в красную, еще пахнущую морозом, щеку.

VIII

В конце февраля жизнь Яшки круто перевернулась.

Как-то ночью его разбудил тяжелый, будто подземный толчок, и Яшка вскочил, закрывая лицо рукой: в комнату со звоном сыпались стёкла. Далекое эхо разнесло грохот взрыва. Наспех одевшись, Яшка выскочил на улицу: мимо него уже бежали, что-то крича и размахивая руками, люди, навстречу им бежали другие и тоже кричали, и тоже размахивали руками, а в той стороне, где был завод, стояло в морозном воздухе черное, неподвижное облако дыма.

Повинуясь толпе, Яшка побежал туда, схватывая по дороге обрывки фраз: «Пятый цех... начисто... склады...»

Возле заводских ворот стояла плотная толпа рабочих. Взобравшись на пролетку, бог весть как очутившися здесь, Яшка увидел, как там, за забором, люди

носят и складывают какие-то длинные предметы... Там дымились развалины, и Яшка догадался: это то, что осталось от рабочих утренней смены! У него закружилась голова, он чуть не упал с пролетки, но пересилил себя и осторожно слез, зажмурив глаза.

Внезапно он вздрогнул. Мать! Она же работала там, в пятом цехе, и Алешин тоже работал там... Он бросился в толпу, расталкивая людей, проползал на четвереньках, пока не добрался до ворот. Здесь его остановил Чухалин:

— Ты куда, сынок?

— Туда... там... мать...

Яшка задыхался от слёз, комом стоящих в горле. Чухалин, нагнувшись, поднял Яшку своими сильными руками и передал стоящему неподалеку Пушкину:

— Отведи его ко мне...

— Я не хочу! — крикнул Яшка, отрывая от себя руки Чухалина. — Дядя Шура, я не хочу!.. Мама!

Рабочие стояли молча. Яшка видел нахмуренные, злые лица, побелевшие рты: ему стало страшно. В тот момент, когда он уже вырвался из цепких рук мастера, его обняли другие руки, и незнакомый рабочий тихо сказал:

— Иди отсюда, паренек. Сейчас не место тебе здесь.

Яшка рванулся от него прочь, вцепился в железные прутья заводских ворот и затих...

Постепенно до него стали долетать отдельные слова, потом целые фразы. Вот, забравшись на забор, кричит жандарм Бессонов:

— Это немецкие штучки!.. Немцы и большевики заодно, они и подложили бомбу!

Что-то полетело в Бессонова; он поспешно слез с забора, и Яшка видел, как он бежит через двор, придерживая рукой кобуру.

Потом сзади раздался знакомый голос:

— Это ложь!.. На нашей крови богатство зарабатывается, товарищи. Лишнюю копейку жалели на рабочего переложить — вот и погубили столько народа.

Говорил Чухалин. Его голос слышался далеко: молчали все. Он говорил неторопливо, как обычно, взвешивая и обдумывая каждое слово:

— Пора кончать с этим, товарищи. Довольно про-

жизнь нашей крови, хватит. Царь и капиталисты заодно, вместе они душат нас...

Яшка увидел, как несколько человек бегом прошли по двору носилки. На них лежало два трупа. Одна рука, соскользнув с носилок, с глухим стуком упала на землю. Яшка вскрикнул и потерял сознание.

* * *

К мастеру Чухалину, только что пришедшему с вечерних работ, прибежал парнишка-телеграфист. От быстрого бега он задохся так, что долго не мог выговорить ни слова. Наконец, он сбивчиво рассказал, что сегодня утром принял телеграмму, в которой говорится, что царь отрекся от престола, что временный комитет Государственной думы, во главе с Родзянко, взял власть в свои руки и призывал всех к спокойствию и порядку... Была и вторая телеграмма, рассказывал телеграфист: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов предлагал организовывать такие же Советы на местах и брать власть.

— Где эти телеграммы? — спросил быстро одевающийся Чухалин.

— А начальник почты все телеграфные ленты забрал и убежал на квартиру к Молотилкову.

Чухалин, осторожно накрыв одеялом разметавшееся на постели Яшку, выбежал на улицу.

Сначала он заскочил к Беднякову, Булгакову и еще к нескольким большевикам: они постояли на улице, поговорили, потом одни двинулись к дому Молотилова, а другие — на завод.

Минут через пятнадцать тревожно загудел заводской гудок. Из уцелевших цехов рабочие высыпали на заводской двор, к заводу бежали из поселка. Под людским напором открылись двустворчатые тяжелые заводские ворота.

Кто-то принес несколько пустых ящиков из-под снарядов, они стали трибуной, на которую легко вспрыгнул Бедняков. Толпа притихла.

— Товарищи! — крикнул Бедняков. — Вчера в Петрограде свергнуто самодержавие. Кровавый царь отрекся от престола. Сегодня утром пришли телеграммы о событиях в Питере. Почтарь Воробьев, Молотиллов и другие господа хотят скрыть от нас эти телеграммы!

Все они сейчас собрались на квартире у Молотилова. Революцию скрыть нельзя, товарищи!

Толпа двинулась обратно к воротам. Рабочие выходили и сами строились в ряды. Передние двинулись, и сразу зазвучала давно не певшаяся в полный голос песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Песня еще не кончилась, а где-то в середине колонны уже родилась новая:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

У дома Молотилова уже стояло несколько сот рабочих, они прибежали раньше, вместе с Чухалиным и Булгаковым.

— Товарищи, главное — спокойствие! Спокойствие, товарищи! — только и слышалось в рядах. Бедняков и еще несколько человек, раздвигая толпу, поднялись на крыльцо. Через некоторое время на крыльце показался огромный, страшный в ярости кузнец Смирнов. Он, как котенка, тащил за шиворот впереди себя почтаря Воробьева. В сопровождении рабочих вышел бледный Молотилев и вслед за ним жандармский ротмистр. Увидя их, толпа заревела: «Давай их сюда!.. Хватит, поцарствовали!.. Смотрите, какое хайло у жандарма...» Вид у представителей власти был неприятен и жалок. Ротмистр только бормотал: «Служба, ведь, братцы! Пожалейте моих детишек, их четверо у меня. Всё возьмете, братцы...».

Но его уже не слушали: Бедняков размахивал над головой листками телеграмм.

IX

Яшка очнулся только на третий день — бледный, с коричневыми тенями под глазами. Еще боясь открыть глаза, он лежал и слушал, как кто-то тихо ходит по комнате, осторожно передвигая мебель, и, наконец, тихонько позвал:

— Мама!

Шаги смолкли. Яшка, открыв глаза, увидел прямо перед собой стенку с какими-то незнакомыми обоями, часы-ходики и фотографию в резной рамке: эти вещи Яшка тоже видел впервые. Он захотел приподняться и не смог. Всё тело было словно привязано к постели сотнями невидимых веревочек, которые больно и глубоко впивались в кожу. Яшка выдохнул — «пить», и когда почувствовал на губах холод кружки, вспомнил всё...

Его выходила Марфа Ильинична Алешина. Три дня назад чудом спасшийся от смерти Павел Титович пригласил Яшку от Чухалина и, положив на свою кровать, обхватив голову руками.

— Настасья... погибла, — хрипло объяснил он матери. Старуха охнула, прислонившись к дверному косяку, и долго смотрела на Яшку печальными, глубокими, какими только и бывают у очень сердечных старух, глазами. Потом, уже спокойно подойдя к кровати, она медленно провела рукой по жесткой, шершавой Яшкиной щеке и, сердито нахмурившись, сказала сыну:

— Чего панихиду развел? А еще мужик. Ступай-ка, наколи дров — с утра печь не топлена.

Алешин, ошалевший от такого спокойного тона, послушно встал и ушел: только тогда Марфа Ильинична разрыдалась, беззвучно шевеля мягкими ввалившимися губами и вытирая щеки краешком передника. Ей было жаль всех: и Настасью, и осиротевшего Яшку, и сына, опять оставшегося бобылем, и себя. Скоро уж и помирать, а оглянешься — и пусто позади, будто и не прожито шестьдесят пять лет на земле...

Очнувшись, Яшка недоуменно оглядел комнату мутными, пустыми глазами. Он не сразу сообразил, где он сейчас и как попал сюда. Постепенно он начал узнавать вещи: и эти часы-ходики, и фотографии в рамке на стене, и старомодный пузатый комод, на котором стояли в вазочке ломкие бессмертники.

И тогда в памяти вспыхнуло увиденное там, на заводском дворе. Поднеся ко рту руки, Яшка сдавленно закричал и не услышал своего крика. Из соседней комнаты вышла Марфа Ильинична; у нее шевелились губы, очевидно, она что-то говорила, стараясь удержать бьющегося на кровати Яшку. А он снова терял сознание...

Потом он несколько дней пролежал, отвернувшись

к стене. Его заставляли есть — и он ел нехотя, с трудом. Закрывая глаза, он снова представлял себе мать, ее усталое бледное лицо со скорбными складками в уголках рта. Временами ему казалось, что мать здесь, в комнате, и он быстро вскакивал. Нет, это Тит Титович осторожно входил в комнату и, увидев, что Яшка вскочил, махал руками: лежи, лежи, я на секундочку, в комод, только загляну...

Из комода брались вещи и менялись на продукты — для Яшки...

Он, конечно, ничего этого не знал. Опять отвернувшись к стене, Яшка беззвучно плакал, кусая уголок наволочки.

Жуткое чувство одиночества, быть может, и убило бы его, но вечерами, когда собиралась вся семья, он словно бы оживал, стыдился своих слез, и незаметно для себя с жадностью начинал слушать, о чем говорят взрослые. Он и не догадывался, что взрослые собирались здесь и разговаривали ради него, ради того, чтобы это чувство одиночества ушло.

Тит Титович, хрипло смеясь, рассказывал о митинге на площади, перед заводом. Он то и дело хитро подмигивал Яшке, порой вставляя какое-нибудь соленое словцо, и Марфа Ильинична замахивалась на него тряпкой:

— Не охальничай перед ребенком, безбожник!

Постепенно Яшка уже начал представлять себе, что творилось за стенами этого маленького домика, ставшего ему родным...

Еще там, в палисаднике перед зданием, где жил управляющий заводом Молотиллов, люди, узнав о революции, плакали, обнимались, смеялись — будто весной повеяло в этот холодный и серый февральский день. Там же стали выбирать новую рабочую власть — Совет рабочих депутатов. Разноголосе, перебивая друг друга, выкрикивали фамилии, поднимали руки, и снова смеялись, выпихивая на крыльцо первых своих депутатов.

В Совет, как узнал Яшка, было избрано одиннадцать человек. Из них шесть большевиков, в том числе Бедняков, Пушкин и Чухалин; один анархист — Федоров и четыре эсера — один «правый» и три «левых».

На другой день был избран первый легальный за-

Заводской комитет. Председателем его стал Павел Титович Алешин.

Ишка не знал многих слов из тех, которые говорились широкими. «Митинг», «эсеры»... Тит Титович объяснил ему просто:

Эсеры, это, брат, навоз... Не трогаешь, а всё равно не поймет. А митинг... Ну, это когда много народа собирается... Вот тут было на днях...

... 4 марта заводской гудок созвал рабочих на площадь. На трибуне стояли трое незнакомых: один — в плюшевой шляпе, двое в форменных фуражках с синими и зеленым околышами. Около них стояли Молотилов и эсер Карякин.

Когда народ собрался, помощник Молотилова — Ермашев объяснил, что слово имеет представитель губернской власти.

— Какой власти? — крикнули из толпы.

Плюшевая шляпа ответила:

— Граждане русской республики! В столице нашей, в Петрограде, образовано Временное правительство, оно приступило к работе, к подготовке выборов в Учредительное собрание, которое должно отразить волю народа и выбрать законное правительство...

— Не тани, говори, кто в правительстве? — кричали ему.

— Сейчас, граждане, прочитаю! — Он стал читать. Как только он произнес первую фамилию — председатель Совета министров и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов, толпа загудела так, что не слышны были последующие фамилии.

— Опять князь? Царя по шапке, так на шею князь сел!

— Долой князей! Эй! Скажи, а как насчет войны? Когда мир будет?

Толпа кричала всё больше и больше, оратор беспомощно разводил руками: ему не давали говорить.

На трибуну вышел большевик, пожилой токарь Захар Аввакумович Пушкин. И сразу смолкли голоса, наступила ровная, ожидающая тишина.

— Вот что, товарищи! Вы не кричите, а то господа не привыкли к крику. Чего доброго испужаете их... Давайте мы так рассудим. Пускай у них будет князь

Львов, а мы его и знать не хотим. У нас своя власть есть? Есть! Совет рабочих депутатов, который мы вы брали. Правильно я говорю?

— Правильно, давай дальше!

— Ну, вот, господа, видите? — обернулся он к представителям из губернии. — Делать, выходит, вам больше здесь вроде бы как и нечего. Управляющий, наверное, даст вам лошадку, на станцию свезти. Мы-то туда пешком ходим, а вы уж, будьте так добры, на лошадке... Так, что ли, господа? Всё, что ли? Ну, тогда на этом и кончим. Митинг, товарищи, окончен!

Все хохотали, когда губернские ораторы поспешно слезали с трибуны и усаживались в молотиловские сани...

О чем очень жалел Яшка — это о том, что его не было на заводе, когда случилась история, о которой много месяцев подряд со смехом вспоминали рабочие. Тит Титович, впервые рассказывая ее Яшке, хрипел, вытирал слезящиеся глаза, заходиллся кашлем, а Клава и Яшка тихонько повизгивали. Бабушка только улыбалась:

— Да будет вам, дурни... Пупки лопнут.

История была такой.

Когда у людей, вроде Молотилова и Филимонова, прошел первый испуг, они увидели, что жить можно, и снова подняли голову. Хотя и не так, как раньше, но прежнее презрение к рабочему человеку чувствовалось во всем. И неизвестно, кому первому пришла в голову мысль:

— А не прокатить ли их, ребята?

Как-то в один из мартовских дней Молотилов, обходя завод, пришел в цех старшего мастера Филимонова. Пузан сопровождал его, осторожно ступая на полшага сзади, изогнув коромыслом спину.

Они остановились у станка токаря Грачева — левого эсера, избранного в Совет рабочих депутатов.

— Ну, что, власть? Работаешь? — с насмешкой спросил Молотилов. Мастер мелко рассмеялся, поддакивая начальству:

— И власть нынче пошла — шантрапа какая-то!

— Что вам от меня надо? — спросил Грачев.

— Ишь ты! Прямо как губернатор, — издевался Филимонов. Он вздрогнул, увидев себя и Молотилова в

нином кольце рабочих, и выкрикнул, протягивая вперед руку:

— Что это такое? Давай по местам, не то всех перемешаю...

Сказано это было неуверенным, дрогнувшим голосом, в котором явственно слышался испуг. Филимонов подошел к бледного Молотилова, ожидая его помощи. Но управляющий, поняв, что дело зашло слишком далеко, бормотал еле слышно:

— Не надо, Филимонов... Оставь... Идем-ка отсюда, идем...

Но выйти из этого кольца уже было невозможно.

Кто-то спокойно сказал:

— Может, прокатим, всё-таки?

Филимонова схватили. Он сразу обмяк всем своим рыхлым телом и, повернувшись к Молотилону, взвизгнул: — Господин управляющий!..

— Что вы делаете? Оставьте мастера! Я милицию вызову! — крикнул Молотилон. Этого было достаточно возбужденной толпе:

— Валий его тоже на тачку! Везите тачку!

Ждать долго не пришлось. Две тачки, в которых воили глину, с грохотом пригнали в цех...

— Давай их! С удобствами, на рессорах...

Кто-то сбегал в кочегарку и дал гудок. Из всех цехов выбегали рабочие. Под смех, улюлюканье, веселую, крепкую ругань рабочие везли две тачки: с Филимоновым и Молотилонным.

— Эй, рысаки, подождите, — кричали на бегу двое рабочих. Те, кто катил тачки, остановились; рабочие, подбежав, накинули на голову Филимонова и Молотилова мешки из-под сурика.

Теперь тачки мчались по живому коридору. Рабочие улюлюкали, подгоняя «рысаков». Лица мастера и управляющего не было видно, и только по их мертвенно-бледным, скрюченным рукам, судорожно вцепившимся в края тачек, можно было судить, как они оба перепуганы случившимся.

За воротами тачки с хода опрокинули в канаву, полную холодной и грязной сточной воды. Первым выбрался из нее Молотилон. На него страшно было смотреть: лицо у него, измазанное суриком, дрожало, челюсть отвисла.

— Смотрите, ребята, монархист-то покраснел! — крикнул кто-то.

— И вежливый какой!

Вскочив и держась за голову, Молотилов побежал к дому. Пузан тоже был страшен. Выбравшись из канавы, он пятился задом, лицом к рабочим, и всё время низко кланялся им: «Что вы, ребятки... Ну, что вы, ребятки...»

— Ладно, ваяй, — великодушно отпустил его один из тех, кто только что вез мастера. Рабочие стояли у канавы, пересмеивались, переводя дыхание от быстрого бега, закуривали. Никто уже не смотрел в сторону Филимонова, а тот всё еще пятился, всё бормотал: «Ребятки, да я ж... Не надо, ребятки...»

Больше Молотилова на заводе не видели. Не видели и Филимонова: он распродал свое хозяйство и уехал в Сибирь, к брату. На место Молотилова управляющим был назначен его помощник — Ермашев...

Х

Из дома Алешина Яшка вышел, пошатываясь от слабости, и сразу отправился на завод. Черные, закопченные корпуса словно бы притягивали и вместе с тем отталкивали его. Он шел туда с тупой болью от сознания, что не войти ему больше в пятый цех, не подбежать к матери, не услышать ее обычного, ласкового: «Что тебе, Яшенька?». Слезы душили его, начинала кружиться голова. Он несколько раз останавливался, прежде чем добрел до проходной.

Он долго разыскивал Петьку Зуева — до тех пор, пока один из рабочих не сказал ему, отводя глаза в сторону:

— Нету твоего Петьки.

— Как нету?

— Да так вот... Схоронили.

Яшка вздрогнул, побелел, а оказавшийся неподалеку старик Пушкин с упреком сказал рабочему:

— Эх, ты, ботало... Язык у тебя!..

Потом Пушкин подошел к Яшке и, проведя по его щеке шершавой, колючей рукой, посоветовал:

— Разыщи Трохова. Знаешь его? Чертежник. Скажи — я послал... Он тебе найдет дело.

Никакого Трохова Яшка не знал, и ушел в поселок посмотреть, что же там происходит. И куда бы он ни шел, так и казалось ему, что вынырнет откуда-нибудь Петька Зуев, посмотрит, прищурясь, сплюнет и кивнет: «А, это ты? Идем орла забивать».

А кругом шла своим чередом незнакомая жизнь, и ему казалось, что он впервые попал в этот поселок. Уже к концу дня Яшка, облазивший Печаткино, знал, что же изменилось в нем за эти дни, и каждое свое открытие отмечал с удивлением...

Властью в поселке был не присланный из губернии комиссар Временного правительства, а Совет рабочих депутатов и заводской комитет профсоюза. Это раз. Во вторых, в седьмом бараке помещались фракции эсеров и меньшевиков, в тринадцатом — фракция анархистов.

Еще до болезни Яшка много узнал от Чухалина о смысле происходящих событий. Одного не мог понять он: как это работают рядом одни и те же рабочие, а один из них — эсер, другой — большевик, третий — анархист. Правда, все они до сих пор выступали вместе, заодно. Есть, конечно, среди них и такие, как эсер Карякин, ставший после поручика Бессонова начальником охраны, которая теперь называется милицией. Лощеный, фасонистый рабочий... Или еще Федоров, главарь анархистов. Страшный, похожий на беглого каторжника, да и говорят о нем нехорошее: будто был он взломщиком и где-то ограбил банк.

В этот вечер Яшка шел мимо тринадцатого барака и увидел через окна молодежь, подростков из других цехов. Он робко зашел в помещение. Какой-то мужчина рассказывал об «отце русской анархии» Бакуanine, о том, какой это был большой революционер и как дрался в Дрездене на баррикадах. Когда беседа кончилась, мужчина стал объяснять про какой-то «союз юнцов» и пригласил в него записываться. Действительно, после этого ребята потянулись к столу, за которым шла запись... Яшка встал и ушел.

Вечером, вернувшись к Алешиным, он рассказал обо всем, что увидел, Павлу Титовичу. Тот, услышав про запись, тревожно взглянул на него:

— Ты записался?

— Нет. Зачем мне?

Алешин, нахлобучив шапку, буркнул своим:

— Если понадобится, буду у соседа.

Соседом Алешиных был Чухалин. И теперь, идя к нему, Алешин ругал себя за то, что за делами упустил такое дело, как эта «организация юнцов». Черт его знает, что замышляют анархисты: вербуют себе мальчишек, а потом будут им забивать головы всякой чепухой.

Чухалин, услышав об «организации юнцов», тоже нахмурился.

— Что же Трохов смотрит! Поручили ведь ему... Как бы нам здесь не опоздать, Павел. В партии сейчас существует мнение, чтобы партийные организации здесь, у нас, в низовке, вмешались в организацию рабочей молодежи. А мы упускаем ребят... Эх! Намнут нам за это бока в губкоме, ей-ей намнут.

Обычно спокойный, всегда ровный, Чухалин нервно прошелся по комнате, зябко потирая руки:

— Съезд партии будет не сегодня-завтра... О союзах молодежи — отдельный вопрос... Поедет Верный на съезд; возможно, будет там и Ленин. Что Верный расскажет? Что у нас лохматый Федоров заправляет «юнцами», что ли? Да нас за такое из партии гнать надо!

Последние слова он даже выкрикнул — так взволновало его собрание в тринадцатом бараке.

* * *

Гроза разразилась в июле.

Яшка, как всегда, работал в ночной смене Чухалина. Около трех часов в конторку пришли милиционеры от эсера Карякина и увели с собой мастера. Яшка всё это видел и сразу же сказал слесарям. Те переполошились, забежали: оказалось, что в эту же ночь были арестованы большевики Бедняков, Булгаков, Павел Алешин. Утром всех их должны были отправлять в губернский город.

Слесари сразу же послали Яшку в поселок — предупредить об этом оставшихся большевиков.

На обратном пути он забежал к Алешиным, чтобы рассказать обо всем Титу Титовичу. В доме все спали. Яшка перебудил всех своим стуком: открыла ему испуганная Клава. В одной рубашке, в накинутах на плечи старом пальтишке и в сандалиях на босую ногу.

она долго не могла понять спросонья, что случилось.

Потал Тит Титович. Яшка скороговоркой, задыхаясь от быстрого бега, рассказал ему, как арестовали дядю Павла:

Ну, мать, — крикнул Тит Титович за перегородку. — видно до самой смерти не дождемся мы от сыновей покоя. Да и в гробу, наверное, нам одно беспокойство будет. Беги, адвокат, теперь уж ничего не сделаешь. Посидит да вернется твой дядя Павел. Не впервой...

Потом он накинулся на внука:

— Ты что, Клавка, дрожишь и нюни распустила? Глянь бы оделась, а то неудобно: ухажер пришел. Да не рони, дура, вернется твой отец.

Яшку не обманула эта грубость: просто старик скрывал за ней свое собственное волнение.

* * *

Когда Яшка прибежал в цех, там стоял уже такой гул, что только отдельные слова вырывались из общей сумятицы ругательств и криков:

— В милицию пошли, чего там...

— Не дадим гадам Чухалина!

— Павлуху засадили. Ну уж!..

От громкого и тревожного гудка проснулся поселок. Рабочие бежали, одеваясь на ходу; спешили к заводу женщины и подростки.

Милиция находилась напротив проходной завода, в здании бывшей охраны. Здесь уже стояла плотная толпа рабочих, а напротив них, на крыльце, подняв винтовки, переминаясь, жались друг к другу карякинские милиционеры.

Кто-то намотал на палку тряпку, обмакнул ее в нефть и поджег: получился факел, он горел ярко, и видно было, как густой черный дым уходит вверх, к светлому летнему небу. Скоро над толпой вспыхнуло несколько факелов.

Вид большой толпы, освещенной факелами, был по-настоящему грозным и зловеще серьезным. Люди шумели; слышались только обрывки фраз вперемежку с яростной бранью:

— Дождались свободы! Нечего сказать!

— Опять фараоны наших арестовывают...

— Хлеба бы лучше дали.
— Войну кончать надо!
— С голоду подыхаем. В брюхе у всех Иван Пис-
кун да Марья Икотишна!

Женщины, увидя на крыльце рослых, здоровых милиционеров, переключили свою злобу на них:

— Смотрите, какие толсторожие дармоеды.
— В окопы бы таких!
— А что им! Житье! Ничего не делай, спи да жри, да нашего брата в кутузку сади!

Другая женщина возражала:

— Да они работают. Что жеребцы по поселку ходят, сколько уж девок обрюхатили.

— Давайте, бабы! Тащи их! Дадим им порку!

Передние ряды женщин двинулись к крыльцу, где стояли перепуганные милиционеры. В это время на крыльцо тяжело забрался большевик Чугунов и крикнул, поднимая обе руки:

— Товарищи! Никого не трогайте, это мы всегда успеем... Мы собрались здесь по другому делу. Почему сегодня ночью арестовали наших товарищей-большевиков? Их хотят отправить в губернский город. Вы знаете, что они не преступники. Они большевики и боролись против капиталистов, за рабочий класс, за его свободу, против грабительской войны, которая нужна только капиталистам. Потребуем сюда начальника милиции Карякина, пускай он нам скажет — почему арестовали наших товарищей?

— Карякина сюда! Карякина давай!

— Был рабочий, а стал фараон!

Особенно люто кричали пожарные. Большое двухэтажное здание пожарного депо стояло рядом с милицией. Между пожарниками и милицейскими всё время были раздоры, а то и драки: начались эти раздоры с того, что Карякин — нарочно или случайно — отравил брандмейстера метиловым спиртом — угостил на праздничек!

Пожарники выставили из депо рукава и грозились «потопить всю эту милицию». Крикну Чугунов «давай!», и худо пришлось бы карякинским милиционерам.

На крыльцо вышел начальник милиции Карякин. Видно было: человек струхнул; дрожащим голосом он

объявил, что арест произведен по распоряжению губернского комиссара и арестованных можно выпустить только по его приказанию.

Ты нам не вкручивай! — крикнули ему. — Плевать мы на твоих комиссаров! Освобождай, а то плохо будет.

Карякин отлично понимал, что дело может кончиться не одним холодным душем. «Уж если вы же неете...» — промямлил он и пошел в здание. Через несколько минут на крыльцо вышли Бедняков, Чухалин и Алешин. Их встретили молчанием: все рассматривали их, будто видели впервые, а потом кто-то обидчиво засмеялся в толпе, кто-то крикнул:

— Качать их, ребята!

Яшка, работая локтями, пытался пробраться к ним, его отпихивали, толкали, но когда он встал рядом с Алешиним, тот, красный, счастливый, взлохмаченный, поправлял выбившуюся рубашку.

А Чухалин, спокойным, привычным движением протирая стекла очков, уже говорил, говорил, как всегда, негромко и неторопливо, словно не сотни людей стояли здесь перед ним, а несколько человек сидели в его комнате:

— Спасибо вам, товарищи! Спасибо от всей нашей большевистской партии.

Он говорил минут двадцать. Рассказал, к чему призывают народ большевики. Говорил о предательской роли Временного правительства, меньшевиков и эсеров, которые выполняют волю своих и иностранных капиталистов. Толпа затихла и слушала. Чухалин кончил так:

— Час еще не настал, но он скоро настанет, и рабочий класс будет хозяином своей жизни! А сейчас, товарищи, на работу, и по домам! За нас не бойтесь, больше они не посмеют...

Домой они шли втроем: Чухалин, Алешин и Яшка. Но не доходя до дома, Чухалин остановился и, положив руку на плечо Яшке, спросил:

— Дело одно сделаешь? Совсем не героическое...

— Сделаю.

— На тебе ключ. Придешь ко мне в дом, собери пару рубашек, мыло, полотенце, сапоги захвати... А встретимся мы с тобой завтра... Где железнодорожный седьмой знак — знаешь? Ну, вот и всё.

Он пошел в сторону, не оборачиваясь.

— Куда это он? — тихо спросил Яшка у Алешина. Тот не ответил. Он долго смотрел вслед уходящему Чухалину, а потом так же тихо сказал:

— Зайди и ко мне. Соберите с Клавой, что самое нужное. Пусть Клава пойдет с тобой.

Он ушел в другую сторону. Яшка сначала оторопело глядел на его широкую, немного сутулую спину, а потом, догнав, дотронулся до рукава:

— Дядя Павел... Вы уходите? Насовсем?

Алешин обернулся. На Яшку глядели грустные, глубокие синие глаза с черной каемочкой вокруг зрачков.

— Насовсем? Нет, брат, не насовсем... Мы скоро придем, Яшка.

XI

К железнодорожному знаку он пошел вместе с Клавой. Вдвоем они миновали последние бараки, и прямо перед ними, сливаясь далеко-далеко в узкую серебристую полосу, легла железная дорога. Они шли по шпалам, мелко и непривычно семеня, а потом прыгнули на песчаную насыпь; идти было трудно, крупный песок больно колот ноги.

Яшка не думал, что он устанет первым; очевидно, сказалась недавняя болезнь. Когда он опустил к ногам узелок и сел, Клава спросила: «Может, помочь?» Он не ответил ей, будто не расслышав вопроса.

Ему казалось, что все переменялось кругом. Каким-то необычайно нарядным был лес, с обеих сторон подступивший к железнодорожному полотну, — и эти тоненькие березы с черными, будто нарисованными полосками на белой коре, и бронзовые от солнца сосны, и одинокие ивы в низинах, покрывающиеся легким серебром, когда набегал ветер. И воздух — свежий, напоенный тонким запахом хвои, разогретой смолы, болотистой прели, — был пьянящим, таким, что, казалось, звенел, растекаясь по земле. Но нет, это только кузнечики неумно стучали в траве, да птицы звенели, вырываясь из лесной духоты.

Они дошли до ручья и сбегали к прозрачной, тихо всплескивающей возле коряг, воде. Клава первая опустила в ручей горячие, покрытые пылью ноги. А Яшка

не испугался; он всё делал и воспринимал теперь как медленно, словно оглушенный тем мимолетным, но ярким видением.

Когда их сзади окликнули: «Эй, вы, куда шагаете?» — он не вздрогнул, не испугался и медленно обернулся. Там, за кустами, стоял парень с винтовкой. Видна была его голова, сбитый на затылок карман с расколотым козырьком да загоревшая жилистая шея.

А, это ты... — протянула Клава. — Смотри, как испугал.

Парень вышел из-за кустов. Яшка узнал его, раз или два он видел его на заводе.

— Куда шагаете? — повторил он.

— А тебе что? — спросила в свой черед Клава. — Не с тобой по пути ведь.

— Может, возьмете в компанию?

Яшка смотрел на его красивое, улыбающееся лицо, светлые волосы, свободно падающие на лоб, и хмурился. Парню было лет двадцать пять. Черт его знает, что за человек, и почему у него винтовка. Во всяком случае, Яшка решил, что никуда он с ним не пойдет: надо полагать, Чухалин не очень обрадуется, увидев его с кем-то чужим.

— Не по пути? — прищурил глаз парень. — Можешь ты к эсерам записалась? Или к этим... как их... в «организацию юнцов», а?

— Никуда я не записывалась, — разозлилась Клава. — И не приставай, не то отцу скажу.

— Отцу? Ну, так бы и говорила, — захохотал тот. Яшка увидел кривые, напалзающие один на другой зубы и ему стало неприятно: красота парня сразу куда-то исчезла.

— Значит к отцу шагаете? Ну-ну... Видал я его утром, Павла Титыча. Привет тебе просил передать.

— Спасибо, без твоих передач проживу, — обрезала Клава, поднимаясь и поднимая узелок. — Пошли, Ишенька.

Так она назвала Яшку впервые. И он покраснел, когда увидел, как парень, оглядев Клавину фигуру, отвернулся и хмыкнул: «ну-ну...»

Уже пройдя шагов сто, Яшка спросил:

— Кто это?

— Этот-то? Мишка Трохов.

— А чего ты его... так?

— Пусть. За девчонками много бегает.

Яшка почувствовал за этим ответом что-то еще недоступное ему — и то, что Клава здесь понимает больше его. Это открытие его удивило: Клава на один год была старше его. Искоса поглядывая на Клаву, Яшка подумал: «Вот ты... какая...» Но какая — он так и не смог объяснить себе.

Внезапно он вспомнил фамилию этого парня; к Трохову его посылал Пушкин: «Пойди к Трохову, он тебе найдет дело».

— А чего он тут околачивается? — спросил Яшка. Клава пожала плечами.

— Не знаю... Может, на охоту пошел? Он у нас был несколько раз, отец его сильно ругал. «Ты, говорит, вместо того чтоб молодежь организовывать, за поселковыми девчонками охотишься, а еще большевик».

— Он разве большевик? — удивился Яшка.

— Надо полагать — большевик.

На этом разговор о Трохове и закончился.

* * *

Его разбудили ночью. Чья-то сильная рука приподняла его за плечо, встряхнула, и Яшка, еще ничего не разбирая спросонья, крикнул.

— Чего орешь? Тише, щенок.

Ему казалось, что всё это — только продолжение очень тяжелого сна, и лишь стоит захотеть и проснуться, как всё будет по-прежнему. Но ему уже заткнули рот; он видел, как кто-то нервно чиркает в темноте спички, обламывая их, и слышал сдавленный шёпот:

— Не тяните. Люди могут проснуться.

Яшке было страшно, когда его несли. Крикнуть он не мог: в рот ему засунули тряпку, напрасно он пытался вытолкнуть ее пересохшим языком. Когда его бросили на пол, он застонал от боли и освободившимися руками вытащил тряпку.

Он был в незнакомой, пустой комнате. Только у окна стоял стол, тоже пустой, а само окошко было наглухо завешено одеялом. Яшка обвел комнату мутным взглядом, фигуры людей расплывались у него в глазах; наконец, их очертания стали ясными, и Яшка

узнал одного из них — начальника милиции Карякина.

О нем Яшка знал много и откровенно недолгоблил этого человека. Карякин — до Февральской революции рабочий — ходил в выходной день во фраке и цилиндре на танцы. Пожалуй, ни один рабочий не получил столько, сколько он; и мастер Чухалин однажды, провожая взглядом расфранченного Карякина, сказал Яшке:

Сукин сын этот Карякин. В нем и рабочего-то ничего нет. Так — дрянь-человек.

Карякин стоял, расставив ноги в защитного цвета тапифе и крагах медного цвета. Яшка, лежа на полу, видел теперь только эти начищенные краги. Он вздрогнул, когда краги приблизились к нему вплотную и ласковый, тихий голос, сказал сверху:

— Ты прости, что мы с тобой... так. Обознались. Сидись. Пить, наверно, хочешь? На, попей.

Карякин сунул ему фарфоровую кружку, и Яшка взял ее дрожащими руками, расплескивая воду.

— Да ты не бойся, Курбатов, — утешительно улыбнулся начальник милиции. — Свои ведь все люди. Валяй, пей.

Когда Яшка допил воду, Карякин, будто ненароком, спросил:

— Что, хороша вода-то? Сельтерская. А ты с перепугу и не разобрал? Небось, у Чухалина в землянке тебя такой не поили, а?

Яшка молчал. Карякин повторил:

— Не поили, верно?

— В какой... землянке? — тихо выдохнул Яшка.

— Да там, в лесу, — Карякин махнул рукой на окно. — Ты ж вчера ходил туда. Ходил ведь?

Яшка понял, что ждал от него Карякин. Тот стоял отвернувшись, будто этот разговор его несколько не интересовал. Но по тому, как нервно он постукивал по крагам длинным ивовым хлыстом, Яшка догадался: нервничает.

— Никуда я не ходил, — буркнул Яшка. — О какой землянке вы спрашиваете...

Карякин обернулся. Прямо на Яшку смотрели узенькие воспаленные глазки; он видел, как вздрагивают тонкие ноздри начальника милиции и всё сильнее и сильнее белеют губы.

— А ты не запирайся, паренек, нехорошо это. Мы-то ведь знаем, что ходил. Дочка Павла Алешина еще с тобой была — Клава. Еще этого встретили... как его? Трохова. Было такое дело? Потом, у седьмого железнодорожного знака передали Чухалину и Алешину вещи? Верно ведь? И в землянку они вас к себе отвели. Ну?

— Какая такая землянка... — упрямо, прикидываясь дурачком, которому начисто отшибло память, повторил Яшка. Ему сразу вспомнилось другое: город, и такая же пустая комната, и оловянные тусклые глаза жандармского ротмистра...

Терпения у Карякина хватило не надолго. Яшка инстинктивно закрыл локтем лицо, когда услышал свистивового хлыста. Он бился на полу под ударами, кричал: «Дяденька, не надо, дяденька... Я не знаю... я...»

Кричал и знал, что он ничего не скажет об этой лесной землянке, где сейчас сидит спокойно самый близкий ему человек — мастер Чухалин, сидит и не подозревает ничего.

Боль только ожесточала его. Она уже успела ожесточить паренька за всю его короткую жизнь — эта вечная боль, вечная проголодь, вечное помыкание — и быть может потому только тело теперь чувствовало эту боль: сердце не чувствовало ее. И Яшка молчал...

Он молчал и тогда, когда его сбросили с крыльца, и он, с трудом поднявшись на ноги, пошел куда-то по темной улице.

«Кто же выдал?» — внезапно подумалось ему. Но не у кого было спросить: пустая улица лежала перед ним, да небо, густо усыпанное звездами, раскинулось над головой.

* * *

Неизвестно, какими путями узнал Чухалин о том, что Яшку били в милиции. Тит Титович, не найдя его на заводе, пришел в барак и, под каким-то предлогом услав на кухню старуху, живущую за перегородкой, помог Яшке подняться.

— Что, больно, адвокат? — сыпал он быстрым говорком. — Ну, да ничего. За одного битого, знаешь, сколько небитых дают? Крепче будешь. А что не сказал — молодец, парень, ей-богу, молодец.

А вы откуда... знаете? — улыбаясь рассохшимися, кровоточащими губами, спросил Яшка.

Так, ведь люди разные есть... Свой человек скажи. Знает, значит...

Кто же тогда...

Яшка не договорил. Мысль о том, что о землянке, где они были, могла проговориться Клава, ужаснула его; Тит Титович понял:

— А кто его знает. Место-то никто не открыл.

По дороге, придерживая Яшку подмышками, старик перевел разговор на другое, на близкую осень, на грибы, которые растут в окрестных лесах в несметных количествах, и Яшка молча слушал его, думая о том, куда это они идут.

Они прошли весь поселок; там, у крайнего дома их ждала телега, и толстогубый мерин лениво помахивал хвостом, отгоняя мух. Не знакомый Яшке возница засуетился, подложил сена, заботливо подоткнул Яшке под бок какую-то рогожку и тронул вожжи. Мерин лениво мотнул головой и пошел. Тит Титович шагал рядом с телегой, держась за Яшкину руку. Белая рубашка отсвечивала на солнце, и подбородок у старика был совсем белым.

— Куда мы? — тихо спросил Яшка. Тит Титович долго не отвечал, щурился, жевал губами, а потом так же тихо сказал:

— Дело тебе найдено. В поселке сейчас тебе, парень, жизни не дадут... Значит, едешь к делу — и точка.

Как ни привык Яшка к частым и всегда неровным переменам в своей жизни, эта была совсем необычной.

Всё было так, как он не мог даже предполагать. На лодке Тит Титович подвез его к глиняному обрыву. Река, омывая его, становилась ярко-желтой. Старик, внимательно оглядываясь, подогнал лодку к самому обрыву и воткнул в глиняный откос багор. Сразу же сверху полетела веревка; она долетела одним концом до воды, глухо шлепнувшись и подняв сотни разноцветных брызг, и Тит Титович, подхватив ее, опять зачастил немыслимой скороговоркой:

— Давай, я тебя под микитки-то повяжу... Как потянут — руками держись, а ногами толкайся от обрыва, толкайся... крепкая веревка, не бойся... Ах, ты, как они тебя разукрасили... Не больно так-то, а? Ну, про-

щай пока, адвокат. Клаве поклон передать, что ли? Лезь давай, лезь...

Там, в пещере, вырытой в обрыве, была типография. И когда Яшку подхватили руки Беднякова, Булгакова и дяди Франца, он впервые за долгое время заплакался, не стесняясь своих слёз, размазывая их по лицу грязными руками, чувствуя, как ему хочется что-то сказать, а слов-то и нет, есть только радость....

* * *

Есть только радость...

Как они быстро прошли, эти три месяца! Облетел ивняк, закрывающий вход в пещеру. Отсюда, сверху, разом открывались взгляду побуревшие поля, уходящие куда-то в сиреневую, дымчатую даль. Рощи на противоположном берегу реки пожелтели, всё меньше и меньше становилось на них листьев. По ночам высоко в звездном небе тянули к югу косяки диких уток; далеко-далеко был слышен свист их крыльев в холодном осеннем воздухе.

А потом наступили ясные солнечные дни, и в воздухе медлительно плыли тонкие паутинки «бабьего лета». Пролетели и они. Прошел первый снег, мокрый, липкий, и стоял, не залежавшись.

Прошли дожди. Косые, ледяные ливни сорвали с деревьев последнюю листву. По ночам подмораживало, ветер стучал в крепкие ставни, которыми закрывалась землянка. Выглянув как-то утром, Яшка увидел, что река побелела под берегом: это за ночь сковал тихие заводи тонкий ледок.

Три месяца! Каждый день Булгаков, кончив набирать очередную листовку, ложился на нары, подзывал Яшку и рассказывал ему о Ленине, о революции, о том, зачем надо разогнать «исплотаторов». Три месяца! Яшка научился набирать на верстатке заголовки и печатать, прижимая рычагом к набору тяжелый пресс. «Товарищи рабочие! Больше ждать нельзя. Партия призывает вас взяться за оружие в нужный момент. Пришла пора, когда мы, веками бывшие в угнетении и бесправии...»

Он сам помогал дяде Францу и Булгакову опускать на веревке в лодку тяжелые ящики. Он знал, что там, в этих ящиках, винтовки...

Чисто землянка пустела: Яшка оставался вдвоем с Францем и, лежа на жесткой, сколоченной из неоструганных досок скамье, слушал, как Франц тихонько играет на губной гармошке.

Как-то раз он неожиданно спросил Франца:

Ты сюда как попал?

Франц, оторвав гармошку от губ, расхохотался.

— Вспомнил? Давно вместе живем — сейчас вспомнил? Да так; раз-два и нет Франца.

— Сбежал? — догадался Яшка. — А ты разве тоже большевик?

— Я? Нет. Я социал-демократ... Как это... как рука называется?

Он поднял левую руку.

— Ну, левая.

— Вот. Левая социал-демократ. Карл Либкнехт — слышал?

Подбирая слова, он долго объяснял Яшке, кто такой Карл Либкнехт, кто такие левые социал-демократы, и, наконец, Яшка понимающе кивнул:

— Тоже, в общем, вроде большевиков, значит...

На этом выяснение партийной принадлежности Франца кончилось, и Яшка остался доволен услышанным.

Ночью поодиночке возвращались жители этой землянки: Чухалин и Алешин, Бедняков, Пушкин и Булгаков. Просыпаясь, Яшка слышал их голоса; все говорили шепотом, Булгаков что-то раздраженно доказывал, а Чухалин повторял: «Ах ты, дьявол!».

Было ясно: у них что-то не ладится.

Как-то раз в землянке, кроме Франца и Яшки, остался больной Чухалин. Накануне он промок, простыл и теперь сухо кашлял, сгибаясь от боли в груди. Алешин не пустил его из землянки: «Пережди хоть день, я тебе горчичники принесу и молока с медом». И Чухалин остался. Он сидел злой, хмурый, осунувшийся, трясущийся от озноба, и словно не знал, куда девать себя, чем заняться. То и дело он подходил к выходу и глядел на пустую реку. Яшка понимал: нервничает. Он подошел к Чухалину и, дернув его за рукав, спросил:

— Что вы все... какие-то стали, дядя Шура... Не такие какие-то.

Чухалин улыбнулся через силу:

— Какие «не такие»?

— Ну, такие... неразговорчивые.

Чухалин задумался. Подняв голову, он встретился глазами с Францем и, медленно подойдя к нему, сел рядом на скамейку, устало растирая лицо ладонями:

— Плохо, брат, дело... Провокатор появился. За последние дни — пять арестов. По баракам обыски — нас ищут. А время такое, что люди нам позарез нужны.

— Скоро? — спросил Франц, глядя на Чухалина. Они снова понимающе переглянулись.

— Очевидно, скоро, — тихо ответил Чухалин. Он поднялся, зябко повел плечами и, что-то решив, направился к выходу.

Яшка загородил ему дорогу:

— Вы куда, дядя Шура, вам не велели...

Чухалин хотел было засмеяться, но опять сухо закашлял, его так и било...

— А ты сам... хочешь... чтоб другая жизнь началась? Чтоб всё скорей было? А?

Подойдя к выходу, он обернулся к Францу:

— Подержи веревку, пожалуйста. Ребята придут — скажешь, я к шестерке пошел, проверю, достали ли они еще оружие. Ну, не скучать!

Он подмигнул Яшке и, обхватив веревку, соскользнул вниз по обрыву. Минуту спустя Франц, задумчиво сворачивая веревку, сказал, словно ни к кому не обращаясь:

— Какие люди!.. Я не всё понимать... но это настоящий революционер. Вроде он быть надо, Яшка.

А Яшка думал о другом: о том, что вот сейчас идет сквозь эту глухую промозглую ночь Чухалин, идет, чтоб скорее началась другая жизнь.

И когда через несколько дней, в одну из ночей — холодных и ветреных — его подняли с теплой постели, он почувствовал, что жизнь меняется. Уже там, в лодке, Тит Титович прижал Яшку к себе, ткнулся ключим подбородком ему в щеку и, тихо рассмеявшись, сказал:

— К новой жизни едешь, адвокат. То-то! Стар я вот только... Обидно маленько.

Есть только радость!.. И как ни была холодна эта

...как ни металась низко по небу черные, в пепельных разводьях, разлохмаченные тучи — только радостно чувствовал Яшка, еще не зная, о какой новой радости говорит старик и почему обидно ему от своей старости.

ХII

В пустом доме Печаткина, где он жил, приезжая на неделю из Петрограда, шел обыск. Яшка увязался к милиционерами; милиция в поселке была новая, ее начальником ячейка большевиков и Совет рабочих депутатов назначили бывшего брандмейстера пожарной команды Лукина.

Яшка, затаив дыхание, вошел в этот дом, словно нарочно спрятанный от глаз за высоким кустарником и деревьями. Он впервые видел такое богатство — золоченую мебель, ковры, разрисованные потолки, дорогие безделушки на каминной полке, столах, подставках... Лукин, заметив его удивленный взгляд, усмехнулся:

— Что, брат, красиво? То-то. Теперь эта красота наша: клуб здесь устроим.

Когда милиционеры отодвинули тяжелый, мореного дуба шкаф, Лукин захохотал: там, за шкафом, перевитые густой, свалявшейся паутиной, лежали старая калоша, пустая бутылка, какие-то пожелтевшие обрывки бумаги.

— Вот она, буржуазия, — хохотал Лукин. — Наверху красота, а под ней пустота да калошина драная. Ну-ка, Яшка, дуй в завод к уборщицам, пусть приходят с тряпками и ведрами.

На улице Яшку остановил Чухалин:

— Ты куда?

Тот сбивчиво, захлебываясь от восторга, рассказал ему о доме Печаткина, и Чухалин, задумчиво улыбнувшись, отпустил его. Но Яшка не уходил; он почувствовал — Чухалин чем-то озабочен — и дернул его за рукав:

— Вы чего, дядя Шура?

— Да так, Яша. Понимаешь, дело-то какое... Меня комиссаром на завод назначили... Вроде бы тоже старые печаткинские калоши выносить надо. Барахла-то его здесь много скопилось. Да ты иди, иди...

Яшка помчался дальше, не подумав над словами Чухалина.

А «барахла», о котором он говорил, было действительно много. И вот уже 14 ноября Советское правительство ввело рабочий контроль над производством. Декрет предоставлял рабочим право контроля «над производством, куплей-продажей продуктов и сырых материалов, хранением их и финансовой стороной предприятия».

Общество фабрикантов и заводчиков, разумеется, не подчинилось этому декрету и разослало своим фабрикам и заводам циркуляр, в котором говорилось:

«Предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства сложным механизмом промышленности, приведет ее к быстрой гибели, общество отвергает классовый негосударственный контроль рабочих и предлагает, в случае предъявления на предприятиях требований о введении рабочего контроля, такие предприятия закрывать».

До поселка Печаткино стали доходить слухи о саботажах, о том, что отдельные предприятия закрываются... Чухалин ходил по заводу, улыбаясь в усы, и хитро посмеивался:

— Ничего, пусть у нас попробуют.

Но завод работал, и управляющий Ермашев, ужом извивающийся перед Чухалиным, казалось, из кожи лез вон, чтобы заслужить доверие новой власти. Александр Денисович, приглядываясь к нему, догадался: да ведь он, Ермашев, просто хочет сохранить завод! На одном из собраний ячейки он высказал эту мысль, и большевики зашумели:

— Значит, рассчитывает, что старые хозяева вернутся?

— Приедут — и, пожалуйста, заводик: в целости и сохранности.

Чухалину пришлось успокоить страсти:

— Во-первых, не пойман — не вор. А во-вторых, пусть ведет себя так же, как сейчас, нам это только на руку. Мы-то ведь знаем, что старые хозяева не вернутся сюда. А вот когда и Ермашев поймет, тогда уж за ним будем глядеть в оба. Давайте лучше послушаем Трохова...

Трохов, поднявшись и держась за спинку стула,

поднимая глаза к потолку, начал перечислять, что родично по организации Союза молодежи: работает «актерский кружок» и ребят учат стрелять из винтовок.

Маловато, — хмыкнул Алешин. — Я по своим ребятам сужу: Клавка с утра до ночи Чарскую мусолит, а Яшка Курбатов мотается бог весть где.

Трохов, вскинув на него свои красивые, чуть раскосые глаза, удивленно пожал плечами:

— Они оба какие-то несознательные. Я их знаю, говорил с ними, а они не поддаются.

Чухалин захохотал, откидывая назад голову. Смеялся он так заразительно, что все находящиеся в комнате, кроме Трохова, заулыбались.

— Не поддаются? А может, ты не умеешь?

Трохов снова пожал плечами: дескать, ничего смешного не вижу, а они на самом деле не поддаются.

— И вообще, — обиженно сказал он, — в этом Курбатове сидит какой-то мелкобуржуазный элемент.

Чухалин качнул головой и нахмурился. Яшку он любил — это была очень строгая и скрытная любовь одинокого человека к другому одинокому и в сущности еще очень беспомощному. После того, как он узнал, что Яшку били в милиции и ничего не выбили из него, Чухалин чувствовал себя в чем-то виноватым перед Яшкой всякий раз, как они встречались.

А встречались они теперь редко. На Чухалина и Алешина свалилось столько разных незнакомых дел, что впору было только за полночь притащиться домой, не разогревая, поесть, что найдется, и свалиться спать. Чухалин осунулся и словно бы постарел за эти недели. Алешин как-то с усмешкой заметил ему:

— Что, Денисыч, революцию-то, выходит, легче было сделать, а?

— Легче, — сознался Чухалин. — А помнишь, как Ленин сказал: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали у богатых для бедных...» Ну, дальше как?

— Экзамен? — улыбнулся Алешин. — «Мы должны теперь Россией управлять».

— Вот и управляй, — отозвался Чухалин. — А что с хлебом беда — это, брат, нож острый... Ох, чует мое

сердце, будет нам от этого бед... Голод, Павлушка, лучший агитатор против нас.

Действительно, с хлебом становилось все хуже и хуже.

Стояли морозы, и люди мерзли в очередях. Иногда дня по три не выдавали положенной нормы — фунт в день. Хлеб был тяжелый, как говорили — «с закалом», с овсяной колючей шелухой, но и такому были все рады. Часто вместо хлеба выдавали колоб или дуранду, так называли в поселке льняные и подсолнечные жмыхи. Рабочие ходили на заметенные снегом старые картофельные поля, искали и собирали в мерзлой земле оставшиеся гнилые картофелины. Остатки вещей несли в деревню, меняли на картошку, на крупу, хлеб. Давно ели конину.

Однажды Чухалин, войдя в цех, увидел, как несколько рабочих что-то попрятали по карманам. Он сделал вид, что ничего особенного не заметил, подошел, заговорил о делах, о том, что надо расширять больницу и открыть школу для взрослых... Рабочие слушали его молча. Наконец, один из них, мрачно сплюнув, сказал:

— Ты лучше вот что скажи, комиссар: советская власть нас все время будет голодухой жать? У нас уже животы к спине поприсохли.

Чухалин кивнул:

— Знаю. И с хлебом будет пока трудно.

— Пока? — ухмыльнулся другой. — Ну, вот, мы пока и будем себе... облегчать.

Он вытащил из кармана пригоршню зажигалок и протянул Чухалину:

— Возьми, комиссар. Поменяешь на хлеб. Сам уже желтый, ровно японец...

Чухалин обвел лица рабочих медленным, тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел к выходу... Проходя мимо инструментальной мастерской, он невольно зашел туда и еще издали увидел, как Яшка, склонившись над тисками, опиливает косарь, какими в деревнях щиплют лучину.

Яшка не замечал Чухалина: а тот долго стоял и глядел на него с какой-то бессильной, мертвой тоской, боясь подойти и сказать пареньку что-нибудь ласковое и утешительное.

Чухалин понимал, что первым делом надо поднять трудовую дисциплину. Ячейка большевиков и заводской комитет проводили многочисленные собрания и митинги, много говорили о дисциплине, но все чаще и чаще Чухалин слышал от Ермашева: «Сегодня опять-с сорвали норму».

На одном из собраний был избран товарищеский суд. Он состоял из трех членов, в него вошли старые рабочие — Фома Иванович Кижин, финн Петр Иванович Киуру и дед Клавы, Тит Титович. Вскоре суд был буквально завален разными делами.

Когда Яшка заходил вечером к Клавке, старик Алексеевич смеялся:

— Вот видишь, адвокат, и я в свои семь десятков судьей стал. А ты Плевакой обязательно будешь. Шустрый ты, да и говоришь складно. Только берегись этой породы, — кивал он на Клавку, — они под монастырь подведут!

Яшка понимал, что старик шутит, и отвечал ему на шутку смехом.

Но старик быстро обрывал смех и, серьезно глядя в глаза Яшке, тихо спрашивал:

— Ты где пропадаешь?

— Так, — уклончиво отвечал Яшка. — То работу, то дома сижу...

— Почему у нас редко бываешь?

— Некогда.

— Ишь ты, какой занятой... Небось, в орлянку режешься?

Яшка молчал: старик был прав.

В поселке ребята «резались» в орлянку с утра до вечера. Монету ударяли о стену, а потом «натягивали четвертью» — большим и указательным пальцами. И если доставали до обеих монет, то они считались выигранными.

Однажды ребята играли в обеденный перерыв. Вошли в азарт и решили играть после работы. Среди ребят был Васька Матвеев — семнадцатилетний подручный слесаря, первый хулиган в поселке. Он-то и предложил сыграть «по крупной»:

— А то никакого интереса нет. Так хоть кто выиграет, брюхо набьет. Ну, Курбатов — будешь?

Яшка не хотел отставать от компании и начал играть.

Вначале ему везло, он выиграл больше рубля мелочи и две «керенки». А потом проиграл все — только деньги, но и ремень с пряжкой. Матвеев предложил сыграть на казенный инструмент, и Яшка, подумав, согласился, проиграл взятые на марки из кладовой штанген-циркуль, набор небольших сверл, три метчика и свой собственный нутромер.

Лицо у него горело так, будто ему надавали пощечин. В пальцах появилась какая-то ранее не знакомая дрожь: ему казалось, что он сейчас разрешится от досады. Матвеев ухмылялся, рассовывая по карманам выигранный инструмент, и когда Яшка снова предложил ему сыграть, осклабился:

— Штаны ставишь? Или нет... Если проиграешь — пойдешь со мной на деревню. Вроде как бы слугой. Что дам, то и понесешь. Ну?

Они снова сыграли, и Яшка проиграл. Матвеев, уходя, угрожал ему пальцем:

— Завтра пойдем. Будешь рыпаться — прибью.

«Что же я наделал? — думал Яшка ночью. — Хватятся инструмента — а его и нет... Отнять по дороге у Матвеева? Убьет насмерть... У него финка в кармане... Сказать — стыдно...» Сон у него был беспокойный, он проснулся с тяжелой, гудящей головой, будто и не спал вею эту ночь.

Пора было идти. Матвеев ждал его под окном, лениво потягивая толстую, в палец, сигарку.

Из деревни они возвращались часа через три: Яшка торопился попасть к смене и, задыхаясь, тащил небольшой мешок муки и бутылку с самогоном. Матвеев, шагая рядом и чертя прутиком по снегу, говорил:

— Ничего житьишко с новой-то властью? А только, парень, все едино: каждый про себя думает. Вот и я тоже: сыт и нос в табаке. Постой-ка...

Он взял у Яшки бутылку и, приложившись к горлышку, начал пить. Острый кадык заходил вверх-вниз под грязной кожей, словно стараясь разрезать ее. Матвеев покраснел, вытер слезы и протянул бутылку Яшке:

— Попробуй, хлебни. Греет.

Яшка был голоден. Самогон ударил ему в голову, ноги перестали повиноваться. Он плохо помнил, как добрался до Печаткино: очнулся он на своей постели. Во рту застыла горечь — будто кто-то приклеил язык к нёбу. Голова у него трещала.

Сколько времени спал — он не мог определить. Дни на севере короткие, в четыре часа уже было темно.

Пусто было в комнате. Яшка встал, его подташнивало. Он вышел на улицу и побрел к заводу, с омерзением вспоминая даже самый запах выпитой самогонки.

Его мучил стыд, когда он входил на заводской двор, еще не представляя себе, как будет смотреть в глаза старшим и что скажет мастеру. Пока он шел до уборной, навстречу ему никто не попался. В уборной он умылся холодной водой, сунул под кран голову и напился. Вода приятно холодила во рту. Яшка постоял, подумал, и пошел в цех.

Здесь уже работала вторая смена. На часах было без четверти шесть: он опоздал почти на два часа.

Неизвестно откуда, но здесь уже все знали: его встретили ехидными улыбками и нарочито громкими словами — такими, чтобы слышали все:

— Смотри, ребята, алкоголик пришел! Такой шкет, а уже пьяница.

— Что ж дальше будет? С этих лет, а уже самогонку хлещет. Растим вот таких... В глаза-то не стыдно смотреть? — ругалась уборщица тетя Паня.

Яшка повернул к выходу, но дорогу ему загородил мастер Мелентьев. Добрейшей души человек, сам не дурак выпить, он смотрел на Яшку как-то исподлобья, словно не зная, с чего начать разговор.

— Инструмент где? — тихо спросил он.

Яшка не ответил.

— Пропил, значит? Ну что ж, иди... Протрезвись, зеленый ведь весь.

Яшка прожил два дня, как в тумане. На третий его вызвали на допрос к члену товарищеского суда, и Яшка, не таясь, все рассказал: и об орлянке, и о Матвееве, и о себе. «Чего таиться? — думал он. — Все равно ведь... все знают».

Действительно, старик Кижин, член суда, знал уже все. До Яшки у него на допросе были Матвеев и ребята, присутствовавшие на игре...

В воскресенье в клубе было назначено заседание «третейского» суда. Большая комната была полна, а люди все шли и шли, принося с собой свежий морозный запах улицы. Яшка и Матвеев сидели на «скамье подсудимых» — двух табуретах с правой стороны от судейского стола.

Вышел суд. К своему ужасу Яшка увидел, что на председательское место усаживается Тит Титович Алешин. Яшке показалось, что старик зло посмотрел в его сторону, и, покраснев, Яшка отвернулся, чувствуя, что не выдержит и заплачет.

Секретарь суда стал читать обвинительное заключение. Потом наступила томительная пауза. Члены суда не спеша протирали стекла очков. Когда Тит Титович надел очки и взглянул на «скамью подсудимых», он сделал вид, что впервые увидел там Яшку:

— А, и адвокат здесь? Что же это получается? Я думал, ты сам скоро судить других начнешь, Плевакой будешь. А ты, на-ко, самого судить будут. А я-то, старый дурень, считал, что парень ты хороший, вот, думал, жених будет моей внучке. Сватать за тебя Клавку хотел. А какой бы из тебя зять получился? Верно все говорят — чистый алкоголик. Тебе не самогонку, а молоко еще сосать.

Яшка всхлипнул, и Алешин, видя что он готов зареветь, поднял голос:

— Ты не реви. Плакать надо было тогда, когда такое безобразие начинал делать! А теперь поздно, слезы все равно не помогут!

— Москва слезам не верит! — качнул головой неразговорчивый финн Киуру.

Яшка всхлипывал все чаще и чаще, а суд, казалось, не замечал ничего.

— Вот видишь, человек читает про твои грехи, а мы тут сидим, на тебя смотрим, — тихо, словно нехотя, говорил Алешин. — Нам всем троим, поди, лет за двести будет, и никто себя дурным делом не запятнал. Скажи, Яша, часто это ты на деньги играешь?

— Ни разу я не играл, Тит Титыч, — сквозь слезы сказал Яшка. — Первый раз это было...

— Может, тебя кто принудил или уж очень приглашал сыграть? — спросил Киуру.

В голове Яшки вмиг пронеслась вся картина, ког-

ди он не хотел играть, слова Матвеева — «сопляк» и неодобрительный гул голосов остальных ребят.

— Нет, это я сам... Сам виноват! Никто меня не заставлял.

Ему не хотелось выдавать ребят. Да и так-то говори — конечно, виноват сам: кто насильно мог заставить? Значит, еще силы воли нет. О силе воли он читал во многих книгах и знал, что ее нужно воспитывать.

А Тит Титович не унимался:

— Скажи-ка ты, Плевака, как дело было, с чего началось оно?

Яшка еле слышно начал рассказывать. Из зала слышались крики:

— Громче, громче! Ничего не слышно!

— Вы сами-то тише; знаете, что голос он пропал, — язвительно сказал один из членов суда.

Яшка стал говорить громче.

— Ну, хорошо, — перебил его Тит Титович. — За инструмент тебе особо влетит. А ты мне вот что скажи: зачем самогонку пил? Заставляли тебя, что ли? Ведь на два часа опоздал в смену, да и то не работал, а в уборной отхаживался.

— Я попробовать хотел, что за первач такой. Интересно было, — тихо, чтобы не слышали другие, сказал Яшка.

— Ишь ты, попробовать... Что же это вы, молодцы, когда из кладовой серную или какую другую кислоту несете, так не пробуете?

Вслед за Яшкой допросили ребят и, наконец, Матвеева. Тот держался независимо, на вопросы не отвечал, а Яшке бросил сквозь зубы: «Сопляк и есть». Яшка не слышал его: у него было сейчас такое чувство, что судят их все, — все рабочие, весь завод, весь поселок.

Час спустя суд удалился на совещание. Никто не уходил, все ждали, какой будет вынесен приговор.

Время тянулось мучительно долго. Наконец судьи вошли и все, кто был в комнате, встали. Встал и Яшка: ноги у него были как ватные, он едва держался на них.

Судьи сели. Затем Фома Иванович взял свои очки в железной оправе и неторопливо надел их. Он хитро

и, как показалось Яшке, с доброй усмешкой взял в руки лист бумаги и начал читать:

«Именем Российской Советской Республики суд, руководствуясь революционной совестью и сознанием, рассмотрел дело ученика слесаря Якова Курбатова в том, что он проиграл в орлянку не свой, а принадлежащий заводу инструмент (далее следовало перечисление инструмента). Это является обкрадыванием молодого Советского государства и своих же рабочих завода. За такие дела, как и за воровство, Яков Курбатов подлежит строгому наказанию. Но, учитывая, что оный Яков Курбатов сам во всем чистосердечно признался, осудил свой поступок и обещал никогда больше его не повторять, и также учитывая, что этот поступок является отрывкой старого, прогнившего строя, который развращал рабочих с малолетства... постановил: Якова Курбатова оправдать и предложить ему возместить заводу стоимость проигранного инструмента».

То, что слышал Яшка, было как во сне. Он не верил своим ушам. Его оправдали!? А ведь по ходу самого суда Яшка ждал самого тяжкого наказания. Он даже не мог предположить — какого.

— Подойди сюда, Яша, — сказал Алешин, хмурясь, но это была уже показная хмурость. — Ну, подойди, не бойся. Что, попало, брат, тебе? Ну, ничего. На то и народ нас в судьи поставил. Всё ты понял, внучек, что здесь было?

— Понял, дедушка Титыч, — тихо сказал Яшка.

— Ну, теперь иди, — Тит Титович взлохматил Яшке мокрые, прилипающие ко лбу волосы. — Одно запомни, что в конце написано, что этот твой поступок есть отрывка старого строя. А набезобразничал-то ты при нашей, при рабочей советской власти, которая всех нас только хорошему учит. Вот ты и пойми, можно ли в этом только старый буржуйский строй винить? Ведь тебя, пацана, буржуи не учили пьянствовать. Нельзя всё валить на старое... Понял? Ну и хорошо, что понял. Ладно уж, приходи к внучке... А всё же сватать ее за тебя я подожду, посмотрю, что из тебя дальше будет, — в заключение сказал он.

После суда над Яшкой еще долго посмеивались в поселке.

В этот же день на партачейке — этого Яшка не знал — снова обсуждали работу Трохова. Большевики выгнали его крепко: за плохую организацию молодежи, за то, что такие ребята, как Курбатов, стали жить как-то врозь и делать бог весть что.

И не знал Яшка, что, идя с Алешиным с партачейки домой, Чухалин грустно сказал:

— Кругом мы виноваты. Был парень с нами — не порадуешься. Упустили мы его — не наплакаться. Если Трохов и дальше так работать будет с молодежью, поставлю вопрос о его пребывании в партии.

— Не очень-то он много всегда делал, Трохов, — ухмыльнулся Алешин. — Не помню я, чтоб ты на него прежде радовался.

— Что? — не понял Чухалин. — Так я ж не о нем говорю. О Яшке. Перед ним мы с тобой виноваты, что он беспризорником стал. А Трохов...

Чухалин, не договорив, остановился и поглядел Алешину в глаза:

— Знаешь, Павел Титович, о чем я думаю? Измучился весь. Кто мог указать на людей, которые нашу землянку знали, а?

— Подозреваешь? — так же тихо откликнулся Алешин. — Трохова ведь в милиции тоже Карякин бил.

— Что из этого? Стукнул — он и выдал... Хотя... Ладно, не было у нас с тобой этого разговора. Не пойман — не вор.

ХIII

Яшка всегда любил весну, еле ощутимое ее появление, когда воздух, кажется, полон каких-то особенных, необъяснимо волнующих запахов.

Эта весна была трудной. Как-то пусто стало на заводе: многие ушли на фронт, и Яшке оставалось только жалеть, что он еще не дорос... Было голодно по-прежнему, и по-прежнему, возвращаясь домой, в простынувший барак, где серебрился по углам иней, Яшка валился на свой топчан с одной мыслью — поскорее уснуть, а две вареные картофелины и кусок хлеба съесть утром. Уже засыпая, он вспоминал о завтрашних делах: после работы — спортивная секция в союзе молодежи, заезжий акробат будет показывать уп-

ражнения. И не очень хочется идти, а надо: его назначили старостой. Трохов, долго и нудно выспрашивавший Яшку о его «потребностях», записал в свою тетрадь так: «Я. Курбатов хочет закалять тело для грядущего».

Вот теперь и ходи, закаляй тело, когда в животе всё урчит и переворачивается с голодухи. Но долго ходить на эти занятия Яшке не пришлось...

Мастеру вечерней смены дяде Ване Мелентьеву позвонила уборщица из конторы заводууправления и сказала, что засорилась канализация и вода не проходит в раковины.

Последнее время Яшке поручали самому выполнять многие работы. Так и теперь, мастер послал Яшку посмотреть, где и что засорилось, и исправить.

Придя в контору, он заглянул к уборщице узнать, где искать повреждение. Уборщицей и сторожихой была толстая, уже много лет работавшая, острая на язык тетка Поля. Говорили, что она так сторожит контору, что из нее можно в любое время вынести всё вместе с управляющим.

Канализация засорилась во втором этаже. Прочищать ее уборщица оставила Яшку одного. Было часов девять вечера, и, как всегда в этих местах, стояли уже густые весенние сумерки.

В конторе не было ни души. Яшка окончил работу, выключил свет и вышел в коридор. Он увидел, что по лестнице поднимается человек с очень странным лицом.

Лицо было круглое, бледное, вместо глаз виднелись темные впадины. Нос был длинный и острый, он походил на клюв. Подбородка не было: сразу от рта он покато спускался и переходил в шею. Всё это Яшка схватил разом, когда на лицо человека упал тусклый свет лестничной лампы.

Человек поднимался, размахивая руками. Он был одет во френч военного покроя, в русские сапоги. Такого в поселке Яшка не видел: от одного его вида становилось как-то жутковато.

Яшка, прижавшись к стенке, стал вспоминать, на кого похож этот человек. И вспомнил, что в губернском городе, в музее он видел чучело совы. Лицо незнакомого было именно таким.

Человек прошел по коридору мимо Яшки, к кабинету управляющего заводом Ермашева. Тревожное любопытство охватило Яшку. Осторожно ступая ногами в рваных калошах, он направился к дверям, за которыми скрылся «сова».

...Тихо вошел Яшка в приемную управляющего заводом. Узенькая желтая полоска света лежала на полу. За перегородкой, в кабинете, слышались неясные голоса. Люди разговаривали тихо, но в пустой конторе слова были отчетливо слышны. «Сова» скрипучим, ошипшим голосом спросил кого-то:

— Как у вас? Всё готово?

— Да, всё, — ответил ему голос Ермашева. — Сегодня ночью всё будет кончено. Завод может быть остановится совсем, а в лучшем случае еще поработает неделю.

— Кто исполнители? Как всё это будет организовано? Мы должны действовать только наверняка. Поэтому меня интересуют все подробности, — снова спрашивал «сова».

— Ко времени займут места десять человек. За эти три дня туда доставлены банки с керосином и тряпки. Люди все наши, надежные. Всей подготовкой руководит, может знаете? Долгалов. Ну, сын хозяйского подрядчика, лесопромышленника, — отчетливо говорил Ермашев.

— Когда начнут? По какому сигналу?

— В час ночи. Долгалов из будки, что на лесотаске, махнет вкруговую три раза фонарем, — как бы рапортовал Ермашев.

— Что предусмотрено на случай провала? Кто знает о вашем участии в операции? — продолжал «сова» своим резким голосом.

— Провала быть не может. «Товарищи» очень беспечны. О моем участии знает только Долгалов, — уверенно сказал Ермашев.

— А если штабеля бревен сырые, достаточно ли будет керосина, чтобы их поджечь? Время мокрое, весеннее.

— Штабеля мы взяли с сухими бревнами, которые уже лежат больше двух лет. На случай у каждого есть с собой порох.

Яшка понял, что речь шла о поджоге огромной

лесной биржи, где хранились двух- или трехлетние запасы древесины для выделки целлюлозы и дрова для кочегарок электростанции, дающей заводу ток.

Ему стало жутко. Он успел подумать, что если сгорит лесная биржа, без работы и без хлеба останутся тысячи рабочих. «Бежать бы сейчас скорей! Кричать? Предупредить всех? Поймать эту контру... Нет, успеют уйти».

За дверью еще продолжался разговор. Яшка словно прирос к полу, не решаясь уйти. Человек-«сова» хрипел:

— Мы и хозяин были вами очень недовольны. Нечего греха таить, думали, уж не перекинулись ли вы на сторону этих товарищей...

Ермашев ему отвечал, словно оправдываясь:

— Мелкие диверсии вас, очевидно, все равно бы не устроили. Если наносить удар, так в самое сердце. Не так-то легко было подобрать надежных людей. Вы ведь знаете, что я здесь управляющий только номинально. Без ихнего комиссара, который был у нас мастером, я и шагу ступить не могу. За мной следят... Бухгалтер Сидор Павлович запутал все книги, так сейчас этот комиссар чего-то подозревает, уже спрашивал меня.

— Да, теперь мы убеждены, что вы действовали правильно. Хозяин будет доволен. И заводы будут в сохранности и работа остановится. Это хорошо. Дела там складываются так, что ждать осталось недолго. Мы стоим накануне великих событий, накануне избавления нашей многострадальной России от этих чумахских товарищей, — сказал «сова».

— Дай-то бог, скорей бы, — обрадованно затараторил Ермашев. — Вы знаете, полковник, как мне противно, если хотите, тошно, находиться среди этих... Делать умильное лицо и подавать руку этим хамам.

Вдруг голоса замолкли и через мгновение дверь, у которой стоял Яшка, порывисто и быстро открылась, да так, что Яшка, не удержавшись на корточках, повалился на пол. В это время «сова» прыгнул к нему, захватил его голову и зажал рот рукой. Яшка укусил его пальцы. Простонав от боли, тот выпустил его. Яшка бросился к окну, но путь ему снова преградил этот человек и сильно повернул ему левую руку; в плече

что-то хрустнуло и рука повисла, как плеть. Однако правой он вцепился ногтями в лицо полковника, стараясь достать глаза. У «совы» всё лицо было в крови.

Он с силой бросил Яшку на пол и хотел пнуть его сапогом; Яшка на лету вцепился здоровой рукой в его ногу и удара не последовало. Полковник, пытаясь вырвать ногу, бил его кулаками по спине, по голове...

Яшка уже не чувствовал боли. «Предупредить! Предупредить! Убежать во что бы то ни стало! Поймать эту контру! Рассказать всем о Ермашеве. Бежать! Бежать!» Но что-то тяжелое и тупое опустилось и сильно ударило его по голове. За шею потекла теплая, густая струйка... В глазах потемнело и он медленно стал оседать на пол. Больше он ничего не помнил и не видел, как стукнуло рядом об пол мраморное пресс-папье, задевшее его голову...

Потом, словно сквозь сон, он услышал, как где-то далеко разговаривают двое. «Где я? Какие знакомые голоса! Где я их слышал?».

— Что будем делать с этим?

— Что-нибудь придумаем, — отвечал второй.

Яшка попробовал напрячь память и вспомнил. Вспомнил, что должно совершиться сегодня ночью и что он, Яшка, не в силах помешать этому. Немного приоткрыв глаза, он увидел человека-«сову», сидящего недалеко от него и вытирающего исцарапанное в кровь лицо. Тут же стоял Ермашев.

— Я так думаю, — медленно проговорил Ермашев, — он всё равно мертв. Завернем его в кусок целлюлозы и вынесем через черный ход.

Черное крыльцо конторы выходило не на улицу, а на железнодорожную ветку, где всегда было пустынно. По одну сторону ветки стоял высокий глухой забор. Возле него была вырыта канава для сточной воды. По другую сторону ветки шли поленицы дров.

«Думают, что убили, — подумал Яшка. — Скорей бы в канаву выбросили».

Двое заспорили. «Сова» сказал:

— Пожалуй, не годится. Найдут его и могут добраться до вас. Я-то далеко буду!

— Уверяю вас, они не доберутся. Откуда им? Милицией руководит малограмотный пожарник. У них и сыска-то нет. Кроме того, все знают, что этот мальчиш-

ка первый хулиган в поселке, они его сами тут недавно судили. Убили в драке — и всё. Не подумают же они, в самом деле, что это совершилось в конторе? Кто же, спрашивается, решится убить мальчишку, да тут же у крыльца и бросить его труп? Лично я не беспокоюсь, — убежденно проговорил Ермашев.

— Ну, давайте. Только побыстрей.

«Сова» отрезал от рулона большой лист целлюлозы. Затем он подошел к Яшке и изо всей силы ударил его в бок сапогом. Всякий бы вскрикнул от такой боли. В боку что-то хрустнуло, но Яшка не вскрикнул. Сознание опять стало меркнуть, в глазах вспыхнули и поплыли оранжевые и зеленые круги.

Он опять не помнил, что происходило с ним потом, как его закатали в большой лист целлюлозы. «Сова» взвалил тюк на плечо и понес. Яшка не слышал, как его вынесли на улицу и как шагов через двадцать, прямо с плеча, бросили в канаву.

Когда он очнулся, никого уже не было. С трудом ему удалось выбраться; внутри всё горело, нестерпимая боль разрывала ему затылок. Он хотел было встать на ноги и не смог. Опять в глазах вспыхнули, словно приближаясь издалека, разноцветные круги, и, боясь снова потерять сознание, Яшка стал кричать, но не узнал своего голоса: был он слабый, глухой, чужой. «Нет, не слышат. Когда еще смена кончится?».

Он решил проползти по канаве до ближайшего мостика, который был возле улицы, пересекающей ветку. На этой улице находились милиция и пожарное депо. Ползти ему надо было сажень сто. Но сколько для этого требовалось усилий от избитого, искалеченного подростка!

Ползти было тяжело, на дне канавы стояла липкая, глинистая грязь. Да и опираться Яшка мог только на одну руку. Он полз, отдыхал и полз снова. Ему показалось, что делает он это очень медленно. Несколько раз он снова пробовал кричать, но его никто не слышал.

Так он дополз до мостика через канаву. Здоровой рукой схватился за его край, встал и перекатился на дорогу. В нескольких шагах высился телеграфный столб с косыми подпорами. Яшка боком покатился к столбу, немного полежал, пока утихла боль, затем,

опрокинувшись за косую подпору, встал на ноги и пошел, шатаясь, как пьяный, и плача от режущей боли...

Вот и дом. Вот и калитка. Вот и крыльцо. Дальше Яшка идти не смог, несколько раз крикнул: «Дядя Лукин! Дядя Лукин!» — и повалился на землю, еще некоторое время теряя сознание.

Очнувшись он уже в комнате на диване. Голова была забинтована. Над ним склонилось серьезное и испуганное лицо дяди Лукина, а кругом стояло еще несколько человек, тоже знакомых.

— Что с тобой, сынок? — тихо спросил Лукин.

— Дядя Лукин, сколько времени? — выдохнул Яшка. Лукин поднес к его глазам большие карманные часы. Было без четверти двенадцать. Яшка скороговоркой, сбиваясь, путаясь в словах, рассказал всё, что произошло с ним. Рассказал о том, что через час загорится лесная биржа, ее подожгут сразу в десяти местах. Рассказал о человеке-«сове», о Ермашеве, о Долгалове. Больше Лукин не стал слушать, бросился к дверям, на ходу вытаскивая наган, и только с порога, обернувшись, крикнул:

— В больницу его... И осторожней!

Как уже потом рассказали Яшке, Лукин послал за комиссаром завода Чухалиным, Алешиным и председателем Совета Бедняковым. Послал милиционеров найти и арестовать Ермашева, Долгалова, предупредить пожарников. Сам Лукин побежал в цеха к рабочим. В одном из цехов он остановил общий мотор — станки работали от одной трансмиссии.

Рабочие быстро собрались. Лукин коротко рассказывал им всё, что узнал от Яшки, и распорядился немедленно пойти и обыскать всю лесную биржу. В течение каких-нибудь пятнадцати минут в основных цехах были проведены летучие митинги, и около пятисот рабочих вечерней смены двинулись на биржу.

Было поймано семь поджигателей, ждавших сигнала. Трое куда-то сбежали, их нашли на другой день. Были найдены бидоны с керосином, тряпки, порох. Ермашев и Долгалов были арестованы.

Вначале Ермашев запирался и ничего не хотел говорить. Когда же ему рассказали всё, что успел передать Яшка, он понял, что его карта бита, и выложил всё начистоту.

Полковника не поймали. Мог ли Яшка предполагать, что судьба еще раз сведет его с этим человеком, похожим на сову?

А вместо Ермашева красным директором был назначен комиссар завода Чухалин.

XIV

Когда Яшку принесли в больницу, он бредил. Его сразу же положили на стол в перевязочной, врачи внимательно осмотрели рану на голове, вывих, распухший посиневший бок...

Диагноз был нехороший: сотрясение мозга с переломом черепа возле самого темени. Левая рука вывихнута в плече. В правом боку сломано ребро. На всем теле было много кровоподтеков. Когда врачи узнали, что в таком состоянии Яшка прополз и прошел больше сотни саженей, они не поверили. В самом деле, где взял такие нечеловеческие силы этот искалеченный, избитый мальчишка?

Рана на черепе была обработана, на нее наложили швы. Рука вправлена в плечевой сустав и положена в гипс. Если бы Яшка был в сознании, то он не вынес бы такой сильной боли при операции и перевязке. Но он ничего не чувствовал. Врачи надеялись, что молодой организм сам справится с шоком и тяжелыми травмами. По законам медицины, люди в таком состоянии долго жить не могли, и потому всё было предоставлено времени.

В больницу никого не пускали. Но Клава Алешина просто потребовала от отца — председателя завкома — чтобы тот поговорил с заведующим больницей.

— Да, пойми ты, — уговаривал ее Алешин. — Ну, нельзя к нему сейчас.

— Не хочу понимать, — плакала Клава. — Ты сам не хочешь идти и мне не помогаешь. А я вот буду ходить за тобой повсюду — и хоть убей меня, не отстану.

Алешин сдался; заведующий больницей разрешил.

Клава вошла в палату и сразу увидела Яшку. Он лежал на спине, голова была забинтована, глаза закрыты, губы вспухли. Лицо у него было почти восковое, с желтоватым оттенком. Но видно было, что Яшка ды-

...и, хотя дыхание его было замедленное, едва заметное.

Клава села у кровати. Она долго смотрела на Яшму, потом взяла его правую, здоровую руку и нащупала пульс. Он бился тихо, неуверенно. Клава несколько раз теряла его. Тогда она снова искала и, улыбаясь, находила слабое биение.

Клава совсем забыла о доме. Она всю ночь просидела у постели, то поправляя подушку или сбившееся одеяло, то вливая в распухший Яшкин рот капельки воды и какое-то лекарство. Ее никто не просил уйти, с ней обращались, как с постоянной сиделкой: утром врач спросил ее: «Как вел себя больной?».

Беспокоились только дома. На другой день пришла в больницу бабушка Марфа Ильинична. Когда она узнала о состоянии Яшки и о том, что Клава просидела у его постели всю ночь, она только заплакала, махнула рукой и попросила передать Клаве узелок с лепешками.

Клава сидела в палате и вторую и третью ночь; спала она урывками, днем, на стуле в углу больничного коридора. Она осунулась: бессонные ночи измотали ее.

В палате было темно. Клава сидела и тихо плакала. Потом она стала поправлять подушку под Яшкиной головой. Наклонившись над ним, она особенно почувствовала, что Яшка ей почему-то дорог, вспомнила, с каким удовольствием и весельем встречала его, когда он приходил к ним в дом, как нравилось ей издеваться над ним — так, без злобы, просто потому, что у нее, как говорит дед, сумасшедший характер.

Оглянувшись на дверь, Клава осторожно нагнулась и поцеловала его в краешек лба, видневшийся из-под повязки. И вдруг Яшка на какой-то миг открыл глаза и сдавленно простонал. Клава быстро вскочила и, закрыв руками лицо, выбежала в коридор.

— Очнулся... Очнулся!

Врач, сестра и санитарка быстро вошли в палату; Клава стояла сзади и робко выглядывала из-за чужих спин. Ей было стыдно, что Яшка почувствовал, как она поцеловала его.

Однако он лежал, по-прежнему закрыв глаза, и только казалось, что где-то в уголках губ притаилась еле заметная и довольная улыбка.

В поселке быстро узнали, что Яшка поправляется. Клава навещала его каждый день. Она приходила одна, реже — с подругами.

Особенно рад был Яшка, когда его навещали старые рабочие. Они беседовали с ним, как с большим, но ни разу не упомянули, что он совершил что-то героическое. После этих бесед Яшка и сам стал думать, что сделал он самое обычное дело и что любой другой на его месте поступил бы точно так же.

Ему приносили в больницу всё, что было необходимо. Хотя в поселке голодали, но у Яшки были масло и булка, сахар и конфеты, его кормили мясным бульоном.

Как-то пришла в больницу тетя Поля — уборщица конторы. Она принесла какой-то сверток, и когда развернула платок, Яшка увидел ошипанного петуха.

— На-ко тебе, сынок, — сказала она, положив его на тумбочку. — Ишь, ироды, как тебя разукрасили... А я-то этой змее — Ермашеву еще чай подавала. Обходительный такой был, гадина. Вيني меня, Яша. Я виновата, что тебя так избили. Надо было мне, когда наверх тебя привела, там и остаться, может быть ничего бы и не было.

Тетя Поля заплакала и концами платка стала вытирать слёзы.

— Что ты, тетка Поля? — с каким-то испугом, торопливо ответил Яшка. — Тогда, может, хуже было бы. Биржа стореда бы, если бы эту контру не накрыли.

— И не говори... Я... я виновата. Вот ведь как дело было: свела тебя наверх, вернулась к себе, набросила на парадную дверь крючок, да и легла. А они тебя через заднее крыльцо вынесли. Вот и кочета своего я из-за этого зарезала. Раньше хоть и голодно было, а всё терпела. Он у меня заместо кошки или собаки был. Такой понятливый, только что не говорил. А ведь петух — много ли ума-то у него. Бывало, кто чужой в дверь войдет, он сразу «ко-ко-ко-ко» — мол, слышишь, чужой пришел? А ведь в этот вечер сел себе в угол и хоть бы звук издал. Вот я ему, дьяволу, голову за это и отвернула. Больно полезен для здоровья куриный суп. Ты скажи, чтобы сварили тебе.

Яшка слушал ее со счастливой улыбкой.

Напрасно ты, тетка Поля, петьку-то зарезала, — ~~молчал~~ он наконец. — Не виноват он, что молчал. Они ~~никогда~~ вечером спят и ничего не видят.

Зашел к нему и Александр Денисович Чухалин, по-~~казывал~~ и, ласково поглаживая своей шершавой ладошкой бескровную Яшкину руку, спросил:

- Что, трудно, Яша? Знаю, что трудно. Терпи, большевичок. Видишь, сколько тут у тебя всего? — по-~~казал~~ он на тумбочку, где лежали и масло, и булка — ~~мне~~, что нынче тащили Яшке. — Ты года два этого не едал, да и сейчас мало кто ест. Сам знаешь, как голодно. А вот, видишь, народ-то какой. У самих кишка ~~кишке~~ фигу кажется, а тебе несут. Говорят, тетка Поля по своему кочету два дня плакала.

Он немного помолчал, словно собирая вместе многие, так и рвущиеся наружу мысли.

— Ты вот, наверно, большевиком хочешь быть. И станешь им, если всё время будешь стараться для народа. Попробуй, оторви большевика от народа — что из него получится? Да просто не будет большевика, а будет пустое место. Вот так-то, Яша. Поправляйся скорее, я еще к тебе зайду. Мне, брат, тоже трудно. Был я мастером, а сейчас партия поставила меня управлять заводом. Я ведь тоже говорил, что мне трудно, ничего у меня не выйдет. А мне отвечали: «На то ты и большевик, а у большевика всё должно выйти». И вот работаю, выходит ведь.

Чухалин попрощался с Яшкой и ушел, спохватившись, что там, внизу, еще ждет очереди один человек, но кто — не сказал, и Яшка изнемогал от любопытства, не сводя с дверей глаз.

Это был Тит Титович Алешин. Со времени суда Яшка его не видел, всячески избегая встречаться с ним.

Тит Титович принес Яшке гостинец — зеленых перышков лука, выращенных в горшке на подоконнике.

— Это тебе, адвокат. Поешь. Больше принести нечего, да и внучка говорит, что у тебя, как у буржуя, всё есть.

— Есть, есть, дедушка. Мне ничего не надо, — забормотал Яшка, краснея.

Старик заметил это и лукаво склонил голову:

— Чего краснеешь-то? Девку увидел, что ли? Как маков цвет стал. Не рад, что пришел, а?

— Да нет, что вы, дедушка, — опять забормотал Яшка. — Это я так... Мне... мне стыдно, вот что.

— Чего тебе, дурной, стыдиться-то?

— Да ведь судили вы.. — тихо ответил Яшка. Старик сидел, потирая колени и пожевывая бесцветными губами.

— Вот оно что! Что же, Яшка, стыд — неплохое чувство. Всего нехорошего стыдиться надо. А тебе сейчас чего стыдиться, всё уж давно прошло. Или после этого еще где первача хватил?

— Что вы, Тит Титыч, я и в рот его больше никогда не возьму! — Яшка попытался приподняться на одном локте.

Алешин торопливо прижал его плечо к подушке.

— Уж и «никогда не возьму»! Ты много на себя не бери, мал еще, а жизнь у тебя большая. Может, и возьмешь когда-нибудь, тут плохого ничего нет. Сам я.. хм... Только, Яша, всегда про стыд помни. Будет стыд — так и первач не осилит, не свернет с дороги. Знаешь, как говорят — пей, да ум не пропей. Всегда всё с умом делать надо. И к маленькому делу тоже с умом подходи. Велика ли рюмка, а если ты ее не во время выпьешь — обязательно сгубит она. Сам не заметишь, как сгубит. Всё ведь с малого начинается. Вот от спички целую биржу хотели сжечь. А на ней столько леса, что заводу еще на два года хватит. Понял, что значит малое-то?

— Понял, дедушка, — сказал Яшка. Но старик был настроен ворчливо, хотя Яшку и не обманывала эта ворчливость: просто старик прятал за ней ласку, которой почему-то стыдился сейчас.

— Не говори, не подумав: «понял, понял!». Ничего ты еще не понял, душой это надо понять. Делать тебе тут нечего, ты лежи и размышляй, что тебе старшие говорят. А не думал я о тебе, адвокат, что ты такой. Себя не пожалел. Ермашев на допросе рассказывал, как ты на этого, на полковника, бросился. Говорит, как волчонок какой — глаза горят, даже и ему страшно стало. Ты этому полковнику всю фотографию, можно сказать, разрисовал.

Яшке было интересно слушать: Тит Титович гово-

рил как-то весело, не выпячивая Яшкину заслугу. Старик словно бы почувствовал затаенные мысли Яшки о его геройстве: об этом говорил весь поселок и Яшка это знал.

— Наверное, думаешь, что ты герой? — насунился Алешин, перебивая себя. — Герой-то ты, герой, а только подумай, почему таким стал? Разве стал бы ты так буржуйское добро защищать? Ни боже мой! Силы у тебя, парень, потому столько оказалось, что завод теперь наш, а не буржуйский. Ты, может, и не помнишь, а обязательно про это думал. Вот откуда сила у тебя взялась. Понял?

Последние слова он почти выкрикнул, почему-то погрозив Яшке кулаком, и тот, не выдержав, рассмеялся, с болью растягивая губы.

— И хорошо, что понял — уже примирительно закончил Алешин. — Клавка у тебя бывает? Чего краснеешь? Знаю, что жених да невеста. Подрастете, тогда и валяйте... Может, и я до этого доживу.

— Что вы, Тит Титыч, — заикаясь от волнения и мальчишеского стыда, едва произнес Яшка.

— А что? — с невинным видом подтвердил старик. — Верно я говорю. Подрастешь, сам внучку за тебя сватать буду. Согласен?

Яшка стыдливо молчал, не зная, что ответить. Алешин, поняв, что совсем смутил мальчишку, добродушно хлопнул его по здоровой руке:

— Ладно, не буду больше. Лежи, поправляйся.

Тит Титыч ушел. Яшка лежал, закрыв глаза, и чувствовал, как что-то огромное, светлое, радостное поднимается в нем, и чему он еще не мог дать названия.

Может, это и есть счастье?

* * *

За несколько дней до выписки к Яшке зашли его мастер дядя Ваня Мелентьев и знакомый слесарь из цеха.

— Как, Яша, поправился? — спросил мастер.

— Давно поправился, дядя Ваня, да вот врачи не выпускают. Всё полежи, да полежи! А мне надоело, — сказал Яшка.

— О чем соскучился-то? По работе или по чему?

— И по работе и по всему. Надоело мне. От меня так больницей пахнет, что и не отмоешь.

— Вот насчет работы мы к тебе и пришли... Давай, Сидор, вынимай акт, который мы сочинили.

Мелентьев, далеко отставляя от себя бумагу, прочитал акт, по которому Яшка, учитывая его старание, полученные знания и навыки по слесарному ремеслу, переводился из учеников в подручные слесаря по четвертому разряду.

— Рад? — спросил Мелентьев.

— Очень рад! Уж если я, дядя Ваня, чего и не знаю, так я спрошу, поможете ведь?

— Как, Сидор, поможем?

— Поможем, — ответил слесарь.

— Завтра же я выпишусь, — заторопился Яшка. — Работать надо... И в кружке без меня, поди, всё правом пошло.

Яшка пролежал в больнице два месяца. Рука и правый бок у него поправились совершенно. В голове еще стоял шум: она гудела, наверное, еще месяца три. И потом были частые головные боли, но молодой организм всё-таки переборол тяжелую болезнь.

Случилось и другое. В эти дни он понял, что детство, каким бы оно ни было, кончилось, а то, куда он вступал и чему пока еще не было названия, будет совсем другим.

И как-то широко стало видно вокруг, появились какие-то новые чувства, когда он, пошатываясь, вошел в полутемный, прокопченный цех и увидел улыбающихся людей, которые кивали ему, что-то говорили, очевидно — хорошее, но что — он не слышал...



Дороги
юности

I

29 октября 1918 года в Москве собрался первый Всероссийский съезд молодежных организаций, работающих под руководством партии большевиков. На съезд делегатом от заводского союза рабочей молодежи выехал председатель ячейки — Мишка Трохов. Чухалин, прощаясь с ним, погрозил пальцем:

— Учти, тебе за эту поездку не только перед союзом отчитываться: перед нами...

А дела в союзе шли неважно. После Октября, когда на заводе были прикрыты все эсеровские организации, руководимый эсером Ютиным драматический кружок почти в полном составе влился в организацию Социалистического союза молодежи. Таким образом, союз был разбавлен всякими людьми: тут была и рабочая молодежь, но были и дети местной интеллигенции — начальников отделов, инженеров, служащих. Да что интеллигенции! Сын и дочь попа и сын дьякона из церкви села Воскресенье считались членами заводского союза!

Ячейка не была сплоченной. Рабочая молодежь держалась вместе, но в стороне от интеллигентов. Те тоже держались вместе и подчеркнуто брезгливо косились на рабочих, не хотели участвовать ни в какой другой работе, кроме как в драмкружке да в организации танцев.

Трохов вернулся из Москвы, и на дверях клуба появилось объявление: «26-го назначается общее собрание ячейки РКСМ». Все интересовались, что это такое — РКСМ, и Трохов снисходительно объяснял незнающим: Российский Коммунистический Союз Молодежи.

Пожалуй, впервые собрание ячейки было таким многолюдным: на нем присутствовало больше двухсот человек, главным образом рабочая молодежь.

...Собрание открылось. Трохов попросил выдвигать кандидатуры в президиум. Выкрикнули несколько фамилий. Среди них Яшка услышал: «Алешину... Кият...».

Яшка знал этого паренька: он работал в инструментальном цехе. Большеголовый, с упрямым и даже, пожалуй, каким-то жестким выражением темных глаз, Кият нравился Яшке, хотя они ни разу и не разговаривали как следует. И Яшка, мысленно отметив: «Этого можно», — тоже поднял руку, а потом с любопытством наблюдал, как Кият деловито перебирает на столе президиума какие-то бумажки и о чем-то шепчется с секретарем — Клавой Алесиной.

Первое слово взял Трохов. Он, то и дело поправляя шелковистые, спадающие на лоб волосы и глядя куда-то поверх людей, на стену, сделал доклад о Всероссийском съезде. Говорить он умел складно, и всё было ясно: зачем был созван съезд, почему Союз стал именоваться Коммунистическим, каковы взаимоотношения Коммунистического Союза с партией. Трохов рассказал, как проходил съезд, кто был избран в первый состав ЦК комсомола, кто Председатель Центрального Комитета... Потом он выпил воды, долго полоскал горло и, взглянув в зал, развел руками:

— Доклад окончен, товарищи. Ежели есть вопросы — валяйте.

Первым задал вопрос Силаков, сын заведующего расчетным отделом завода:

— Как это так? Вот ты говоришь — большинство, большинство... А если я не согласен с большинством, если у меня свое личное мнение есть, то, скажите, как же я буду подчиняться этому большинству? Это же насилие над личностью!

Отдельные голоса с мест закричали:

— Правильно!

Сын попа Ершин задал такой вопрос:

— Если я не желаю изучать коммунистическое учение, если я не хочу разделять коммунистических идей, а вот в драмкружке хочу быть, танцевать хочу — тогда что?

Видимо, те же голоса крикнули: «Правильно! Нас большевиками хотят заделать».

— Вот мы и не согласны! — закончил Ершин.

Пафабренная барышня Тузова, игравшая в драмкружке роли любовниц, сказала, поводя плечиком:

— Кто разрешит, чтобы вмешивались в личную жизнь? Кому какое дело, являюсь ли я примером в личной жизни? А может быть, я и не являюсь, тогда что?

В зале громко засмеялись, и кто-то крикнул:

— Пример, как хахалей раз в неделю менять.

Другой голос закончил:

— Так на то она и любовница.

Валя Кият с трудом водворил порядок и кивнул Трохову:

— Будешь отвечать?

Тот глядел на зал презрительно и, когда Кият повторил: «Отвечать будешь?», — усмехнулся.

— Отвечать? На такие вопросы не отвечают. Я б за такие вопросы прямо в чека сажал. Кому же я отвечать буду. Этим... — он грубо выругался.

В зале зашумели, зашушукались. Яшка видел, как от грубого слова, сказанного Троховым, покраснела Клава, услышал неподалеку от себя спокойно сказанное: «Дурак» и обернулся к тому, кто это сказал. Старик Захар Аввакумович Пушкин уже поднимал руку:

— Эй, товарищ председатель, дай мне словечко сказать.

Он неторопясь прошел к столу президиума и, взглянув на ухмыляющегося Трохова, качнул головой:

— Не прав ты, парень. Спрашивают — значит интересуются. А коли так — отвечай, всем впрок пойдет.

Он обернулся к ребятам:

— Вот приведу я вам самый простой пример. Сидят в лодке десять человек. Вдруг двое начали сильно раскачивать лодку, да так, что она стала бортом воду черпать. Большинство потребовало прекратить это безобразие, мол, кувырнется лодка, а эти двое заявляют: «Нет, мы не согласны с вами, нам так больше нравится. У нас тут свое мнение». И что же? Лодка опрокинулась, трое потонули. Ну, что вы скажете? Наверное, скажете, что это хулиганство. А в жизни и не так бы-

вает. Вот в октябре семнадцатого года большевики обсуждали вопрос о вооруженном восстании в Питере. Все были за немедленное вооруженное восстание, только Зиновьев и Каменев с этим решением были не согласны. Тоже говорили: у нас на этот счет свое мнение. Они не подчинились большинству и выдали буржуазии планы вооруженного восстания. Буржуазии ликовала по этому поводу. А товарищ Ленин заклеил позором предателей. Говорил, что с этими господами он не может быть в одной партии. Так вот, друзья, и получается, что принцип подчинения большинству — основной принцип поведения членов партии большевиков. А комсомол, как и говорится в программе, «всецело поддерживает и проводит программу и тактику РКП(б)», а уж если поддерживает, значит и следует за партией, и делает так, как этого партия требует. Ну, а если Ершин, скажем, не захочет изучать коммунистическое учение, — что ж, и не надо. Потеря не велика, если потеряем такого кулика.

В зале громко засмеялись и крикнули:

— Пускай он закон божий изучает, как святая дева Мария без мужа рождает!

Пушкин переждал, пока наступит после смеха тишина, и продолжал, всё так же ровно, будто не речь говорил, а беседовал дома за самоваром:

— Вот барышне Тузовой тоже отвечать вроде бы нечего, с места ей ответили. Ну, посудите сами, что же будет, если вы примером не будете? Будете пьянствовать, воровать, на работе лодыря гонять — что другие скажут? Раз им можно, так нам и сам бог велел. Что тогда получится? Сообразите сами.

Когда дядя Захар кончил, с места встали Ершин, Силаков, Тузова. Валя Кият хотел было призвать их к порядку, но Силаков крикнул:

— Мы уходим. Мы не согласны, чтобы чинилось насилие над нашей личностью? Где же свобода?

Все вскочили со своих мест, голоса председателя уже не слышал никто. Разобрать, что кричали ребята было нельзя, но что-то обидное, злое, насмешливое. Силаков уже поспешно пробирался к выходу, наступая сидящим на ноги.

Еле-еле удалось Кияту установить тишину, но сам, не сдержавшись, он крикнул:

— Скатертью дорога... Баба с возу — кобыле легче! Проситесь будете — не возьмем. Может быть, еще есть желающие? Давайте, воздух чище будет!

Зал молчал, больше не вышел никто. Снова со своего места поднялся Трохов:

— Видали, кто был вместе с нами? Наверное, еще найдутся такие. Партийная ячейка рекомендует нам всех, кто был в Союзе молодежи, не зачислять механически в комсомол, а устроить перерегистрацию, или проще — открыть запись в члены комсомола вновь. Каждого, кто запишется, обсудить на собрании. Чтобы не тянуть, давайте сейчас собрание закроем, запишем желающих вступить в комсомол, а завтра и будем персонально обсуждать каждого.

Пока Яшка, отчаянно работая локтями, пробирался к столу президиума, за которым шла запись, он устал: его отпихивали, оттесняли в сторону, и Яшка, разозлившись, сам начал отпихивать стоящих впереди. Каждый стремился записаться пораньше, будто вдруг что-то может измениться и его имя не попадет в списки.

Но когда Яшка, потный, взлохмаченный, протиснулся к столу и, схватив Клаву за рукав, крикнул ей: «Меня запиши!», он увидел список. Наверху страницы, уже почти заполненной фамилиями, стояло выведенное круглым Клавиным почерком его имя.

— Ты... уже? — спросил он, чувствуя, как перехватывает дыхание. Его торопили, подталкивали, а он, всё еще держа Клаву за рукав, лихорадочно и радостно думал: «Помнила... Первым записала...»

* * *

На следующий день, пока собрание не открылось, ребята пели в клубе.

Принесли гитару, появились мандолина и балалайка. Раздался мотив «Яблочко». В круг выскочил парнишка — токарь из механического и пошел, пошел, притопывая и вызывая желающих. Уже кто-то на мотив «Яблочко» быстро сочинил частушки:

Эх, яблочко, катись под елочку —
Комсомолец полюбил да комсомолочку!

Очевидно, не только парни умели сочинять и петь

частушки: из другого конца зала живо откликнулись девичьи голоса:

Нам сказали на базаре,
Что мальчишки дешевы.
На копейку десять штук —
Самые хорошие.

За весельем никто не заметил, что делает на сцене Клава Алешина. Подозвав Кията, она пододвинула ему тяжелый сверток и, давась от хохота, сказала:

— Это тебе.

Кият удивленно развернул бумагу: там, в свертке была медная ступа и пестик. Председатель вскинул на Клаву настороженные, недобрые глаза:

— Что, ты думаешь, мы здесь воду в ступе толчем? Так тебя надо понимать?

Клава прыснула:

— А ты постучи пестиком о ступу. Ну, постучи, не бойся.

Кият послушно стукнул. По залу разнесся гулкий звон, все насторожились. Тогда, поняв в чем дело, засиявший Кият начал трезвонить так, что сразу смолкли песни, а те, кто был возле председательского стола, отворачивались и морщились, затыкая уши:

— Кончай благовест! Больше не будем!..

К слову сказать, эта ступа долго еще хранилась в ячейке, присутствуя на всех собраниях, и когда кто-нибудь из выступающих начинал мямлить или повторяться, председатель брал пестик: звон означал — закругляйся, нечего в ступе воду толочь, — и выступающий «закруглялся».

Теперь, водворив тишину, председательствующий Кият взял в руки список:

— Начинаем обсуждать, товарищи. Первым по списку идет Яков Курбатов. Ну, как, отводы есть? Выступления будут?

— Да чего там, дальше давай.

— Знаем... Оставить!

— Пусть расскажет о себе.

— Не надо.

— А про самогоночку? А как инструмент проиграл?

Алешинская ступа гудела, покрывая все голоса. Ребята махали руками: «Оставить, оставить», но возле

стола президиума уже стоял, одергивая сзади выцветшую солдатскую гимнастерку, Мишка Трохов:

— По поручению ячейки большевиков, — сказал он, морщась, хотя звон уже прекратился, — предлагается в списке Якова Курбатова оставить. Хотя от себя лично советую ему пересмотреть свои порочные мелкобуржуазные позиции.

Яшка вскочил, покрываясь краской:

— Какие позиции? Чего ты треплешься? — крикнул он.

— Вот-вот, — кивнул Трохов. — Недисциплинированность — одно из ярких проявлений буржуазной стихии, мешающей классу...

Он пистолетом выставил на Яшку указательный палец и говорил не опуская его:

— Видали? Изживать это надо, товарищ Курбатов.

— Это ты от себя говоришь или от ячейки большевиков? — строго спросил Кият. Трохов пожал плечами:

— Собственно, в чем разница? Я член ячейки.

И сел.

Кият предложил голосовать, напомнив о том, что не кто-нибудь, а именно Курбатов, избитый и израненный, предотвратил на заводе вражескую диверсию.

За Курбатова голосовали все. Против не было. Но когда Кият спросил, кто воздержался, — Яшка увидел, как уверенно и высоко поднял руку Трохов.

— Ты что? — удивленно спросил его Кият. — Только что рекомендовал...

— Личные мотивы, — резко сказал Трохов. — Имею право не объяснять.

Яшка ничего не понимал. Ясно было только одно: то неприязненное ощущение, которое возникло у него к Трохову еще там, возле лесного ручья, было взаимным, но почему — он не мог объяснить себе. Он почти не слышал, как обсуждают других, спохватываясь и начинал слушать, но снова задумывался над своим, и снова спохватываясь и тянул руку, когда кругом голосовали. Уже поздним вечером, идя с Клавой домой, он не удержался и спросил:

— Слушай, а что это Трохов... так?

— Как «так?» — рассмеялась Клава. — Насчет «личных мотивов»-то? Так ведь...

Она запнулась; Яшка понял — Клава чего-то не договаривает.

— Говори, раз начала.

— А чего говорить-то? Он тут ко мне начал приставать, я его отшила. Он спрашивает: «С Яшкой ходишь?», а я и сказала: «Ну и хожу, тебе-то чего?».

— И всё? — Яшка остановился от неожиданности. — Но ведь он... Он большевик. Как же так это... Ты не врешь, а?

Уже дома, лежа на своем топчане, Яшка снова вспоминал слова Клавы и раздумывал над тем, что и большевики, быть может, есть разные: Чухалин не похож на Алешина, дядя Ваня Мелентьев — любит выпить, Бедняков — балагур... Но все они всё-таки были чем-то неувлимо близки друг другу, а Трохов, в Яшкином представлении, был совсем, совсем другим...

Обсуждение и принятие в комсомол закончилось только через два дня. Приняли почти всех. Преобладала рабочая молодежь, служащих и сынков «начальства» записалось немного. Выбрали бюро. Председателем ячейки снова стал Мишка Трохов, политпросветником Валя Кият. По работе среди девушек — Зина Федорова, экономработником — Курбатов. Схожая с профсоюзной, экономическая работа должна была проводиться среди рабочих-подростков, а Яшка сам был таким.

* * *

— Раз, два! Раз, два! Рота! Стой! К но-о-ге! — раздается команда. Это комсомольцы и часть беспартийной молодежи проходят на пустыре за заводом военное обучение. Ребята занимаются через день. Скрипит под ногами снег; мертвенным, бледным светом освещает луна крыши рабочего поселка. Однако ребятам тепло. Они бегают, ходят в атаку на воображаемого противника, изучают ружейные приемы. После команды «вольно!» слышится особенно звонкий на морозе веселый смех, кто-то первым начинает «греться»: на мягком пушистом снегу завязывается борьба. Упадешь — не больно, только снег набивается всюду. Попадая за ворот, он тает и струйками течет под рубашкой. Ребята ежатся, их бросает в дрожь от воды, растекающейся по разгоряченному телу. И всё-таки весело!

Бывают и другие военные занятия. В одной из ком-

мит клуба ребята сидят на корточках и внимательно слушают объяснения военрука. Здесь изучают пулемет. В другой комнате, на длинном столе лежат разобранные винтовки. Ребята учатся быстро собирать их. Иногда военрук объясняет комсомольцам основы тактики современного боя, положения боевого устава и устава караульной службы.

Девушки — те в другой комнате учатся делать перевязки, оказывать первую помощь при ранениях и контузиях. Со смехом ловят они какого-нибудь зазевавшегося парня, тащат к себе в комнату и на «живом экспонате» проверяют свое умение. Горе такому парню, измучают его девушки, а особенно, если из ватника покажется грязная нога — сгорит со стыда. Уж лучше бы бегом идти в атаку по глубокому снегу и, услышав пулемет-трещотку, падать, зарываясь с головой в холодный, пушистый снег.

В другие дни, в том же клубе ребята сидят, слушая чтеца — Валью Кията, Мишку Трохова или других членов бюро ячейки. Книг мало, и чтение политических брошюр, речей Ленина приходится проводить вслух. Лица у ребят сосредоточенные, они хмурят брови, морщат лоб: ох, как не всё еще понятно им — об эксплуатации, о классовой борьбе, об общественном устройстве, о положении и задачах молодой Советской республики.

Вначале всё это странным казалось ребятам. Раньше — что! Игра в «орлянку» да страшные преступления из Нат Пинкертона. А пришедший однажды на комсомольское собрание Чухалин посидел, послушал и, попросив слова, сказал:

— Трудно вам, ребята, понять еще, что происходит. А происходит одно: стали вы хозяевами целой страны. Так что править этой страной вам, мы уже скоро состаримся. А если так — значит, нужно учиться. Я вот в свое время учился и на дверь поглядывал: а ну, как войдут жандармы... Вам — легче. И, значит, учиться вам надо больше...

Работа в ячейке самая разная. Вот сегодня кому-то надо бежать в драмкружок, на репетицию пьесы «Генерал Николаев». Речь в пьесе идет о царском генерале, оставшемся верным своему народу.

Другому надо в спортивный, третьему — в струн-

ный, четвертому — в хоровой кружок. Некогда даже подумать, что ты с утра не ел и что тебе только завтра утром можно будет получить и съесть свой паек.

Партячейка и завком призывали рабочих заводить свои огороды. Все хотят иметь их, наголодались крепко. Но хотят-то все, да не все могут. Разве может вскопать огород женщина, если у нее куча малых детей, а муж на фронте. Комсомолыцы идут и вскапывают гряды на ее участке, получают и приносят выдаваемые по цехам семена, сажают их, а потом еще будут приходить и помогать ухаживать за этим огородом.

Пришел комсомолец в первом часу ночи домой, а уж в три часа вставай, расставайся со своей хотя и жесткой, но теплой постелью. Надо идти в караул, надо сменить товарищей в патруле, который ходит по поселку, по лесной бирже. Фронт близко, а завод делает снаряды...

Фронт близко... Здесь, в Печаткино, это ощутимо. При партячейке организовался отряд ЧОНа¹, в него записались все коммунисты и комсомолыцы, список отряда утверждался на партячейке. Тем, кого приняли, было выдано оружие: всем — винтовки, а некоторым — револьверы. Оружие у отрядников хранилось дома, только подросткам, записанным в отряд, не разрешили забирать его из помещения ЧОНа.

За Яшкой был закреплен кавалерийский карабин (он был легче, чем винтовка) и револьвер системы «Смит-Вессон». Револьвер он выпросил у начальника отряда Чугунова, — ходил за Чугуновым по пятам до тех пор, пока тот не разозлился и не разрешил... В отряде Яшку зачислили на должность конного ординара при командире и комиссаре отряда. По этой должности, естественно, полагалась лошадь.

На заводе лошадей было много, они были основным видом транспорта. Конный двор занимал большую территорию на краю поселка. Там стояли и выездные рысаки, служившие еще бывшему начальству. Сейчас на них ездил красный директор завода Чухалин. Яшка в глубине души рассчитывал получить такого рысака, но дали ему спокойного и добродушного белогубого мерина. Звали его — Рыжий.

¹ ЧОН — часть особого назначения

Эта лошадь имела одну особенность. Когда-то на ней купец-лавочник из села Вознесенья ездил за товарами в губернский город. Одно время на дорогах побиливали, и лавочник — мужик хитрый — приучил лошадь к тому, что стоило крикнуть: «Рыжий, грабни!», как та срывалась в галоп и неслась, сломя голову, чтобы вызволить из беды своего хозяина.

Яшка никогда не имел дела с лошады и поначалу с опаской подходил к Рыжему. Тот вытягивал мягкие белые губы; он любил, когда ему перепало что-нибудь. Яшка с ним подружился быстро.

У раненых красноармейцев Яшка выменял на махорку настоящий шлем — буденовку. И вот, в островерхом шлеме он проезжал теперь по улицам на своем Рыжем, закинув за спину карабин и придерживая рукой оттопыренный карман, чувствуя холодную сталь «Смит-Вессона»...

В отряде ЧОНа проводились частые тревоги, походы верст за десять, учения — всё это тренировало, закаляло бойцов отряда. Чоновцы, помогая милиции, несли караульную и патрульную службу. Фронт был близко...

II

Как-то пусто стало на заводе. Многие взрослые ушли на фронт, иные оставили эти необжитые, полные тяжелых воспоминаний места и ринулись в путаницу железных дорог. По слухам, доходившим до Печаткино, были где-то и в России молочные реки да кисельные берега; говорили, что в Ташкенте хлебом хоть засыпаться, а что касается всяческих круп, так манкой там вроде бы кормят верблюдов. Изголодавшиеся люди верили всему, — верили этим слухам, снимались с мест, уходили с работы и ехали, даже не представляя себе толком, где он есть, этот самый Ташкент.

Поредела и партийная ячейка. На фронт не взяли только стариков — Чухалина, Пушкина, Булгакова, да Павел Титович Алешин, как ни рвался туда, остался в Печаткино. Подходило время, когда надо было уезжать и Трохову; как ни недолюбливал его Чухалин, а, думая об отъезде Трохова, волновался — кто же будет заниматься комсомолом.

Но мысль эта появлялась и уходила, уступая ме-

сто другим, которые волновали его чаще, изо дня и день: на заводе кончались запасы древесины, из которой делали целлюлозу. Запасы кончались, а на реку сбились тысячи хлыстов молевого сплава: не было людей, чтобы разобрать лес. Но не останавливать же завод, в самом деле.

Что-то надо было предпринимать. Из губкома Чухалину пришла грозная депеша: в ней отмечалось, что завод стал работать хуже, медленнее, снарядов не хватает. Чухалин, перечитывая последние строчки — «будете привлечены к партийной ответственности, Данилов», — грустно усмехался: как будто Данилов не знает, что здесь творится сейчас. Мог бы и приехать, сам бы тогда увидел...

Данилов приехал неожиданно, и у Чухалина ёкнуло сердце, когда он увидел секретаря губкома, идущего через двор к заводууправлению. Тут же он разозлился на самого себя: что я, виноват, что ли, что у меня всего не хватает?

Но Данилов, войдя в кабинет директора, казалось, и не думал распекать его, он улыбался, еще с порога протягивая руку, и басил:

— Сто лет не виделись. Ну, и отощал ты, Александр Денисич. Скелет какой-то, только разве что костями не гремишь.

— Гремлю уже, — улыбнулся ему в ответ Чухалин. — Это хорошо, что ты приехал.

С Даниловым он был знаком давно, еще по подпольной работе в Питере, где нынешний секретарь губкома, вернувшись из Женевы, возглавил одну из питерских районных организаций. Данилов всегда нравился Чухалину своей манерой разговора — манерой, которую, как он знал, не любили многие: Данилов никогда не думал над тем, как и что надо сказать, а говорил «с плеча». Тех, кто не очень-то уважал правду, даниловская прямота коробила. Товарищи рассказывали, что за эту манеру Данилова хвалил (правда, за глаза) Владимир Ильич, у которого нынешний секретарь учился в Лонжюмо, в партийной школе.

Большой, грузный Данилов, казалось, заполнил собой весь небольшой кабинет, мерил его шагами — три до одного угла и три обратно — и гудел своим басом:

— А я, брат, уже прошел по заводу, прошел... Можешь не рассказывать, сам всё знаю... И что с людьми плохо — знаю, и с хлебом плохо — тоже знаю: меня рабочие чуть ли не час выпрашивали, как с хлебом.

— Как же с хлебом? — тихо спросил Чухалин.

— Плохо. Совсем паршиво. На Волге люди как мухи мрут... Кулачье в черноземной полосе, да и у нас тоже, попрятали всё. В ямах гноят. Ну, да ненадолго... А вот что лес у тебя на реке сбился — за это уж, брат, бить тебя надо.

Он не дал Чухалину возразить:

— Знаю. И помолчи — всё знаю! Людей нет? А ты третьедневишнюю «Правду» читал?

— К нам она на пятый день приходит. Что там?

— А ты почитай. Такому директору, как ты, очень полезно.

Данилов вытащил из кармана галифе сложенную во много раз газету, развернул ее на столе, разглаживая сгибы, и отчеркнул на первой странице ногтем нужное место.

Чухалин, поправив очки, наклонился. В глаза бросилась небольшая заметка:

«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения, — торопливо читал Чухалин, — для перевеса над классовым врагом, коммунисты и сочувствующие вновь должны прищипорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, т. е. увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции, — работу производить бесплатно. Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком».

Это была резолюция коммунистов и сочувствующих подрайона Московско-Казанской железной дороги. Чухалин читал, не вдумываясь в слова, стремясь уловить общий смысл заметки. Само событие — коммунистическая суббота — потрясло его; он чутьем уловил в этом что-то новое, такое, с чем ему еще не приходилось встречаться.

«Воодушевление и дружность работы небывалые. Когда без ругани и споров рабочие, конторщики, уп-

равленцы, охватив сорокапудовый бандаж колеса для пассажирского паровоза, перекачивали его на место, как трудолюбивые муравьи, на сердце рождалось горячее чувство радости от коллективного труда и непоколебимая вера в победу рабочего класса. Мировым хищникам не задуть победителей-рабочих, внутреннему саботажу не дожидаться Колчака.

По окончании работ присутствующие были свидетелями невиданной картины: сотня коммунистов, уставших, но с радостным огоньком в глазах, приветствовала успех дела торжественными звуками «Интернационала», и казалось, что эти победные волны победного гимна перельются за стены по рабочей Москве и, как волны от брошенного камня, разойдутся по рабочей России и раскачают уставших и расхлябанных».

Когда Чухалин дочитал последние слова, Данилов сказал вдруг с необычайным волнением:

— А знаешь, кто на этом субботнике работал? Ленин. Большой, раны еще не зажили, а бревна таскал.

Чухалин молчал.

...Час спустя они пришли в клуб, и еще издали, в сенях, слышали по-особенному горячие, перебивающие друг друга, голоса. Данилов вопросительно поглядел на директора; Чухалин улыбнулся: «Смена окончилась, комсомол заседает. Зайдем?». Они вошли в комнату и, никем не замеченные, сели на заднюю скамейку.

Скоро Чухалин разобрал в чем дело: Трохов уезжал на фронт, здесь проходили выборы нового секретаря. Поднявшийся с места Кият кричал, что выборы недействительны — не хватает народа, другие, в том числе и Трохов, кричали в ответ, что не всё ли равно...

Данилов, усмехнувшись, тронул Чухалина за рукав:

— Пойдем. Пусть сами разберутся. Потом спросим.

Но через несколько часов, узнав, что комсомольское собрание продолжается, Данилов заторопился: «Видимо, не умеют ребята решать вопросы. Вон сколько времени потеряно. Идем, поможем».

Сесть уже им было негде, и они пристроились за спинами комсомольцев на краешках табуреток, выставленных в коридор. Через открытую дверь доносились голоса выступавших. Данилов, нагнувшись, спросил шепотом у одного из комсомольцев:

Выбрали уже?

— Выбрали, — отмахнулся тот, не оборачиваясь: мол, не мешай слушать.

— Кого?

— Да Курбатова... — и тут же закричал срывающимся голосом: — Правильна-а-а!..

— Хороший парень? — не унимался Данилов. Парень зло обернулся на него и ответил:

— Чего ж хорошего? Только на безрыбье и рак рыба.

— Зачем тогда избирали? Лучше не нашлось?

Комсомолец огрызнулся:

— Да дай человека послушать-то.

Чухалин, услышав о том, что секретарем выбрали Курбатова, тихонько присвистнул и прошептал Данилову на ухо:

— Это тот, который пожар предупредил... Помнишь, я тебе рассказывал? Только молод, боюсь, подготовки у него никакой...

— Как будто у тебя, директора, высшее хозяйственное образование, — хмыкнул Данилов. Чухалин, смутившись, отодвинулся, подумав: «Ну, теперь парню кисло придется. Тянуть надо...».

А там, в комнате, говорили об одном: об отправке на фронт. Трохова и еще нескольких человек этот разговор не касался: завтра они должны были явиться в город, в военный комиссариат. Ребята уже высказались, собрание подходило к концу, и Кият стоя зачитывал «слушали — постановили»:

С л у ш а л и:

1. Текущий момент.

Прений не было, и так всё ясно.

2. О всероссийской мобилизации комсомольцев на фронт. Докладчик Я. Курбатов.

В прениях высказались 17 человек, всё больше о том, чтобы мобилизовать на фронт не с 18, а с 17 лет.

П о с т а н о в и л и:

Считать текущий момент очень острым. Всем комсомольцам работать и действовать так же, как в прошлом году. Бюро ячейки составить план и утвердить на следующем собрании.

Довести до сведения губкома РКСМ, что семнадцатилетние комсомольцы могут воевать не хуже восемнадцатилетних и что они все прошли всеобщую и умеют владеть винтовкой, наступать цепями и ходить в атаку. Поэтому

Только представитель партийки М. Трохов воздержался, сказав: «Слабина вы еще».

считать мобилизованными ячейки на фронт всех ребят, кто старше семнадцати лет, кроме: Семенова, Иванова, Ксенофонтова, Дробилина и Лукина, как неспособных к военной службе, и Курбатова, как не совсем здорового, хотя он и возражает.

Принято единогласно при двух воздержавшихся. Когда их спросили, почему они воздержались, они не ответили, а сказали только: «так».

Кият кончил читать и устало спросил:

— Ну, будут еще мнения?

— Будут, — поднялся Данилов.

Все повернулись к нему, Кият даже приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть, кто это там басит в задних рядах, а Трохов, увидев Данилова, вскочил на сцену, широко разводя руки и улыбаясь:

— Товарищи! — крикнул он. — Ура секретарю губкома партии товарищу Данилову. Ура-а!

Всем как-то сразу стало неловко, никто Трохова не поддержал. Данилов, пробираясь к сцене, поморщился: сидевшие поблизости услышали, как он бурчал:

— Ну и прокукарекал, петух.

Трохов, глядя на Данилова влюбленными глазами, задом слез со сцены и плюхнулся на свое место. А секретарь, насмешливо покосившись на него, отвернулся.

— Сколько же вы, ребята, заседали сегодня, а? — спросил он, вытаскивая из кармана большие часы. — Ох, как долго заседали. А я должен сказать, что в основном впустую. Секретаря избрали — это нужное дело, а вот с отправкой на фронт... Не пойдет.

— Почему? — вскочил покрасневший Кият. Ребята шумели, и председатель уже протянул было руку к ступе, стоящей на столе. А Данилов продолжал говорить:

— Но, мне кажется, и ругать вас за потерянное время нельзя. Хороши были бы вы, комсомольцы, если б поступили иначе. Объявлена всероссийская мобилизация молодежи на фронт, партия туда посылает тысячи коммунистов. И вдруг у партии находится такой «помощник», который говорит: «Война с панской

Польшей дело сейчас не наше, у нас не осталось взрослых ребят, а мы еще малолетние, мы будем за мамкину юбку держаться». Если бы вы сделали так, не обсуждали, не вынесли такого решения о поездке на фронт, то я бы первый позвонил в ваш губкомсомол и посоветовал распустить такую ячейку. Зачем партии такой помощник? Правильно вы сделали! Молодцы! Но вот нашему партийному секретарю следовало бы подсказать вам, что к чему. Слышишь, Александр Денисыч? Почему Булгакова нет на собрании?

— Он в заводе, — мрачно отозвался Чухалин.

— Ну, поговорим с ним, — то ли с угрозой, то ли с усмешкой сказал Данилов. — А вам, комсомол, я вот что посоветую: на фронт вам сейчас никак ехать нельзя. Вы не подумайте, что я не верю, что вы воевать хорошо будете. Даже уверен, что воевать вы бы стали лучше, чем многие. Оружие вы знаете, военное дело тоже.

— Так чего ж делать-то? — с каким-то отчаянием крикнул кто-то из ребят. — Мы ж уже всюду растрепали, что поедem.

Данилов сунул руку в карман и вытащил газету. Ребята смотрели на него с тревожным ожиданием. Секретарь губкома, широко улыбнувшись, обвел взглядом ребят и весело спросил:

— А ну, кто тут самый голосистый?.. Читай вслух...

... Нового секретаря, как и предполагал Чухалин, пришлось «тянуть». Его учили уму-разуму уже на втором субботнике, потихоньку, незаметно от других, подсказывали, как организовать работу, чтобы на первых же шагах «не подрывать авторитета» — как позже, разговаривая с Чухалиным, выразился Пушкин.

Субботники вошли в жизнь завода, как нечто обязательное, обыденное, без чего завод не может существовать. После работы десятские давали сведения о том, сколько сделано. Однажды, сдавая такие сведения, Яшка с азартом сказал Пушкину:

— Смотри, дядя Захар, сколько я сегодня сделал: больше, чем в прошлый раз. Я думаю, еще больше сделаю.

— Кто, говоришь, сделал, Яша? — спокойно спросил Пушкин.

Яшка смутился и уже не сказал, а проямлил:

— Я... дядя Захар, я сказал, что вот двадцать две сажени перенесли и напилили.

— Значит, всё же «напилили», говоришь? — с насмешкой переспросил Пушкин. — Как же ты это... Работали все вместе, а ты вроде бы об одном себе говоришь. Вот Чухалин тоже «якать» стал. Я да я! «Мой завод», «я сделал», «у меня на лесной бирже», «мои лошади»... Нехорошо как-то получается. Ведь ему лично ничего не принадлежит. Конечно, ответственность у него больше, чем у тебя, и подчиняться мы ему во время работы должны... Но «якать» зачем? У нас всё общее. Народ всему хозяин.

Передавая этот разговор Чухалину, он повторил всё, что сказал Яшке, и Чухалин рассмеялся:

— И меня воспитываешь? Ох, хитрый ты, Захар. Ну, да, верно. Верно... Трудно Курбатову еще.

Он не ошибся: Яшке действительно приходилось нелегко. На его плечи вдруг взвалилась необычайно большая и почти не знакомая ему работа. После смены он шел к Булгакову, и тот, сам уставший до предела, учил его. Именно — учил, начиная с того, как проводить комсомольское собрание, и кончая проверкой конспектов по политграмоте. Яшка только до боли стискивал зубы, чтобы не крикнуть: «Я же устал! Разве вы этого не видите?».

Булгаков это видел. Однажды, после одного такого очередного занятия он, провожая Яшку до дверей, тихо и ласково спросил:

— Что, парень, нелегкая, выходит, дорога в большевики?

* * *

Да, дорога нелегкая...

Он работал на заводе с каким-то исступлением, забывая обо всем: и о том, что с фронта вернулся раненый в руку Трохов — всего и провоевал два дня, — и что на танцах в клубе он неизменно вьется возле Клавы и что дома у него, Яшки, — хоть шаром покати, и если Марфа Ильинична не покормит сегодня, ходить комсомольскому секретарю голодным.

Он работал торопясь, будто стараясь обогнать самого себя. Как-то мастер Мелентьев поручил ему сложный ремонт большой вращающейся печи, в которой сжигался серный колчедан для кислоты. Мелентьев

дил Яшке подручного, рассказал, какой надо сделать ремонт и где взять запасные детали.

Колчеданная печь стояла в кислотном отделе. Ремонт был срочный, времени Яшке дали мало: всякая поддержка в ремонте нарушала нормальную работу завода.

Яшка подгонял своего подручного. Часто приходилось выбегать на улицу и дышать свежим воздухом: здесь, в цехе, стоял едкий пар. А потом Яшка вообще решил не выходить на улицу: «Ничего, выдержим, а то времени совсем с гулькин нос».

В горле жгло, глаза покраснели, воспалились. Горькая слюна заполняла рот. Закончив ремонт, оба уже не могли слезть с печи: Яшкин подручный боком повалился на ее дно, и Яшка, пытаясь помочь ему подняться, сам почувствовал, что теряет сознание.

Ребят стащили с печи и вынесли на улицу. Оба были в обмороке: на носилках их отправили в больницу.

Первым очнулся Яшка; его начало рвать, да так, что казалось, внутренности готовы вывернуться. Рвота была с кровью. Врачи уверяли, что отравление серьезное, но Яшка наотрез отказался снова лежать в больнице и к вечеру попросту сбежал.

На следующий день возле проходной уже висел специальный приказ директора завода Чухалина, в котором Яшке и подручному объявлялась благодарность; кроме того, им была выдана премия — по пять фунтов на брата сушеного урюка, который рабочим отпускали в лавке вместо сахара.

Яшка ходил гоголем. Пять фунтов урюка — это, конечно, на улице не валяется, а благодарность, которую прочли чуть ли не все в поселке, — это посерьезнее. Да и ремонт был такой, что поручался обычно только слесарю шестого разряда.

А потом Яшка «сорвался». Мастер вызвал его и, шевеля густыми бровями, сказал:

— Пойдешь сушильный агрегат ремонтировать. Знаешь, в отжимном отделе.

Он стал медленно объяснять Яшке, где и что надо сделать. Курбатов стоял и слушал его, нетерпеливо перекладывая из руки в руку зубило, и думал: «Да знаю я... Разговорился, что твой пономарь...» Наконец он не выдержал:

— Дядя Ваня, да что я, маленький, что ли? Сам знаю...

Всегда доброе лицо мастера стало злым, в глазах пропала теплота. Мелентьев вспылил:

— Видишь ты — всезнайка какой! Молокосос, индюк надутый. Вот ведь сколько тебе надо: раз поблагодарили — а ты уже и нос задрал. Я давно замечаю, как ты таким фертом ходишь, а еще, оказывается, и знаешь всё. Мне вот скоро пять десятков, а я, старый дурак, и до сих пор считаю, что знаю всего ничего. До сих пор, у кого только можно, учусь, ко всему приглядываюсь.

Яшка стоял красный; неприятны были слова мастера. Он уже понимал, что сделал плохо, и неожиданно вспомнил, какими ироническими улыбками встречали его иногда старые слесари.

А мастер, дядя Ваня, всё еще кипел. Однако тон его был уже другой, более душевный, поучительный:

— Запомни, павлин мокрохвостый, что я скажу. Вот ты сделал досрочно ремонт печи — завод от этого и не встал на простой. Тебе и благодарность объявили, и пять фунтов урюку выдали за старание. А знаешь ли ты, что прежде чем пустить печь, я сам осмотрел твой ремонт? У двух болтов на фланцах гайки на две нитки отходили. Думаешь, если бы я не доглядел, — долго печь наработала бы? Да я про это никому не сказал, сам повернул гайки. Тебя пожалел, видел, что стараешься. Выходит, зря я не сказал...

Когда Яшка услышал это, он вспомнил, что гайки завинчивал подручный, и работу Яшка не проверил. А проверить он был обязан — он отвечал за ремонт.

Сейчас он стоял, стараясь не смотреть на Мелентьева. «Стыдно, ой, как стыдно!» Щеки у него пылали. Казался горьким и урюк, съеденный им. А верно, он хвастался, Клаву этим урюком угощал. Хвастался перед Титом Титовичем, перед Чухалиным. Но одна Марфа Ильинична вслух похвалила его, остальные только слушали, а старик Алешин, вспомнил Яшка, лишь неопределенно улыбался.

— Давайте, дядя Ваня, рассказывайте о ремонте, — пробормотал он.

Тот усмехнулся, отворачиваясь:

— Нет, Яша, теперь я тебе этого ремонта не дам.

Ишми-ка ты керосину да тряпок, да промой как следует сушильные цилиндры, чтобы на них никакой окисчины не было.

Яшка не ожидал этого. Он чувствовал себя униженным окончательно:

— Дядя Ваня... Да ведь это... прочистить-то и учешки смогут. Мне три года назад эту работу давали.

— Вот и сделай как следует. А работы ты никакой не бойся, всякая для человека не зазорна.

Так «тянули» его большевики, рабочие. И горько было ему порой, и хотелось сказать: «Что, не видите, я же устал?» — но только темней становились глаза, да как-то взглянув на себя в зеркало, увидел Яшка, что губы у него какие-то незнакомые, плотно сжатые, с двумя короткими черточками по краям.

Чухалин, встречая его, говорил обычно, как со взрослым, и Яшка не знал, что в глубине души Александр Денисович тревожится: «Выдержит ли? Тонка еще кишка у парня...»

III

Были короткие дни и длинные, темные вечера. Стояли последние морозы. Днем ярко светило солнце. Кое-где на крышах начинало подтаивать; в воздухе чувствовался уже еле уловимый, всегда волнующий запах весны.

В один из темных вечеров, при ярком свете больших электрических ламп, курбатовская «десятка» работала на субботнике на лесной бирже. Пилили бревна на метровые чурки баланса. Ребята накатывали их из штабеля, подавали под пилу, а потом укладывали на «козла»; там уже девушки снимали кору. Всё шло хорошо. По обыкновению шутили, беззлобно переругивались и, разгибая занемевшие спины, закуривали. Уже давно десятка Курбатова не сходила с первых мест и «висела» на доске у Совета в числе других передовых бригад.

До конца работы оставалось минут пятнадцать. Вдруг загремели бревна, раскатившись из штабеля. Раздался пронзительный девичий крик, и Яшка, вздрогнув, кинулся к штабелю.

На утоптанном, грязном снегу сидела Клава, обеими руками обхватив ногу. Скатившееся со штабеля брев-

но задело ее, и хотя она закричала громко, но не заплакала. Яшка перепугался: бревно могло переломить ногу.

Ребята помогли Яшке поднять Клаву, но стоять она не могла.

— Как кончите — дуйте в столовую, — сказал Яшка, — а я ее до дому провожу. Возьми, Колька, мой талон, похлебку за меня съешь, а хлеб принесешь к себе домой, я забегу.

Ребята пошли работать: Яшка остался с Клавой. Он помог ей встать и крепко взял под руку. Клава попробовала было идти, сделала шаг, вскрикнула и опустилась на снег. Яшка стоял и думал, что зря он отпустил ребят, навряд ли он один сможет отнести ее.

— Давай-ка, держись за мою шею, я тебя на закукорках попробую.

— Что ты, Яша, — тихо и протестующе подняла руки Клава.

Всё-таки она крепко обхватила его шею, Яшка поднял ее и понес. Идти было далеко, не меньше полутора верст. Часто Клава крепко сжимала горло Яшки, тогда он хрипел:

— Не дави на горло. Задушишь.

Клава была тяжелая в своем зимнем полупальтишке. Уже выбившись из сил, он дотащил Клаву до крыльца, еле дотянулся до звонка...

Открыла им Марфа Ильинична. Она, увидев Яшку с Клавой на спине, ахнула, отшатнулась и заплакала.

Потом Марфа Ильинична, немного успокоившись, суетилась около Клавы. Яшка хотел было уйти: может быть, успеет в столовую, а потом надо еще почитать дома «Манифест» — Булгаков будет проверять... Но Марфа Ильинична и слышать не хотела об уходе:

— Да куда тебе идти? Здесь поешь, да и отдохнешь у нас. Вон лицо-то какое — ровно что у ефиопа.

Яшка взглянул на Клаву и уловил в ее глазах какой-то ранее не замечаемый, особенный блеск. Такими глазами Клава еще не смотрела. Яшка остался. Он снял свою спецовку, пошел на кухню, вымыл грязные руки, по несколько раз намыливая их и стряхивая ледяную воду. Когда он вернулся, Марфа Ильинична стаскивала с Клавы валенки. Один валенок валялся на

ногу, второй старуха снять не могла. Как только она припала за него, Клава бледнела и откидывала назад голову.

— Разрезать, бабушка, валенок нужно, иначе ничего не выйдет. Наверное, нога распухла, — сказал Яшка.

Старуха махнула рукой:

— Давай, режь, Яша. Шут с ним, с валенком. Сходи, там на кухне ящик стоит с сапожным инструментом, возьми ножик.

Яшка сходил, принес нож и стал разрезать голенище, еще не понимая, что с ним творится. Такое с ним было впервые. Руки дрожали, дыхание спирало, он краснел и не глядел на Клаву. Впервые так близко он почувствовал Клаву, освобождая ее ногу от серого валенка. Когда Яшка снял валенок, бабушка начала снимать с Клавиной ноги чулок, и Яшка отвернулся.

Нога у Клавы сильно распухла, опухоль была багрово-синяя. Бабушка, всё еще причитая, отжимала над тарелкой тряпку, потом попросила Яшку помочь продвинуть Клаву к столу. Но как продвинешь, если пол крашеный и стулом его поцарапаешь. Яшка, как ребенка, поднял Клаву на руки и перенес к столу. Он чувствовал, что Клава крепко, всем телом, прижалась к нему, и снова им овладело такое же непонятное, радостное чувство.

Они поужинали. Яшка встал и снова хотел уйти.

— Не уходи, Яша, посиди. Дедушка на работе, папа еще на субботнике... Не уходи, сегодня ведь в ячейке ничего нет...

Они остались вдвоем в комнате: Марфа Ильинична хлопотала на кухне. Клава закрыла лицо обеими руками и о чем-то думала, потом она, словно очнувшись, взяла Яшкину руку и тихо пожала ее. Яшка растерялся.

В комнату вошла Марфа Ильинична, и он поспешно вскочил:

— Пойду я, Клава...

— Посиди, — шепнула она. — Тебе недалеко идти, из крыльца в крыльцо. Хотя нет... Иди, ложись спать.

Яшка пришел к себе в барак. Его нынешний сосед, Валя Кият, уже спал. Стараясь не шуметь, Яшка разделся и лег на свой топчан. Новое, тревожное и вместе

с тем радостное чувство не проходило, он лежал и улыбался в темноту.

Только под утро он забылся тревожным, коротким сном.

* * *

Нога у Клавы разболелась, ходить она не могла. Яшка каждый вечер прибегал в дом Алешиных, усталый, измотанный: из губкома пришла директива подготовить бригаду на сплав. Весна была не за горами.

Всякий раз, навещая Клаву, Яшка всё больше и больше убеждался, что теперь в их отношениях появилось что-то особенное. Сейчас он уже не мог не чувствовать близость Клавы, но не решался сказать ни о чем.

А ей надоело проводить дома неделю за неделей; как-то вечером она заявила Яшке:

— На воздух хочется. Вот только ходить я не могу, на крыльцо — и то не выйти.

Она даже вздрогнула, когда Яшка, ни слова не говоря, не одеваясь, выбежал в сени: хлопнула входная дверь.

Там, в его бараке стояли финские сани с длинными полозьями и высоким сиденьем-креслом. Он быстро вытащил сани на улицу и подогнал к дому Алешиных. Когда Клава увидела его, покрасневшего, тяжело дышавшего, так и сияющего улыбкой, она поняла...

— Чего же я ей на больную ногу дам? Даже дедушкин валенок не влезет, нога больно толсто увязана.

Потом бабушка что-то вспомнила, ушла и вернулась с куском овчины — спорком от полы старого полушубка. Яшка бережно стал укутывать в овчину больную ногу Клавы. Овчину он перевязал бечевкой.

Снова на руках он вынес Клаву на улицу, усадил в финские сани и встал сзади на длинный полоз.

Они ехали по тихой, безлюдной, темной улице поселка. Небо было темное, звездное; половина луны разливала по земле свой мертвый, бледно-голубой свет. Снег скрипел под полозьями, искрился и вспыхивал в лунных лучах. Высоко в небе виднелась широкая полоса Млечного пути.

Стояли последние зимние морозы. Порою слышалось сухое потрескивание, о котором всегда говорят,

что это «морозко грозитя»: на холоде трещали деревья.

Они долго ехали молча, словно боясь нарушить тишину. Первой заговорила Клава:

— Красиво, верно? Сейчас бы побежать — да в снег... Как это — стихотворение про мороз? Помнишь его? Я конец забыла.

Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит, хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли...

Как там дальше?

Яшка начал тихо декламировать; ему, как и Клаве, не хотелось громко говорить сейчас:

...Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда.
Пойду на моря-океаны,
Построю дворцы из льда!

Незаметно они очутились на окраине поселка; дальше белело, теряясь в темноте, занесенное снегом болото. Холодный ветер резал щеки и бросал в лицо тучи мелкой снежной пыли.

Здесь они простояли несколько минут: была во всём — и в этой поземке, и самой темноте — какая-то притягательная сила. Яшка развернул сани так, чтобы ветер не дул в лицо. Стало теплее. Они молчали.

— Наклонись ко мне... — тихо попросила Клава.

Яшка наклонился к ее лицу, и девушка, обхватив его шею руками, поцеловала в губы и сразу отвернулась.

Яшка опустил в снег. Он не мог понять, что же произошло, но чувствовал, что произошло что-то большое. Вдруг он бросился к Клаве, обнял ее и стал быстро говорить, путая слова, почти рыдая:

— Клавочка... Родная моя... Теперь я знаю, что это со мной... Всю жизнь...

Клава вырвалась:

— Не надо, Яшенька, потом...

Он опомнился:

— Что же... дальше-то будет, Клава? — робко и

неуверенно спросил он у девушки, и та вдруг засмеялась, щуря глаза от ветра:

— Как что? Да ничего! Мы с тобой долго дружили, а теперь тоже... будем долго дружить... Глупый ты еще, Яшенок!

Пора уже было ехать обратно: Марфа Ильинична, надо полагать, волновалась. Яшка нехотя повернул сани. Холода он не чувствовал. Самый родной теперь, самый близкий человек сидел перед ним, он видел только платок да прядь волос, выбившуюся наружу, занесенную снегом, и щекой прижался к этому платку.

— Глупый ты, Яшенок! — снова с ласковым упреком повторила Клава. — Тебе еще семнадцать, а я старше тебя, мне уже восемнадцать. Что дальше? Да ничего! Пускай никто об этом не знает, ты только не выдавай себя при народе. А то ты на танцах всё время сердисься, когда я с другими танцую. Мне даже... обидно делается.

Яшка вдруг буркнул, нахмурившись:

— Я сержусь, когда ты с Мишкой Троховым танцуешь. Не люблю я его, трепача. Вояка... В палец ранило... Ребята слышали, как он про войну врал... Смотреть противно, когда он языком себе губы лижет.

— Это в тебе ревность говорит, — засмеялась девушка. — Мне вот кажется, он совсем неплохой парень. А что не на фронте, день всего пробыл — так ведь ранили его, так уж получилось. И что на склад его послали — тоже так надо: ведь кому-то и на складе надо работать...

Яшка не сдавался, чувствуя, как раздражается против воли и совсем некстати начинает говорить резко, так, как всегда было у них перед ссорами:

— Ты послушай лучше, как он заливает. На складе мог бы и старик сидеть. Зачем он таким пижоном оделся? На какие шиши фасонистую форму завел? Вон ребята говорят — не иначе как продуктов нахапал...

Злость душила его. Но Клава не оборачивалась и не видела, как у Яшки по лицу пошли темные пятна.

— Зачем же ты так о человеке говоришь? Не знаешь — а говоришь.

— О Мишке все так говорят, — снова буркнул он. — Хочешь, спроси о нем отца.

— Никого я спрашивать не буду, сама разбираюсь. Мало ли что говорят. Одно время и про тебя тоже говорили — «алкоголик», «хулиган». Ну, мы, кажется, приехали?

Они не заметили, как добрались до дома. В окнах горел свет, на замерзшем окне виднелась тень Тита Титовича. Яшка поднял Клаву и понес к дверям.

Простились они сухо, и Яшка ушел с тяжелым сердцем: что-то было недоговорено, что-то неприятное, холодное вдруг проползло между ними, хотя, вспоминая этот вечер во всех подробностях, он не мог разобрать, что же так взволновало его и откуда появился этот неприятный холодок...

IV

Основным сырьем для завода были металл и древесина. Цехи поедали их в огромном количестве — эти горы металлического лома, штабеля стальных болванок, сотни и тысячи хлыстов...

Для заготовки древесины у завода были свои лесоразработки. Лес сплавлялся сначала в реку Кубину; на Высоковской запани бревна сбивались в плоты, и два буксирных парохода тянули их через огромное Кубенское озеро в реку Сухону, на которой стоял завод...

Май выдался знойный. Весна была в разгаре, а из-за паводка сплотка древесины в Высоковской запани замерзла, угрожая заводу остановкой. Впрочем, весенние паводки никогда не были здесь неожиданностью; к ним готовились, их побаивались. Но когда Чухалину сообщили, что воды столько, сколько и старожилы не припомнят, и что как-то ночью моле¹ разбило лежни на крайней секции, — Чухалин заволновался не на шутку. Данилов, уезжая, всё-таки сказал ему:

— За то, что не в твоих силах, — ругать не имеем права. Но если что-нибудь по твоей вине случится — ответишь перед партией. Знаю, трудно всё усмотреть, но... надо.

Чухалин заволновался, но положение не было без-

¹ Мошь, молевой сплав — бревна, не собранные в пучки и плоты. *Прим. авт.*

выходным. Бригада комсомольцев готовилась к работе на запани уже давно: ребята — «для практики» учились сбивать лес на Сухоне, и просто страшно было смотреть, как стоит какой-нибудь лихач на крутящемся бревне и, орудуя багром, подгоняет другие бревна. Ледяные ванны не останавливали ребят, а случалось, в воду летели многие.

Когда Курбатов, вызванный Чухалиным, вошел в его кабинет, директор уже подписывал приказ об отправке комсомольской бригады на запань и, не поднимая головы, отрывисто спросил:

— Кого бригадиром?

— Меня, — словно бы удивленно пожал плечами Яшка.

— А посерьезнее? — строго вскинул на него глаза Чухалин.

— Чего ж посерьезнее? — обиделся Курбатов. — Что я, работать не умею, что ли?

Чухалин качнул головой и крикнул:

— Эк герой! А здесь за тебя дядя работать будет? Нет у тебя такого подходящего дяди. Так что проводить — проводи, но дальше пристани не пущу. Бригадиром, я думаю назначим...

— Кията, — не дал ему договорить Яшка.

Наутро Яшка стоял на пристани и с грустью смотрел, как ребята поднимаются по шатким мосткам, раскачиваясь и широко разводя руки. Жаль было расставаться с Клавой, с Киятом; но на пристани стояла обычная предотъездная сутолока, и никто не замечал, что Яшка провожает ребят с грустью.

Клава — та верно угадала его состояние:

— Яшенька, ты что? Мы же скоро... Да и ты, наверно, выберешься.

— Я не о том... — махнул он рукой. — Ты береги себя... Осторожней на сплотке.

Клава рассмеялась и, спохватившись, быстро пожала Яшкину руку. Буксирчик, сипло прогудев, шлепнул плицами по воде, и та вспенилась, будто закипела. Ребята стояли вдоль борта, облепили рубку, что-то кричали... На корме, увидел Яшка, чуть в стороне от остальных сидел на канатной бухте Валя Кият, но смотрел он не на берег, а куда-то в сторону, туда, где, сворачивая от железнодорожного моста, уходила к

Горизонту, к сияющей зубчатой кромке леса дорога. — Тоже сам не свой, — подумал Яшка. — Нет, этот выдержит...»

Впервые за всё время они разговорились этой ночью, накануне отъезда. Яшка, слышавший раньше о Вале Кияте стороной, спросил его:

— Где у тебя семья?... Кто есть у тебя?

Кият промолчал, и Яшка смутился: молчание было томительным.

— Не знаю, — наконец отозвался тот. — Отец погиб... при взрыве...

— Да, да, — поспешно, даже, пожалуй, чересчур поспешно перебил его Яшка, чтобы сравняться здесь с Киятом схожестью горя. — Ведь и у меня мать...

— Ну, а где мои остальные — не знаю... Где-то там... в Эстонии...

Лучше было не начинать этот разговор, а начав, быстро кончить его. Но кончить было поздно. Они просидели до утра на одной кровати, и — странная вещь! — Яшка, сам того не замечая, рассказал Кияту всё, начиная с битвы в полицейском участке и кончая темным заснеженным полем, возле которого как-то ночью стоял он рядом с Клавой. Он и сам не мог понять, почему так, вдруг, доверился соседу по комнате, но утром, провожая ребят, почувствовал, что и с ним, с этим парнем, ему расставаться тоже грустно.

Далеко были видны всё уменьшающиеся фигурки уехавших, и долго виднелась белая, словно седая, голова Вали Кията, всё так же неподвижно сидящего на корме...

Кто-то тронул Яшку за рукав, и он обернулся. Позади него стоял ученик из варочного отдела, худенький большеглазый Лобзик:

— Идем? Нам сегодня в день дежурить.

Они шли рядом, и Лобзик без умолку тараторил, что это безобразие — назначать комсомольцев дежурить по ЧОНу в день и что надо обязательно пойти к чекисту Громову или начальнику ЧОНа Чугунову: пусть переводят на ночные дежурства. А то какое же это дежурство: ходи себе и поплеывай по сторонам.

Курбатову Лобзик нравился. В этом человеке, казалось, не было ничего, кроме огромных черных глаз да удивительной способности говорить без остановки хоть

все двадцать четыре часа кряду. Ребята смеялись над ним:

— Лобзик, а тебя как заводят?

— А ты в цирк не обращался? Огромные бы деньги дали...

Но никто не знал, откуда он появился здесь, на заводе, где он жил до этого, что делал, где его родители.

Теперь Лобзик то забегал вперед Яшки и, отчаянно жестикулируя, доказывал, что «с этим безобразием пора кончать», то шел позади и спрашивал: «Так ты пойдешь к Чугунову? Нет? Тогда я сам пойду, и я...»

— Да остановись ты, — взмолился Яшка. — Голова разболелась.

— А я не могу, — выкатывая и без того огромные, с какой-то сумасшедшинкой в черных зрачках глаза, серьезно ответил он. — У меня там (он ткнул себя в горло) какая-то дрянь сидит, понимаешь? И говорить охота — будто прыщ какой чешется. Так пойдешь к Чугунову?

Яшка вспомнил, как он сам ходил хвостом за Чугуновым, вымаливая у него «Смит-Вессон», и, рассмеявшись, хлопнул Лобзика по спине.

— Ладно, идем... Ну и костлявый же ты! Всю руку о твои кости отбил.

— Девчонкам нравится, — хмыкнул Лобзик.

— Что? — Яшка от удивления и неожиданности спросил, заикаясь: — К-как ты... г-говоришь?

— Нравится, говорю. Гляди.

Он оглянулся — нет ли кругом людей, — вытащил из штанов рубашку, задрал ее под подбородок. На вдавленном животе была вытатуирована большая синяя змея, несущая в зубах обнаженную женщину. Лобзик пошевелил мускулами — и змея тоже зашевелилась, зашевелилась и женщина, разведя руки, словно моля о пощаде.

— Видал? Я как девчатам покажу — визжат от страха... А нравится.

Так нелеп был этот переход от чоновских дел к татуировке, что Яшка, потрясенный, даже забыл спросить, откуда у него этот рисунок. Лобзик уже засовывал рубашку в штаны, довольно улыбаясь:

— Во всем мире три таких штуки. Одна у малай-

ского пирата, другая у меня, а третья... у одного человека.

— Какого человека?

— Так, — уклончиво ответил Лобзик, поняв, что сболтнул лишку. — Был знакомый... Ну, так, значит, к Чугунову?

— Ты ему покажи это, — полушутя, полусерьезно посоветовал Яшка. — Может, за такую диковинку он тебя в специальный чоновский музей отправит. Я слышал, есть уже такой в Москве.

Лобзик метнул в Яшкину сторону недоверчивый, испуганный взгляд:

— Слушай, Курбатов, будь друг, не говори в ЧОНе об этом... Громову не говори, а? Не скажешь, а?

Яшка насторожился. Видимо, Лобзик в своем хвастовстве зашел далеко, дальше, чем полагалось, и сейчас чего-то струсил. Поэтому Яшка спросил как можно равнодушной:

— Что ж у тебя за тайна такая? Девчонки, говоришь, видели, а Громову нельзя? Подумаешь, змея с теткой...

— Не говори, — взмолился Лобзик. — Я лучше тебе скажу, если слово дашь. Ну, комсомольское.

— Ну, комсомольское, — всё еще стараясь казаться равнодушным, повторил Яшка.

— Я ведь по тюрьмам шлялся... И завязал — шабаш... Мне в Бутырках печенки менты отбили... Я Дзержинскому письмо написал — судили ментов потом. А потом, знаешь, Дзержинский в больницу приходил. Говорит — в колонию, а я собрал шмутки и рванул когти... сюда.

Яшка не заметил, что шли они медленно и что так случайно начавшийся разговор вдруг стал напоминать тот, вчерашний, ночной, который Яшка вел с Княтом.

— Боюсь я всё-таки чека, — со вздохом признался Лобзик. — Так что ты не говори, Курбатов, а?

Яшка неожиданно обнял его одной рукой за острое, выпирающее, худое плечо и то ли с удивлением, то ли вопросительно сказал:

— А ведь ты вроде... ничего парень, Лобзик.

Чугунов был в помещении ЧОНа. Он сидел за столом, грузный, злой, небритый, не выспавшийся, и, по-

стукивая по выскобленным доскам своим кулачищем, читал какую-то бумажку. Яшка заметил, что, когда они вошли, Чугунов поспешно спрятал ее в карман:

— А-а, орлёнки. Чего вам? Уже на дежурство? Отменяется.

— Почему?

— В ночь будете дежурить. Приказ пришел. И вот что, ребятки... садитесь-ка... Дело тут такое... ну, прямо скажем, хреновое получается дело. В городе застукали одну группку, они и раскололись — рассказали на допросе в чека, что подготовлен поджог на заводе. Здесь, у нас. Поняли? Днем-то, на людях, не подпалить, а вот ночью будем высылать усиленные наряды. Когда у вас смена?

Яшка ответил, а Чугунов кивнул:

— Ну, вот и валяйте: отработаете, сосните минут так полтора — и сюда.

Когда они вышли от Чугунова, Лобзик рассмеялся.

— Чего ты?

— Да ничего. Весело всё получается. Ты разбудишь меня по пути, а?

Яшка, шагая впереди, не ответил. Уже у самых заводских ворот он, будто вспомнив что-то, обернулся:

— Вот что... После смены ко мне пойдем. Кият уехал, ложись на его кровать. Барахлишко только захвати — одеяло там, подушку...

Лобзик как-то странно сверкнул на Яшку своими черными, как антрацит, глазами и улыбнулся:

— Значит — корешки?

— Какие еще «корешки», — буркнул, не поняв, Курбатов. — Говори уж со мной по-русски.

— Ну, дружки, значит? Гроб, могила, три креста...

Яшка оборвал его:

— Забудь ты эти свои штучки, Лобзик.

Уже входя в цех, он подумал: «Чего это он со мной так... разболтался? Молчал, молчал — и нате вам». И тут же ответил сам себе: «А ты? Всё Кияту выложил... Душа, что ли, требует?»

* * *

Как ни смотрели наряды, как ни охранялись заводские помещения, а всё-таки однажды ночью весь поселок был поднят по тревоге. Горели склады готовой

целлюлозы. Подожгли их умело, одновременно, изнутри, и чоновцы увидели пожар только тогда, когда огни начали выбиваться из-за широких дверей, лизать крыши... Спасти целлюлозу было уже невыносимо: единственное, что оставалось делать, — это гасить пламя, чтобы оно не перекинулось на другие заводские постройки. Примчавшийся Чугунов, отчаянно матерясь, орал чоновцам:

— Да что вы стоите? Оцеплять поселок... Поселок оцеплять, говорю. Чтоб мышь не пролезла... Головой отпечаете. Без вас здесь потушат. Ну!

Яшка бежал отсюда нехотя: чёрт его знает, хватит ли народа, чтобы погасить огонь? Возле последних домов он остановился, тяжело дыша, и обернулся: там, в стороне складов пламя становилось всё ярче. Лобзик, бежавший рядом, тянул его:

— Идем, идем... Ах, поймать бы!.. На месте грохну!

Они побежали к болоту, за которым начинался низенький редкий перелесок. Прыгая с кочки на кочку, Яшка первый перебрался через болото и упал в кусты, выбрав место посуше. Лобзик плюхнулся неподалеку: очевидно, он попал в воду — донеслась его яростная ругань.

Неожиданно тихо стало вокруг. Уже не слышны были людские голоса, где-то в перелеске ухнул пару раз филин и замолк. Яшка лежал, вглядываясь в темноту, и ему казалось, что всюду — и за кочками, и за кустами — ползут сейчас поджигатели. Но нет, всё было тихо по-прежнему.

Яшку начало сильно знобить. Он тихо окликнул соседа:

— Я пойду, пройду по той стороне. Не беспокойся, скоро вернусь.

Но поднявшись, он увидел, как в стороне завода вдруг широким снопом рванулось вверх ослепительное оранжевое пламя...

От горящих складов огонь перекинулся на поселок.

...Горела вся заречная, сплошь деревянная, часть. Пожары от искр возникали сразу то на одной, то на другой улице. Загорался один дом, а потом через несколько домов загорался другой.

Зрелище пожара было зловещим. Огромные клубы

едкого дыма поднимались и пропадали в высоте или вдруг, подхваченные ветром, стлались по самой земле. Сноп искр, головни, целые горящие бревна, как вспыхивающие фейерверки, взметывались в воздух. С треском лопались оконные стекла, как выстрелы, рвалось разгорающееся сухое дерево. От сильной жары трудно было проходить даже по середине горящей улицы. Оставшиеся дома люди выбрасывали на улицы скарб, перетаскивали его на прилегавшие пустыри, подальше от огня. Страшные, разлохмаченные, воющие женщины с плачущими детьми метались от одного дома к другому: начиналась паника.

Но здесь, вдали от пожара, Яшка не видел и не слышал ничего. Он медленно шел, стараясь не подниматься высоко над кустами, по самому берегу болота, вдоль безмолвных, словно безлюдных, крайних домов поселка, широко раскрывая глаза в густой темноте.

Внезапно ему показалось, что возле одного из домов мелькнула тень, и он присел, боясь пошевелиться. Он не ошибся. Из калитки, крадучись, прижимаясь к забору, выбежал человек, и сразу Яшка увидел огонек, лизнувший бревенчатую стену дома. Человек нырнул в соседнюю калитку. Вскинув винтовку, Яшка бросился за поджигателем, быстро вбежал в калитку и увидел, как тот, присев на корточки, чиркает возле стены спички.

— Стой, сука! Убью!

Поджигатель метнулся к высокому забору, отделяющему двор от соседнего. Он с разбега ухватился за колья забора, закидывая ногу. Но Яшка уже подскочил к нему и, не соображая, что делает, ударил прикладом. Человек упал, вскрикнув, и, пытаясь подняться, послушно поднял руки.

— Ну, повернись! — крикнул Яшка. Поджигатель повернулся: на Яшку глядело перекошенное злобой лицо и каким-то, хотя и далеким, но знакомым показалось оно.

Бандит тоже взглянул на Яшку и вдруг усмехнулся:

— А, чумазый! Вон ты какой стал? Что, завоевания революции защищаешь?

Яшка вздрогнул. «Генка с Екатерининской, сын ротмистра! Ловили... на брюхе заставляли ползать... грязь жрать».

Эта картинка из детства, уже, казалось, забывшаяся, стершегося в памяти, промелькнула перед Яшкой с отчетливостью, почти фотографической. Ну да, это он, Генка!..

— А ну, ложись, стерва! — крикнул он Генке каким-то не своим голосом. — Ложись, говорю!

Он щелкнул затвором. Наглая усмешка Генки сразу сменилась каким-то гадливым выражением. Яшка орал, не помня себя:

— Ешь землю! Ешь, гадюка! — Дуло винтовки уперлось в Генкину спину.

— Да я... Да, что ты...

— Ешь, сука! Ешь! В последний раз говорю, стрелять буду... — захлебываясь от злобы, орал Курбатов.

Действительно, лицо у Яшки было почти синее от злобы: сейчас он был готов на всё и еле сдерживался, чтобы не выстрелить.

Генка губами ткнулся в жидкую грязь двора, пахнущую помоями и навозом. Яшка скомандовал: «Ползи!», и Генка пополз.

Яшка не слышал, когда его окликнул начальник пробегавшего мимо патруля. Он всё еще орал: «Ешь... Ползи... Ешь... Ползи...». Первым патрульных увидел Генка. Он теперь был согласен на что угодно, лишь бы скорей вырваться из рук взбесившегося Курбатова.

— Спасите! — крикнул Генка.

* * *

...Пожар погасили только утром. Когда Генку привели к Чугунову — черному от копоти, с опаленными волосами — и подробно рассказали обо всём, Чугунов только коротко бросил ему:

— Ну!..

Но Генка уже пришел в себя. Осмелевшим, плаксиво бабьим голосом он закричал:

— Я официально... требую записать в протокол допроса, как вот этот... чум... этот товарищ..

Яшка оборвал его:

— Зверь — и тот к тебе в товарищи не пойдет. Сука ты продажная!

Подскочив к Генке, он с силой ударил его кулаком по скуле, и тот сразу осел на пол. Чугунов схватил Яшку за плечо жесткими, как клещи, пальцами:

— Прочь! — крикнул он Яшке. — Белогвардейщину разводить вздумал? Не ты судья, а трибунал...

Генка пошел к двери, всё еще держась за скулу. Шел он боком, пугливо косясь на Курбатова.

V

Во время пожара умерла Марфа Ильинична, Клавина бабушка. Хотя горел и не алешинский дом, старуха бросилась помогать соседям и не добежала — остановилось сердце. Она сделала еще несколько шагов, подняв руки к сухой, желтой, морщинистой шее, а потом рухнула на дорогу.

О пожаре еще ничего не знали на запани. Не знали и о том, что погибло несколько человек: туда надо было кому-то ехать, и Курбатов заявил Чухалину:

— Поеду я. Ребята здесь справятся...

Это был просто первый и необдуманый порыв; хотя Чухалин, которому сейчас было не до Яшки, и махнул рукой — ладно, езжай, — Яшка, выйдя на улицу, разозлился: «От трудного едешь... Дурак. Лобзик поедет». И пошел будить Лобзика, который только утром вылез из болота, продрогший и голодный, и сейчас отсыпался на кровати Вали Кията.

Растолкать его оказалось делом нелегким. Лобзик брыкался, отмахивался обеими руками и бормотал, не открывая глаз:

— Да иди ты к лешему... Хорошему человеку поспать не дают... Ей-богу, сейчас плевать начну.

Наконец он сел, с трудом раздирая слипающиеся, тяжелые веки.

Яшка коротко рассказал ему, что нужно сделать на запани. Главное, ничего не говорить сразу, подготовить ребят: у некоторых погибли родители.

— Клавье тоже поначалу ничего не говори... Понял? Так, походи вокруг, поболтай, о чем хочешь... Любила она старуху-то. И как лес разберут, — часу не сидите, приезжайте на плотях.

Лобзик, уже совсем очнувшись, зябко ежилась, обхватывая руками острые, костлявые плечи, и, зевая, повторял:

— Это я-асно...

Яшка, провожая его до завода («Богатырь» стоял

вспыхнул у заводского причала), думал — послать ли ему через Лобзика записку Клавье, но решил, что лучше не посылать: правду писать не надо, а веселого всё равно сейчас ничего не напишешь. Он, тронув Лобзика за рукав, только попросил:

— Клавье привет передашь. Понял?

— Ясно, — снова протянул Лобзик. — Ждет, скажу, и страдает...

Яшка вспыхнул:

— Не говори ерунды. Что ж, парень с девушкой дружить не может?

— Почему же не может? Может, — усмехнулся Лобзик. — Вот моя мамка с одним цыганом дружила-дружила, а потом я родился... Да ты не смущайся, брат. Она тебе в пару... Не сомневайся, всё скажу, как надо.

И мелкими шажками, ступая на носки, он ушел к пристани. Курбатов смотрел ему вслед хмуро; значит, видят, заметили ребята его отношение к Клавье. Ну так что ж? Пусть замечают, в конце концов ничего плохого-то и нет.

...Лобзик приехал на запань в конце дня. Здесь, вдали от чадного завода, пахнувших гарью улиц, дышалось легче, хотя ехал Лобзик и неохотно: весь поселковый комсомол был мобилизован на работы. Лобзику казалось, что его отстранили от дела, и отстранил не кто-нибудь, а Курбатов, поэтому-то он и задел его перед отъездом. Сейчас он досадовал на себя за это: зря обидел парня, всё равно кому-то ведь надо было ехать.

Проходя мимо домов, выстроившихся над запанью на высоком юру, Лобзик увидел большой плакат, написанный красным и синим карандашами:

Товарищи рабочие запани!

Сегодня в 6 часов вечера
кружками комсомольской ячейки завода имени Свердлова
будет дан большой концерт.

ПРОГРАММА

1. Драматическое представление «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке».
2. Спортивные выступления и пирамиды.
3. Разнообразный дивертисмент на местные темы.

Концерт состоится на лугу у конторы.

Просьба не опаздывать.

Прежде чем идти дальше, Лобзик прислушался: издали донеслись смех, хлопки, и Лобзик, стараясь казаться беззаботным, пошел туда. Он увидел людей, сидящих полукругом прямо на траве, а на помосте — ребят. Те двигались и что-то говорили, очевидно — смешное, потому что смех не затихал.

Помост-сцена на лугу была построена самими ребятами. Декораций не было. Когда Лобзик подошел и, никем не замеченный, сел позади всех, спектакль «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке» уже подходил к концу.

В пьесе рассказывалось о том, как лодырь не хотел работать на советскую власть, как дезертир не хотел воевать за Советы, но пришел белый адмирал Колчак и заставил несознательного лодыря работать на него по двадцать часов в сутки, а дезертира — воевать против Красной Армии.

Лобзик похлопал ребятам вместе со всеми и, нетерпеливо вертясь, ждал, когда же кончится этот, совсем некстати затеянный, концерт. Но ждать ему пришлось долго: сразу после пьесы начались спортивные выступления.

Публика видела спортсменов впервые. Когда на сцене появились ребята в трусиках и девочки в шароварах, слышались возгласы:

— У, срамники бесстыжие, беспортошники!

— А глянь-ко! Да это девки! Чисто светопреставление! Смотри, и они в одних портках!

— Ой, ой! Что делают-то? Верхом на ребятах ездят!

Девушки краснели, но программа спортивных выступлений была проведена до конца.

Устькубинским мужикам и парням всё это, видимо, понравилось, зато женщины плевались:

— Ну и бесстыжие, вырядились в мужиков-то!

И Лобзик, слушая эти реплики, подумал, что зря ребята включили в программу свои спортивные выступления: только народ взбаламутили.

Но струнные инструменты, баян и песни понравились всем. А ребят, певших частушки, долго не хотели отпускать со сцены, кричали: «Еще! Еще давай!» и хлопали так оглушительно, что Лобзик и в самом деле разогнал на лбу морщины.

Частушки пели двое девчат и два парня, одетые и загримированные под деревенских. Пели под баян, сопровождая каждую частушку пляской:

Посмотрите на Ефима,
Весь оброс, одна щетина.
Как работать, так в кусты —
Без меня собьют плоты.

И все оборачивались на Ефима из Костромы, смеясь и указывая на него пальцами. Ефим, не зная, что ему делать, начал тихо и яростно материться. А ребята пели уже о другом сплавщике, дяде Павле:

Дядя Павел, дядя Павел
Всех нас нынче позабавил.
Влез он в воду по колено
Сплавил ровно три полена!

— Смотри-ко-ся! — надрывался кто-то от смеха. — И дяде Павлу попало! О и ребята приехали!

Общим одобрением были встречены частушки о начальнике и десятниках запани; хотя фамилии и не назывались, но все поняли, о ком шла речь:

И всего-то по осьмушке
Надо с каждого украсть,
Но зато такому типу
Можно жить и кушать всласть.
Как с рабочим — матерится
Наш начальник лихой,
А с начальством в обращенье,
Как ягненок, тихой!

И опять кто-то надрывался от смеха, опять люди хлопали, довольные: до сих пор начальника все боялись.

— Поди-ко, приехали городские-то! Как начальника нашего продернули. И правильно! Откуда они только всё и знают? Видишь, молодые, а дошлые.

— А чего им бояться-то, — обиженно сказал, ни к кому не обращаясь, сосед Лобзика. — Небось, сегодня уезжают. Я б им показал кузькину мать, если б еще денек здесь проторчали...

Лобзик, покосившись на него, не сдержался и фыркнул. Сосед повернулся:

— А ты чего смеешься-то, рожа египетская? Комсомол сопливый...

Он толкнул Лобзика в грудь, и тот мягко покати́лся на траву. Кругом них уже шумели, а сосед, поднявшись, крикнул:

— Будет зубы скалить. Давай работать, не то...

И ушел, покачивая широкими, как у женщины, бедрами.

Ребята только теперь увидели Лобзика:

— Ты? Как ты сюда попал?

— Работать приехал.

Клава Алешина, пробившись сквозь толпу, расхохоталась первая:

— Работать? А мы уже всё сделали. За три дня весь моль разобрали. Ну и рабочийчек нагрязнул...

Они смеялись, смеялся и Лобзик, глазами отыскивая в толпе Валю Кията, нашел его и, подойдя, кивнул: «Айда, поговорить надо». Кият, услышав о случившемся, заторопился...

— Никому не говори... Сам скажу, когда обратно поедем. Вот сейчас плот возьмут на буксир — и поедем.

...Ребята слушали его мрачные, насупившиеся. Когда Лобзик, почему-то волнуясь, добавил, что одного поджигателя удалось схватить Курбатову, он невольно поглядел на Клаву. Та заметила этот взгляд и равнодушно отвернулась...

— Там... все живы? — вдруг неожиданно спросил кто-то у Лобзика.

Вопрос был не случайным: многим еще был памятен взрыв в феврале семнадцатого года. И по тому, что Лобзик ответил не сразу, замешкался, ребята насторожились. Он поймал на себе испытующие, ожидающие взгляды и первый отвел глаза:

— Нет...

Наступила томительная, гнетущая тишина. Почти у каждого в Печаткино оставались родные, и каждый тревожился сейчас за своих. Лобзик, чувствуя, что молчать он уже просто не может, прошептал:

— Трое... погибли... — и медленно повернулся к Клаве. — Твоя бабушка... Мне Яшка не велел... Но лучше сразу... Она хотела помочь другим, ну и...

Клава, побледнев, тихонько охнула. Кто-то из девушек обнял ее; так она, уткнувшись в плечо подруги, и сошла на плот. Там, опустившись на сырые

бренна, она заплакала; девушки успокаивали ее. Кият шепнул одной из них:

— Не надо... Пусть поплачет. Это облегчает.

В обратный путь шли на плотях: снова на пароходе плыть не хотелось. На каждом плоту были построены из веток шалаши. Дни стояли погожие, жаркие, паподок спал. Но когда буксир вышел на середину озера, подул свежий ветер, поднявший волну. Скоро на гребнях волн показались белые барашки, и плоты скрипели, жалобно стонали, потрескивали, могучие бревна — хлысты — то вздымались на волнах, то проваливались. С трудом удавалось ходить по плотам, и казалось, что они вот-вот расползутся по бревнышку и всё живое пойдет ко дну.

В рупор капитан кричал с буксира, чтобы ребята приготвилились.

Но и при такой волне «Богатырь» с плотами благополучно достиг верховьев Сухоны.

Здесь река была быстрее, чем в среднем течении. В этом месте и хорошему пловцу трудно переплыть реку с одного берега на другой. Переплыть по прямой вообще невозможно: пловцов вода сносила чуть ли не на полверсты.

Буксировка шла по течению. Вокруг плотов кипела вода, бревна зарывались в воду, и белая пена клочьями летела по ветру. Хотя на «Богатыре» дали полный ход, буксирный канат то и дело ослабевал: казалось, что плоты догоняли буксир, а тот удирал от них.

Ребята сидели в голове плота молча, обнявшись. Возвращение домой было тяжелым; еще утром никто не мог даже предполагать, что оно окажется таким. Клава по-прежнему оставалась одна; она лежала, плотно прижавшись к бревнам, и словно не слышала, как ее несколько раз окликнули: «Иди к нам!» Наконец она поднялась: ей трудно было оставаться одной дальше.

Босиком она пошла по краю плота, по мокрым бревнам. Вскрика ее никто не услышал, но все увидели поднятые руки и мелькнувшее на какую-то секунду искаженное ужасом лицо.

Плывать она не умела. На плоту все оцепенели. Над водой снова мелькнула ее голова, высоко поднятая рука, и девушка пропала в кипящей воде.

Лобзик был тоже с ребятами, он не заметил, когда упала Клава, и только сейчас увидел ее голову и руку, поднятую над водой. Коротким, неожиданно сильным прыжком он перенес свое худое, почти невесомое тело к крайним бревнам и как-то боком, снова подпрыгнув, упал в воду.

Он успел сообразить, что Клаву снесет течением и прыгнул впереди того места, где она показалась. Нырнул он всегда с открытыми глазами и свободно видел под водой. Вот и сейчас, немного позади себя, в мутно-желтой пелене он увидел плывущую вниз по течению тень. На быстрине реки она не могла быстро опуститься на дно. Лобзик, извернувшись змеей, повернулся и схватил Клаву одной рукой, другой отчаянно выгребая наверх. Приподняв над водой голову Клавы, он прямо перед собой увидел проплывавшие бревна и вцепился в толстый, проволочный канат. Десятки рук уже тянулись к нему...

Девушки плакали. Лобзик осторожно вынес Клаву на середину плота, к шалашу. Бог весть откуда он знал правила спасения утопающих, расстегнул на спине Клавы пуговицы лифчика и дрожащим руками взял ее руки...

Клава не дышала, глаза были закрыты. Минут через десять раздался слабый стон, у нее дрогнули ресницы. Тогда Лобзик кивнул девчатам — давайте, делайте дальше — и отошел, вытаскивая из кармана промокший кисет.

.. Когда Клаву, снова потерявшую сознание, вынесли на берег, Яшка бросился к ней.

— Жива, жива! — схватил его Кият. — Да очнись ты, а то тебя откачивать придется. И вот его благодари, он спас.

Лобзик стоял в стороне, скаля свои огромные, изумительно ровные белые зубы. Яшка, чувствуя, что ему не хватает воздуха, сделал несколько шагов к Лобзику и, схватив его за руки, через силу пробормотал:

— Я... тебе... никогда...

— Ну вот еще! — вырвал руки Лобзик... — Еще целоваться полезешь...

— Всю жизнь... Лобзик... — снова выдохнул Яшка.

— Меня, между прочим, Володькой зовут, — равнодушно заметил он, скрывая за равнодушием свое вол-

нение. Вдруг он повернулся к ребятам и крикнул:
— А ведь и напьюсь я на курбатовской свадьбе, ой-богу, напьюсь, ребята!

Яшка, ничего не слыша, подошел к Клаве и, нагнувшись, легко поднял ее — тоненькую, словно не живую, но она жила, и Яшка видел, как у нее на виске бьется еле заметная голубая жилка.

* * *

Долго пробыть в Печаткино ему не удалось: дела — делами, Клава — Клавой, а Чугунов получил от Громова из ЧК приказ — поднимать чоновцев и идти в Сухой Дол. Что такое продотряд, уже было известно: зимой в деревню ходил продотряд коммунистов из города. Сейчас же Чугунову приказали: идти за хлебом и заодно прочесать деревни возле Сухого Дола — на допросе задержанный Курбатовым поджигатель признался, что остальные прячутся сейчас там.

Прежде чем уехать, Яшка забежал к Алешиним. Клава плакала; Алешин, как мог, утешал ее:

— Плачь, плачь, дочка... Этого уже не поправишь... Со смертью мы бороться не в силах... Даже мы...

Слезы облегчали. Увидев Курбатова, Клава уже с улыбкой потянулась к нему, заметила «Смит-Вессон» в кобуре и карабин и удивленно спросила:

— Куда ты?

— Надо, Клава...

— Всегда «надо»... — она снова всхлипнула. Очевидно, так неровен был этот переход от одного состояния к другому, что девушка снова заплакала, уткнув голову в плечо отца, и тот, обернувшись, кивнул Яшке: иди.

Не хотелось ему идти, не хотелось уезжать из Печаткино, но Рыжий уже фыркал возле забора, стремясь дотянуться большими желтыми зубами до березовой ветки.

Чоновцы собрались возле клуба, и Яшка, не обращившись на алешинский дом, погнал Рыжего туда.

Начальником продотряда, направляемого в дальний Тотемский уезд, был назначен сам Чугунов, а комиссаром — коммунист Рыбин, недавно присланный из го-

рода, боевой комиссар Красной Армии, весь израненный, а поэтому демобилизованный по непригодности к дальнейшей службе.

В отряде было сорок человек — бойцы-чоновцы и беспартийные рабочие. Курбатова зачислили в отряд на ту же должность, в которой он числился в ЧОНе, — конным ординарцем. Между Чухалиным и Чугуновым по этому поводу была короткая перепалка, о которой никто не знал: Чухалин не хотел отпускать комсомольского секретаря, а Чугунов, грохнув своим кулаком по столу, гаркнул на директора:

— Грош ему тогда цена, секретарю. Если б ты на главные дела не ходил, я б тебя давно покрыл бы... А кого прикажешь взять? Этого Трохова, что ли?

Тотемский уезд, куда шел продотряд, был глухой, но богатый хлебом. Железной дороги туда не было. Летом по Сухоне и Северной Двине можно было проехать до уездного города Тотьмы на пароходе, но Чугунов решил всё-таки пройти двести верст на лошадах и обшарить по дороге суходольские деревни: может, и не соврал поджигатель, которого Курбатов землей накормил...

Но двести верст!

Чугунов, приподнимаясь в стремянах, пропускал мимо себя бойцов, пустые телеги и хмурился: с таким обозом намучаешься. Крестьяне и так-то насторожены, бедноту кулачье запугало, про художества мироедов узнаешь разве что только исподтишка, да и то случайно. «Понятна задача? — мысленно передразнивал Чугунов Громова. — А чего понимать-то? Не только отобрать излишки, но и постараться вырвать бедняка из-под кулацкого влияния... А как его вырвешь, если бедняк с кулаком изба в избу живет, а ты приедешь и уедешь»...

По разбитым, местами заросшим густой травой дорогам с полуразвалившимися мостками и настилами, по хворостинным гатям отряд шел три дня, а прошли всего ничего.

Но в лесу, на лесных дорогах, всё-таки было хорошо, а главное, было время подумать обо всём, — и Яшка вдруг начинал волноваться, что забыл составить график занятий по политграмоте, что не предупредил Кията, чтоб тот обязательно отослал протоколы пос-

ледних собраний в губкомол, что на заводе двое пареньков-комсомольцев до пожара подрались, пустили в ход ножи; их надо обсудить, а вот ведь наверняка без него и не обсудят...

Чугунов, заметив, что Яшка нервничает, спросил: — Ты чего? Седло неудобное?

Курбатов высказал ему всё, что его волновало, и Чугунов вдруг разозлился:

— Всё хочешь сам делать? Ты один в комсомоле, думаешь, такой умный? И без тебя обойдутся, не бойся... Ты, брат, чего-то на Чухалина стал смахивать, тот тоже всё сам да сам. Пуп земли!

Яшка промолчал. Чугунов ехал рядом с ним и тоже долго молчал, покачиваясь в такт ходу лошади. Потом он сказал:

— Как думаешь, если б партией или страной один человек управлял — что бы было?

Он не дождался Яшкиного ответа и, хлестнув коня, вырвался вперед, крикнув уже через плечо:

— Хреново было бы! Так и у тебя тоже...

Курбатов зло посмотрел на его широкую спину: «Опять учат...»

Но тут же злость прошла; расступились деревья, и мелькнули серые бока изб, крытые соломой крыши: деревеньки обычно стояли вдоль дорог, и эта была третьей на трехдневном пути отряда.

Уже смеркалось, и Чугунов, сверившись по карте, чертыхался: то весь день едешь — ни одной живой души нет, а тут пять деревень, одна на другую рядышком наклеплены. Он кивнул Рыбину:

— Поезжай с Курбатовым в соседнюю деревню, пошуйте, что там. Если поздно задержитесь — ночуйте, мы утром подойдем.

Рыбин попросил еще одного бойца, и Чугунов усмехнулся:

— Вдвоем страшновато? Ничего, места здесь тихие, до Сухого Дола еще портки протрешь.

Но бойца всё-таки дал.

Карта у Чугунова была составлена неправильно, и к соседней деревне Рыбин, Курбатов и боец-чоновец добрались только за полночь. Где-то на болотах, охватывающих полукольцом хутор, пронзительно и дико вскрикнула какая-то птица, и Яшка почувствовал,

как откуда-то из-под корней волос вниз по хребту бежали колючие мурашки.

— Выпь орет, — спокойно заметил Рыбин. — Цапля такая...

Идти по деревне было сейчас бессмысленно: люди спали. Рыбин, спешившись, постучал ручкой хлыста в первую же избу, и продотрядники долго ждали, пока там, за стеной, не зашаркали короткие стариковские шаги...

Коней поставили в хлеву. Курбатов, еле державшийся на ногах от усталости, не стал дожидаться, пока дед — хозяин избы — задует самовар, и, раздевшись, полез на русскую печь, занимавшую половину избы. Ночи в этих местах весной прохладны, и Яшка продрог в одной рубашке и гимнастерке: здесь, на печи, в кирпичах еще хранилось тепло, и Курбатов, пригревшись, уснул.

Сквозь сон он слышал неясные голоса и крики, но долго не мог поднять тяжелые, словно набухшие, веки. Однако, когда что-то глухо упало на пол, Яшка повернулся, подполз к печной трубе и заглянул из-за нее в комнату. Он словно окаменел и перестал дышать, боясь выдать свое присутствие.

В тускло горящем свете керосиновой лампы он увидел, что боец отряда лежал на полу связанный, с тряпкой во рту. Комиссар стоял неподалеку, тоже связанный и голый до пояса. Всё лицо у него было в крови. Четверо людей сидели на лавке у стола, а один — высокий, тощий — водил финским ножом по груди Рыбина.

Яшка вздрогнул: что-то знакомое и страшное было в лице этого человека. Он напряг память, и его словно ошпарило кипятком: «Сова... полковник... поджог... Два года назад...»

Оцепенение сразу прошло. Он не взял с собой оружия, когда ложился спать, и сейчас лихорадочно соображал, что же делать.

Лаз на русскую печь был рядом с дверями, выходящими в сени. Тихо вылез Яшка из-под горячего тупа, в одной рубашке и трусиках сполз вниз, под полати, в густую и мрачную темень.

Потом он попробовал бесшумно открыть дверь, но она не поддавалась. Он налег на нее плечом, и дверь

открылась, скрипнув. Видимо, этот скрип слышали и бандиты. Двое из них бросились к дверям. Выбежав в сени, Яшка нырнул в узкую дверь, ведущую в хлев. В темноте он провалился в остро пахнущую навозную жижу и, хлюпая по ней, побежал туда, где стояли кони.

Рыжий встретил его тихим ржанием. Яшка быстро нащупал и отвязал поводок уздечки, отталкивая морду Рыжего: мерин норовил ткнуть его в лицо своими бархатными губами.

Двери хлева были отворены. Яшка вскочил на теплую спину коня и вылетел во двор.

— Рыжий, грабят, — шепнул он. Приученный старым хозяином, конь вздрогнул, прижал уши, и Яшка едва успел вцепиться ему в холку...

Сзади кто-то кричал, потом один за другим раздались несколько выстрелов, но пули прошли стороной. «Скорей...» — мысленно торопил Рыжего Яшка. А тот и так уже храпел, пена летела у него с губ клочьями. Но Яшка не замечал этого. Не чувствовал он и холодного ветра, который сначала пузырем надул на его спине рубашку и, усиленный бешеной скачкой, вырвал ее из трусиков: рубашка захлопала по ветру.

Подлетев к избе, где остановился отряд, Курбатов на скаку спрыгнул с коня, больно стукнувшись о землю босыми пятками, и рывком отворил двери:

— Скорей... Комиссар...

Он выкрикнул это каким-то чужим, осипшим от ветра голосом. Вначале никто не мог понять его несвязный сбивчивый говор. Но еще не поняв ничего, Чугунов первым схватил карабин и выскочил во двор; за ним выбежали другие.

Кони стояли оседланные. Чугунов крикнул Яшке:

— Оставайся здесь!

Но он, скользя голой ногой по мокрому, остро пахнущему потом крупу Рыжего, тяжело залез на него и тронул уздечку. Рыжий, медленно раздувая бока, нехотя пошел по дороге; в галоп его уже нельзя было пустить...

Когда Курбатов добрался до деревни, стрельба уже стихла. Как потом рассказали Яшке, бандиты бросились бежать не по дороге, а завернули за хлев, скрылись за овином и побежали по тропке к лесу. Но в

этом месте Чугунов не поставил отрядников; никто не знал, что там есть тропа, а по болоту, рассчитывал Чугунов, далеко не убежишь. Бандиты убежали, исчез и «сова».

Комиссар Рыбин лежал на полу; он был без сознания. Лица не было видно: вместо него было какое-то сплошное кровавое месиво. На груди кровоточила вырезанная пятиконечная звезда, а на ней блестели, переливаясь огнями, как рубины, красные от крови кристаллы крупной соли.

Однако комиссар жил. Сердце его слабо, но билось.

Боец, лежавший на полу, был уже мертв. Ему распороли живот и туда насыпали ржи. Сверху была положена записка: «Он выполнил подразверстку».

VI

В Печаткино отряд вернулся с хлебом, и в тот же день Чугунов отчитывался на бюро партячейки; почему-то на бюро пригласили и Яшку, он не успел даже вымыться и сходить в клуб, к Кияту и к Клаве. Алешин, севший рядом с ним, только хитровато подмигивал и посмеивался про себя.

Когда Чугунов коротко рассказал о стычке с бандитами, Яшка перебил его:

— Одного-то из них я знаю... Полковник... Ну, тот, что с Ермашевым.

Громов, что-то чиркая карандашом на листке бумажки, кивнул:

— Да, полковник Базылев... Мы его с восемнадцатого года ищем.

Дальше Яшка почти не слушал Чугунова: ему не терпелось скорее уйти и всё-таки сначала забежать к Алешинным, а уже потом в клуб. Чугунов говорил медленно, словно вытягивая из себя слова, — о том, что бедняка удалось убедить, что народ обозлился за убийство чоновца, и что хлеба еще по деревням у кулаков закопано бог весть сколько.

— Мы только так, по сусекам поскребли, — сознался он. — Крепко запрятали хлеб...

Он по привычке выругался, и Булгаков, сам яростный ругальщик, постучал карандашом по столу:

— Ближе к делу, товарищ Чугунов.

Все заулыбались, а Чугунов, еще раз — уже удивленно — ругнувшись, сказал: «Извините».

На бюро проголосовали — деятельность отряда одобрить, всем бойцам вынести благодарность. Аleshин, встав, хлопнул Яшку по спине:

— Ну, теперь, небось, к ребятам побежишь, секретарь? А тебя тут уже переизбрали.

— Как переизбрали? — не понял Яшка.

— Долго отсутствовал. Надо было кому-то работать... Выходит, не секретарь ты уже... Да не расстраивайся, Курбатов, мы тут... Словом, Булгаков, растолкуй ему.

— Пусть станцует сперва, — потребовал Булгаков. — Русскую, с присядкой.

Яшка слушал и не верил. По рекомендации бюро партийки Курбатова заочно выбрали делегатом на губернский съезд комсомола, а Данилов будет рекомендовать его делегатом на Всероссийский съезд. По предложению Булгакова его направляют в Архангельск, на курсы политруков. Значит, сначала на съезд, потом в Архангельск, не заезжая домой... Булгаков хлопнул его по спине и, рассмеявшись, пошутил:

— Дай-то бог, чтоб и меня с секретарей так же сняли.

Яшка вышел на улицу, еще ничего не соображая.

Всё полетело кувырком: и работа в организации и масса дел, которые были намечены, — всё это уже будут делать другие, хотя до отъезда еще несколько недель. Он хмуро поглядел на уходящего к заводу Булгакова: всё это, конечно, очень почетно, но зачем женили, не спрося?..

— Кому дела сдавать? — крикнул вслед Булгакову Яшка.

Тот обернулся, и Курбатов увидел зеленые, смеющиеся глаза секретаря:

— Да ты никак недоволен, парень? Сдавай Кияту, дружку своему. А если недоволен — дурень в таком случае. Подумай лучше...

Яшка покраснел и отвернулся. Где-то в глубине души шевельнулась слабая еще, но печальная, быть может, даже тревожная мысль: «Уеду... А Клава?».

Сборы были недолгими. Вот только надо проститься с Клавой. Уже третий вечер они прощались и никак не могли проститься. Оба, молчаливые и понурые, крепко прижавшись друг к другу, бродили по тихим, темным улицам рабочего поселка, останавливались, целовались, шли снова и снова останавливались.

Что-то тяжелое копилось в Яшкином сердце. Ехать ему и хотелось, и что-то сосало его, будто какой-то червячок. Курбатов бормотал что-то несвязное, спрашивал о чем-то постороннем и обоим не интересном; де-вушка, понимая его, ласково убеждала:

— Глупый ты мой! Подумаешь — полгода... Да я за это время и ходить никуда не буду...

Он несколько раз хотел сказать Клаве, чтобы она не встречалась с Троховым, но молчал: глупая ревность, зачем омрачать последние часы. Наконец настал и последний день и час, когда они подошли к алешинскому дому.

— Зайдем к нам. С папой и с дедушкой простишься. Они тебя очень любят.

Они вошли в дом. Раздевшись, Яшка прошел в комнату, а Клава осталась на кухне — ставить самовар.

Дядя Павел сидел и что-то писал. Дедушка читал газету и, когда Яшка вошел, сдвинул к кончику носа свои очки:

— Проститься зашел, адвокат? Это хорошо, что не забыл. Многие теперь старших ни в грош не ценят. Садись вот сюда да рассказывай!

— Да чего рассказывать? Вот — еду...

— Съезди, съезди. Срок невелик, а свету и людей посмотришь и для себя что полезное почерпнешь.

Яшка опять что-то пробормотал, и старик переспросил: «Что, что?».

— Только не знаю вот как... — повторил Яшка. — Что выйдет — не знаю. Уезжать как-то неохота...

Он посмотрел на вошедшую Клаву.

— Не дури! — прикрикнул Алешин, передразнивая его: — «Неохота...» Поди, с Клавкой расставаться неохота, насквозь я вас вижу. Думаешь, ей охота, чтобы ты уезжал? Что, отговаривала она, небось, тебя?

— Что вы, дедушка! — Клава вспыхнула.

Она села за стол рядом с Яшкой, и старик смотрел

на них исподлобья. Очки у него еще ниже спустились. Наконец, он снял их и сразу улыбнулся хитроватой, доброй улыбкой. Впрочем, улыбка тут же пропала: Алешин нахмурился и прикрикнул на сына:

— Хватит писать-то, писатель! Видишь — гость у нас. В последний вечер пришел проститься!

Павел Титович послушно отодвинул от себя чернильницу и бумаги. Старик лукаво подмигнул ему и, кивнув головой, спросил:

— А что, Павлуха, неплохая пара? Что, разве неверно говорю? Краснеть вам, ребята, нечего, я правду сказал. По уши вы друг в друга врезались. Давно уж это все знают, а вы-то знаете об этом еще больше.

— Перестаньте, дедушка!

Клава сказала это таким тоном, что ясно было: старик действительно прав, и сказано это было для приличия. Алешин, видимо, так и понял это; остановить его уже было нельзя:

— Давай сосватаем их, Павел? Сегодня вот вроде помолвки сделаем, а вернется он, тогда и в Совете запишутся...

Павел Титович, отвернувшись, чтоб не смущать дальше и так-то уж вконец смущенных ребят, пожал плечами:

— Я не против. Такой дружбы, как у них, трудно найти. С двенадцати лет... А что любят друг друга, так это сразу видно. Давай, Клава, собери по этому случаю чаек. Я слышал, ты самоваром гремела.

— Раз такое дело, — засуетился Алешин, — что в печи — на стол мечи. Принеси-ка, внучка... там рябиновая и смородиновая есть. Еще покойная Марфа, царство ей небесное, готовила! Вот и выпьем по поводу.

Клава стала собирать на стол. Принесла настойку, закуску — соленых рыжиков, огурцов, свиного сала. Подала на стол лепешки. Дядя Павел на вытянутых руках притащил кипящий самовар. Алешин уже разливал настойку; все сели за стол. Поднимая стакан, старик таинственно сказал:

— Давайте выпьем по первой, а я потом скажу — за что.

— Нет, нет! — запротестовала Клава, чувствуя какой-то подвох. — Так не бывает. Сперва всегда говорят за что, а потом уже пьют!

— Ты сейчас помолчи, внучка. Я твой дед, а дед, и вперед поверить можно, он за плохое пить не будет!

Пришлось выпить безо всякого тоста. Старик вытер свои седые, пожелтевшие снизу от табака усы и прищурился:

— Знаете, за что вы выпили? А за правнуков моих. Правнуков я хочу иметь! Вот таких, — он показал рукой их рост от пола. — Слышишь, Клавка? Чтобы они вечером меня и за усы и за нос теребили.

Клава и Яшка сидели, опустив глаза; казалось, что Клава вот-вот заплачет.

— И смущаться тут нечего, — уже ласково, спокойно говорил Алешин. — Взрослые вы, сами всё знаете. Хорошо вот, одобряю я, что вы до поры до времени себя соблюдаете. Расплескать себя недолго, а от этого только себе вред... Давайте по второй. Вот этой смородинной выпьем. Пейте, пейте, нечего скромничать, сегодня можно!

Алешин залпом выпил еще полстакана, крикнул: «Ух, и хороша!» — и сразу налил себе в третий раз. Под хмельком любил Тит Титович поговорить, особенно поучить молодежь житейской мудрости:

— Слава богу, сынами бог меня не обидел, целых трое было. Да вот двое неженатиками где-то бродят, только от Павла и есть внучка. Да опять же одна. Правнуков мне, стало быть, надо, хоть последние годы жизни порадуюсь.

Он снова потянулся к бутылке и налил одному Яшке.

— Да что, разве мне одному нужны они? Вот опять же с государственной точки. Новые люди нужны. Чтобы нарождалось их больше, чем стариков мрет. России нашей особенно людей надо, в этом ее и сила. Поняли? Давай еще по стопочке. Э, постой, постой, молодец, вперед старших нельзя! Ну-ка, валяйте, поцелуйтесь при нас, а потом хоть потоп...

— Да что вы, дедушка! — крикнула Клава.

— Что-что, — передразнил старик. — Да ничего! Что, впервой тебе с ним целоваться, что ли? Я ведь вижу, как ты губы на ночь вазелином насандаливаешь, чтоб не опухли. Блеск один. А при нас стыдно?

Пришлось поцеловаться. Дядя Павел сидел и смеялся: раз уж старик вошел в раж, его перебивать нельзя.

— Ну, совет вам да любовь! — сказал Алешин и вынул остатки наливки, не замечая, что у него дрожат от волнения руки и капли вина стекают по подбородку...

Первым из-за стола поднялся Павел Титович. Незаметно подмигнув отцу, он подошел к Яшке и обнял его:

— Ну, до свидания, сынок! Ничего я тебе не говорю, сам всё знаешь. Одно скажу — пускай хоть и всё хорошо у тебя будет, а ты всегда собой немножко да недоволен будь. Не зазнавайся, не хвастай успехами, пускай за тебя ими другие похвастанут. Теперь ты мне родной, вроде... Ну, учись хорошо и приезжай.

Он трижды поцеловал Яшку и вышел. Алешин, пошатываясь, пошел за ним.

Яшка и Клава просидели еще час. Клава проводила его на крыльцо, они в последний раз поцеловались, и Яшка, с трудом сойдя с крыльца, еще раз обернулся.

Клава глядела куда-то мимо его головы. Он быстро взглянул туда, куда смотрела она, и увидел возле забора двоих: они стояли к нему спиной, но Яшка сразу узнал и мятый картуз Лобзика и порыжевшую кожанку Вали Кията:

— Вы чего здесь?

— Можно повернуться? — спросил Лобзик. — Думаешь, тебя поезд ждать будет?

У Яшки перехватило дыхание. Подойдя к Лобзику, он обнял его, и тот, как и тогда, на пристани, недовольно заворчал:

— А ну тебя к чёрту. С ним вот целуйся, он тебя целый час ждал.

Кият смотрел на Яшку грустными глубокими голубыми глазами и, шагнув к нему, убеждающе заговорил:

— Ты не волнуйся, всё в порядке будет... Работать будем... Ты пиши только... А мы справимся, справимся...

Яшка хотел сказать, что, конечно, они справятся, потому что (чего уж греха таить) справляться еще почти не с чем, комсомольской работы по-настоящему и не получилось. Другое дело, какой она должна быть настоящей, мало еще кто знал, и Яшка утешал себя тем, что будет учиться этому.

VII

Москва!

Она появилась в окнах вагона еще задолго до того, как остановился поезд; сначала потянулись низенькие домики, пакгаузы, разбегающиеся и снова сходящиеся ниточки рельсов, заводы за глухими заборами, потом появились улицы, красный с облупившейся краской трамвай, первые вывески... Поезд резко затормозил, подойдя к перрону, и сотни людей с корзинками, тучками, чемоданами заспешили к выходу, сошли с привокзальных ступенек на площадь и растеклись в разные стороны, как ручейки.

Накрапывал дождь — мелкий, холодный осенний дождь, и делегаты жались к стенке вокзального здания. Их никто не встретил, и сейчас, стоя на улице, они гадали — куда ехать. Кто-то побежал к начальнику станции, позвонить по телефону в ЦК комсомола. Начальник долго не разрешал, кричал, что телефон только для служебного пользования, но, когда делегат грохнул кулаком по столу, начальник трусливо шмыгнул в дверь и уже из-за нее визгнул:

— Милицию позову... Не делегаты, а шпана какая-то.

В ЦК объяснили: ехать на Садово-Каретную. Но где эта Садово-Каретная, не знал никто: все были в Москве впервые. Курбатов кивнул на выстроившиеся возле вокзала пролетки:

— Довезут, наверно. Ну, заплатим лишних «лимонов».

— Правильно, — подтвердил кто-то. — Зачем знать географию, когда есть извозчики.

Но извозчик, сверху вниз поглядывая на ребят, спросил:

— У вас что — «лимоны»?¹ Моя баба ими комнату обклеивает вместо обоев. Даете фунт соли — довезу.

Ребята поскребли по своим мешкам — соль была у всех. В кульке, отданном извозчику, было больше фунта, но тот, подкинув кулек на руке, проворчал:

— Ну и соль! Вода одна, сыр и ужась.

Миновали Охотный ряд, стоящие бок о бок лавки,

¹ Так называли в народе обесцененные бумажные деньги.
Прим. авт.

Чистые, плотно забитые досками. С облетающих деревьев срывались галки и кружили над серыми, испуганными дождем улицами. Ребята набились в пролетку так, что смотреть по сторонам могли только впритык, но им кричали:

— Да не вертитесь! Рассыпемся...

В самом деле, пролетка, дребезжа по булыжной мостовой, стонала, скрипела, словно впрямь грозя развалиться на первом же повороте.

— Приехали с орехами, — проворчал извозчик. — Исктели еще понадобится, ищите у Никитских.

Сказал он это таким тоном, что можно было подумать — Никитские вовсе не ворота, а какая-то известная всей Москве фамилия...

Делегаты приехали поздно: в коридорах и комнатах третьего Дома Советов стоял уже несмолкаемый шум, общежития были забиты, откуда-то сверху доносилась гармошка. Курбатов заглянул в одну из комнат: там, навалившись грудью на стол, какой-то парень печатал на разболтанном «ундervуде», тыча в клавиши одним пальцем.

— Регистрация здесь? — спросил Яшка.

— Здесь, здесь. Заходи, зарегистрируем...

Находящиеся в комнате втащили Курбатова к себе и, не спросив, кто он и откуда, сунули в руки большой лист с крупным заголовком «Подзатыльник».

— Читай! — приказал печатавший на машинке парень.

— Сашка! — кричали из коридора этому парню. — Безыменский! Куда ты пропал? Иди, получай шапку...

Делегаты знакомились повсюду и запросто. Одних, как Курбатова, затаскивали в комнаты, других оставляли в коридоре, жали им руки, ходили в обнимку и пели. Яшка заметил: большинство было в военном. Но немало было и таких, как Яшка, и это успокаивало его.

Расположиться на ночлег удалось с трудом: чудом досталась ему койка в общежитии ярославской делегации, и он приходил сюда только переночевать — всё остальное время гонялся с ребятами по Москве, попал в облаву на Сухаревке и долго объяснял в милиции, что он никакой не карманник и не фармазон. Его от-

пустили, предупредив, чтоб больше он на Сухаренки не появлялся: «Там у стоячего подметки оторвут — услышишь».

Когда он вернулся в общежитие, там всё гудело. Курбатов не сразу понял, о чем спорят ребята. Здоровенный парень с перевязанной рукой басил:

— Да ясно, о чем будет говорить.

— Он что, советовался с тобой? — ехидно спрашивал один из ярославцев, а известно, что ярославцы народ на язык бойкий. Парень, не смущаясь от хохота товарищей, назидательно выставлял вперед палец здоровой руки, словно целясь в ярославца из пистолета.

— Неграмотный ты. Ну, подумай сам — о чем он может говорить? И вы еще тут ржете! Ясно же: Врангель не разбит — это раз. Мировая революция еще не состоялась — два. Чего еще-то?

— Это верно... И о дискуссии в комсомоле.

— Ну да, будет он этим еще делом заниматься.

— А что? Мы, брат, мировые проблемы сейчас решаем... Мы...

Курбатов осторожно подтолкнул своего соседа по койке:

— Чего распетушились-то?

Тот поглядел на Якова отсутствующим взглядом. Глаза у него были какие-то шальные, светящиеся, будто он и впрямь только что решил одну из мировых проблем. Курбатову пришлось повторить: «Чего спорите?», и сосед, поняв наконец, ответил, сразу же отворачиваясь к спорящим:

— Ленин будет выступать.

У Курбатова сладко замерло сердце. Где-то в глубине души он и раньше надеялся на то, что увидит Ленина, но уверенности в этом не было. Сейчас, прислушиваясь к разговорам, он пытался представить себе, какой будет эта встреча; но думал об этом не он один, и Курбатов вздрогнул, когда сосед спросил, не обращаясь ни к кому:

— А какой он — Ленин?

Все сразу замолчали. Откуда им, ярославским парням, было знать Ленина? Поэтому кто-то неуверенно ответил:

— Большой, надо полагать. Здоровый, вроде Кваснухина...

Кваснухин, парень с рукой на перевязи, прогудел:

И голос у него, наверно, такой... — он сжал крепкий, тяжелый кулак и потряс им у горла: по-видимому, это означало — бас. Впрочем в ту пору о Ленине так думали все, никогда не видевшие его; просто не верилось, что внешне он может быть каким-то другим.

— Верно, — отозвались с дальних коек. — На то он и Ленин.

Час спустя, лежа с открытыми глазами, Курбатов не мог заснуть. То, что он, семнадцатилетний слесарь, послан в Москву и через несколько часов — если верить ребятам — увидит Ленина, наполнилось каким-то новым, ранее не известным ему, смыслом. Ребята уже спали; навалившись на раненую руку, вскрикнул Кваснухин и долго еще бредил потом, заставляя Курбатова тревожно подниматься на своей скрипучей, расшатанной койке. «Слева заходите... Слева... Пулемет...» — Кваснухин воевал и во сне.

Курбатов, осторожно пробираясь между кроватями, принес ему воды, и Кваснухин, проснувшись, долго не мог понять, почему его разбудили:

— Что? Опаздываем?

Пришлось шепотом успокаивать его:

— Попей и спи. Никуда не опаздываем. Вон какая темень за окнами.

* * *

Что творилось в этом зале на Малой Дмитровке! Мест уже не было, а люди всё шли и шли, зал гудел, и с трудом можно было услышать в этом нестройном гуле голосов отдельные слова. Повезло многим: они сидели на стульях по двое на каждом, на каких-то скамейках, притащенных из дворницкой соседнего дома, на подоконниках. Курбатову места не заняли; он едва пробился к сцене и сел на нее, касаясь головой рояля, свесив ноги. «Считай, мы с тобой почти в президиуме», — пошутил его сосед, парень в гимнастерке и густо-малиновых галифе. Курбатов, увидев эти галифе, только промычал в ответ что-то невразумительное.

Он оглядел зал. Сырые стены, окна в потоках дождя и поэтому мутные, непрозрачные; плакат, с которого сердитый рабочий показывал на него: «Что ты сде-

лал для фронта?»; Курбатову почему-то стало неловко, будто он ничего не сделал, и он отвернулся.

Действительно, много ли сделано? Вон сколько ребят — в шинелях, кожанках, мятых солдатских панталонах, ободранные, с забинтованными руками и головами. Картузов и кепок поменьше — хотя и они тоже надо полагать, видали виды. Курбатову снова стало неловко своей новенькой гимнастерки из «чертовой кожи»: прямо перед ним, разложив на коленях листки жесткой, как фанера, оберточной бумаги, сидел парень — не парень, в перешитой бабьей кофте и в сапогах, перехваченных кусками проволоки, чтоб не отваливались подметки. Зато в первых рядах справа — не сколько красавцев: матросы в лихо заломленных бескозырках и с деревянными кобурами маузеров. Один из них, рассказывали, недавно был у Ленина, приехал делегатом от балтийской братвы — просить прибавить морякам хлеба. И, рассказывали, Ленин его выслушал, а потом сказал: «Знаете, в Питере несколько тысяч детей на голодном пайке. Что, если бы моряки помогли им?» После этого балтийцы отдали детям четверть своих пайков.

Сейчас, сидя перед залом, Курбатов сам себе показался таким маленьким, что с каким-то испугом оглянулся: не попросят ли его отсюда? За эти дни он наслушался всякого и знал одно — что владельцы всех этих шинелей, курток, малиновых галифе, выкроенных из обивки диванов господских домов, этих подвязанных проволокой рыжих сапог, этих разломанных картузов и смятых блином бескозырок — люди, которые сделали в тысячу раз больше его. Тот же парень в бабьей кофте: давно ли его вызволили с Мудьюга? ¹ И вовремя, иначе бы не быть ему здесь. Или разговор, случайно подслушанный в фойе: рассказывали о шестнадцатилетнем командире полка, именуя его при этом Аркашкой...²

Нет, мало было сделано Курбатовым; он сидел, чувствуя, как в нем говорит сейчас самая что ни на есть обыкновенная зависть, и не сдерживал ее. Он да-

¹ Остров в Белом море близ Архангельска, где англо-американские оккупанты организовали концлагерь.

² Речь шла об А. П. Голикове (Аркадии Гайдаре). *Прим. авт.*

же усмехнулся, представив, что ответит ему вечно спокойный Кият, если рассказать ему об этом: «У нас еще впереди мировая революция». Да, может быть, и стоит утешаться разве что только этим...

Кругом него все доставали листки бумаги, карандаши, готовились записывать, прилаживая бумагу на коленях, на спинах сидящих впереди, на всё более или менее твердом, что подвертывалось под руку. Курбатов досадливо поморщился: ведь всё-таки забыл взять шитую еще в Печаткино тетрадку.

Секретарь Цекамола — его Курбатову показали еще вчера, — невысокий, широкоплечий, в поношенной синей сатиновой рубашке с расстегнутым воротом, первничал, то и дело посылал каких-то ребят, окружавших его, в комнату, соседнюю с залом. О нем тоже рассказывали всякое, и в рассказах, по-видимому, путались правда и вымысел. Душевный и вместе с тем крутой человек, он мог остаться голодным на несколько дней, отдав свой хлеб другу, но когда комсомольский стихотворец Александр Безыменский написал о секретаре, что тот сам тайком занимается писанием стихов, — говорят, секретарь, от негодования задрожав, обложил поэта самой невероятной прозой.

Время тянулось необычайно долго; то и дело кто-либо из членов президиума вставал и не очень настойчиво просил делегатов:

— Товарищи, очистите сцену! В зале ведь полагается сидеть, товарищи...

И все, сидящие на сцене, единодушно не слышали его. Зато если кто-нибудь кричал: «Тихо, товарищи!» — сразу, словно по какому-то волшебству, замирал этот огромный, гудящий, похожий на взбудораженный муравейник зал, и невольно все глядели туда, на дверь возле сцены. Почему-то казалось, что именно оттуда должен выйти Ленин.

Курбатов не уловил короткого мгновения, когда в зале что-то произошло. Сначала это было легкое, едва заметное движение в первых рядах, к которым он сидел лицом. Затем люди начали вставать, и словно какая-то невидимая волна прокатилась от первых рядов до последних. Курбатов только услышал короткое, как бросок, слово: «Он!» — и, обернувшись, замер.

Возле дверей, ведущих на сцену, стоял невысокого

роста человек в черном пальто. Кепку он снял, и Курбатов прежде всего увидел огромный, светлый, крутой лоб. Уже потом он разглядел золотистые, хитровато улыбающиеся глаза, прикрытые тяжелыми веками, знакомый по портретам овал лица, и эти усы, и короткую бородку. Он был не таким, каким Яшка представлял его себе, и вместе с тем Курбатов почувствовал, что будто давным-давно где-то видел Ленина именно таким, каким увидел сейчас.

Потом Яшка не мог вспомнить ничего, кроме того, что вместе со всеми до боли в ладонях хлопал, что-то кричал, кажется, одно только слово — «Ленин!» — и что Ленин, на ходу снимая пальто, как-то укоризненно или беспомощно поглядел на президиум.

Ленин стоял, перекинув свое пальто через спинку стула. Несколько раз он поднимал руку, а овация всё росла, ширилась; перед ним было море лиц, и, если б Курбатов мог сейчас думать о чем-либо другом, кроме того, что он видит Ленина, он бы поразился тому счастью, которое было на этих лицах. Да и сам он был счастлив, очень счастлив сейчас.

Владимир Ильич нетерпеливо ждал, всё чаще и чаще оборачиваясь к президиуму и что-то говоря: его слов не было слышно. Секретарь Цекамола, подняв над головой колокольчик, яростно потрясал им — не было слышно и этого колокольчика. Ленин сунул большие пальцы рук за вырез жилета, стремительно наклонился к залу, потом вынул часы и показал их: время дорого. Какое там! Это была лавина, неудержимый поток, и Ленин понял: надо переждать!

Яшка слышал, как председательствующий, перегнувшись через стол, кричал, стараясь перекричать грохот этой лавины:

— Владимир Ильич!.. Как объявить ваше выступление?.. Выступление, говорю, как объявить? Доклад о текущем моменте?

Ленин отрицательно качнул головой. Его ответа не было слышно, и, по-видимому, его не расслышал и председательствующий.

Наконец зал затих. Вдруг неожиданно наступила такая тишина, что стало слышно, как хлещет по стеклам косой дождь и они тонко дребезжат. Ленин, будто он давно уже был в этом зале, подошел к краю сцены

и как-то буднично, по-деловому сказал, оглядывая ряды:

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим — каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще

Питерские делегаты, видел Курбатов, слегка задвигались; матросы после этих слов расселись поудобней, и Яшка быстро подумал, что кому-кому, а им-то эти задачи дай бог как известны: где им только ни приходилось воевать и придется воевать еще. «Очевидно, о Врангеле», — мелькнула мысль.

А Владимир Ильич уже освоился на этой узкой сцене, заставленной стульями. Он даже прошелся по ней, откинув назад полу пиджака и засунув большой палец правой руки в вырез жилета. Курбатов, повернувшись, почти навалившись на соседа, хорошо видел его; был момент, Ильич подошел к нему почти вплотную и быстро взглянул на него, на соседей своими золотистыми, сейчас чуть задумчивыми глазами. И тут же перевел взгляд на зал, выбросив вперед правую руку:

— И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться¹.

Он особенно подчеркнул это последнее слово: «учиться», и тут же сосед Курбатова толкнул Яшку в бок:

— Что, что он сказал?

Ленин не мог не заметить, как по залу прошел легкий шорох. Яшка тоже обернулся к залу. Лица делегатов медленно менялись: только что они были напряжены, люди ловили каждое ленинское слово, вдумывались в него, настраивались на другое — на большой разговор о продолжении войны, о том, что надо покончить с Врангелем, надо бороться с разрухой. И вдруг—

¹ Цитируется по Соч., т. 31, стр. 258.

² Там же.

это «учиться», да еще сказанное так, особенно твердо, непрекаемо.

Делегаты переглянулись; кто-то со скрипом двинул стулом...

Владимир Ильич, глядя в зал, чуть заметно улыбнулся и продолжал говорить, подавшись вперед:

— Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму¹.

Курбатов ничего не понимал еще. Учиться коммунизму — чему именно и как? Очевидно, не понимал этого не он один. Ленин, на секунду задумавшись, пояснил свою мысль:

— Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма?²

Опять зал замер. Каждый, словно ухватившись за невидимую ниточку, начинал разматывать новый клубок, а Ленин будто помогал в этом, подробно объясняя каждое положение:

— Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно... Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой...³.

При словах «без работы, без борьбы» Яшка легко вздохнул. Это-то ему было понятно. А Владимир Ильич уже говорил о старой школе, с какой-то злой, пожалуй, интонацией в голосе — о том, что было в ней чуждого, почему она была лживой. Но тут же он, предостерегающе подняв руку, сказал:

— Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать ком-

¹ Цитируется по Соч., т. 31, стр. 259.

² Там же.

³ Там же, стр. 259—260.

мунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием¹.

Курбатов тоже подался вперед. Он не успевал обдумывать каждое слово, хотя бы фразу; они западали к нему и ложились где-то, и он скорее чувствовал, чем понимал, всё то, о чем говорил сейчас Ленин.

Он старался запомнить всё. И то, почему стало всемирным учение Маркса, и что такое пролетарская культура, и что надо взять из старой школы. Когда же Владимир Ильич, заканчивая одну мысль, сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием тех богатств, которые выработало человечество», — Курбатов растерянно полез по карманам: нет, бумаги не было. На него зашикали: «Не крутись».

Он всё-таки нашел клочок бумаги и записал эту фразу.

А записки уже шли из зала. Владимир Ильич брал их и, не разворачивая, клал в карман. Сейчас он переходил к главному в своей речи — к обобщению того, что уже было сказано и стало ясно всем:

— У предыдущего поколения задача сводилась к свержению буржуазии... Перед новым поколением стоит задача более сложная... Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы².

Всё глубже и глубже заглядывал Курбатов куда-то в далекие времена, которые словно бы приблизились, открылись ему сейчас, и стало видно кругом то, что еще совсем недавно было только в догадках, предположениях, сомнениях...

Ленин улыбался навстречу сотням ясных, светящихся лиц. Он держал в руке какую-то бумажку, очевидно конспект речи. Но то ли речь шла так живо, что не укладывалась в рамки конспекта, то ли новые мыс-

¹ Цитируется по Соч., т. 31, стр. 261.

² Там же, стр. 265.

ли обгоняли те, которые были в конспекте, — он и заглядывал больше в него.

Но вот — сказаны последние слова о том, что поколение, которому сейчас пятнадцать лет, увидит коммунизм. О том, что мы победим и что победа в строительстве нового мира будет еще более твердой, чем во всех прежних битвах. И никто поначалу не понял, что Ленин кончил свою речь. Все молчали, словно дослушивая уже свой, внутренний голос. Владимир Ильич, подняв руку, устало провел рукой по лбу и, повернувшись к столу, начал выкладывать на него записки...

Кто-то, вскочив, придвинул ему стул. И только тут снова грохнула лавина — казалось, ее не выдержат стены...

* * *

Волна отнесла Курбатова к столу. Ленин сидел, быстро прочитывая записки, раскладывая их, и вдруг то начинал смеяться, то хмурился — очевидно, было написано неразборчиво. Наконец все записки разложены, но Курбатов, следивший за тем, как работает Ленин, не увидел своей: может, просто проглядел? В это время его кто-то больно прижал к краю стола, и Курбатов, оглянувшись, увидел, что парень в бабьей кофте, который сидел за ним, протискивается вперед, к Ленину:

— Куда ты?

Тот не ответил, скользнув по Курбатову невидящими глазами. И тут же снова нажал плечом, освобождая себе место. Курбатов, схватив парня за рукав, потянул, но кофта подозрительно затрещала, и Яшка отдернул руку.

Парень уже стоял перед Лениным и молча глядел на него.

Ильич поднял глаза. Какую-то долю секунды он рассматривал эту нескладную, нелепую фигуру, и Яшка заметил на лице Ленина что-то похожее на боль, на участие:

— У вас тоже вопрос?

— Да... Вот вы скажите... — голос у парня срывался. — Значит, я тоже... коммунизм увижу?

Ленин, тоже заволновавшись, встал:

— Да, да. Вы! Именно вы, дорогой товарищ!

И парень, шлепая в тишине подошвой, подвязанной

куском проволоки, пошел назад, держа руки у груди, будто неся врученную ему драгоценность.

Ленин, опять проведя ладонью по лбу, взял записки и вдруг забеспокоился, сунул одну руку в карман, потом положил все записки и начал искать в других карманах. Затем он, нагнувшись, встал на колени, отодвинул стул...

— Что вы потеряли, Владимир Ильич? — спросил председатель.

— Да записку потерял. Хорошая была записка...

— Вы на эти ответьте, не ищите ее.

— Как не искать? Надо найти. Товарищ, может быть, волнуется, ждет, а я не отвечу. Надо ответить.

Наконец общими усилиями записку нашли.

Владимир Ильич, взяв все записки, быстро разложил их веером:

— Записок, товарищи, очень много, но я постараюсь ответить на большинство. Меня спрашивают, о военном и хозяйственном положении. К сожалению, второго доклада вам я сегодня сделать не смогу, — он лукаво улыбнулся, — особенно хриплым голосом.

Нет, это не были «вопросы и ответы». Это опять была беседа о том, что волновало людей, о чем они думали, что их печалило.

Курбатов сидел, не отрывая от него взгляда, на всю жизнь стараясь запомнить это лицо, эти слова, этот голос.

«Быть таким, как вы, — про себя сказал Курбатов. — Всю жизнь отдать тому же, чему отдаете вы!»

И когда час спустя от подъезда дома на Малой Дмитровке отошла, пофыркивая, постреливая синим дымком, крытая брезентом машина, здесь остались люди, для которых жизнь начиналась словно бы сызнова — да, впрочем, оно и было так. Все они, сколько их ни было здесь, начиная от семнадцатилетнего рабочего паренька и кончая солдатами, прошедшими сквозь смерть, были только в начале жизни, той, которую они должны строить сами.

VIII

Пожалуй, ничем не была примечательна эта дорога. Вагон, битком набитый людьми, едкий, ставший

привычным уже запах жженого угля, карболовки и пота, духотища и нескончаемые разговоры женщины о том, что «леворуцию сделали, а хлебушка не дали». Однажды Яшка не выдержал и, свесившись со своей третьей полки, крикнул:

— Да чего вы языками-то треплете: не дали, не дали. Может, вас советская власть подрядилась за бес платно кормить?

— Ишь, какой идейный, — спокойно заметила одна из женщин. — А что ж ты прикажешь делать?

— Работать, вот что. А то только и слышишь: едим с места на место — всюду плохо. Потому и плохо, что ездят... такие.

— Верно, корешок!

Яшка и не заметил, как из другого купе высунулась взлохмаченная светловолосая голова. На Яшку смотрели лукавые, с искоркой глаза:

— Верно агитируешь. Нынешним дамочкам теперь хлеб на блюде с каемочкой подавай. А вот — не видали?

Он вытянул вниз руки, и женщины лениво отмахнулись от кукиша. Они и в самом деле устали, ругаться им, видимо, не хотелось.

Яшка познакомился с соседом: всё-таки веселее было ехать со знакомым человеком. Народа в вагоне всё прибавлялось; вернувшись из тамбура, куда он выбирался покурить, Яшка увидел, что его полка занята, хотел было поднять шум, но его новый знакомый отсоветовал:

— Не связывайся, ну их... Держи курс ко мне, поместимся. Тут, корешок, дело такое, что к своей койке на мертвый якорь надо вставать.

Матрос — Яшкин попутчик — оказался человеком веселым. В купе не смолкал смех, когда тот без остановки «травил» самые дикие морские истории. Но Яшку эта болтовня начинала утомлять, он охотно вылезал из вагона на каждой станции, благо поезд стоял подолгу.

На станции Няндомы, где поезд остановился в полночь, Яшка пошел за кипятком. В одной гимнастерке и в шлеме, с жестяным чайником в руке, он пробирался к выходу из вагона. Вдруг спросонья закричала какая-то мешочница: ненароком Яшка наступил бабе на

руку и, потеряв равновесие, грохнулся на нее всем телом. Баба дико закричала: «Караул, ратуйте, православные! Насильничают! Где мой мешок? Караул, обокрали, держите его, ирода окаянного!»

Яшка не успел опомниться, как чья-то сильная рука схватила его за шиворот и вытянула из вагона. Только на улице он рассмотрел, что держал его новый приятель, матрос...

— Ты что, сдурел? — прохрипел Яшка, стараясь вырваться.

— Прости, братишка, впоотьмах не разобрал, — отпустил его матрос. — Это та спекулянтка с панталыку меня сбила, а я смерть воров не люблю. Каюсь, грешен, подумал — вор... Вот иродова баба, каким она благим матом заорала... Ладно, я ей, стерве, штуку сотворю. Давай, будем всё же знакомы — Иван Рябов со старой галоши «Чесма».

Яшка, улыбнувшись ему, ответил на рукопожатие, и Рябов заспешил:

— Подожди тут, а я сейчас комедию разыграю.

Он пробрался в вагон. В открытые двери Яшка слышал, как Рябов крикнул: «Приготовьте документы! Проверка!»

Видимо, дойдя до бабы, он остановился и замолчал, просматривая ее засаленную бумажку. Потом до Курбатова донесся его голос:

— Вас-то мне, мамаша, и надо. По всем статьям подходите — и обличьем, и весом, да и голос у вас... Ну, вставайте, собирайтесь, мамаша, да пойдем скорей: я вас к месту назначения представлю.

— Да чего тебе надо от меня? — вздыбилась баба. — Документ мой в порядке, никуда я не пойду.

— Не в документе дело, а в том, мамаша, что вы по всем статьям подходите, — гремел матрос.

— Да куда я подхожу-то? Чего пристал ко мне? Давай мою бумажку... не пойду я, — теперь уже испуганно запричитала баба.

— А подходите вы, мамаша, под приказ вашего святого Ивана Кронштадского... Слышали такого? Иван Кронштадский и приказал теперь, чтобы цыплят теперь бабы высиживали. Кур-то, считай, всех поели. Иван Кронштадский опыт делал: цыплят могут высиживать не все бабы, а вот такие, с вашим обличьем,

мамаша. Вы и в теле, и в достатке. Ну, собирайтесь, мамаша! — неудержимо и самозабвенно врал, стараясь не смеяться, Рябов.

— Да врешь ты всё, дьявол! — плакала баба. — Никакого такого приказа нет. Да я их все передавлю!

Рябов объяснил ей с достоинством:

— Мамаша, я при исполнении служебных обязанностей. Прошу меня не оскорблять. За это отвечать будете по всей строгости революционного закона. Собирайтесь, мамаша! Я шутить с вами больше не могу. Мне надо у остальных документы проверить да еще двух таких же, как вы, подобрать. А что передавито яйца — не сумлевайтесь, мамаша. Иван Кронштадский и это предусмотрел, такое приспособление сотворил: вы, мамаша, садитесь, а яйца вашей тяжести не чувствуют.

Плача, баба завозилась, начала привязывать к своему большому мешку маленькие мешочки, кругом все молчали: одни были сами напуганы грозным видом военмора, другие, поняв, что это шутка, отворачивались, задыхаясь от смеха: за мешочницу никто не заступился.

— Виданое ли, это дело? Чисто светопреставление происходит. Врешь, поди, окаянный, про Ивана Кронштадского?

— Никак нет, мамаша! На станции вам его приказ предъявят. Своими глазами увидите. Давайте-ка я вам пособлю.

— А сколько дней надо... ну, тово... этово цыплят-то высиживать? — через силу произнесла баба.

— А это, говорят, кто как, мамаша. Которые в теле да при сильном тепле — те, говорят, за двадцать дней управляют, а некоторые есть и по два месяца сидят. Ох и мешок у вас! Тяжелый! Откуда везете мучку?

Баба плакала навзрыд. Всё лицо ее было мокрое. Люди уже не могли сдерживаться: вагон дрожал от смеха.

— В Тамбовскую ездила... Да пусти ты меня, красивый. Мне уже и ехать всего сто верст, — баба стала что-то совать в руку Рябова.

— Что это? — загремел матрос. — Вы мне, мамаша, взятку даете при исполнении моих служебных

обязанностей? Граждане, всех прошу в свидетели... Вот эта гражданка мне пачку «лимонов» хотела сунуть.

Подняв на плечо тяжелый мешок бабы, Рябов пробрался к выходу. После неудачной взятки баба совсем испугалась и растерялась окончательно. Она, притихшая, держась за свой мешок, шла за Рябовым.

Только они выгрузились на платформу, как третий раз грохнул гулкий вокзальный колокол. Яшка и матрос быстро вспрыгнули на ступень вагона:

— Мерси бонжур, как говорят, мамаша. Пишите, через сколько дней цыплята будут... Привет вашим, когда увидите наших, — помахал ей рукой Рябов.

Вначале оцепеневшая и ничего не понимающая, баба стояла, разинув рот, держась за свой мешок. В мозгу ее, видимо, что-то сработало. Она дико закричала во весь бабий голос, затопталась на одном месте, замахала руками. А поезд уже набрал скорость....

Это дорожное приключение позабавило и возмутило Курбатова: вернувшись в вагон, он сказал зло, ни к кому не обращаясь и в то же время обращаясь к тем женщинам, с которыми накануне схватился из-за «леворюции»:

— Ползают ведь такие гниды... Давить надо мешочниц этих, чтоб вонь не разводили. Вот из-за таких-то и хлеба нет.

С верхней полки раздался вежливый, чуть дребезжащий голос:

— Не ползают гниды, молодой человек, не ползают, да-с... Это я вам как специалист говорю...

* * *

В Архангельске Курбатова ждал сюрприз. Подъезжая к вокзалу, Яшка еще издали увидел одинокую и знакомую фигуру. Тощий, угловатый паренек, зябко поводя острыми плечами под своей разодранной курткой, вертел большой головой, посаженной на длинную шею, выискивал кого-то в толпе приехавших. Яшка увидел огромные черные глаза на бледном, почти голубом лице и заорал, сорвав с головы шлем:

— Лобзик! Эй, я здесь...

Минуту спустя они стояли друг против друга, и Лобзик, счастливо улыбаясь, даже щурясь от удовольствия, торопливо говорил:

— А я тебя, брат, уже отчаялся встретить. Помнишь, как получилось. Только ты уехал — бац, и губкомола еще разверстка на пять человек. Ну, я и напросился сюда.

Яшка сам был счастлив. Всё-таки не один, всё-таки рядом почти родная душа: странный он человек, Лобзик, но есть в нем что-то такое, будто огонек горит в щуплом этом человеке.

На пароходе они перебрались через Двину; осень в этих краях уже совсем кончилась, на улице стояла странная, бесснежная пока, но морозная погода, и пароходик шел, раздвигая бортами круглые ледышки. Яшка слушал торопливые объяснения Лобзика — о курсах, о ребятах, о начальнике, о шамовке, смотрел, не отрываясь, на берег, на низенькие дома, маковки церквей, длинные штабеля досок — лесные биржи — и чувствовал, как тоска, которая отпустила его в Москве, начинает сосать сейчас. Ему неудобно было спрашивать у Лобзика о Клавье, да и что он мог рассказать: последнее письмо от Клавьи было всего неделей давности. Он так и не спросил его ни о чем, а Лобзик не догадался, что мучает Курбатова.

Курсы политруков ему понравились. Они размещались в помещении бывшего губернского архива — в длинном белом одноэтажном здании с низенькими окнами и сводчатыми потолками. Здание было старинное, выстроенное еще при Аракчееве: ребята говорили, что прежде здесь была тюрьма. Неподалеку находился кинотеатр «Мулен-Руж», и это тоже понравилось Яшке. За кинотеатром была барахолка; там торговали английским табаком и тупорылыми лыжными ботинками — шекельтонами, надо полагать, трофейными...

Собственно говоря, Яшка почти не заметил той перемены, которая произошла в его жизни. Быть может, потому, что за годы, проведенные среди множества самых различных людей, он привык близко сходитьсь с новыми товарищами, сейчас он, едва устроившись на новом месте, знал уже добрый десяток курсантов, кто они и откуда, и был польщен тем, что его наперебой расспрашивали о съезде, о Ленине, о ленинской речи, которую здесь еще не читали.

Лобзик — тот слушал его с горящими глазами, все поторапливая: «Ну, ну...»; ему казалось, что Яшка

долго добирался до главного — до встречи съезда с Ильичём. А Курбатов не мог рассказывать иначе: сейчас, сидя на койке в полутемной комнате, где остро пахло карболовкой, он словно бы заново переживал те минуты и часто переводил дыхание, чтобы не запутаться в словах.

Он не заметил, как во время его рассказа в дверях появился незнакомый мужчина, уже пожилой, в гимнастерке и высоких, закрывающих колени сапогах. Все вскочили. Тот, кивнув — продолжайте, подошел и сел на чью-то кровать, доставая из кармана кисет... Но Яшка не мог рассказывать при нем, смутился и замолчал.

— Что ж вы, товарищ Курбатов? Так интересно говорили, и вдруг...

— Я уже всё рассказал, — ответил Яшка.

Все тоже помолчали для приличия. Наконец военный, свернув папироску и несколько раз облизав ее для прочности, усмехнулся:

— А у нас вот не все еще понимают, как учеба нужна... Мы, говорят, революцию делаем, можем и без политэкономии обойтись. Знай бей буржуев — и всё тут.

Ребята вежливо улыбнулись; улыбнулся и Яшка, еще не понимая, какая может быть связь между битьем буржуев и политэкономией. Надо думать, не понимал этого не он один. Кто-то из ребят спросил:

— А политэкономика — про что это, товарищ Ходотов?

Яшка пытался припомнить эту фамилию: — «Ходотов... Ходотов... А, Лобзик на пароходе говорил — комиссар курсов...» Тем временем Ходотов, неторопливо закулив и щуя от дыма один глаз, хитровато поглядел на спрашивающего:

— Политэкономия-то? Да так... про всякое. Про золотишко-серебришко.

Кто-то недоверчиво хмыкнул:

— Значит, денежки считать? Вроде бухгалтеров?

— Вот-вот, — обрадовался Ходотов. — А потом вас всех кассирами работать пошлем. Кого в булочную, кого еще куда...

Он всё еще лукаво щурился, пряча улыбку, и вдруг, сразу построжав, сказал:

— Нет, ребята, это наука такая... как бы вам скзать... ну, вроде живой воды. Знаете сказку: ослепнет человек — так стоит его только помазать живой водой, сразу прозреет. А без нее, без этой науки, мы, как слепые кутята. Вот ты, товарищ Курбатов, например, знаешь, почему капиталисты богатели, а рабочие — нищали?

Яшка удивленно повел плечами:

— Конечно, знаю. Эксплуатировали они нас, вот и всё тут.

— Ну, а как же они так эксплуатировали? — допытывался Ходотов.

— Как это «как»? — не понял Яшка. — Ну, работали мы на них...

— А ведь они-то платили вам за работу?

— Ну, платили.

— Значит, не на них вы работали, а на себя?

Яшка смутился, буркнул что-то насчет штрафов и смутился вконец. Ходотов, протянув руку, потрепал его по плечу:

— Ничего, узнаешь... Вот ведь как получается, ребята: простая вещь, а растолковать ее даже наш делегат не смог.

Он вынул из кармана зажигалку и, вертя ее в коротких, толстых пальцах, начал объяснять, что такое прибавочная стоимость. Яшка жадно, как губка воду, впитывал в себя каждое слово. Всё оказалось так ясно, что ребята как-то даже разочарованно переглянулись... А Яшка, раздумывая над услышанным, досадливо поморщился: «Дурак, значит, я что ли? Просто ведь, как огурец...».

Но через несколько дней он уже не говорил и не думал — «просто, как огурец»: к вечеру у него от всех занятий голова шла кругом, в ней мешались понятия, формулы, выводы и он временами, тупо уставившись в книжку, напрасно старался усвоить что-нибудь еще, голова отказывалась работать.

Как-то на пятый день Лобзик пожаловался ему:

— Убегу я отсюда, Яшка. Ну на кой мне бес эти капиталы?

Он кивнул на том Маркса, лежащий перед Яшкой. В это время Яшка — в который раз! — перечитывал строчки: «Всякий труд есть, с одной стороны, расхо-

янные человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова, — и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров»¹.

Лобзик жалобно взмолился:

— Да оставь ты это. Я говорю — не могу больше.

Яшка, медленно подняв на него воспаленные, сразу ставшие злыми глаза, угрожающе поднял книгу:

— Убежишь — прибью. Понял? И дружба врозь.

На курсантов взвалили сразу массу занятий. Яшка не жаловался; ребята косились на него: «Смотри, какой камешек, а? Будто ему нипочем...» А он вспоминал мертвую тишину в зале, невысокого человека, разрывающего рукой воздух, и его слова о том, что надо учиться коммунизму...

* * *

Первым серьезно нарушил дисциплину Лобзик. Вечером он стоял на посту на улице, у ворот. Через две трамвайные остановки была красноармейская чайная, где давали чай с монпансье и маленький кусок черного хлеба, чаще всего с повидлом; всё это выдавали бесплатно, по красноармейской книжке. Лобзик снял тяжелый и теплый тулуп, завернул в него свою винтовку и всё это поставил в сугроб. Потом он закрыл калитку с внутренней стороны, перемахнул через высокий забор, сел в трамвай и поехал в чайную.

Комиссар курсов Ходотов в этот вечер лично обходил посты. Он наткнулся на тулуп, торчащий из сугроба, забрал винтовку и снес ее в караульное помещение. Возвратившийся Лобзик не нашел винтовки: тулуп валялся, а винтовки не было. Ему ничего не оставалось, как самому пойти в караульное помещение; там он был сразу же арестован.

У него отобрали поясной ремень. Утром, на общекурсовой поверке его вывели и поставили перед строем. Ходотов зачитал приказ начальника курсов: за проступок Лобзику дали пятнадцать суток гарнизонной гауптвахты.

Яшка стоял, глядя себе под ноги. Когда Лобзика провели мимо, он взглянул на него и увидел, что тот лукаво подмигивает.

¹ К. М а р к с. Капитал, т. 1, 1949, стр. 53.

— Отдохнет парень, — шепнул кто-то сзади не то одобряюще, не то завистливо.

Лобзик вернулся с гауптвахты еще более похудевший и притихший. Какой там отдых: с утра до вечера он работал с другими штрафниками на лесобирже! Яшка, покатываясь со смеху, глядел, как Лобзик то и дело поддергивает галифе.

— Вот как исхудал, — крутил головой Лобзик. Штаны не держатся.

Но что-то изменилось в нем, словно сломалось; даже говорить он стал как-то меньше и суше и чаще молчал, глядя куда-то в сторону, будто видел там что-то ведомое ему одному.

Эту перемену заметил не один Курбатов, но то, что случилось, Лобзик рассказал только ему.

...В одну из суббот на лесобирже, где работали заключенные с гауптвахты, был субботник, пришло несколько десятков девушек-активисток, в основном работницы комитетов комсомола, сведенные в одну бригаду.

Среди них он заметил одну, самую обыкновенную, но показавшуюся ему необыкновенной. Во время перерыва они оказались рядом.

Ее звали Нина Гаврилова. Лобзик, стыдясь своего «арестантского» вида, долго не решался заговорить с ней; она первая заговорила с ним, надо полагать, изумленная этими огромными черными глазами.

И Лобзик не сдержался. Он наврал ей о себе с три короба. Он ей наговорил о себе такого, что потом только краснел, — и что он тоже комсомольский работник, и что на курсы приехал сразу со съезда, и что воевал против Колчака...

Они шли вдвоем мимо штабелей сложенных досок, когда до них донесся отчетливый, захлебывающийся мелкий девичий смех, а затем звук поцелуя. Нина и Лобзик покраснели, хотя в иное время Лобзик и ухом бы не повел, услышав такое.

Нина тихо проговорила:

— Видите, зачем некоторые сюда пришли? Пойдемте скорее. Противно.

Потом она рассказывала:

— Знаете, как мне тяжело на освобожденной комсомольской работе? С беспартийными и рядовыми ком-

Комсомолками я всегда нахожу общий язык, все они... Ну... такие все, какими и должны быть обычно. А вот с некоторыми активистками... не могу ужиться... Они меня интеллигентной птичкой зовут. Я хотя на них и не обращаю внимания, но всё же тяжело. Они и других комсомолок хотят перекрестить в свою веру, я боюсь из-за этого с ними и воюю. А парней, которые похулиганистее, они против меня подговаривают, чтобы приставали с разными предложениями. Пока отбиваюсь от них... Вот одного не могу понять — откуда у нас такие девушки появились? Я читала речь Ильича... Мне кажется, девушка везде должна быть девушкой. А какая она девушка, когда из нее, как из трубы, мажорочный дым идет...

Лобзик в это время курил козью ножку; после этих слов Нины он незаметно смял сигарку и выбросил ее.

Нина заметила и засмеялась:

— Ой, какой вы смешной! Да курите себе. Девушкой вы ведь не собираетесь быть?

Девушки редко разговаривали так с Лобзиком, а этот разговор вообще шел так, что у Лобзика в голове всё окончательно перепуталось. Нина казалась ему такой светлой и так высоко, недостижимо стоящей над ним, что он боялся обернуться к ней.

Они сели на кучу досок, и Лобзик, мучительно краснея, попытался поддержать этот умный и потому для него непривычный разговор. Слов он не находил; те, которые приходили, были какими-то пустыми, незначащими.

Он не заметил, откуда появился и когда сел рядом с Ниной незнакомый парень. Лобзик раньше не видел его: очевидно, он работал до этого в другом месте, в бригаде лесокатов. У парня было наглое лицо, жидкие черные волосы вылезали из-под ободранного треуха.

— Ну-ка, Нинка, подвинься, — осклабясь, сказал он, толкая девушку локтем.

— Я вам не Нинка, товарищ Кандидов, не забывайте, — строго и серьезно ответила Нина. Парень коротко хмыкнул:

— Верно говорят, что ты недотрога... Что, товарища красного курсанта захороводила? Сидите тут, любовь крутите? Не помешаю?

Лобзик покраснел от злобы; у Нины от возмущения дрожали губы:

— Что вам от меня нужно? Уходите!

— А, помешал, помешал... Извиняюсь... то есть, пардон, мамзель. Я думал, что вы с красным курсантом уже того... а теперь и на меня можете вниманию переклЮчить.

Лобзик не мог больше сдерживаться. Он вскочил, обернулся к сидящему рядом с Ниной парню, схватил его за ворот пальто и рывком придвинул его лицо к своему. Задыхаясь, он проговорил:

— Ну, ты, гнида человеческая. Кто ты такой? Подлец!

Он ударил парня и, пока тот, сразу скисший, растерянный, пытался что-то сказать, тронул Нину за руку:

— Пойдемте...

Сейчас, вспоминая всё это, Лобзик мучился: его, вдобавок ко всему, на месяц оставили без увольнительной. Курбатов, поначалу было удивившись, что с несерьезным Лобзиком могло приключиться этакое, потом загрустил сам и даже не улыбался, когда Лобзик, подсев к нему на кровать, сказал:

— Выходит, мы вроде женихов с тобой теперь, а?

Но думать об этом пришлось недолго: той же ночью курсы были подняты по боевой тревоге. Ребят и прежде поднимали по ночам: с оружием они выбегали и строились во дворе, потом начинался марш — далеко за Мхи, где англо-американская разведка совсем недавно расстреливала архангельских коммунистов.

На этот раз тревога была не похожа на простое ночное ученье. Во двор выкатили санки; на них положили цинки с патронами, и озабоченный чем-то Ходотов вместе с начальником курсов пересчитал их. Высокий человек в наглухо застегнутой длинной кавалерийской шинели то и дело поглядывал на часы и торопил начальство. Наконец он повернулся к курсантам, и по тому, как он начал говорить — тихо и с тревогой, — Курбатов понял: да, здесь не ночное ученье.

— Вот что, товарищи, — говорил тот. — Идем мы на боевое задание вместе с чекистами. Под городом сегодня находится банда... Надо стараться взять всех живьем, ну, а если не удастся... Короче говоря, идем!

Шли молча. Быстро кончились освещенные улицы,

■ впереди была темень, глухая, почти ослепляющая. Премениами за спиной вдруг словно бы начинало светить; там появлялись, росли, ширились голубовато-зеленые полосы, они перемещались, начинали гореть, мерцать тонкими игольчатыми стрелками и так же быстро, как возникали, гасли... Тогда еще гуще становилась темнота, чернее — небо.

Отряд остановился через час на большом поле. Здесь росли, прижавшись к самой земле, занесенные сейчас снегом можжевельниковые кусты, тянулись вверх из-под снежных шапок уродливые, скрюченные, как мертвые пальцы, ветви карликовых берез. Хорошо еще, что погода стояла теплая: там, в городе, термометр показывал три градуса ниже нуля.

И всё-таки, разгоряченные этим часовым маршем, ребята продрогли. Курбатов почувствовал сначала легкий озноб и глубже зарылся в снег, под куст. Соседей он не видел, но знал: ребята где-то здесь, рядом, и так же мерзнут сейчас, как и он.

Еще через час он просто не знал, выберутся ли они все отсюда живыми. Через два часа Курбатов, немного привыкнув к холоду, поймал себя на том, что ему неудержимо хочется спать. С трудом он взял негнуцимися пальцами пригоршню снега и приложил к глазам: снег прилип к лицу. А когда слева суматошно затрещали выстрелы, он даже не вздрогнул, не завоновался, а только подумал: «Ну, наконец-то...»

Три тени мелькнули неподалеку. Сосед справа начал стрелять, и Курбатов, опомнившись, закричал:

— Не стреляй... живьем... бежим...

Он не мог бежать. Вернее, он бежал, но ему казалось, что он только медленно, как это бывает во сне, переставляет ноги.

...Опять на горизонте начало тянуться вверх, раздвигая темноту своим неживым, голубоватым светом, северное сияние. Трое уходили: теперь Курбатов отчетливо видел три согнувшиеся фигуры. Курсант, бежавший рядом, припал на колени и всё-таки начал стрелять. Один из бандитов, словно споткнувшись о куст, повалился в снег, раскидывая руки.

Курбатов не успел выстрелить: сияние, освещающее пустую, белую равнину, начало гаснуть, как горевшая свеча. Выстрелы захлопали уже впереди, дале-

ко и глухо. Он споткнулся о лежащее на снегу тело и, задыхаясь, опустился рядом, всё еще нестигающимися, распухшими пальцами стараясь вытереть сбегающий с висков пот.

Рядом стоял тот чекист в длинной шинели, который привел ребят сюда. Чиркая непослушными спичками и закрывая огонек ладонью, он разжег, наконец, несколько штук и нагнулся над убитым. Курбатов, мельком взглянув в лицо бандиту, отпрянул...

Прямо на него глядели теперь мертвые, остановившиеся, но такие же круглые глаза человека-«совы».

IX

Пожалуй, в иное время Курбатову и не показалось бы, что дни тянутся так мучительно долго. Четыре месяца — не ахти уж какой большой срок, а ему казалось, что прошло уже столько, что даже не сосчитать — целая жизнь!

Писем от Клавы не было месяц. Лобзик, не утешая Курбатова, но неизменно на чем свет стоит браня почти («Зимой работать не умеет!»), переводил разговор на старые письма и незаметно для Курбатова заставлял его лезть в сундучок, доставать и перечитывать их. Действительно, становилось легче. Клава писала, что ей очень одиноко без Яшки, что она ждет его, любит...

— И чего она влюбилась-то в тебя? — тараща свои цыганские глазищи, деланно удивлялся Лобзик. — Нос загогулиной, бровей полное отсутствие. Рот... Зубы хорошие, что у лошади, а вот подбородочек подгулял малость. Переделали тебе подбородок, Яшка, лишку налепили. Кувалда какая-то вместо подбородка.

Курбатов так же шутливо поднимал вверх указательный палец:

— Тише!

— А что? — настораживался Лобзик.

— Слушаю, как у тебя, скелета ходячего, кости скрипят...

Взрыв произошел неожиданно. Сложенное треугольничком, какое-то измятое, будто переданное через сотню рук, на имя Курбатова, наконец-то, пришло письмо. Лобзик, влетев в казарму, заставил Яшку

опустить и даже отвернулся, когда тот жадно схватил этот серый треугольник.

Это... не от нее, — выдохнул Яшка.

Письмо было от Вали Кията. Строчки расплылись у Яшки в глазах, он не мог понять, что ему рассказывал друг... Лобзик, почуяв недоброе, тревожно подскочил к нему:

— Что... что...

— Читай, — едва двигая губами, пробормотал Курбатов. — Я... не могу...

Он не понял слов; он понял только одно — Клавы у него нет. И, быть может, оттого, что потрясение было настолько велико, он не закричал, не заплакал, а только сел, тупо уставившись в какую-то одну точку на полу, сцепив сразу побелевшие пальцы.

Кият писал:

«Здорово, дружище!

Твое письмо получил. Не сообщал я тебе ничего о Клаве потому, что не хотел расстраивать. Я знал, как ты в нее врезамши. А теперь, думаю, что и зря тебе ничего не писал о ней. Буду писать кратко и только о том, что знаю. Разные сплетни писать не буду. Их в поселке ходит много.

После твоего отъезда Клава никуда не ходила. Бывала только в комсомольской ячейке. Девчата и ребята немного над ней подсмеивались. Началось, по-моему, это в марте. Клава пришла на танцы. К ней сразу подлетел этот трепло — Мишка Трохов и целый вечер танцевал с ней. Он по-прежнему служил в своем подразделении. Звенел шпорами, кланялся, ну, был таким кавалером, как в романах пишут. Клава и Мишка всё время были вместе. Что там промежду их было, я не знаю. Только Клаву стали предупреждать некоторые девчата и ребята, и я с ней говорил. Она и от ячейки совсем отбилась. Клава только смеялась, а потом на нас стала сердиться и говорить: «Не ваше дело». Тогда мы взялись за Мишку, его предупредили, а ты знаешь его. В общем, ничего не помогало. Однажды, во время танцев, мы вызвали Мишку на крыльцо и стали угрожать ему, что намнем бока, если он не оставит Клаву в покое. Он засмеялся, вынул свой шпалер и показал его нам: «А ну, налетай, кому жить надоело. Сколько вас тут на фунт сушеных, подходи». Потом положил

свой наган в карман, обозвал нас шкетами и снова ушел плясать.

Потом я узнал, что Клава и Мишка в конце апреля поженились и расписались в Совете. Только Клава замужем за ним была всего один день. Что там у них было, я не знаю. Говорили, что она рано утром прибежала в милицию и заявила, что Мишка спекулянт. Был обыск. Всё подтвердилось. Мишка арестован. Говорят, его скоро судить будут в губернском городе. Их работала целая шайка, а Мишка был у них главным. Дедушка Тит и дядя Павел отказались от Клавы и не пустили ее обратно домой. Она живет теперь одна в Мишкиной комнате. Работает табельщицей на бирже. От ячейки совсем оторвалась, всех сторонится, даже избегает своей подружки Зины.

Вот и всё, что я знаю. Ты, Яша, очень-то не убивайся, мало ли что бывает? На твоём веку встретятся и не такие, как Клава. Только я сам не знаю, что это за штука, любовь. Так что, может, и неправильно пишу. Яша, приезжай. Все тебя ждут. Новостей пока нет никаких.

Привет от ребят и девчат.

Остаюсь твой Валентин».

* * *

— Встать, смирно!

Яшка вскочил, вытягивая по швам руки. Ходотов, хмурясь, барабанил пальцами по столу:

— Опять не слушаете? Не напрасно ли вы занимаетесь здесь, курсант Курбатов? Учитесь хуже всех, разленились, наряды вне очереди вам, кажется, не надоедают... Вы сами-то чувствуете это?

Яшка стоял и молчал. Военком посмотрел на него внимательнее:

— Короче говоря, в шестнадцать ноль-ноль зайдите ко мне в кабинет. Понятно?

Яшка повторил: «Понятно», — и ему действительно было понятно, что он куда-то катится и ему не остановиться уже...

В назначенное время он явился к военкому. Доложив по уставу о своем прибытии, он остался стоять у дверей. Ходотов кивнул на старое, полуразвалившееся кресло:

— Подойдите сюда, товарищ Курбатов... Садитесь!

Яшка сел, стараясь не глядеть на военкома. А тот уже расспрашивал его, тихо, ласково, настойчиво, но Яшка подумал, что рассказать о Клавде он ему не сможет. Да и зачем?

— Что с вами, товарищ Курбатов, происходит? Вы чувствуете, как из передовых курсантов попадаете в отстающие? У вас, видимо, есть какие-то причины, а один справиться не можете. Есть у вас здесь товарищи? Ну такие, с которыми вы могли бы поделиться своим горем?

Яшка кинул на военкома быстрый взгляд. «Да он... Он же всё знает!» Какая-то судорога свела ему горло, он хотел ответить Ходотову и не смог.

— А что, Яша, я могу знать о твоём горе?

Курбатов молчал.

— Значит не могу, — ответил сам себе военком, откидываясь на спинку стула. — Выходит, не заслужил отец-комиссар, не заслужил, старина, чтобы тебе ребята свою душу на ладошку выкладывали, чтобы несли ко мне свои горе и радости. Я думал, что я ничего... а на проверку выходит — плохой я комиссар. Вам что, восемнадцать лет?

Вопрос был задан уже другим, сухим тоном. Так скор был этот переход в голосе Ходотова, что Курбатов растерялся.

— Да, девятнадцатый...

— А мне пятьдесят второй! В партии я двенадцатый год. В подполье пропагандистом был, в нелегальных рабочих кружках преподавал. Рабочие мне рассказывали о своих самых потаенных думах. В Красной Армии с начала революции. И всё комиссаром... У Щорса комиссаром батальона был... Да что там. В общем, плох оказался комиссар! Не пора ли на покой — с женой да со своими детишками воевать? Как ты, Курбатов, думаешь?

Но Курбатов не думал об этом. Две мысли сейчас боролись в нём: «Сказать... не говорить?.. Скажу... Нет, не надо». В это время военком спросил:

— Ответьте, по крайней мере, Курбатов, одно: горе у вас личное или общественное?

— Личное... — тихо ответил он.

— Как же так, Курбатов, вы свое личное горе пута-

ете с общественным? Выходит, личное горе мешает общественному долгу? И это у вас, у комсомольца, который, наверное, думает в партию вступать. Ваша служба в Красной Армии, учеба — не личное, а глубоко общественное дело, дело партии, если хотите... Вам об этом, помните кто говорил?

Ходотов буквально гремел:

— Так какое вы имеете право, товарищ красный курсант, манкировать службой, занятиями, напрасно проедать народные деньги, когда каждая копейка у нас на счету?

Военком, не в силах справиться со своим волнением, встал, вышел из-за стола и остановился перед Курбатовым. Яшка продолжал сидеть, низко опустив голову. Вдруг военком рывком:

— Встать! Как ведете себя, товарищ курсант, в присутствии старших!

Курбатов вскочил и вытянулся. Вид у него был подавленный, губы дрожали, холодный пот выступил на лбу.

— Разговор окончен, можете идти, товарищ курсант! — глядя в сторону, сказал военком.

Яшка повернулся кругом и направился к двери. Его остановил новый окрик:

— Курбатов, подождите!

Яшка остановился. Военком подошел к нему, взял его за плечи и подтолкнул обратно, к креслу. На Яшку снова ласково смотрели добрые глаза старого большевика:

— Что, напугал я тебя, сынок? — с легкой усмешкой спросил Ходотов. — Надо так... Видишь, какой ты упорный да настойчивый!

Нервное напряжение, которое поддерживало силы Яшки, прошло. Он не удержался. Положив голову на стол, он рыдал без слез, спина так и ходила ходуном. Военком стоял, гладил его по волосам и тихо говорил:

— Поплачь, поплачь, сынок... Легче будет. Мужчины — тоже плачут. Трудные это слезы. У женщин — глаза на болоте, у них слезы близко, самый пустяк их выжать, а мужские — из глубины идут. У мужика не глаза, а он сам весь плачет.

Через полчаса Курбатов рассказал ему всё. Протя-

нул руку к карману гимнастерки, он отстегнул пуговицу, вытащил и подал военному пачку писем; в них была завернута карточка Клавы.

Военком посмотрел сначала на Курбатова, затем взял карточку Клавы, долго вглядывался в нее, перевернул и прочитал на обороте. Там было написано: «Моему дорогому, любимому, самому близкому. Ишеньке! Всегда с тобой, на всю жизнь вместе. Клавя».

Потом Ходотов начал читать письма. Читал он долго, не поднимая головы; лицо его было спокойно, а Яшка сидел и нервничал. Он скреб ногтем зеленую суконную скатерть стола, проскреб дыру, покраснел, взглянул на военкома и, видя, что тот как будто ничего не заметил, закрыл протертое место пепельницей. Наконец Ходотов прочел все письма, поднял голову и понимающим, долгим взглядом посмотрел на Курбатова:

— Так... Трудно, говоришь, Яша? Понимаю, трудно. Очень трудно. А в руках себя держать надо. Нельзя поддаваться такому настроению, оно далеко заведет. Я думал, что у тебя воля крепкая, а выходит — тебе еще воспитывать ее надо. Ведь так-то говоря, плохо это — на трудности равняться, по течению плыть. Но трудности у тебя, как ты сам сказал, личные — значит, наше общее дело не должно страдать. Запомни это на всю жизнь, мой тебе совет. Никогда общественное нельзя растворять в своем, в личном. Это только какой-нибудь обыватель может рассуждать иначе. Он из-за кисейных занавесок, пуховой перины да сытного обеда ничего видеть не хочет, всё своему брюху подчиняет, всё на него меряет. А мы, большевики, мы не для себя, а для всех стараемся. А раз так — возьми себя в руки, спрячь поглубже свое личное горе и не переноси его на учебу и на службу.

Военком снова подошел к нему и, опять подталкивая, на этот раз к двери, шутливо проворчал:

— Всё же и при таком горе дыры на скатерти протирать нельзя. Это тоже имущество общественное, государственное.

Смущенный Курбатов хотел было что-то сказать, но Ходотов, тихо засмеявшись, вытолкнул его из кабинета и закрыл дверь.

То, чего больше всего боялся теперь Курбатов, свершилось. В июне курсы закончились, испытания остались позади; Ходотов, вручив курсантам удостоверения, отвернувшись, пробурчал: «Летите, орлята» и ушел, и Курбатов почувствовал, как кругом него вдруг появилась тревожная пустота.

Лобзик оставался в Архангельске — на комсомольской работе. Оставался он, конечно, потому, что здесь была Нина. Приглашали в губкомол и Курбатова, но ему было тяжело здесь: Лобзик, как ни старался, не мог скрыть счастливой улыбки, она так и сверкала на его худощавой физиономии. Курбатов, понимая, что завидовать вроде бы нехорошо, не мог не завидовать ему, его счастью, его любви, и открыто признавался себе в этом: да, завидую.

Боялся он и другого: встречи с Клавой, хотя, собственно, бояться было нечего. Не выдержит? Ну так что ж, что не выдержит: в конце концов, ошиблась, сдурилась... И всё-таки боялся. Когда он сошел в Печаткино с поезда, ему захотелось тут же сесть в состав, идущий обратно, и уехать. Куда? Да не всё ли равно куда, лишь бы не встретиться с Клавой. Но уехать он уже не мог. Какие-то иные, более властные силы привели его сюда, здесь был его дом, его горе, его друзья, и он принадлежал им — дому, горю, друзьям.

Он избегал даже далеких встреч с Клавой. Раз, увидев издали знакомую фигурку, он пошел обратно и завернул в переулок. Клава же, наоборот, искала встречи с ним и часто, не замечаемая никем, ждала, когда он выйдет из общежития, клуба или дома, где помещались Всеобуч и ЧОН. Но Курбатов всегда был не один, а она не хотела, чтобы их видели вместе.

Всё же Клава дождалась этой встречи. Как-то Курбатов вышел из клуба с ребятами; на улице они остановились, и Курбатов о чем-то оживленно и горячо рассказывал им, размахивая руками. Больше получа-са ждала Клава конца беседы; к счастью, потом ребята расстались, и Курбатов пошел к своему дому.

По соседней улице Клава забежала вперед, свернула в переулок и, выйдя из него, лицом к лицу столкнулась с Курбатовым.

— Здравствуй, Яша, — протянула она руку, как-

то незнакомо усмехаясь. — Ты как будто бы меня нарочно избегаешь? Будто боишься чего-то? Не бойся, я не прокаженная.

Да... нет... Что ты? — тихо сказал он, краснея. От волнения он не мог произнести даже эти простые, односложные слова. Клавя понимающе кивнула:

— Мне ведь тоже не легко, Яша... Может быть, ты жалеешь, чем тебе... Ты, пожалуйста, не думай... не думай, что я от тебя чего-то хочу. Я только всё рассказать хотела. Ты ведь ничего не знаешь еще... Рассказать... всё? Это, наверно, последняя наша встреча, а я же действительно искала. Может быть, когда узнаешь, не так уж плохо будешь думать обо мне...

Они не заметили, как очутились на железнодорожной ветке и как шли по шпалам к лесу. Они шли, как чужие, отдаваясь друг от друга, и только Клавя смотрела на Курбатова грустным, лучистым взглядом, а он глядел вниз, под ноги, не поднимая своих глаз. Боль, уже замершая, казалось, теперь начала снова подниматься в нем, и он не искал, да и не мог найти в себе прощения. Голос Клавя, какой-то хрипловатый, огрубевший, доносился до него словно бы издали, и это был уже чужой голос.

— ... Помнишь, когда я ушибла ногу и ты возил меня гулять на финских санях?.. Помнишь, тогда мы немного поспорили с тобой. Я говорила, будто человека легко узнать по виду и что Трохов хороший парень, а ты из ревности плохо о нем отзываешься? А ты оказался прав... Любила-то я, конечно, тебя одного и... и... сейчас люблю и буду любить, не запретишь. Но сейчас уже от этой любви пользы нет...

... Тогда, когда мы с тобой спорили, Трохов казался мне хорошим парнем. Ну, вежливый, предупредительный. Во время танцев чего только не говорил. И тронуло меня это. Пока ты был со мной, у меня к Трохову был только глухой интерес. Ну... интерес со стороны. Ты меня, наверное, понимаешь... Кроме тебя, мне тогда никого не нужно было. Но вот ты уехал. Мне и поговорить было не с кем. Ты — далеко, а если бы бабушка была, то ничего бы и не произошло...

Курбатов насторожился. Ему показалось, что Клавя хочет упрекнуть его в чем-то, и он насторожился, подобрался, готовый взорваться и наговорить ей бог

весть чего, если она и в самом деле упрекнет его. Но Клава продолжала по-прежнему ровным голосом, будто разговаривая сама с собой:

— Совсем одной мне скучно было. Сидела всё время дома, думала о тебе. Заходили девчата, звали на танцы, на репетицию, а я не шла. Потом, как-то в воскресенье, пришла Зина и стала звать на танцы. Тут дед вмешался: «Сходи, потанцуй! Чего ты всё сидишь, как вдова соломенная... Не узнает твой Яшка. Да ему и бояться нечего, видишь, ведь совсем голову по парню потеряла. Сходи уж; он-то там тоже, наверное, ходит». Это меня ровно иголкой кольнуло. Ты знаешь, что я тоже очень ревнивая, я тебя тоже ревновала к каждой девушке, с которой ты разговаривал. Только я умела скрывать...

... Тут я собралась и пошла в Народный дом. Там, конечно, был Трохов. Увидел меня и сразу оживился. Подлетел ко мне, пригласил на вальс, спрашивал, почему меня не видно, уж не заболела ли, часом. Говорил, что очень скучает без меня, что вообще не знает, что такое с ним происходит. Я всё это слушала, и мне было хорошо...

... Потом он меня провожал домой, крепко жал руки и ничего себе больше не позволял. Дальше — больше, стала я ходить на каждые танцы и... и не знала, что тебе писать. Пишу, разорву, снова напишу... Ничего не получалось. Я и прекратила. Почему-то ты в моей голове был в каком-то тумане, а Трохов постоянно был рядом. Но я ничего тогда не думала, знала, что люблю тебя, а о Трохове думала совсем легко. Всё это казалось мне временным, исчезнет, как ты приедешь.

Здесь она замялась. Курбатов шел медленно, глядя себе под ноги. Он знал, что Клаве трудно рассказывать обо всём этом, но ведь и ему не легче было слушать. Он не замечал ничего: ни того, где они шли, ни самой Клавы. Кавалось только, что голос ее был рядом...

— Как-то раз танцевали, было жарко... Трохов предложил выйти на крыльцо. Он держал меня под руку. Было часов девять. Он предложил не возвращаться обратно в зал, а пойти погулять. Я согласилась. Он принес мне пальто, и мы пошли. Трохов жил недалеко. Вдруг он, протянув руку, сказал: «Вот мое окно. Вот

мне одинокое холостяцкое жилище. Плохо быть холостяком. Нашел я себе невесту, да она не хочет быть моей женой. А я бы ее на руках носил, молился бы на нее, как на икону. Малейшее желание было бы для меня законом». Меня взяло любопытство. Я поинтересовалась, кто она, его невеста. Он заявил, что сейчас этого сказать мне не может, а что если я наблюдательная, то давно бы должна всё понять...

... Мне стало его жалко. Помню, что я сама прижала его руку к себе. Вдруг он спросил меня: «А не хотела бы ты посмотреть мою берлогу?» Вначале я испугалась, даже подумала, что я ни разу не заходила в твою комнату. Трохов жалобно упрашивал, говорил, что тут нет ничего особенного, что мы зайдем всего на пять минут, что вот я ему чего-то не доверяю, а его это оскорбляет. В конце концов я согласилась.

... Мы зашли к нему в комнату. Он зажег свет и сразу задернул занавеску на окне.

...Мы сели. Он налил вино в стаканы, рюмок у него не было. Через несколько минут у меня закружилась голова, стало очень весело, и Трохов казался хорошим и жалким. Когда он взял мою руку и поцеловал ее, я не отняла: он поцеловал еще раз. Потом налил снова в стаканы вина, и мы выпили тоже за что-то хорошее. Он стал целовать меня... Я знала, что это нехорошо, но он не давал мне опомниться. Выпили еще и... больше я ничего не помню.

Клава остановилась, остановился и Курбатов. Теперь он смотрел на нее, веря и не веря тому, что она рассказывала—так это было страшно. Лицо Клавы, искаженное, как от боли, пылало. Курбатову захотелось закричать: «Хватит, я больше не могу!», но Клава продолжала:

— Очнулась я от холода и заплакала. Он стал меня успокаивать, видно, боялся, что услышат соседи за стенкой: «Ну, хватит, ну чего ты разревелась, дуручка. Со всеми так бывает. Хочешь, я женюсь на тебе, мне всё равно надоело одному жить, да уж и пора за умок да в домик».

...Я не ушла от него, а когда вечером потребовала, чтобы он пошел в Совет расписываться, он засмеялся: «Что, приспичило? Дня не можешь подождать? Видишь, как разохотилась женой-то быть!» Он еще гово-

рил много такого... Но всё же пошел, и мы стали мужем и женой...

Курбатов опять не замечал, как и куда они шли. Оглядевшись, он увидел, что стоят они возле лесного ручья, где встретились с Троховым еще подростками, в июле семнадцатого года. Как далеко это было! Сейчас, чувствуя, как всё в нем стонет, звенит, словно туго натянутая струна, он слушал эту откровенную и трудную повесть и не перебивал. Впервые за весь путь, что они прошли, он посмотрел на изменившееся, измученное лицо Клавды и заметил, сколько морщинок возле губ и на лбу.

— Пришла домой, рассказала всё. Дедушка встал и ушел в другую комнату. Папа смотрел на меня строго. Я заплакала. Хотела броситься к нему, но он отстранил меня: «Не думал, что ты у меня такая... Всё думал — хорошая дочь, гордился тобой... Ну, дело сделано, воля твоя... Я — коммунист и не могу, да и не имею права принуждать в таких вопросах. Говорят, сердцу не прикажешь... Только вот сердце-то у тебя, дочка, с червоточинкой оказалось. Натерпишься ты горя с этим Троховым, я его знаю... Деду лучше не показывайся на глаза, не расстраивай старика»...

Ушла я. Первой мыслью было — бежать на реку и прыгнуть в нее, а потом стала оправдывать себя: «А что я, собственно, такое сделала? Это меня обманул подлый человек. Что, разве мне легко? Мне тоже не легче, чем всем им... Они ведь ничего не знают. Если бы узнали, может быть и не отвернулись бы от меня»...

Повернулась и пошла к дому... к новому дому. Трохов был дома, и не один, а с каким-то военным. Оба были выпивши. Трохов с насмешкой мне сказал: «Ну, жена, ставь самовар, кипяти чайник, свадьбу играть будем. Случайную свадьбу... Пропьем сегодня мою холостую жизнь!».

Пока я ходила на кухню ставить самовар, оба они совсем напились и храпели на кровати. Я составила стулья, постлала на них пальто, подложила под голову книги, легла и задремала...

Потом услышала тихий стук в дверь. Соскочила, подошла к двери и отодвинула задвижку. В коридоре стояли двое каких-то людей с большими мешками. Я спросила, кого им нужно, они зашикали на меня и ти-

но сказали, что им ничего не нужно, что они только не гонят мешки и уйдут. Один из них сказал: «Да не впервой нам, дамочка. Мы, говорит, поставим да и уйдем. А что в мешках — товарищ политрук знают!» Я поняла, что «политрук» — это Трохов, он всё еще работал в продскладе...

...Чувствую — неладное что-то. Посмотрела — в мешках продукты. Надела пальто и вышла, а двери заперла на висячий замок. Я пошла в милицию, сказать об этих мешках. Лукин — помнишь его? — выслушал меня, похвалил и сказал, что ему уже давно кое-что известно о Трохове, да всё никаких улик не было.

Лукин рассказал, что в поселке идет спекуляция продуктами, меняют продукты на разные ценности. Ну, взял он с собой четырех человек, и я повела их к дому Трохова. Когда я сняла замок и открыла дверь, эти двое еще спали. Лукин разбудил Трохова и этого, второго. Потом начался обыск. Кроме этих двух мешков с продуктами, нашли много золотых вещей и еще какие-то ценности...

Осталась я одна. На улице встретилась как-то раз с папой, он похвалил меня, но сказал, что дедушка не хочет, чтобы я возвращалась домой. Так и осталась жить в комнате Трохова. В Совете брак расторгнули, и снова я взяла свою фамилию. Папа устроил меня табельщицей на лесобиржу... вот и всё...

* * *

Что же Курбатов мог ответить на это?

Он понимал одно: не ему одному тяжело сейчас. Какой-то внутренний, еще глухой, но всё растущий голос упорно твердил ему: посмотри, посмотри, как она сама исстрадалась за это время. Ну, ошибка, ну, срыв, но нельзя же сейчас оттолкнуть человека! Он выругал себя: дурак, сыграл сам с собой в оскорбленное самолюбие, а ничего не понял.

Протянув руку, Курбатов осторожно взял Клавин локоть и прижал его к себе. Потом, впервые за всю дорогу, он посмотрел ей в глаза — взглядом долгим и грустным, таким, что она не выдержала и отвернулась.

— Не молчи хоть... — шепнула она.

— Клава... — так же тихо шепнул Курбатов. — Я... я всё равно...

Она освободила свой локоть и предупреждающе подняла руку:

— Не надо. Я знаю. Но это уже невозможно. Я... я сама не прощу себе того... даже если ты простишь. И... я пойду, Яшенька. Нет, нет, не провожай меня.

Вечером Яков пришел в общежитие, где была комната Трохова, чтобы попытаться заставить Клаву пойти к Алешинным и, как будто ничего не случилось, начать жизнь по-новому. Но женщина, открывшая ему дверь, в комнату его не пустила и сказала, что Клава уехала.

— Как уехала? — ахнул Курбатов.

— Да так. Собрала вещички и уехала, а куда — не знаю.

В полном отчаянии он побежал в ячейку: вечером там должно было собраться бюро. Кият пригласил Курбатова сделать доклад о текущем моменте. Надо было отказаться от всех дел и ехать. Куда? Он еще не знал, куда могла уехать Клава.

Кият был один. Он сидел за столом, запустив обе руки в светлые волосы:

— А, это ты... От Лобзика тут письмо пришло. Хочешь — почитай...

Курбатов нехотя взял письмо. Корявые строчки пересекали страницу сверху вниз. В глаза Яшке бросилась его фамилия, и он начал читать оттуда, с середины страницы.

«А Яшке Курбатову передай, что мы теперь вроде как бы оба вдовцы: на днях замаскировавшийся белогвардейский контрразведчик убил мою Нину, Яшка знает ее... Сунул перо под сердце, и померла, так что я теперь места себе не нахожу и, пока сам не передую притаившихся гадов, спокоен не буду».

Курбатов, осторожно положив письмо на стол, поглядел на Кията:

— Да что же это такое, Валька?

Тот долго не отвечал, а потом сказал тихо:

— Жизнь это, Яша... Жизнь.

Х

Курбатов уже привык за эти последние годы и месяцы к поездкам, к перестукиванию колес под вагоном, когда думается легко и спокойно, а колеса словно бы поддакивают мыслям.

На этот раз ехать ему было недалеко — всего лишь до губернского города. Однако та стремительность и су-
етливость, с которой его собирали, казалось, говорила,
что ехать ему предстоит далеко; в этой спешке у Кур-
батова даже не было времени, чтобы спокойно посидеть
и еще раз подумать о том большом, что вошло в его
жизнь.

...Рекомендации ему дали директор завода Чуха-
лин и старший мастер цеха Мелентьев. Оба они хорошо
знали Яшку с 1916 года, когда он был еще учеником
слесаря.

На бюро партячейки процедура приема Яшки в
кандидаты РКП(б) заняла очень мало времени: вопро-
сов к нему почти не было, вырос он у всех на глазах,
и только в заключение секретарь партячейки Булга-
ков сказал:

— Кончился теперь Яшка. Теперь ты — тсвариц
Курбатов, так гляди, брат, не подкачай.

На общем собрании партячейки вопрос о приеме
Курбатова рассматривался в текущих делах и тоже не
вызвал особых прений. После нескольких вопросов, за-
данных Курбатову, выступил старик Пушкин; никто
не ожидал от него столько слов сразу, и все поняли, что
старик волнуется, видимо, чувствуя значительность
происходящего.

— Я не оратор и красиво говорить не умею, а ска-
жу просто, по-рабочему. Не осрами нас, Яша, меня, ста-
рика, не осрами, не ходи по кривым переулкам, пускай
в них тебе обещают молочные реки да кисельные бере-
га. Всегда иди прямой дорогой, той, которую нам Цен-
тральный Комитет да Владимир Ильич указывают. Ес-
ли я при моей жизни узнаю, что заглянул ты в какой-
нибудь темный переулок, — смотри, я еще по-стариков-
ски сниму с тебя портчонки-то да так отдеру, что на
то место, где сидят, месяц не сядешь. Понял?

Все засмеялись, а Пушкин, подождав, когда утих-
нет смех, сказал, разводя руками:

— Что смеетесь-то? Если что и не так сказал,
так я предупреждал, что не оратор и складно говорить
не умею. А сказал ясно и без стеснения. Понял ты ме-
ня, парень? Смотри, помни мои слова.

Курбатова приняли единогласно. На следующий
день вечером он зашел к секретарю партячейки за кан-

дидатским удостоверением. Выписав удостоверение, Булгаков положил его перед собой и кивнул Курбатову:

— Да ты садись, в ногах правды нет.

Потом он долго молчал, словно собираясь с мыслями, и наконец поднял на Курбатова задумчивые, почему-то построжавшие сразу глаза:

— А знаешь, Курбатов, что тебе хотел на собрании Пушкин сказать? Коряво у него вышло, а я вот тебе объясню. Прав старик: иди только прямой дорогой. Свернешь с нее — и себя и многих других погубишь. Дорогу эту всегда нам Центральный Комитет указывает, вот ты прямехонько по ней и иди. Как бы и кто бы тебя ни звал — никогда не ходи за отдельными людьми, пускай они тебе хоть как красиво говорят. Иди только за ЦК. Коллектив — он не ошибется, а один человек, будь он семи пядей во лбу, может ошибиться и завести чёрт знает куда. В этом году Троцкий и Бухарин попробовали свернуть с дороги нашу партию. А что им съезд сказал? По шапке дал да предупредил, что если еще раз себе такое позволят, то из партии катись колбасой. Завинчивать и отвинчивать гайки каждый слесарь может. Очень просто, раз плюнуть. А ты посложней за что возмись. Вот хоть бы за то, чтобы поезда у нас правильно шли. Так нет, на это у них кишка тонка. Никогда не ходи, Яша, за Троцким: паршивый он человек. Знаешь, его Ильич еще в двенадцатом году Иудушкой назвал... Троцкий хитрец, прощелыга. Он и в партию к нам пришел перед самым Октябрем, нюхом почувствовал, чья возьмет. Ну и примазался. С тех пор всё время хочет славу партии, славу Ленина себе присвоить. Или возьми Бухарина; в восемнадцатом главарем «левых» коммунистов ходил, а нынче, видишь ты, — «буфер». А нашему партийному паровозу зачем буфера? Ежели на пути и попадет кто ненужный — он стукнет, да так, что уже всё равно никакие буфера не помогут.

Весь этот разговор он вспомнил сейчас с отчетливостью, ощутимой почти физически. И, дотрагиваясь до кармана, где лежало кандидатское удостоверение, он переживал чувство какой-то необычайной приподнятости, какое бывает, наверно, у птенцов перед их первым полетом...

Поспешность, с которой его собрали и отправили из Печаткино, была напрасной: в губсовпартшколу Курбатов приехал одним из первых. До него прибыло всего только четверо слушателей, и к их приему еще ничего не было готово: в общежитии даже не успели поставить кровати.

Губсовпартшкола помещалась в нижнем этаже длинного трехэтажного здания бывших «присутственных мест»: в старое время здесь размещалось большинство правительственных учреждений губернии.

Дом стоял на берегу реки; рядом, за высоким деревянным забором, с утра и до вечера гудел рынок. Нэп породил свободную торговлю, а сейчас здесь хозяйничали дельцы, спекулянты, а то и просто жулье, научившееся ловко водить за нос доверчивого городского обывателя. Были здесь и торговцы счастьем с попугаями или морскими свинками, которые за «лимоны» вытаскивали заранее отпечатанное в типографии «счастье», и просто мошенники, мастера обобрать до питки в «три листика». Шипели в масле на таганах поджаристые пышки, испускал навозно-острый запах горячий коровий рубец. Бабы продавали в мешках мокрую рассыпную махорку — горлодер, кем-то окрещенную в «прощай, молодость»; другие торговали обсосанным на вид монпансье. Здесь же воры сбывали краденое, а фармазоны артистически заставляли городских модниц покупать медь вместо золота. Это была изнанка нэпа, когда все самые темные силы старого мира выползли из своих глухих нор.

Вместе с ребятами, приехавшими в город, в совпартшколу, Курбатов целыми днями шатался по городу, приглядываясь к давно забытым и немым сердцу местам. Он долго стоял перед своей старой школой, а потом быстро пошел прочь: это возвращение к прошлому было тягостным даже в воспоминаниях, а он не любил своего детства.

Зато ребята ему нравились. Они приезжали каждый день из таких мест, о которых Курбатов и не слышал. Многие из них видели город впервые, о железной дороге знали только понаслышке и понятия не имели о самых, казалось бы, простых вещах. Одеты все были

пестро и плохо, кто в чем. Одни — и парни и девушки — прибывали в лаптях и белых онучах, в домотканых сермягах, подпоясанных цветными полинявшими кушаками, а то и просто обрывками пеньковой веревки. Были тут пастухи, хлебобобы — голь перекатная — и середняки, и продавцы кооперативных деревенских лавок, учителя и учительницы, делопроизводители ВИКов и сельсоветов. Но были и рабочие, такие, как Курбатов.

Приехала из глухой Тотемской Кокшеньги Хиония Кораблева, девушка-комсомолка, первая без боязни вступившая в малочисленную местную комсомольскую ячейку. За это отец прогнал ее из дома, а поп отлучил от церкви. Ядовитые бабы сочиняли про Хину разные похабные сплетни. Запуганная, она приютилась у местной учительницы, которую и без того мужики страшили мстостью за то, что она «сворачивает с пути ихних девок». Учительница оставила Хину школьной уборщицей, а когда из уезда пришла разверстка в губсовпартшколу, учительница посоветовала девушке ехать учиться.

Снова разгорелись в деревне страсти, когда узнали, что Хина едет учиться в какую-то «собпортшколу». Досужие языки переводили это название — «собачья беспортошная школа». Бабы судачили о том, что «городские комиссары по всем деревням себе статных девок собирают» и что «закон есть, по которому городским комиссарам положено иметь по пятнадцати жен, и будто бы менять их будут через год».

И вот, в платочке, в домотканном армячишке, в липовых лапотках и онучах, с берестяной пестеркой за плечами, тронулась Кораблева, не испугавшись, в неизведанный путь. Не смутило ее и то, что надо было пройти до ближайшей железнодорожной станции сто пятьдесят верст — по непроезжей грязи разбитых дорог, по первым северным заморозкам, по холодным оттепелям. В жизни Хина не видела поезда и железной дороги. Ребята покатывались, слушая ее рассказ, а Курбатов и улыбался и хмурился, вскидывая на Хину то удивленные, то грустные глаза.

Курбатову было жаль ее: нечего и думать, что девушку примут в совпартшколу. В уезде, как водится, напутали: послали вместо молодого коммуниста не-

грамматную комсомолку... «Чего-нибудь придумаем», — думал, глядя на Хину, Курбатов.

Первую ночь он, а с ним еще трое ребят ночевали в большой, плохо протопленной комнате общежития совпартшколы. Кроватей и постелей не было, ребята спали на голых досках. Курбатов, с головой накрывшись своей шинелью, кое-как согрелся и заснул.

Очнулся он от истошного крика тети Ньюши — уборщицы совпартшколы. В окна комнаты проглядывал еле заметный рассвет. Курбатов увидел крестящуюся старуху и какого-то парня перед ней; парень, заметив, что ребята проснулись, махнул рукой и пулей выскочил из комнаты. Курбатов узнал его: это был прибывший одним из первых совпартшколец Иван Галкин, пастух из Авнеги. О случае с Ваней Галкиным тетя Ньюша рассказывала потом так:

— Начальство вчера приказало мне: ты завтра пораньше печи протопи, а то учеников много приедет. Чтобы, значит, везде тепло было. Встала я чуть свет и начала к печкам дрова носить. Вот наносила я дров и стала растоплять печи. Одну растопила — ничего, вторую — тоже. Взялась я это третью печь растапливать, а дверка у нее открыта была. Начала я туда поленья пихать, они во что-то уперлись и не лезут. Слышу, в печи чего-то завозилось. Милые мои! Я так и обомлела. Гляжу, из дверки-то ноги вылезают! Я совсем как каменная сделалась. А тут и голова мохнатая, белая с черным, показалась, а кругом, как венчик, волосы колечиками вьются. Вылез это он, встал и такой большущий мне показался. Стоит надо мной, наклонился да эдаким хриплым, как хрюк у свиньи, голосом и спрашивает: «Тетка, где тут за большой нуждой сходить можно?» А я-то с перепугу ничего не понимаю. Глянула я на него и — батюшки-светы — рожа-то вся черная, а глаза огнем сверкают. Мне вроде как и рога на лбу у него показались. Я и завопила. Воплю да то себя, то его крещу: «Свят, свят, говорю, исчезни, нечистик! Сквозь землю провались». А он стоит хоть бы что да буркалы свои на меня пялит.

«Ништо мне это, говорит, бабка. Партийный я». Тут я и запела не своим голосом: «Да воскреснет бог и расточатся врази его!»

Случай же был простой. Ночью Галкин промерз до

костей, попрыгал, устал и не согрелся. Тут-то он и сообразил, что печь в комнате еще не остыла, залез в нее, скрючившись, и уснул. Когда же он вылез — весь в золе, перемазанный сажей, — ничего не было странного в том, что старухе и впрямь примерещилась чертовщина.

Утром приехало еще человек пятьдесят. Общежитие преобразилось, в его больших комнатах стало теплее и уютнее. Посередине комнат стояли длинные грубо сколоченные столы, и уже к вечеру за ними плотно сидели, склонив головы, курсанты, лихорадочно читали, готовясь к предстоящим проверочным испытаниям.

Особенно беспокоили всех испытания по русскому языку. Мало было таких, кто чувствовал бы себя уверенно. Большинству приехавших больше приходилось писать ручником, зубилом да сохой или винтовкой.

Экзаменационная лихорадка сменилась тяжелой, с непривычки, усталостью. Галкин, в общем-то начитанный паренек, хотя и прошел по конкурсу, но жаловался:

— Ей богу, братцы, если так и дальше дело пойдет — махну в деревню коровам хвосты крутить.

Директор совпартшколы, услышав это ненароком, пообещал:

— Дальше еще круче будет.

Как и предполагал Курбатов, Хину Кораблеву даже не допустили до экзаменов. Не предполагал он другого — того, что эта забитая, испуганная и поэтому всегда спокойная девушка сможет закатить самый настоящий скандал — да с требованием, с угрозами дойти «до самого главного», со слезами и твердым убеждением, что «все вы тут сговорились». Минут двадцать из-за дверей кабинета директора до курсантов доносились громкие голоса; наконец двери отворились, и директор со странной фамилией Гуляй-Котов, красный, растерянный, выскочил из комнаты.

— Ладно, ладно, чего-нибудь придумаем, — крикнул он через плечо. В коридоре он увидел группу ребят и улыбнулся им как-то растерянно:

— Ну и чёртова девка, совсем извела. Грамотная, как семь с половиной лошадей, а вот смотри — аж в пот вогнала.

Хину устроили в кружевную мастерскую и зачис-

чичи и ликбез. Курбатов радовался всякий раз, встречая ее: день ото дня девушка переставала напоминать ему маленького, насмерть перепуганного мышонка.

Хотя испытания остались позади, занятия долго не начинались: то не было книг, то преподавателей, и Гулий Котов, взяв с собой трех ребят, в том числе и Курбатова, с утра до вечера объезжал город в дребезжачей, готовый рассыпаться на ходу пролетке.

В разных концах города возле крытых ларьков торговали книгами букинисты. Это были чистенькие, аккуратные старички, в прошлом учителя или библиотекари, страстные книголюбы, но люди, словно бы прилетевшие с другой планеты, и книги они продавали тоже какие-то аккуратные, но никому уже не нужные: «Тарантас» графа Соллогуба или сочинения Сергея Аттавы. Букинисты жаловались:

— Сквозной народ теперь пошел. Никакого уважения к святыням. Соллогуба в убыток продаю, а они и даром не берут. Подавай им Маркса, Энгельса и Ленина. Я говорю им: «Достолубезные граждане, вот возьмите, уверяю вас, плакать будете: «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Кровью писал человек! Поверите, перечитываю в который раз, и всё нутро мое клочочет благоденственными слезами».

Ребята возвращали ему пахнувший бумажной плесенью томик:

— Нет, не нужно. А «Государство и революция» найдется?

— Извиняюсь. Вы поройтесь сами, поищите, что надо — у меня всё есть.

Старичок надевал на свой в синих жилах нос перевязанные ниточкой очки в черепаховой оправе и начинал читать корешки своих книг:

— А вот-с извольте: Брешко-Брешковский, из молодых. Возьмете?

— Нет, тоже не надо...

Старичок обиженно говорил:

— Извиняюсь, вы очень капризны.

Они возвращались из этих поездок с ворохом брошюр, книг, новых или разлохмаченных, отпечатанных на серой бумаге: лучшей в республике тогда не было.

Наконец подошел первый день занятий. В расписании, вывешенном еще накануне, стояло загадочное и

одновременно скучное слово: «беседа». Галкин, изучая расписание, покривился:

— Мораль будут читать. Учитесь, детки, постигайте. На вас вся Европа и Азия смотрят. А я всхрапну часок.

Курбатов, перебирая сшитые нитками чистые тетради, не заметил, как открылась дверь и в класс вошел Григорий Иванович Данилов. Секретаря губкома партии он не видел давно. И сейчас, с каким-то новым интересом разглядывая крупное лицо Данилова, Курбатов заметил, что тот очень постарел, даже потемнел как-то, и только глаза у него по-прежнему живые, с хитрым огоньком в самой глубине зрачков.

Данилов, поздоровавшись, прошел к учительскому столу, оглядел комнату и одобрительно качнул головой:

— А ничего хоромы. Только вид у вас всех какой-то... такой. Не очень радостный вид, прямо скажем. А, и Курбатов здесь? Тебя что — уже в партию приняли?

— В кандидаты, — ответил смущенный этим вниманием Курбатов.

Данилов снова одобрительно кивнул, а потом хмыкнул то ли удивленно, то ли с досадой:

— Вот ведь как время бежит — и не замечаешь.

Он внимательно осмотрел каждого, и ребята невольно подтягивались под его пристальным взглядом. Вдруг Данилов тихо и как-то совсем буднично сказал:

— А я, товарищи, только что в Доме крестьянина был. Никто из вас не заходил туда? Зря, обязательно сходите, послушайте — очень интересно... Крестьян полно, в одном углу юриста обступили, в другом лекцию слушают. В общем, мужик всем интересоваться стал. Зашел я было в одну комнату... Сидит на топчане дед с этакой седой бородищей, в лаптях и онучах. Спрашиваю его: «Откуда, дед? Зачем пожаловал?» А он мне отвечает, знаете как? «Беспрекословно. Из-под Высокого я... С Усть-Кубины. Пришел пешечком, пелсию себе хлопотать; потому, вижу старость приходит, а с ней беспрекословно многие болезни, вредные для меня». — «Кто же тебе, дед, пенсию хлопочет?» — «Да, юркий, чернявый такой... Извиняюсь, не выговорить...

Юри какой-то, консулом прозывается». — «Юрист-консулт, что ли?» — «Во, во! Этот самый... Прости ты меня грешного, опять забыл... На городские-то слова никак туго ворочается».

Поговорил я еще с дедом и пошел дальше. В другой комнате второй дед. Но этот уже середнячок. В сапогах, волосы под горшок острижены, усы и борода аккуратные. Видно, с хитринкой дедка. Спрашиваю, откуда и зачем? Дед, оказывается, по железке с Вожеги приехал и сразу по двум делам. Во-первых, подсчитал, что на него налог неправильно наложили. Надо тринадцать рублей семьдесят копеек, а наложили пятнадцать рублей девяносто копеек. Вот он — середнячок! У него каждый рубль на счету. Он свое хозяйство рачительно ведет и думку думает, как бы в зажиточные выбратся. Во-вторых, дед к «доктору» приехал, чего-то в поясище у него «как цепами молотят».

Спрашиваю у деда, как в деревне живут. Он мне так отвечает: «Живем — не тужим, бар не хуже; они на охоту, мы на работу, они спать, а мы опять. Они выпястят да за чай, а мы цепами качай!»

Я говорю ему: «Что ты, дед, — бар-то ведь давно нету».

— Старые, — говорит, — баре провалились, новые вместо них народились!

— Кто же эти новые баре, дед?

— Кто, кто — а рабочие, городские, вот кто!

— Да какие же это баре, они не меньше тебя работают.

— Говори!.. По восемь-то часов! Рази это работа? А мы — от зари до зари.

Чувствуете, товарищи, как кулацкое влияние называется? Это кулак хочет вбить клин между рабочим классом и середняком. А нам середняк вот как нужен.

Данилов провел ребром ладони по горлу. Курбатов покосился на Галкина, сидевшего рядом. Тот слушал секретаря губкома с какой-то недоверчиво-ехидной улыбкой, и Курбатов поморщился: «Не верит, что ли?» Наконец Галкин, не выдержав, спросил, перебивая секретаря:

— А на кой бес он сдался, середняк? Я, между прочим, сам из деревни, мне в Дом крестьянина вроде

бы и не к чему идти, — так вот неясность у меня: зачем середняк-то нужен? То же кулачье, только добрее поменьше, а жадности больше.

Данилов круто повернулся к Галкину. Он смотрел на него долго, так, что тот первый отвел глаза.

— Всем понятно или объяснить? — так же тихо, сдерживая голос, спросил Данилов и, не дожидаясь ответа, начал объяснять одному Галкину.

— Ты, наверно, только недостаток и видел у середняка. А того не заметил, что середняк в нынешней деревне — сила, большая сила, и она нам нужна. Без середняка нам туго придется. К кулаку пойдет середняк — у нас больше врагов станет, к бедняку — легче с кулаком разделаться. Вот и вся арифметика.

— От добра добра не ищут, — усмехнулся Галкин. Усмехнулся и Данилов:

— Вот ведь ты какой упорный. Не веришь? Сам обмозгуй на досуге, а поймешь — самому легче работать станет.

Галкин, пожав плечами, сел поудобней: его, казалось, заинтересовала эта беседа, на которой он собирался всхрапнуть. А Данилов, расхаживая вдоль стены, говорил уже о другом, медленно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем сказать его:

— ...Вы уже знаете, что происходит в стране. И какие задачи перед партией и государством стоят — тоже знаете... Вот хотя бы наша губерния: крестьянская, большая... Хозяйство сложное. Но главная особенность сейчас та, что в деревне идет жестокая классовая борьба. Мы опираемся на бедноту, боремся с кулаком, и это ведь борьба за влияние на середняка, который, как ввели нэп, еще больше колеблется. Мироеды и хотят перетянуть середняка на свою сторону. Мы же с вами социализм ведь не только в городе должны строить. В городе строить легче. А вот бороться за социалистическое преобразование темной, неграмотной, убогой русской деревни куда сложнее. Поэтому нам и не безразлично, с кем пойдет середняк.

Потом Данилов говорил о новых кадрах, и Курбатов даже думать забыл о Галкине. Когда же секретарь губкома, простившись, ушел, Галкин зевнул, потягиваясь:

— Ну, начнем, благословясь? Жрать вот только

покуп. После занятий пойдешь на рынок? Я тебе одну штуку покажу.

Курбатов не расслышал его. Всё, что сказал Данилов, было для него новым. То, что, по всей видимости, после совпартшколы придется ехать в деревню, в сельский район, было уже известно, и Курбатов особенно прислушивался ко всему, что касалось деревенских дел.

* * *

Профессор физики — Хвостов.

Профессор психологии — Гермин.

Профессор-историк по Западу — Мелли, буржуазный объективист.

В списке преподавателей встретились и две знакомые Курбатову фамилии. Диалектический материализм должен был читать один из бывших «левых» коммунистов, отстраненный от дел в Москве и переведенный сюда.

Историю же партии преподавал приверженец того, которого Ленин требовал исключить в свое время из партии за штрейкбрехерство. «Как же так? — недоумевал Курбатов. — Диалектический материализм будет преподавать ученик человека, кого Ленин назвал эклектиком. Мало нам, что нужно следить за чужой профессурой, а тут еще и за этими смотри. Им я тоже не могу верить. Не могли же они так перековаться».

Гуляй-Котов, с которым Курбатов поделился своими мыслями, посоветовал:

— А вы больше всего надейтесь на свои силы, на свою память и сообразительность. Я всех уже об этом предупредил. Больше Ленина читайте. А эти преподаватели... Что ж, они у нас до времени...

На следующий день первой по расписанию была лекция по физике. Ее должен был читать «чужой» профессор-идеалист Хвостов.

В класс под руки ввели старого, хилого профессора. На голове его была черная, из блестящего шелка, ермолка. Он стоял за кафедрой и, пошатываясь, скрипящим голосом начал читать лекцию. Сказав «господа», профессор испугался, обвел всех мутными глазами и остановился, долго переводил дух.

Это была не лекция по физике, а беседа, содержащая идеалистический вздор. Хотя и чувствовалась в

речи профессора огромная, искренняя любовь к науке, но сердца слушателей сразу же замкнулись в глухую броню отчуждения. В классе начался гомон; ребята нутром почувствовали неладное.

Лекция была сорвана, профессор просеменил к дверям и долго не появлялся после этого в совпартшколу. Гуляй-Котов нервничал: «На кой черт вам понадобилось устраивать этакое... Ну, выпались бы, что ли, чем обструкцию разводить».

Но однажды с кафедры снова раздался дребезжащий голос профессора. Слушатели насторожились, приготовившись к новой обструкции. Однако на этот раз об идеалистическом введении в физику не было и помина. Точные математические формулы сменили философские взгляды. Тихо и чинно закончилось второе выступление профессора.

А после третьей лекции профессор уже освоился. И, когда объявили перерыв, класс дрогнул от дружных аплодисментов: лед отчуждения растаял. Профессор был побежден. На следующих лекциях по физике в классе стояла мертвая тишина.

Зато Курбатову, да и не ему одному, не понравились первые лекции по истории партии. Лектор, человек с запятнанной партийной биографией, начал свое занятие с острот и шуток, видимо, желая покорить аудиторию. Положив свой большой живот на кафедру, он начал так:

— Буржуазия говорит про русский рабочий класс: «Смотрите, хорош гегемон, а ходит без кальсон — носить нечего...»

После этих лекций у Курбатова оставалось чувство какой-то пустоты и неудовлетворенности, будто лектор сознательно чего-то не досказал, утаил от слушателей.

Трещит с непривычки голова, в ней за короткий срок нужно уложить такой обширный и разнообразный материал, что и подумать страшно.

Уже через месяц на занятия ребята ходили сами не свои — бледные, с ввалившимися щеками, раздраженные и словно бы отупевшие. Сначала Гуляй-Котов подтрунивал над ними, всё больше насчет тонкой кишки, а когда в совпартшколе произошел действительно трагический, хотя и смешной случай, Данилов распорядился устроить пятидневные капикулы.

Случай же был такой. Как раз в эти дни ребята ~~вник~~шлись с различными идеалистическими школами в философии и долго разбирались в хитрой поповской путанице. А вечером один из слушателей выбежал из общежития на улицу.

В это время мимо проходил живший неподалеку ломовой извозчик, здоровенный детина. Домой он шел покачиваясь. Выскочив из подъезда, слушатель школы догнал его, забежал вперед и резким голосом сказал:

— Тебя в действительности нет. Ты существуешь только в моем воображении!

Пораженный такой дерзостью, ломовик остановился, как вкопанный.

— Это я-то не существую? — спросил он обиженно-удивленным тоном. — Ах ты, сопля зеленая, интилигентная. В самом едва душа держится...

Ломовик крепко дал слушателю в ухо. Удар был такой, что тот, не устояв на ногах, полетел в грязную лужу. Ломовик за шиворот, как щенка, поднял его и поставил на ноги:

— Ну как? Существую я или нет? Иди и всем своим скажи, как я тебя отделал. Мог бы и крепче, да ведь тоже человек — жалею тебя, костлявого.

Так ломовик подтвердил ему второй тезис Маркса о Фейербахе, слушателя же показали невропатологу, и тот поставил диагноз: острое нервное переутомление.

Только сейчас, очнувшись от занятий, Курбатов с удивлением увидел, какой неустроенной и трудной жизнью они жили. Галкин пригласил его на базар, и, прежде чем уйти, он зашел в соседнюю комнату за одним из ребят из своей группы — Горобцом. Тот сидел на кровати, до пояса закутавшись в одеяло.

— Ты чего сегодня, Петро, дома, а не на лекции?

— Та дежурю, — ответил парень с густым украинским акцентом: сюда его завели из-под Полтавы сложные пути.

— Где дежуришь? По общежитию, что-ли?

— Та ни. У соби у комнати.

— А что ты здесь делаешь?

— Сижу, та и всё, — ответил Горобец.

— Да зачем сидишь-то? — не понимал Курбатов.

— А що мени робить. Босый, та без штанив, куда я пойду?

— То есть, как без штанов?

— А так без штанив. Бо не уси наши хлопцы ма-
ют ладны штани и обутки. Ну, значить, мы и ходимо
по очереди.

Лишних штанов ни у кого не нашлось: пришлось
идти на базар вдвоем с Галкиным, и Курбатов пожа-
лел об этом. Впервые за всё это время ему удалось уви-
деть Галкина таким, каким он был.

На руках у него были деревенские вязаные вареж-
ки. Проходя мимо женщины, торговавшей монпансье,
Ваня хлопнул поверх конфет и спросил:

— Сколько сто́ит?

Та ответила, подозрительно оглядев покупателя.

— Дорого дерешь! Пойдем дальше, может, там де-
шевле.

Отойдя, он протянул Курбатову варежку: «Посмот-
ри теперь». Курбатов увидел на варежке штук пять
или шесть прилипших леденцов.

С продавцами махорки он поступал иначе. Махор-
ка продавалась рассыпная, в мешках. Меркой был гра-
ненный стакан. Галкин подходил и спрашивал — по-
чем? Ему отвечали. Галкин говорил: «Давай попро-
бую», свертывал из газетной бумаги сигарку толще
пальца, прикуривал, затягивался и, скорчив гримасу,
плевался: «Затхлая, не годится». Так он проделывал
много раз и всякий раз находил махорку то мокрой,
то некрепкой, то горлодером. Но отходя от очередной
владелицы махорки, он высыпал содержимое сигарки
к себе в карман. Через какое-то время у него скапли-
валось курева дня на четыре.

Курбатов, которому всё это поначалу показалось
забавным, неожиданно подумал: «А ведь нехорошо.
Мелкое, но всё же мошенничество».

— Слушай, хватит... Брось ты эти свои штучки.
Чем ты сейчас от любого мошенника отличаешься?

Галкин широко раскрыл глаза:

— Что ты, Яшка, чего ж тут такого? Мы не у го-
сударства, не в кооперации, а у спекулянтки, у част-
ника... Я, может, этой своей сигаркой частника подрываю.

Курбатов нахмурился и остановился, выругав себя
за то, что сообразил всё это слишком пздно:

— Нет, неправильно. Всё равно это мошенничество.

Человечка подорвать захотел? Не так его подрывают. А сюда я больше не ходок. Я уж лучше по-прежнему буду удочку на «сорок» забрасывать.

Галкин неожиданно вспылил:

Ишь ты, ортодокс какой! Да я не меньше тебя понимаю, ты меня не учи. «Мошенник, мошенник...» Черта с два я тебе теперь покурить оставлю или ландрин дам. Накося...

Курбатов повернулся и ушел домой один.

Вечером, играя с одним из ребят в шашки, он прислушался к тому, как Гуляй-Котов разговаривает с курсантами. Обычно такие разговоры шли теперь каждый вечер: директор знакомился с ребятами. До Курбатова донеслись слова Галкина:

— ... У меня и дед и батька коровам хвосты крутили. Умею — лучше не надо.

— Значит, сельский пролетарий?

— Так точно. Еще больше, чем пролетарий, — до четырнадцати лет штаны не носил: не было. В одной длинной рубаше коров гонял. Ну, а когда девки надо мной по всей деревне смеяться стали, так батя свои штаны отдал... Только чего на них больше было — дыр или заплат — не помню.

Кругом смеялись, а Курбатов, нахмурившись, сделал вид, что думает над очередным ходом. Что-то неприятное, отталкивающее виделось ему сейчас в Галкине — и то, как он спорил с Даниловым, и как рассказывал сейчас о себе, и как вел себя на базаре. «Может, не надо так строго судить? — подумалось ему. — Пройдет время — поумнеет, перемелется... Так-то говоря, что он до сих пор видел?» И всё же ощущение чего-то неприятного не проходило.

От этих мыслей его отвлек Гуляй-Котов. Кто-то из ребят полюбопытствовал, откуда у него такая странная фамилия.

— А, вот и вы спросили, — звонко рассмеялся заведующий. — Мне на фронте ребята покоя не давали: почему, да отчего, да что не переменишь... А чего менять: к своей фамилии, как к тени, привыкаешь.

Потом он начал рассказывать историю своей фамилии, и Курбатов, забыв про Галкина, смеялся вместе со всеми.

— Как будто это с моим дедушкой случилось, —

говорил Гуляй-Котов. — Был он учителем в уездном городе Кадникове, и фамилия у него была самая простая — Иванов. Любил дед любовь покрутить, силен, говорят, был в амурных делах. Льнули к нему женщины, как мухи к меду. Но гулять-то ему, женатому, приходилось тайком. А вы представляете, что значит уездный город? Там ничего не утаишь, там все знают, что у тебя в горшке на обед варится. Ну, видели люди, как дед по ночам пробирался домой, и говорили: «Видишь, погулял, погулял — и, как кот, домой потихоньку...» Так и пошло — «гуляет, как кот».

... Приехал однажды новый уездный исправник с молодой женой. Дед, говорят, и тут успел. Скоро исправник дознался об этом, а обыватели ему и про кличку рассказали. Ясно, исправник расвирился и велел деду подбру-поздорову убираться из города. Делать нечего, с исправником спорить не будешь. Пошел дед в уездную управу паспорт себе выправлять. Выписали ему паспорт и подают. Только прочитал дед, что вместо фамилии Иванов написано там «Гуляй-Кот». Дед не берет документа, говорит: «Это не мой, моя же фамилия Иванов». — «Никак нет-с, Гуляй-Кот. Так исправник изволили приказать».

... Понял всё дед, махнул рукой и даже, говорят, слезу пустил над этой своей фамилией. В губернском городе долго не мог на работу устроиться — из-за фамилии не принимали. А я уже на фронте в гражданскую войну приделал себе окончание «ов», чтобы ребята особенно не смеялись...

Он взглянул на свои массивные серебряные часы и заторопился:

— Спать, спать товарищи... Во сне мозги проветриваются. Секретарь губкома распорядился, чтоб вы в каникулы больше спали.

XI

Наконец жизнь в совпартшколе вошла в свою, ставшую уже привычной, колею. И как-то незаметно оказалось, что учиться не так-то уж трудно; снова вернулась прежняя бодрость, чаще слышался смех, даже стали поговаривать, что Галкин влюбился в какую-то нэпманку. В самом деле, вечерами Галкин куда-то ис-

чил и возвращался тайком, поздней ночью, сопровождаемый ворчанием тети Ньюши:

Ах, ты... Гуляешь всё, вельзевул? Ну, ступай, спи — дело ваше молодое.

Наутро Галкин еле поднимался, глаза у него были сухие и красные. Когда ребята начинали подтрунивать над ним, он смущенно разводил руками: что ж поделашь, ребята, такая уж природа.

Потом стал пропадать курсант Митя Чубуков. Вместе с ним уходил Мухаметдинов, киргиз по национальности. Возвращались они все вместе, и однажды Курбатов, не выдержав, спросил:

— Да что вы, за одной и той же ухаживаете, что ли?

— Зачем ухаживаем? — ответил Мухаметдинов. — Мы учиться ходим. Каменский учит — мы слушаем. Приду домой — ай-яй-яй какой умный приду. Как аксакал.

Курбатов насторожился. Тем более, что он заметил, как Галкин пихнул Мухаметдинова в бок: жест, должно быть, означающий — помолчи, не болтай лишку. Насторожился он и еще потому, что Каменского, читавшего в совпартшколе историю партии, Ленин когда-то назвал штрейкбрехером.

Галкин понял, что тайна открыта, и деланно рассмехался:

— Ну да, аксакал! По складам читать научиться бы нам с тобой — и то хлеб.

— Чему же он вас учит, Каменский? — поинтересовался Курбатов, стараясь казаться равнодушным.

— Да всему... Книги читаем. Достоевского он очень любит — читаем вслух.

Однако после этого исчезновения ребят прекратились, а Каменский разговаривал с Курбатовым подчеркнуто любезно. «Рассказать Гуляй-Котову про эти занятия? — думал Курбатов. — А зачем? Чего здесь плохого? Только почему всё это шло в тайне от других?» Он молчал — и молчал до тех пор, пока к нему не подошел Мухаметдинов:

— Слушай, Курбат, объясни... Совсем башка пустой стал... Объясни, пожалуйста, почему это мы социализм у нас не построим? А если я хочу строить, тогда что?

— Да кто тебе сказал, что мы не построим?

— Галка говорит... Он — умный мужик. А ему Каменский сказал. А я не понимаю. Зачем не построим? Зачем тогда революцию делал?

Курбатов нахмурился. Вечером, подойдя к Галкину, он спросил его в упор, глядя сверху вниз:

— Слушай, что это ты болтаешь, парень? Почему это мы социализм не построим?

Галкин пожал плечами, отворачиваясь:

— Это только гипотеза... Есть много pro и contra, то есть за и против.

— Контра? — усмехнулся Курбатов. — Ах ты, кулацкая душа! Да что ты знаешь, что ты в жизни видел, теоретик сопливый. Да мы...

Курбатов поднялся, вскочил и Мухаметдинов. Они вышли из общежития, и, только очутившись на улице, Курбатов почувствовал, как у него ноют зубы — так он стиснул их.

— Дурак он, Галка... Ой, дурак!.. — коверкая слова, быстрой скороговоркой повторял Мухаметдинов. — Я приеду — всем расскажу... Нельзя такой дурак учить, бить нада такой дурак.

Курбатов шел, глубоко засунув руки в карманы куртки. У него было такое ощущение, будто он притронулся к чему-то скользкому, неприятному, холодному: «Член партии... — мучительно думал он. — Как же так, как же... Хотя... Трохов ведь тоже был большевиком... Потомственный пастух... Откуда такая душа? Кто научил его всему этому?».

Когда он вошел к Гуляй-Котову, тот сидел, читая какую-то бумажку, и быстро спрятал ее в стол.

— Простите... — сказал Курбатов.

— А-а, это ты. Садись.

Он потер ладонями глаза и, вынув из стола бумажку, положил перед собой:

— Вот что, товарищ Курбатов... Тут из губкома пришло письмо... Данилов требует, чтобы мы сообщили официально, как преподает Каменский. На, почитай...

Курбатов, прочитав скупые строки запроса, отложил бумажку и, глядя Гуляй-Котову в глаза, ответил с усмешкой.

— Я бы Каменского к нам даже уборщицей не взял. И, если надо, я сам пойду к Данилову. Слышали бы вы, что Галкин говорить начал...

Каменского в совпартшколе больше не видели. Произошло это как-то тихо и незаметно, и вместо него лекции по истории партии начал читать Гуляй-Котов. Ребята вздохнули: пусть директор читал скучновато, но зато всё было ясно, просто, без выкрутасов... После его лекций не надо было еще часами ломать голову над тем, в чем же была сущность разногласий между Лениным и Мартовым и почему Владимир Ильич, высоко ценивший вклад Плеханова в марксизм, разошелся с ним впоследствии как раз по основным вопросам марксизма...

Казалось, не будет конца учебе: каждый день открывал что-то новое, еще не известное, и Курбатов, перечитываясь в ленинские строчки, находил там снова и снова такое, что сразу же становилось близким его сердцу и оставалось там навсегда.

Но однажды вместе с Гуляй-Котовым в класс снова вошел Данилов, и директор сел на скамейку рядом с Курбатовым. Данилов, как и тогда, осмотрев ребят, улыбнулся:

— Ну как? Выросли, поумнели? Суть постигли или глубже копнули? А я вот — грешен, уже забывать кое-что стал, снова садиться за книги надо... Ведь мы всю эту науку по тюрьмам проходили...

Он прошелся мимо столов и, поглядев в окно, на улицу, повернулся:

— Словом, прощаться нам пора, товарищи. Губком решил ускорить выпуск: людей у нас нет.

И повторил, словно бы в раздумье: «Да, нет людей-то...».

Сначала никто не понял, что сказал Данилов, а потом все заговорили разом, перебивая друг друга, и Данилов, стоя у окна, наблюдал. Такого оживления у курсантов не было давно. Секретарь угадал чутьем: сейчас они рады, выше головы рады тому, что наконец-то начнется работа, по которой все стосковались. «Радиовато радуются, — с какой-то неожиданной грустью подумал Данилов. — Хлебнут еще шилом патоки».

На Данилова снова уставились десятки выжидающих глаз. Он шевельнул густыми колючими бровями:

— Вот о чем нам надо сегодня поговорить, товари-

щи... О том, что у нас нынче происходит. О жизни поговорим... О той, которая не в пивных да на базарах идет (он кинул короткий и чуть насмешливый взгляд на Галкина), а о настоящей жизни.

... С молодежью придется вам больше возиться. Политически отсталая ее часть всё еще не может понять и примириться с новой политикой партии. Есть случаи, что даже рабочая молодежь выходит из комсомола. Отдельные комсомолцы направляют свою энергию на разврат да хулиганство. Этому, конечно, и некоторые писатели способствуют — Пантелеймон Романов, Машкин, скажем. Всё это нужно учесть тем, кто пойдет на комсомольскую работу. Мне кажется, что у нас в комсомоле насчет методов работы не всё благополучно. Нет разнообразия форм. Видимо, здесь что-то надо подправить. Молодежь не в пивные должна идти и не в рестораны, не на вечеринки, а должна идти в наши клубы, в которых пока от скуки мухи — и тедохнут.

... Как видите, задачи у нас большие. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Будьте всегда целеустремленны, не позволяйте, чтобы вас захлестнула текущая работа. Но не относитесь высокомерно к черной работе и к «мелочам». Из мелочей и крупные дела вырастают. Вникайте во всё сами, серьезно анализируйте факты. К сожалению, у нас есть немало таких руководителей, которые не вникают, не анализируют происходящие внутренние процессы, пока обстоятельства не ткнут их носом. Такие могут лишь загубить дело. А нередко и мы допускаем ошибки в подборе людей: «авось вытянет, вроде парень неплохой» — у нас еще это играет не малую роль...

Он замолчал, словно вспоминая, что еще хотел сказать, но, видимо, так и не вспомнив, кивнул головой: — Вот, вроде бы и всё...

* * *

Казалось, этого дня все ждали с таким нетерпением, а прощаться было грустно. Мухаметдинов, добрые полчаса тиская Курбатова своими смуглыми, сильными руками, быстро говорил что-то по-своему, и Курбатов вырывался, шутливо ругаясь: да уйди ты, шайтан! Потом, отдышавшись, спросил:

— Куда ты сейчас поедешь? Где своих найдешь?

— Перебылызытельно искать будем.

Оказывается, ему, чтобы найти свое кочевье, надо «перебылызытельно» отмахать сотни верст, распрашивая кочевников, куда ехать.

Галкин прощался с ребятами сдержанно, с достоинством: ему простили все грехи и назначили в экономический отдел губкома комсомола. Надо думать, он завидовал Курбатову. Тот ехал секретарем райкома комсомола в Няндому...

Узнав об этом назначении, Курбатов разволновался так, что первой мыслью было: просить чего-нибудь полегче. «Справляюсь ли? А если нет?.. Как это говорил Данилов — авось вытянет, вроде парень неплохой... Ну, и попроси чего-нибудь полегче, чего ж ты...»

Гулай-Котов, словно угадав состояние Курбатова, спросил, обняв его за плечи:

— Что, страшновато?

— Страшновато, — сознался Курбатов.

— А знаешь, — задумчиво сказал директор. — Мне в восемнадцатом году полк дали... Целый полк! Чуешь, как мне-то страшно было? За тысячи жизней в ответе...

И закончил, словно сам удивляясь происшедшему:

— И ведь ничего — вытянул.

ХII

Как странно порой складывается жизнь!

Три года назад, глядя из окошка поезда на темный перрон, на далекие огоньки, на унылое, грязное здание няндомского вокзала, Курбатов не мог даже предположить, что ему придется работать здесь. И сейчас, сойдя с подножки поезда на ту же самую платформу, он увидел знакомое уже здание станции и те же мерцающие огоньки вдалеке; поезд прогудел и ушел, оставив за собой теплый запах влажного кокса. Курбатова никто не встречал, и он был даже рад этому.

С чемоданом в руке он спустился с перрона и, оглядевшись, пошел по улице, еще не зная, где райком. В губкомолу ему объяснили, как пройти туда, но он волновался, думая о другом, и не расслышал половины этих объяснений. Спросить было не у кого: улица ле-

жала перед ним тихая, безлюдная, будто вымершая, и только где-то далеко-далеко на разные лады перелайвались собаки.

Ночь была лунной, и густые черные тени заборов, деревьев, домов лежали на серебряной, припорошенной первым снегом земле.

Курбатову припоминалось другое. Там, в губкомоме, ему сказали так:

— Едешь на голое место. Есть несколько сот комсомольцев, здание райкома тоже есть, но никто ничего не делает и не знает, как и что делать.

Из-за поворота, покачиваясь, вышли двое. Они что-то бормотали, придерживая друг друга, ноги у них заплетались. Курбатов не любил пьяных — эта нелюбовь осталась у него с детства, когда он из угла смотрел испуганными глазами на бушующего дядю. Но ведь надо было кого-то спросить, где райком, и он спросил одного из гуляк, как ему показалось, менее пьяного.

Тот недоуменно поглядел на Курбатова:

— А на что тебе?

— Так, по делу надо.

— По делу, так и ступай... Может, ты сюда работать приехал?

— Да. В комсомол.

— А, ну тогда валяй, работай. Только зря хлеб жрете, вот что я тебе, работничек, скажу...

— Почему?

— А потому! — пьяный неожиданно зарыдал, рванув свободной рукой ворот свитера. — Кровь мы за что проливали, а? Опять брюханы с цепочками через всё пузо пошли? Частных лавочек кто наоткрывал, а? Эх вы!...

Он выкрикнул это тоскливо и, выругавшись, снова пошел, шатаясь с обвисшим на плече молчаливым приятелем, так и не показав, где же всё-таки райком. Парень был молодой, и Курбатов невольно подумал: «Может быть — комсомолец? Как это он сказал: брюханы с цепочками... за что кровь проливали... Не понимают новой политики партии, злобятся, пьют... Да, действительно — на голое место приехал. Но ведь не все же так!».

Через час он разыскал райком. В окнах серого бревенчатого здания не было света, и Курбатов, подняв-

ишь на скрипучие ступеньки, долго чиркал спичками, чтобы пайти хоть какой-нибудь звонок. На стук никто не отвечал. Он уже отчаялся было достучаться, как там, за дверью, раздались хлопающие шаги:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста.

— Кто это?

— Курбатов, новый секретарь райкома.

Негромко зазвенели какие-то многочисленные задвижки и цепочки; наконец двери распахнулись, и Курбатов, шагнув в сени, увидел зябко поеживающегося паренька в накинутах на плечи полушубке. Тот держал в руках «летучую мышь»; в сенях пахло керосином и кислой овчиной.

— Мандат есть? — спросил паренек.

— Есть. Может быть, сначала в комнату проводите?

— Идите, — зевая, ответил тот: у него получилось — «ы-ыте!»

Курбатов вошел в большую, холодную, нетопленную комнату, заставленную столами и шкафами. При неверном свете фонаря он разглядел поблескивающую по углам изморозь, окна, словно покрытые куриными перышками, выцветший плакат во всю стену: «Ударим по старому быту!» и, наконец, заспанное лицо открявшего ему паренька.

— Ты что — живешь здесь?

— Нет, дежурю. Так вы давайте мандат... на всякий случай.

Курбатов, улыбнувшись, достал свои документы. Хорош дежурный! Он все кулаки отбил, прежде чем достучался. Такого дежурного можно вынести со всеми потрохами — и не разбудить.

Дежурный внимательно просмотрел документы и, возвращая их, отрекомендовался:

— А я — Уткин Иван, член бюро райкомомла.

— Вот как! — обрадовался Курбатов. — А работаешь где?

— В депо. Да вы садитесь, располагайтесь. Я сейчас дров принесу...

Через полчаса они вдвоем сидели возле печки, смотрели, как в черные трубочки сворачивается береста, как шипит на поленьях вода, и Курбатов слушал не-

громкие, какие-то, пожалуй, даже тоскливые слова Уткина:

— Девать себя некуда. Вот только в компании, в буфете за пивом и находят себя ребята. В комсомоле у нас скучно. Одна политграмота. Ребята на нее по обязанности спать ходят, но скоро пошлют ее к чёрту. Мы уже квалифицированные рабочие, некоторые помощниками машинистов ездят. Вот я чувствую, что и я себя не нашел. Скука — она, как червяк, сосет.

— Чем же всё-таки молодежь занимается? — спросил Курбатов.

— Многие семейные вечерушки с выпивкой устраивают. Что там иногда бывает — рассказывать тошно. Нынче одна комсомолка повесилась после этих вечеров. В комсомоле у нас нынче только треплются, а дела не видно. Скажи, разве хорошо, что комсомол не помог той же девушке, даже морально не поддержал ее? А об этом и секретарь райкома знал, что нелады с девчонкой.

— Конечно, плохо, очень плохо! — задумчиво ответил Курбатов.

— Видишь, и ты говоришь — плохо. Так зачем такой комсомол нужен? Мы все не знаем, куда девать себя. И так-то в глуши живем, ничего не видим. Молодежь потому и гулять ходит на станцию, что там хоть новые лица в поезде видят. Ничего у нас нет. Клуба нет. Учпрофсоюз давно обещает пригласить инструктора спорта, да одними обещаниями и кормит. Все треплются. От этого еще хуже: ребята никому не верят, особенно таким приезжим, как ты. Некоторые уже из комсомола выходят. Да по совести и мне не интересно стало... Гоняюсь за ребятами, чтобы членские взносы платили. А это разве дело?

Курбатов смотрел на огоньки, перебегающие по поленьям, и ответил не сразу:

— Всё это ты верно говоришь, Ваня. Такое положение не только здесь. А работать всё-таки нужно. Нужно здесь всё перевернуть. Райком не будет проводить старую линию. И перевернуть всё надо так, чтобы в комсомоле каждому парню и девушке было интересно.

Уткин смотрел на Курбатова с нескрываемой усмешкой, а потом резко сказал:

— Брось трепаться-то, товарищ секретарь! И до те- все так говорили. Все вы, активисты, трепачи. Вы ~~только~~ циркуляры писать можете: «Усилить, оживить, улучшить и принять меры». Знаю я, мне управдел рай- ~~кома~~ жаловался, что за три месяца из губкомола штук ~~его~~ циркуляров пришло.

— Это ты тоже, пожалуй, правильно говоришь. Только учти, что циркуляры и хорошие есть, только их выполнять надо.

Курбатов поглядел на кислую физиономию Вани и неожиданно расхохотался:

— Ой, член бюро! Так-то ты мне помогать дума- ешь? Ну, вот что: когда я буду делать не то, ты мне честно об этом скажешь. По рукам? Мне, брат, твоя по- мощь вот как нужна.

— Что я-то один сделать смогу? — так же кисло ответил Уткин. — Хочешь, завтра после работы я к те- бе ребят в райком приведу? Ты поговори с ними. Толь- ко, знаешь, не загибай — попроще и прямо. Много им не обещай. А то вдруг наговоришь или кишка у тебя тонка окажется — противно будет...

Курбатов, соглашаясь, кивнул.

* * *

Хотя всю прошлую ночь в поезде он не спал, ему не спалось и сейчас. Вместе с Уткиным он сдвинул два стола, постелил тулуп, накрыл его своей простыней и лег, стараясь как можно плотнее подвернуть под себя со всех сторон концы шинели. Уткин спокойно посалы- вал на соседних столах, а Курбатов глядел на раска- ленную до вишневого цвета дверцу печки и уснуть не мог. Глаза ему словно бы натерли песком, их больно было закрыть...

«Так дальше нельзя, — думал он. — Ребята выхо- дят из комсомола... Тоска появилась... Всё им уже на- доело, они не верят, что можно жить иначе... Формы комсомольской работы надо изменять, приспособли- вать их к потребностям молодежи — об этом все гово- рят... Внести в них политическое содержание... Как всё просто на словах!.. Таким образом, молодежь в де- лах и будет воспитываться. Культурничество? Вот так и можно увязать политику и культурничество. Как об этом «Комсомолка» писала? Завтра найду газету...»

На другой день Уткин привел в райком ребят и познакомил с ними Курбатов. Были тут Алеша Попов, Кузя Лещев, Шура Маркелов, Тося Шустрова и Вани Иванов — «Карпыч», как звали его ребята. Все, не то ропись, расселись по скамейкам.

— Начнем? — спросил Курбатов.

— Что, опять под протокол? Тогда мы и говорить ничего не будем. Нам сказали, что ты с нами познакомиться хочешь, а выходит — пришли и сразу на совещание нарвались. Уж лучше мы по домам пойдем!

Курбатов, коротко рассмеявшись, качнул головой:

— Никакого совещания у нас нет и протокола тоже. Ведь знакомиться — это не значит сидеть да смотреть друг на друга и молчать.

— А ты не загинай, — буркнул Карпыч. — Этим нас не купишь. Говори прямо: зачем мы тебе понадобились?

Теперь Курбатов ответил резко, он совсем не думал подлизываться к ребятам:

— А ты не бузи здесь. Не знаешь, о чем будет речь, так не мешай и за всех не говори. Другие, может, и не по-твоему думают. Тебе не интересно — мы тебя не держим.

— Давай, выкладывай, что там у тебя, — уже примирительно сказал Карпыч, отворачиваясь от злого взгляда Курбатова.

А Курбатов уже не знал, с чего ему начинать и о чем говорить. Да, его предупреждали, что будет трудно и не просто трудно, а тяжело, но меньше всего он ожидал таких разговоров и такой первой встречи с комсомольцами. Что это: недоверие к новому секретарю или больше — неверие в то, что комсомол может и должен быть живой, деятельной, боевой организацией? Злоба душила его. Он не видел людей, сидящих перед ним: в конце концов они не виноваты. Но какой равнодушный человек был тут раньше — тот, кто развалил всю работу: за такое полагается не просто из партии гнать, но и судить.

Курбатов растегнул дрожащими пальцами ворот гимнастерки: дышать сразу стало легче. Он и не заметил, как Карпыч подошел к нему и, взяв за плечо, тревожно потряхнул несколько раз:

Эй, секретарь, что с тобой? Может, воды дать, и? Ребята, да что с ним?..

Ничего, — улыбнулся Яков. — Это у меня послеранения... Сейчас пройдет...

Он смущенно, будто извиняясь за что-то, провел рукой по коротко подстриженным волосам и, зябко передернув плечами, начал говорить:

— Так вот, собственно, что у меня... Спортивный кружок надо организовать в Няндоме — раз!..

Ему не дали договорить, что же будет «два»: все зашлепало, замахали руками, пытаюсь перекричать один другого. Курбатов ничего не мог разобрать и напрасно пытался утихомирить ребят. Они кричали каждый о своем:

— Какой там к лешему спорт, когда инструктора нет.

— А костюмы, а снаряды?

— Деньги нужны, а где их взять?

— Помещение...

Обо всем этом Курбатов уже знал. Этой бессонной ночью, подумав о спортивной работе, он так же возражал сам себе, спорил с самим собой, и поэтому сейчас у него был готовый ответ:

— Инструктором буду я сам — кой-что смыслю в этом деле. («Ого! Ай да секретарь!»). Костюмы — вещь нехитрая: у ребят — трусы, а у девчат — шаровары, как-нибудь раздобудут сами. («Это верно!»). Деньги? Устроим платный вечер — вот вам и деньги. Да еще и учпрофсоюз обещал дать немного. Помещения пока не надо, будем заниматься в райкоме, в соседней комнате.

— Вот это уже дело! — не удержался Алеша Попов. — Ты бы с этого и начинал, секретарь. Попробуем, ребята, может, что и получится? Только бы вот руководитель не подкачал...

Было уже поздно, ребята устали, и Курбатов отпустил их. И в том, как они прощались, крепко встряхивая его руку, он увидел, что разговор прошел не зря, что первая искорка уже заронена, что они — пусть хоть немного, но ожили, и это хорошо, просто очень хорошо.

Карпыч уходил последним. У дверей он замешкался и, когда ребята вышли, прикрыл за ними дверь, потом потоптался на пороге и обернулся:

— Ты... вот что...

— Что?

— Я говорю, не дело тебе... здесь жить. Холодно и вообще... непорядок. У нас дежурные комнаты для машинистов есть, ровно гостиница. Мы потолкуем с начальником тяги.

— Спасибо.

— Ну вот еще... А обедать там и прочее — семью подыскать надо, пусть берут тебя «на хлеба»...

Он хотел еще что-то сказать, но, так и не сказав, ушел, на ходу нахлобучивая огромную, когда-то пушистую, а теперь драную меховую шапку. Курбатов глядел на его блестящий от мазута ватник, треугольные кожаных «пяток», подшитые к валенкам, и внезапное тепло словно бы облило его. Ему захотелось догнать этого крикливого, задиристого паренька, схватить и, встряхнув так же, как тот встряхивал его, сказать... Что сказать? Да ничего особенного: сказать, что он, Курбатов, просто счастлив, что его прислали сюда, на это «голое место», которое вовсе не такое уж и голое...

* * *

Дня через три во всех ячейках состоялись открытые комсомольские собрания. Впервые они были такими многолюдными: в объявлениях больше не стоял всем надоевший «Текущий момент». Вместе с секретарем райкома партии Лукьяновым Курбатов пришел на комсомольское собрание в депо и сидел в президиуме, слушал, как, заикаясь и заплетаясь на каждом слове, Карпыч докладывает о спортивном кружке. Лукьянов тоже слушал: вдруг он толкнул Курбатова в бок и, хитро подмигнув, прошептал:

— Кажется, пошло, а?

— Кажется, — таким же шепотом ответил Курбатов.

— Только докладчик-то у тебя... Всю игру испортит. Давай-ка сам.

Курбатов выступил после Карпыча. Собственно, он повторил всё то же, что говорил тот, только более связно. Его слушали внимательно; тихо было в холодном помещении депо, и Курбатов даже вздрогнул, когда из задних рядов донесся громкий голос:

— Я же говорил — свой парень!

На того зашикали, кто-то рассмеялся. Курбатов увидел, что ребята выпихивают к столу президиума никого то человека, а он упирается и отмахивается.

Вы что — говорить хотите? — спросил Курбатов, мучительно вспоминая, где он видел этого мужчину, этот плотный, широкий рот и вздернутый нос с широкими, насмешливыми ноздрями.

— Хочет, — кричали из задних рядов. — У него идея есть.

Но тот так и не вышел.

Он подошел к Курбатову после собрания и, хлопнув по плечу, сказал:

— Здорово, братишка! Что смотришь на меня? Не узнал? Помнишь военмора Ивана Рябова с крейсера «Чесма»? Мы с тобой на этой станции и познакомились. Помнишь, как спекулянтку-мешочницу с поезда на борт высадили? Я уже два года, как демобилизовался.

Курбатов наконец вспомнил и обрадованно схватил его за руки:

— Так ты что — здесь теперь?

— Да, здесь и якорь бросил. Женился, ребята уже пошли. Я, брат, теперь к этому месту просмоленным концом пришвартован. Работаю, смазчиком заделался. А по вечерам всё больше с молодежью возжусь, всё еще не перебесился и к покою меня не тянет. Уж за это и старуха меня пилит, но это ничего... — Он перевел дыхание, оглянулся и, оттащив Курбатова в угол, быстро зашептал: — Давно у меня, секретарь, одна морская идеяка есть. Здесь кругом воды много; можно бы нашу братву морскому делу обучать. Ведь чёрт его знает — может, и пойдет кто-нибудь из них во флот, так надо, чтоб он не сопливым салажонком был, а хоть на шлюпке ходить мог. Я здесь и мастера нашел — берется шлюпки сделать. За одним дело — денег нет. Каждая — восемьдесят рубликов. Не шутка, на новые-то деньги. На нашу братву штук пять надо иметь, а это почитай полтысячи рублей.

Курбатов благодарно взглянул на него.

— Мы твое предложение на бюро райкома обсудим, ты и доклад сделаешь, — сказал он.

— Нет уж, уволь! — испугался Рябов. — Какой я докладчик. Я лучше дома палубу буду драить и в кам-

бузе за жену управляться, чем доклад делать. Но как же я и не умею. Тебе всё расскажу, а ты как знаешь.

Курбатов словно не расслышал его. Всё в нём пошло сейчас. Всё складывалось к лучшему и, главное, шло не от него самого, а от ребят. Сейчас зима — ну так что ж, действительно это было бы здорово: спустить весной на озеро шлюпки! Рябов показался ему как и Карпыч несколько дней назад — самым родным на земле человеком.

Потом они шли по улице, и Рябов со смехом вспоминал, как высаживал из поезда спекулянтку. Курбатов тоже смеялся, ясно представляя себе ее неприятное лицо и резкий визгливый голос.

— А ты знаешь, браток, — говорил Рябов. — Я ведь еще раз эту мешочницу повстречал. В поселке, на базаре... Она меня, стерва, первой узнала. Смотрела, смотрела — да как заорет на весь базар, мозоль ей на нос: «Держите его, держите его!» Ну, тут милиция, ясное дело, — за конверт меня и в кружку. Привезли в отделение милиции. Старший спрашивает: «За что взяли?» Милицейский отвечает, мол, у женщины спросите. «Рассказывайте, мамаша», — говорит старшой. Та и рассказала, как я ее из поезда посадил. Старшой слушает, а не понимает. Я и говорю ему: «Дозвольте туман рассосать и ясность внести». И всё рассказал, как дело было. Здорово всё смеялись. Старшой и говорит: «Ничего я не могу теперь с ним поделать, гражданочка. Срок давности вашей жалобы прошел, да и свидетелей у вас нет». Обругала эта баба меня снова, да и я в долгу не остался — такого ей боцманского без продыху слов на тридцать пустил, что даже старшой очумел.

Он помолчал, улыбаясь этим, очевидно, приятным ему воспоминаниям, и вдруг заговорил о другом:

— На бюро-то я приду, а уж доклад о шлюпках ты сам сделай. Ладно? Спортом я тоже заниматься буду и своего штурмана захвачу. Это я жену штурманом зову, потому как она курс моей жизни теперь прокладывает.

Ему надо было домой; они простились. Яков, шагая к райкому, прислушался, как хрустит под ногами сухой снег, и внезапно вспомнил слова Лукьянова:

— Кажется, пошло!

ХIII

В конце месяца неожиданно ударили сильные морозы. Ветер гнал по самой земле сухую порошу, обнажил голую, твердую землю. В ночной тишине оглушительно, подобно выстрелу, трещали деревья, и люди отирались пересидеть этот мороз в теплых домах.

Конечно, нечего было и думать о каком-либо спорте. В райкоме тоже было холодно, хотя печки каждый день топились до белого каления. Из старого здания тепло уходило на улицу, и опять по углам проступал иней. Курбатов, всё еще живущий в райкоме, просыпаясь, боялся вылезти из-под тулупа. Как-то утром, протянув руку к стакану с водой, он нащупал осколки: стакан разорвало льдом.

Но надо было вставать, одеваться, мыться, идти на улицу. Он и не предполагал, что сразу же начнется «текучка» — множество на первый взгляд мелких, но всегда неотложных дел. В райком уже приносили заявления и жалобы; пока не было штата, приходилось во всем разбираться самому, потому что члены бюро после работы просто с ног валились от усталости. Лукьянов, особенно внимательно присматривавшийся к Курбатову, как-то раз вызвал его к себе в кабинет и, растирая красные от холода руки, сказал, будто бы обращаясь к ним, а не к Курбатову:

— У тебя сколько жил?

Курбатов промолчал, понимая, что секретарь райкома партии вызвал его не зря, но не мог понять, куда тот клонит.

— Почему ты всё хочешь делать сам? А где актив? На одном спорте и даже шлюпках далеко не уедешь. А деревней кто будет заниматься? Думаешь, тебя в деревнях не ждут? Еще как ждут! Вот подумай-ка на досуге об активе...

Но «досуга» у Курбатова как раз и не было.

Его разбудили этой же ночью. Он не сразу расслышал стук, а когда вылез из-под тулупа и зажег свет, увидел, что дверь ходуном ходит от ударов:

— Кто там?

— Да ты замерз, что ли? — крикнули из-за дверей. — Скорее одевайся, беда!..

Он не почувствовал, как его обожгло морозом,

когда вместе с Алешей Поповым он выскочил из райкома. Попов бежал сзади, задыхаясь и сбивчиво объясняя, что произошло. Яков понял только половину, об остальном приходилось догадываться самому. Станции и поселок снабжались водой от водокачки, которая подавала ее из озера. От водокачки до озера на десяти километрах тянулись уложенные в траншею трубы. Снега сейчас было мало, земля не грела, и километрах в восьми отсюда трубы лопнули. «Как стакан с водой», — на ходу подумал Курбатов. А Попов кричал сзади, что станция осталась без воды, что нельзя менять паровозы, и скорый из Москвы стоит уже два часа...

Курбатов бежал к депо и только на полдороге подумал: «А почему именно туда?» Он ясно представил себе растерянных ребят, замерзшие паровозы и мысленно ответил: «Да, надо туда...»

Лукиянов был уже на станции, когда Курбатов, запыхавшийся, красный, ворвался к начальнику тяги, впустив в комнату огромное белое морозное облако пара. Начальник сидел, обхватив голову руками, глубоко запустив пальцы в спутавшиеся волосы, и столько немого отчаяния было в этой неподвижной фигуре, что Курбатов поначалу опешил:

— Что случилось?

Начальник тяги поднял на него мутные глаза.

— Что случилось? — истерически крикнул он. — Да только то, что через сутки всё здесь полетит к чертям. Что я — святой? Куда я буду ставить составы? Где я возьму воду?

— Да замолчите, вы... — оборвал его Лукиянов. Курбатов подошел к секретарю райкома партии и тихо, словно бы же желая, чтобы его кто-нибудь еще слышал, спросил:

— Что же делать?

Лукиянов ответил не сразу. Крупное, темное, в глубоких и резких морщинах лицо было напряжено, он морщился, будто от боли, и глядел куда-то в сторону.

— Несколько дней перебьемся, — наконец глухо ответил он. — Будем возить воду для паровозов из пруда.

— А потом? — снова закричал начальник тяги. — А потом что?

Лукьянов подошел к столу, поглядел на этого обмороженного, готового зареветь человека и, перегнувшись, шепнул почти шепотом:

— А потом... Потом я отдам вас под суд за панику. Вы поняли меня?

Взяв Курбатова под руку, он кивнул на дверь: пошли. Уже на улице, морщась и поглядывая на небо, густо, как снежинками, усеянное звездами, Лукьянов проговорил в раздумье:

— В самом деле — что же потом?

— Надо ребят поднять. Большой участок промерз?

— А кто его знает. Трубы придется менять — это факт. Сумеешь комсомол на это дело повести?

— Надо... — тоже посмотрев на звезды, ответил Курбатов.

Алеша Попов ждал его в депо: приплясывая, он грелся возле большого кузнечного горна. Курбатов велел ему бежать и разбудить двух комсомольцев. Те пусть разбудят четырех, четверо — восьмерых... Сбор в школе.

Когда он сам подходил к школе, ему показалось, что мороз спадает. Нет, ему просто было жарко сейчас: рукавица, на которую он дул, чтобы согреть пальцы, сразу же пристала к медной дверной ручке, едва только он взялся за нее, чтобы открыть дверь...

В школе уже было человек двадцать или двадцать пять. Курбатов знал не всех и поэтому поздоровался сразу со всеми. Ему ответил нестройный хор голосов, где-то в углу раздался и словно замерз негромкий смешок, и по тому молчанию, которое наступило за этим смешком, Курбатов безошибочно понял: все ждут, что он скажет.

Он, не торопясь, стянул рукавицы и поднес пальцы к губам. Сразу же в них появилась острая, колющая боль. «Неужели успел обморозить?» — испугался Курбатов, с трудом сгибая и разгибая непослушные, задеревеневшие суставы.

— Ты потри их, — тихо посоветовали из темного угла.

Наконец незаметно в школе собралось уже человек полтора. Курбатов, сидевший на низенькой неудобной парте рядом с деповскими комсомольцами, с удивлением увидел, что в большом классе — полным-пол-

но; все разговаривали тихо, вполголоса, многие пришли сюда, еще не опомнившись: их разбудили, и теперь кое-кто из ребят пристраивался поудобней, чтобы вздремнуть и доглядеть оборванные сны.

Можно было начинать, но Курбатов не спешил. Сердце у него бешено колотилось, он чувствовал, как в горле встал да так и застрял там какой-то сладкий, приятный клубок: «Пришли, пришли... В мороз, сонные, пришли!.. Какое же это голое место?..»

Алеша Попов ткнул Курбатова в бок: ну, чего ж ты? Яков с трудом вытащил свое застрявшее в парту тело, поднялся на скамейку, так, чтобы его было видно отовсюду.

Ребята уже знали, чем вызван этот ночной аврал. Курбатов не мог ничего добавить к тому, что было известно. Но, когда он сказал, что райком партии и райком комсомола решили поднять комсомольцев чинить трубопровод, — словно ветерок прошел по классу:

- Пойдем, конечно...
- Да чего там митинговать!
- Домой только забежать надо...
- Водка своя или казенная?
- Эх, всё едино, ребята!..

Курбатов прислушивался к разрозненным голосам, пытаюсь уловить хоть одну нотку недовольства, — и он услышал ее. Но она была слабенькая, тонушая в других голосах, и Яков отвернулся, будто ее и не было. Он поднял руку, и снова в классе стало тихо, только кто-то кашлял, закрывая варежкой рот.

— Будет трудно, — хмурясь, сказал он. — Морозец, сами знаете... Надо будет вскрыть полтора километра траншеи, а земля промерзшая. Жилья кругом нет... Так что одеваться потеплее. У кого есть ломы, кирки — брать с собой. Соберемся мы через час возле депо. Всё ясно или будут прения?

— Не будем «преть», — буркнул Карпыч, — чего там... Давай, секретарь, кончай агитацию.

Очевидно, вспомнив свою недавнюю беседу с Курбатовым, он смолк и покраснел: вот ведь язык, опять занесло в сторону, как телегу на скользкой дороге.

— Тогда давайте выбирать штаб по руководству работами. Есть предложение — пять человек. Кто «за» — голосую.

Ребята поднимали руки и сразу же выкрикивали фамилии:

— Уткина!

— Попова Лешку!

— Карпыча.

— Курбатова.

— Семенову...

— Как будем голосовать — списком или персонально?

— Да чего ты кота за хвост тянешь, — раздался сердитый голос. — Голосуй списком!

Когда по промерзлым доскам простучали шаги выходящих из класса, Курбатов снова сел за парту. В райкоме ему уже нечего было делать. Через час — сбор, а надо еще пойти в депо, узнать, погрузили ли железнодорожники инструмент, где трубы, которые надо уложить взамен старых.

Но, когда все разбежались по домам и Курбатов остался вдвоем с Карпычем, он почувствовал, что ему немного страшно сейчас: страшно идти на этот лютый мороз, в лес, за восемь километров, страшно пробыть на улице черт его знает сколько часов, страшно — потому, что не известно, чем всё это кончится.

Он подавил в себе этот страх каким-то необычайным, даже, пожалуй, злым чувством: «Какого дьявола!.. Раскисаешь, как барышня... Когда завод горел — ничего, не струсил, а теперь...». Он поднялся, глубже запахивая отворот кисло пахнущего овчиной полушубка. Карпыч поднялся за ним.

— Как ты думаешь — все придут? — спросил Курбатов.

— Кто его знает, — пожал плечами Карпыч. — Может, найдется подлая душа.

Курбатова передернуло. Он долго смотрел на некрасивое, безбровое лицо Карпыча и, неожиданно улыбнувшись, крепко шлепнул его по черному перемазанному мазутом рукаву ватника:

— А найдется — посмотрим...

* * *

Подлая душа нашлась.

Когда все построились на площади перед депо (собственно, строя никакого и не было: все приплясывали

и кутались), Курбатов, вскарабкавшись на сани, крикнул:

— Если кто думает не работать или хныкать выходи. Нам хлюпиков не надо.

Никто не вышел. Все по-прежнему приплясывали, переглядывались, кто-то в задних рядах затеял возню — грелся. Казалось, никто и не расслышал того, что кричал Курбатов. Алеша Попов тронул его сзади за полу: да что ты всё речи произносишь — пошли. В это-то время и отделилась от строя закутанная в женский платок неповоротливая фигура. Человек подошел к саням, и Попов успел только шепнуть Якову:

— Счетовод из потребиловки... Васька-интеллигент... Ясное дело.

Из рядов раздался смех, улюлюканье; Васька, словно подгоняемый им, побежал. Прямо перед собою Курбатов увидел удивительно красивые, какие-то не мужские глаза и услышал заикающийся, идущий из-под платка голос:

— Я нне ммогу... У мменя ммать забболела, ддома лежжит... Нне ммогу...

— Чего он там брешет, не слышно, — донеслось из рядов. Внезапно Алеша Попов подскочил к Ваське и толкнул его так, что вся нелепая, закутанная фигура, медленно качнувшись, осела на сани. Курбатов, нагнувшись, схватил Попова за руку:

— Ты что? Не смей!

Попов вырвал руку. В морозном, жгучем воздухе его голос буквально прозвенел; казалось, вот-вот он оборвется где-то на недостигаемой высоте:

— Врет он, ребята!.. Он вчера до ночи на вечеруке гулял — выходит, мать не болела?

— Она сегодня утром заболела, — зло крикнул Васька.

— Врешь, в три тебя... Сегодня же к нам приходила — керосину одалживать.

Все толпились вокруг саней, задние напирали на передних, и покрытая инеем лошадь беспокойно вскидывала морду. Тут-то и крикнули из толпы:

— Гнать его из комсомола!

Очевидно, это было уже наболевшим; Ваську в Няндоме не любили; Курбатов, человек новый, не знал этого. Но он снова, как и час назад, в школе, почувст-

и незримые нити, тянущиеся к нему от замотанных в шарфы и шали людей, от недобрых их глаз, от непопоротливых на морозе губ, и крикнул, стараясь перекричать всех:

- Пусть уходит. Выгоним на бюро райкома.

- Сейчас! — требовал задыхающийся от волнения Попов. — Слышишь, сейчас. Голосуй, или я сам...

Курбатов еще раз обвел взглядом лица. Было ясно, что все выскажутся за исключение. Но нельзя — и он это понял подсознательно — нельзя было распускать орасти.

— Хорошо, — нахмурился Курбатов. — Будем голосовать. Но при одном условии: окончательное решение за райкомом.

— Голосуй!

Руки уже были подняты.

Васька-интеллигент медленно выпрямился и vareжкой сдвинул с лица платок. Все увидели кривую, немного растерянную, но всё-таки усмешку. Зубами стянув vareжку, Васька сунул руку за борт полушубка и вытащил комсомольский билет. Маленькая книжечка упала к ногам Курбатова.

— На, возьми! По нему денег не дают. И подите вы все...

Он подошел к первым рядам. Ребята — те, кто слышал — были настолько ошеломлены, что Ваське никто не сказал ни слова. Ряды раздвинулись. Белая фигура прошла мимо них. Сверху, с саней, Курбатов видел огромную от шерстяного платка голову; он провожал ее глазами, но вдруг голова куда-то исчезла, и оттуда, с той стороны, где она исчезла, донеслись глухие удары.

— Эй, ребята, что там!..

Он хотел было спрыгнуть, догадавшись, но Карпыч вступил ему дорогу. На Курбатова укоризненно глядели голубые, лукавые глаза:

— А ты не ходи. Ты свое дело сделал — и точка. А мы уж теперь его по-своему проводим...

XIV

Какой мороз! Ведь это только подумать — снег и лот словно бы спекся в плотную массу. Ноги ломали твердую корку, и снег под ними звенел, трещал, скри-

пел, мешал идти... На пятом-километре весь отряд растянулся по лесу в длинную цепочку, и Курбатов с тревогой оглядывался назад: не отстает ли кто-нибудь... Первые останавливались по его сигналу, последние шли первыми, а вдоль рядов, задыхаясь, бежали члены штаба — считали, все ли на месте.

Над лесом светила луна. На снегу лежали взломанные голубые полосы света. Всё остальное скрывалось в густой, иссиня-черной тени, только временами выступали оттуда причудливо засыпанные снегом, похожего на лисьи хвосты, длинные еловые ветки да серебряные, чуть заметно искрящиеся стволы сосен.

Временами Курбатов забывался. Перед ним словно бы исчезал этот лес, он переставал ощущать мороз, ему неожиданно становилось тепло, и всё тело двигалось лениво, спокойно, медлительно, будто опущенное в теплую воду. Тогда он вздрагивал и убыстрял шаг, нагоняя какую-то незнакомую девушку, которая с трудом переставляла ноги в огромных, видно по всему чужих валенках. Почему-то Курбатову захотелось увидеть лицо этой девушки, и он, догнав, взял ее под руку:

— Что, трудно? Трудно, я говорю, идти, — стараясь рассмотреть лицо девушки.

При неверном, тусклом свете луны он увидел только лишь узенькую щелочку в платке, а за ней — глаза, показавшиеся ему такими печальными и усталыми, что он невольно взял девушку под руку крепче. Она ничего не ответила.

А Курбатов уже думал о Клаве. Старая боль возвращалась к нему теперь всё реже и реже, но, быть может, именно поэтому всякий раз она казалась ему острее. Так и сейчас, вспомнив Печаткино, последнюю встречу с усталой, как-то сразу постаревшей Клавой, Курбатов едва не застонал, стискивая потрескавшиеся, кровоточащие губы.

Потом он снова стал забываться, будто проваливаясь куда-то в теплую воду. Он не заметил, что теперь уже девушка держит его под руку и, приблизив лицо к его лицу, тревожно спрашивает о чем-то. Он опять увидел глаза, не те — печальные и усталые, а испуганные, и улыбнулся, растягивая губы:

— Чуть не заснул на ходу.

Нельзя, — донеслось из-за платка. — Я знаю...
Надо всё время идти...

А где мы?

— Не разговаривайте сейчас... Уже пришли, кажется.

Курбатов с трудом отогнал от себя эту ленивую, страшную на таком морозе дремоту и, тяжело поднимая ноги, обогнал девушку. Передние уже стояли. Высокий человек в огромном, до пят, тулупе что-то говорил, размахивая руками. Когда Курбатов подошел к нему, тот обернулся: это был начальник тяги, тот самый, который еще несколько часов назад закатывал в своем кабинете истерику.

— Вы здесь? — удивленно спросил Курбатов.

— Нет, — передразнил его начальник тяги, — это тень моя. Где ваши люди?

Курбатову стало смешно, как тот передразнивает его, всё еще размахивая руками, будто мельница, которая разошлась на ветру.

— Ребята подходят. Надо разжигать костры. Пусть отдохнут...

— Отдохнут? — почти выкрикнул начальник тяги. — Вы с ума сошли! Какой здесь отдых — это же смерть... Работать, работать надо.

Он умчался куда-то в темень, путаясь в своем тулупе, потом появился снова, втыкая в снег небольшие колышки. Здесь проходил трубопровод. На бегу он крикнул Курбатову: «Организуйте же их!» — и снова куда-то исчез, будто растворился в густых иссиня-черных лесных тенях.

Через час всё переменилось в лесу. На серебряной, очищенной от снега земле горели костры — сотни костров, цепочкой растянувшихся километра на два. Трасса, еще час назад казавшаяся мертвой, теперь ожила, и, хотя кто-то пошутил: «Эх, улицу топим!», — стало теплее. Куда-то назад отступили густо поросшие мохнатым инеем ветви деревьев, похожие на молодые олени рога. Земля, вбирая в себя тепло, чернела, будто обугливаясь от жаркого огня, а ребята, рубившие в лесу сосны, возвращались распаренные, красные, с ухарски сдвинутыми шапками.

Отрыть траншеи оказалось делом нетрудным. Курбатов и не заметил, пропустил тот момент, когда его

лопата звякнула о трубу. Но, когда он увидел ее, протянувшуюся далеко в сторону, он понял одно: скоро отсюда не уйти. Труба лопнула в нескольких местах, и заменить секции было куда тяжелей, чем вырыть траншею.

Курбатов с трудом разогнул ноющую в пояснице спину. «Полтора километра, — думал он. — Нас сто пятьдесят человек... Один человек на десять метров... Но трубу надо менять не целиком... Значит, сможем». Он лег животом на край траншеи, неловко перевалился и встал, отряхивая с полушубка снег, перемешанный с землей. И только поднявшись, он увидел, что уже светает. Над лесом поднималась, еле заметно мерцающая, робкая синяя заря. Костры горели слабее, но всё равно уже видны были и две палатки, и несколько шалашей вокруг них, и какие-то люди, о чем-то оживленно разговаривающие возле траншеи. Курбатов пошел к ним.

Это были рабочие депо. Несколько человек уже сидело на корточках, ожесточенно раздувая паяльные лампы. Тут же стоял начальник тяги и еще несколько не известных Курбатову людей: он мог только догадываться — надо полагать инженеры, прибыли из губцентра. До него донеслись слова:

— Трубы перекладывать не будем... Можно надеть муфты...

— А лед?

— Разогреем кострами...

— Но потом снова всё замерзнет... Здесь глубина — метр.

Курбатов остановился.

— Не замерзнет. — Он сказал это каким-то не своим, ему самому показавшимся далеким и неприятным, хриплым голосом. — Мы выроем другую траншею... Рядом... Из земли сделаем над трубой вал.

Инженеры молчали: Курбатов заметил, как они переглянулись. Он пошел дальше, к шалашам.

Возле первого шалаша Курбатов встретил Попова. Тот выходил, вернее вылезал, оттуда на четвереньках и, встав на ноги, качнулся. В морозном воздухе даже издали резко запахло сивухой. Курбатов вздрогнул. Оттолкнув Попова, он нагнулся и откинул висящее на входе в шалаш одеяло. Человек восемь или десять ком-

сомольцев сидели вокруг костра; по рукам шла бутылка, уже наполовину пустая. Один из ребят, увидев Курбатова, широко улыбнулся ему и приветливо махнул рукой:

— А, секретарь! Залазь! Дымно тут у нас, зато... Дивай, грейся. Давайте-ка сюда бутылку, ребята.

Курбатов молча смотрел на них. Сзади пытался просунуть голову в шалаш Попов. Курбатов снова оттолкнул его и тихо сказал:

— Всем выйти... Ну, живо!

Когда ребята вышли из шалаша, Курбатов взял у одного из них бутылку и, размахнувшись, отбросил ее в сугроб:

— Кто у вас десятник? Попов? Ну, так вот: все десять человек — идите домой. Чтоб я здесь вас больше не видел. На бюро поговорим особо...

Он видел то испуганные, то изумленные лица подвыпивших ребят, и его трясло так, как будто он стоял на морозе раздетым.

— Яков, ты что? — почему-то шепотом спросил Попов. — Мы же — погреться. И выпили-то всего ничего.

Курбатов, сощутив злые глаза, придвинулся вплотную к Попову:

— «Всего-ничего»? Тебя как былинку шатает... Дезертиры!

Резко повернувшись, он пошел к траншее. Ребята уже кончали работу, вылезали наверх, распрямляясь и облегченно вздыхая. Курбатову показалось, что народа здесь стало больше. И в самом деле, чем дальше он шел вдоль траншеи, тем чаще встречались деповские рабочие, железнодорожники. «Когда они успели прийти сюда?» — с удивлением подумал Курбатов.

Он заметил пожилого машиниста Федосеева; с ним Курбатов познакомился недавно в райкоме партии. Набирая на лопату небольшую горсть земли, он быстрым, коротким движением выбрасывал ее наверх. Курбатов окликнул его.

— А мы сразу за вами пришли, — улыбаясь, ответил Федосеев. — Триста с лишним душ...

Курбатов прыгнул в траншею, еще не веря, — не ослышался ли.

— Ты что — не веришь? Где ты был?

— Траншею копал.

— А руководил кто?

— Начальник тяги.

— Вот то-то и оно... Мы с Лукьяновым посмотрели на тебя, посмотрели, да и пошли.

— Как с Лукьяновым?

Федосеев спрятал хитроватую усмешку:

— А ты думаешь, один комсомол здесь со всем справится? Нет, секретарь, пока ты там лопатой ковырял...

Он не договорил. Сверху раздался голос Лукьянова:

— Вот он где! Вылазь, Курбатов, пошли греться.

Лукьянов, весь покрытый инеем, стоял у края траншеи и уже протягивал руку — помочь Курбатову вылезти. Когда Яков встал рядом с ним, тот укоризненно покачал головой:

— Хорош секретарь, нечего сказать. Теперь неделю в бане не отмоешься. Ну-ка, пойдем к костру.

По пути он молчал, а Курбатов чувствовал, что у Лукьянова есть к нему какой-то разговор, и, судя по всему, разговор не из приятных. Так оно и получилось. Глядя на Курбатова из-под белых, заиндевевших, будто седых бровей, Лукьянов спросил так же, как только что спрашивал машинист:

— Ты где был?

— Копал с ребятами.

— Личный пример?

— Да.

— А всё остальное предоставил этому истерику — начальнику тяги? Сейчас ко мне твои ребята прибегали, которых ты домой отправил. А в том, что они напились, — ты виноват.

— Я? — Курбатов проглотил слюну, во рту у него стало жарко и сухо.

— Да, ты. Ты должен был организовать ребят, возглавить их... Если хочешь — следить за их работой. Словом, быть руководителем. А ты — землекопом. Удобно! Спортивную работу — ты ведешь. Лодочную секцию — ты возглавил. Ты что ж, за своих комсомольцев скоро и дышать будешь? Помнишь, я тебе говорил насчет актива... Забыл? А я вот — помню.

Курбатов не мог понять, почему для такого разго-

пора Лукьянов выбрал именно это время. Некогда, работа горит, а секретарь разговаривает так, будто они неслучайно встретились в коридоре райкома. Не мог понять он и того, в чем его вина, и ему было неприятно, что ребята пожаловались Лукьянову. Он спросил:

— Что вы сказали Попову?..

— Я тоже послал их домой, — ответил Лукьянов, держа над огнем руки в варежках и следя, как над ними поднимается легкий пар. — Но, кажется, они не ушли... Почувствовали, что виноваты, это для них урок, они теперь горы свернут. А ты вот — почувствовал?

Курбатов махнул рукой и засмеялся. Но Лукьянов смотрел на него почему-то печально.

— Сколько тебе лет, Курбатов? — вдруг неожиданно тихо спросил он.

— Двадцать один, — так же тихо ответил Яков.

— Эх, мне бы твои годы, — усмехнулся секретарь райкома. — Ну, да иди. Иди, проверь каждую десятку, собери штаб... А то штабисты твои, на начальство глядячи, тоже землекопами заделались. И пусть ребята отдохнут...

* * *

Отдыхать, однако, пришлось не скоро.

Внезапная мысль Курбатова о том, что над траншеей, над трубой надо насыпать вал, оказалась верной, и ребятам пришлось рыть еще одну траншею, таскать землю, разогревать ее кострами. Эту работу поручили только комсомольцам. Но много ли могли нарыть они, усталые, валяющиеся с ног? Курбатов видел посеревшие лица, какие-то отупевшие, словно ничего не видящие вокруг глаза и понимал, что дальше так работать нельзя. Было уже часа два дня — стало быть, работали они без перерыва восемь часов. В иное время, быть может, ничего страшного в этом и не было: Яков помнил, как там, в Печаткино, на заводе, выдерживали и по двадцать часов, но сейчас мороз не сдавал.

Из лесу на лошадях все время подвозили длинные прямые «хлысты» сосен; тут же их пилили, кололи, и огонь, поначалу нехотя полизав промерзшую древесину, разгорался. Возле костров было тепло: Курбатов распорядился — всем отдыхать, но не спать...

Он всё ходил, всё всматривался в лица. Возле одного из костров он увидел Попова; тот, заметив секретаря, быстро отвернулся. И Курбатов прошел мимо...

Быть может, подсознательно он искал сейчас ту самую девушку, с которой пришел сюда. Но как ее узнать среди десятков таких же, как она, закутанных и поэтому похожих одна на другую. Он выругал себя за это желание — увидеть ее опять и подсел к костру, вокруг которого были навалены еловые ветки.

Тут же он почувствовал, что его неудержимо клонит ко сну. Тяжелые, набухшие веки закрывались сами собой, глаза резало, жгло, он с трудом мог дотронуться до них, чтобы смахнуть слезы. Языки пламени вдруг то тускнели, то раздваивались и вырастали; Курбатов еле боролся со сном, с желанием повалиться на эти еловые ветви и заснуть хоть на полчаса.

Он не заметил, как удивленно посмотрели на него ребята, когда он, пошатываясь, встал и зло выругался. Он не заметил, как один за другим они поднимались за ним следом, медленно разбирали лопаты, ломы, кирки, как шли за ним, неловко спрыгивали в ямы...

Он словно бы очнулся, сделав несколько взмахов лопатой. Сонливость прошла. Его колотил легкий озноб. Но и он скоро прошел. Курбатов уже весело посмотрел на соседа: рядом, плотно стиснув губы, посапывая, копал Попов. Яков тихо рассмеялся и, еще раз выбросив наверх лопату с землей, крикнул:

— Ну, как хмелек-то — прошел? Или опохмелиться надо?

Попов медленно повернулся к нему; Яков увидел такое же, как у остальных, посеревшее, осунувшееся лицо, ввалившиеся щеки и синие густые тени возле глаз.

— Ты... прости меня, Яшка, — снова, как и тогда, шепотом сказал Попов. — Больше я в рот не возьму... Помирать буду — не возьму.

— А чего ты шепчешь-то? — хохотал Курбатов. — Ровно в любви объясняешься.

— Боюсь громко говорить... Вот.

Он кашлянул и сплюнул на снег. Небольшое кровавое пятнышко замерзло тут же. Курбатов шагнул к нему, протянув обе руки, но Алешка, отвернувшись, ожесточенно грыз лопатой непослушную, твердую землю...

В конце декабря Лукьянов вызвал к себе Курбатов и, разбирая на столе какие-то бумажки, сказал:

— Когда поедешь на село?

— Хоть сейчас, — ответил Курбатов.

— Ишь ты, какой скорый. Впрочем, сейчас — не сейчас, а завтра поезжай. За тебя останется Попов. Как он — выздоровел?

— Да. Но...

— Боишься, не доверяешь? — прищурился Лукьянов. — А зря. Вот ты, значит, и не заметил, как твои хлопцы после водопровода изменились. Я тут шел как-то по улице, впереди двое деповских ребят идут. Вдруг слышу: «А ведь здорово это было, с водопроводом-то. Я сам три дня отогреться не мог. А потом опять мероприятия пошли». Нет, брат, этот водопровод так ребят поднял, что им теперь только дела, а не мероприятия подавай. Так что не бойся за Попова, он еще и тебя перекроет.

Курбатов передал Попову все дела, которые казались ему неотложными, и, взглядываясь в лицо друга, потребовал:

— Сам всё не делай. Карпыча как следует впряги, Смирнову, Лещева, Маркелова. Понял?

Алешка поправился не совсем, и было решено отправить его весной на юг. С продуктами в Няндоме было еще плохо; Курбатову удалось добиться для Попова единовременной денежной помощи, но и этого было мало. Сейчас, отправляясь в деревню, Курбатов собрал у ребят денег и кой-какого барахла — обменять на сало и масло для Попова.

Сборы у него были недолги. В железнодорожной охране ему выдали наган и две дюжины патронов к нему: так, на всякий случай, как объяснил Лукьянов.

И вот уже всё позади; далеким и тяжелым сном кажется лес, где трое суток ребята рыли и таскали землю, морозы, боль в смыкающихся глазах... Морозы прошли; прошли и сменились медленными снегопадами, густо закрывшими землю. Низенькие дома Няндомы скрылись в сугробах, и даже птицы, наверно, не могли определить, где человеческое жилье, а где — холмы, накрытые пушистыми снеговыми шапками.

Всё позади... Рысью бежит пара лошадей, запряженных в сани-кибитку; мерно звенит колокольчик на дуге у коренника, звякают шоркунцы на шее пристяжной. Ямщик то соскакивает и семенит рядом с санями, то быстро вскакивает на облучок и правой ногой, обутой в валенок, тормозит, не давая саням раскатываться по ухабистой скользкой дороге.

Закутавшись в огромный овчинный тулуп, Яков лежал в санях, расспрашивая возницу о Лемже, куда они ехали. Однако возница попался неразговорчивый. Вместо ответа он гладил свою бороду, усы, выковыривая из них сосульки. Борода у него была, как печная заслонка — большая, черная, и весь он был похож на какого-то патриарха этой северной, лесной глухомани.

Всё же Курбатов расспрашивал настойчиво о жизни деревни, о бедноте, середняке, о кулаках. Мужик сначала отвечал односложно, а потом, будто рассердившись, разговорился, и Курбатову порой приходилось перебивать его, чтобы спросить о главном.

Его новый знакомый, надо полагать, был крепким середняком; в его словах нет-нет да и проскальзывали атакые подкулацкие нотки.

— Вот ты, паря, говоришь: беднота, беднота, а что от нее проку-то, от бедноты? Она потому и беднота, что работать не хочет. Лодыри они, вот кто. У хозяйственного мужика прокорм всегда будет, потому он работает, не жалея себя. А лодырь, он до рождества — и то впроголодь живет. Всё у него валится, а он больше на печи лежит и не думает об этом, как будто не его изба, хлев там али анбар. Как сеять надо — он и идет к крепкому мужику семена просить. Такому мужику спасибо бы надо сказать, а его начинают окулачивать, ровнять с нашим Прошкой Рубцом. Рубец — тот заправды наживается на нашей крестьянской нужде. Я тебе, паря, прямо скажу: непокойная жись у нас в деревне. Крепкие мужики думают: непа, мол,—и я за непой, как теля за маткой. А когда к нему лодырь-то приходит за семенами на высеv, ему, конечно, не интересно так на так давать: он с выгодой дает. Вот и задельывается прижимщиком. Своего же брата мужика прижимает. Неужто власть не понимает, что не бедняк-лодырь ей опора-то должен быть, а трудовой му-

жени, который работает и у которого и себе хватает, да он еще излишки сдает.

Так рассуждал ямщик. Курбатов почти не знал деревни, ему трудно было вступать в спор. Он лежал в санях и слушал. В саях пахло свежей сенной прелюю, сухим полевым цветком. Курбатов выбирал из сена одичавшие стебли травы и грыз их, сплевывая горькую слюну.

На вопрос о деревенских комсомольцах ямщик отвечал с прежней, какой-то злой разговорчивостью:

— Их-то у нас всего ничего. Неплохие вроде ребята. Их власть всё боле на побегушках использует. Они и налоги выколачивают, и с обыском насчет самогонки ходют. А бабы вот в обиде на них. Ну, и мужики тоже... Они против бога и всей леригии выступают. Вон намерднн у Симки Кривого сынок-то, комсомолец, что отчебучил. Лики святых угодников да богородицы картинками заклеил. Сколько там — неделю, а то и боле — семейство на эти картинки молилось да не замечало. Ну, известно, отец — здорово его поучил за это. Чичас в больницу свезли, так комсомолы эти на отца родного на суд подавать хотят. Разве порядок это? Вот всё больше за это отцы да матери и не пуцают к комсомолу своих ребят да девок.

Вдалеке показались тусклые огни керосиновых ламп, расплывающиеся на замерзших стеклах.

— К председателю сельсовета везти али куда? — спросил ямщик.

— Вези к председателю, — сказал Курбатов. Скоро они подъехали к дому, стоящему в самой середине деревни. Яков выскочил из саней, разминая занемевшие ноги. На звук колокольчика кто-то вышел из избы и стоял на крыльце с фонарем в руках. Это был сам председатель сельсовета Егор Русанов. Они поздоровались: Русанов посветил Курбатову и провел его в избу.

В одной большой горнице стояла огромная русская печь. Во всю длину печи, на высоте человеческого роста были полати; под ними, в углу, за холстинной занавеской — большая деревянная кровать. Несколько лавок, остывший самовар в красном углу да кадушка с водой — вот и всё, что еще было в этой небогатой избе. Здесь было чисто; сладко пахло хлебом. На лавке за прялками сидели две молодые женщины, пряли лен.

Веретена, крутятся, жужжали, вертелись по полу, как волчок.

— Устя, наставь самоварчик. Товарищ с мороза — чайку попьет, согреется, — сказал Егор.

Одна из женщин положила прялку на лавку, взяла самовар и понесла его к печке. Скоро самовар вначале тихо, а потом громче запел, засвистел, словно живой.

Курбатов познакомился с Егором и объяснил ему, зачем он приехал.

— А и больно хорошо, паря! Как раз под рождество угадал. Посмотришь, чем наша молодежь занята.

За чаем Егор начал рассказывать и про себя, и про положение в деревне, и про комсомол. Курбатов узнавал из его рассказа всё больше и больше нового, иногда удивляясь, иногда хмурясь и недовольно покачивая головой...

В те годы в деревне росла зажиточная кулацкая верхушка, а вместе с ней росло и батрачество. Бедняцкая и середняцкая молодежь не могла укрепить свое хозяйство и вынуждена была уходить на подсобные заработки.

Было всё: и массовая неграмотность, и нередкие случаи хулиганства, даже преступности, особенно в престольные праздники. Среди молодежи жила еще религиозность, некоторые были участниками различных сект.

В Лемже была комсомольская ячейка, в ней насчитывалось пятнадцать комсомольцев из пяти деревень, объединяемых сельсоветом.

Большое влияние на молодежь, как рассказал Курбатову Егор, имел Тимоха Рубец — сын местного кулака-лавочника. Он задавал тон, ребята на него равнялись. Даже гармонь в его руках — единственная на всё село — помогала ему. Ни одна посиделка не могла обойтись без Рубца. В этих краях никогда не видели кино, не имели представления о радио. Курбатов, уезжая, договорился с комсомольцами депо, что они в порядке смычки с деревней возьмут шефство над отсталой Лемжей — и теперь видел, что это решение было правильным.

В Лемже гнали самогон. Председатель сельсовета рассказал Курбатову, что летом самогон гнали в ку-

стирнице около выгона. Однажды, когда самогонщики ушли домой, оставив барду прикрытой холстом, коровы, зайдя в кустарник, поели ее и захмелели, да так, что стали бросаться на людей. Буйная во хмелю, корова Матрены Соколихи ворвалась в избу и разлеглась на середине горницы.

После беседы с Русановым Яков написал письмо в Индому. Он просил, чтобы на рождество сюда приехали гармонь и кинопередвижку. Среди комсомольцев был гармонист — веселый кудрявый парень-батарейщик Мотя Заболотних, но гармошки у него не было.

На праздниках, в святки, молодежь веселилась. По вечерам собирались на посиделках, ходили ряжеными и нередко выкидывали дикие, хулиганские шутки.

В один из вечеров парни мокрым снегом заморозили дверь в избу многодетной вдовы и досками закрыли трубу дымохода. Дым пошел в избу. Женщина и дети чуть не задохлись, их едва привел в чувство местный фельдшер.

С секретарем комсомольской ячейки, Федей Ясиным, Курбатов пошел на посиделку. В большой комнате под потолком горела простая керосиновая лампа. Молодежь сидела на лавках у стен. В середине горницы на табуретке восседал Тимоха Рубец, хмельной, с грязными спутавшимися волосами. Стоя возле дверей, Курбатов слушал, как парни пели заливчатские частушки с неприличными словами. После песен стали плясать, потом начались игры. К Якову подошли две девушки, спросили его:

— Тебе, городской, сахару надо?

— Мне? — удивился Курбатов. — Какого сахара?

— Ну, говори скорее — надо или нет?

— А какой же у вас сахар? — в свой черед спросил Курбатов.

Девушки переглянулись и засмеялись:

— Да не думай — не постный, а сладкий. Сколько тебе фунтов?

— Ну, для пробы давайте два фунта, — досадавшись, что это какая-то игра, ответил Яков.

Одна из девушек быстрым движением обняла его голову и поцеловала в губы, другая сделала то же:

— Ну, что — сладко? Может, еще фунтов десять проглотить?

Курбатов, покраснев, отпрянул. Девушки, расхожавшись, отошли. Он шепнул на ухо Ясину:

— Что это они так?

— А у нас это, Яша, запросто парни с девками целуются. У нас все игры с поцелуями. Подожди, еще ленты, смолу и всякую всячину будут тебе продавать: сколько фунтов запросишь — столько будет и поцелуев.

Курбатов, накинув полушубок, вышел на улицу: Ясин, осторожно притворив за собой дверь, вышел за ним. В душе Курбатова поднималась глухая, бессильная ярость: то, что он увидел, потрясло его своей бессмысленной, ленивой тупостью.

— Почему комсомольская ячейка красных посиделок не организует? — резко спросил он. — Мы же вам и руководство по их организации послали. Получили вы такую книжечку?

— Книжечку-то получили, — махнул рукой Ясин. — Да какой толк, если гармонист у нас — сын мироеда Тимоха Рубец. Ни мы к нему на поклон, ни он к нам не пойдет. Какие же посиделки без гармоники. На них и не придет никто.

Курбатов немного поостыл: то, что говорил Ясин, было правдой.

— Давай организуем показательные красные посиделки, — сказал, наконец, Курбатов. — Гармоника будет, а гармонист у вас есть. Ты приходи с ребятами в избу председателя сельсовета — обо всем и договоримся.

На другой день вместе с комсомольцами был составлен план первых красных комсомольских посиделок.

Для Курбатова начались трудные времена. По поручению райкома партии он попытался провести собрание бедноты. Но на собрание никто не пришел. На другой день выяснилось, что Тимоха Рубец, наученный отцом, обошел бедняков и каждому из них угрожал не только тем, что отец откажет в помощи, но и тем, что он, Тимоха, им «все кишки выпустит». Из-за этих угроз бедняки и не явились. Пришлось ждать. По настоянию Курбатова, приехавший из волости милиционер арестовал Тимоху Рубца и отправил в уездный город Каргополь. Там его на время следствия и суда по-

Видли и исправдом. Через неделю один из крестьян, видниий в город, привез от Тимохи письмо к отцу. Истотини передал это письмо в сельсовет. Тимоха

«Унижаемый, папаша, здесь сидеть мне пока ниче
Очень меня беспокоит, как обернется дело, дыму
под хвост! — извиняюсь за соленое слово.

Посули свидетелям угощение, пусть отвечают, что
пропущен. Озаботься, сделай милость, кое-какой до-
бачной пищей и еще спроси у матери телогрейку, а
то предно дует под дверь, нет мочи терпеть. А затем
прищайте, не забывайте, а сидеть мне здесь пока ни-
чно.

Ваш сын Тимофей Рубцов».

Через три дня всё-таки удалось собрать бедноту.
Тимоха сидел в тюрьме, и люди пришли без опаски.

Курбатов пришел вместе с Русановым. Собрались
еще не все. С порога Яков увидел большого седого му-
жика с хитрыми, черными глазами. Крутя в больших
искоружлых пальцах цигарку, он что-то рассказывал,
и Курбатов невольно прислушался к его голосу.

— ... Захожу я, робяты, в амбар, гляжу — на меш-
ки мышь сидит, сапог обувает. «Куда?» — спраши-
ваю. «Да чего-то у тебя голодно... — говорит. — Пойду
по мужикам, которые побогаче». А жили мы с дедуш-
кой богато: было у нас двадцать котов дойных да два
кота езжалых: один кот — иноход, другой — водовоз.
Пухотной земли у нас было — печь да полати, да за
оголом лавки. Вот посеяли мы с дедушкой на печи
рожь, на полатах овес. А бабушка наша, старуха резва,
три дня на полати лезла, оттуль свалилась да на три
чисти разбилась. А дедушка мой не промах был. Всег-
да за поясом лычко носил. Он бабушку лычком сшил
да еще три года с ней жил. Трех ребят с ней нажил.
Всё это присказка, а сказка впереди будет. Я вот го-
родскому товарищу о нашем ЕПО расскажу, о пред-
седателе Евлахе Бароне. Пускай спервоначалу това-
рищ из города объяснит нам: кто она такая ЕПА бу-
дет и для чего она у нас?

Курбатов не ожидал такого поворота этой прибаут-
ки и немного растерялся, когда мужик обратился к не-
му. Все повернулись и смотрели на Курбатова, он ви-
дел десятки смеющихся, лукавых глаз.

— ЕПО — это, товарищи, единое потребительское общество или потребительская кооперация, — спрашившись со своим смущением, ответил Курбатов. Оно создано для того, чтобы снабжать своих пайщиков всеми необходимыми в хозяйстве товарами.

— Ишь ты — всеми необходимыми товарами! Значит, в нашем ЕПО всё должно быть? Так ведь, товарищ, я понимаю? — спросил один бедняк. — А у нас выходит наыверт, всё равно что штаны через голову снимаем: Давай-ко, Прохор, расскажи...

Седой мужик, только что смешивший народ своей прибауткой, степенно откашлялся и огладил бороду.

— Извиняюсь, товарищ, ежели что не так скажу — вы уж не обессудьте. Только мы от своей ЕПЫ одни неприятности видим. Скоро все наши пай прахом пойдут. А всё это от приседателя, от Евлахи происходит. Мы почему его зовем Бароном? До революции он в Питере у какого-то господина-барона служил. С ним, он говорит, даже пристав за ручку здоровался. Ну, видел, как баре жили, какая у них кулитура была, и вот норовит нынче нас к этой културе тянуть. Ну, прямо замучил, леший колодный. От этой его кулитурь не знаем, куда и деваться, да и убытки от нее большие. А Евлахе хоть бы хны: деньги-то не его в трубу летят. К примеру расскажу вам об этой културе. Он ведь, леший болотный, что выкомаривает — сказать стыдно.

Курбатов слушал рассказ бедняка с теплым чувством радости. Речь зашла о самом главном, о том, что больше всего волновало народ, и Курбатов понимал, что рассказывается это всё неспроста, что мужики надеются на него, на его помощь. Крестьянин продолжал:

— Выбрали мы его, значит, приседателем; думаем — грамотный и в Питере побывал, так уж дело-то наладит. Ну, тут и началось. Он нас на културную революцию потянул и товары такие стал завозить. Намедни летом завез «душную воду». Говорит, что там, в Питере, барон завсегда этой водой прыскался, чтобы, значит, дух хороший шел. А кому она, эта «душная вода»-то, нужна? Девки — и то ей прыскаться не хотят. Попробуешь на язык — опять же самогонка лучше. От нее вонь одна да язык счиплет. Ну, и пришлось

Иначе всю эту воду обратно в город везти, а там за ту же цену ее не приняли. Значит, опять нашему ЕПО рублук. Или привез десяток таких штук, дорогих больно. Как вот называются-то они — забыл, какие-то блинчики што ли. В одну дырочку со стеклышком смотришь — всё большим да близко кажется, а с другого конца в ту же дырочку смотришь — всё далече. Ну, скажи, пожалуйста — к чему нужна эта штука в хозяйстве? Разве тараканов на печи высматривать.

... Или вот удавок навез. Говорит — всем мужикам и парням их надо поверх рубах носить. Конечно, никто их не брал, так он в эту удавку обрядил деда Фому и водил его по деревне, показывал, какой дедка есть културный. Потеха, право! Поверх посконной рубахи одел на деда шелковую синюю с разводами удавку. Верх-то у нее, что к шее — уже, а что к пупу — широко. За то, что дед одел удавку и всем показывался, ему Евлаха полтинник дал, а нам говорит, что это расходы на какую-то рикламу. Ну, лежали, лежали удавки в лавке, да и пришлось Евлахе их тоже обратно в город отправлять.

... Вот опять же горшков чудных привез. Говорят, в городе в них которы благородны по ночам за нуждой ходят. Горшки-то, ладно, все разошлись. Бабы в них шти варят — и ухвата не надо: ручка у них есть.

... Много еще чудачит Евлаха со своей културой, аж тошно стало терпеть. Он скоро все наши паи ухайдакает. Вот, дорогой товарищ, какие дела завелись. А главное, что наша ЕПА в трубу летит — а лавочник Прошка Рубец этим пользуется. У него в лавке всё есть, а дерет он с нас за всё втридорога. Народ к нему валом валит. Он и в долг записывает. У него не на столько возьмешь, сколько он запишет, а платить — плати. Судом грозит. Будешь с ним не соглашаться — шитаскает по судам, и сам не рад будешь.

Он говорил, а мужики во время рассказа согласно кивали головами.

Так в этот день никакого собрания и не было. Яков уходил с прежним радостным чувством от этого разговора; ему казалось, что он только что побывал возле какого-то живого родника, и та вода, которой он выпил, сразу же раскрыла ему глаза. От этих людей с грубыми жесткими руками словно бы исходило необычайное

душевное тепло; тот глухой протест, который жил в них, вылился в простой беседе, без президиумов и председателей; Курбатов теперь нес в себе их надежды. ясно сознавал, что от того, как он поступит теперь, во многом зависит бедняцкая вера в советскую власть.

Вызванный им председатель ЕПО Евлампий Савин произвел на Курбатова неприятное впечатление. Был он сухощав и тщедушен, бесцветен, как вода. Савин улыбался, показывая выкрошенные зубы, часто моргал красными, как две болотные клюквины, глазами, изгибался и всё время гундосил: «Как прикажите-с, что изволите-с, а уж это конечно-с».

Курбатов написал обо всем в уезд. Скоро приехала ревизия. Было назначено собрание пайщиков потребительской кооперации, и председателем ЕПО избрали комсомольца.

Наконец наступило рождество, которого Курбатов ждал со смешанным чувством опасения и надежды. В самые праздники из няндомского депо приехали шефы-комсомольцы. Они привезли в подарок венскую гармонь и кинопередвижку. Курбатов радовался: вместе с ребятами приехал невозмутимый, солидный крепыш Карпыч. Яков сразу же взвалил на него организацию первой красной посиделки. Карпыч попыхтел, побурчал и вдруг неожиданно спросил:

— Наган у тебя с собой?

— С собой, — ответил Курбатов, не понимая, почему Карпыч спрашивает об этом.

— Дай мне. Я тебе потом расскажу — зачем. А не дашь — я по деревне нипочем не пойду.

Нагана Курбатов ему не дал, но, видя насупленное лицо Карпыча, решил, что ходить они будут вместе. Чёрт его знает, чего Карпыч испугался...

Первую красную посиделку было решено провести в просторной избе сельсовета. Еще задолго до назначенного часа она была битком набита народом. Вначале приехавшие шефы-комсомольцы вручили свой подарок — венскую гармонь — Тимофею Заболотных, который принял ее и сразу заиграл деревенскую, всем знакомую мелодию. Молодежь сразу оживилась. Подарок был выбран верный: тогда гармошка в руках комсомола была хорошим средством организации деревенской молодежи.

Первый киносеанс был также в сельсовете. Всех желающих изба не вмещала, многие стояли на улице и смотрели в окна, подернутые легким морозцем.

Один из комсомольцев начал крутить ручку динамика, а киномеханик запустил аппарат. Он застрекотал, и поехала кинокартина «Фатти-миллионер». В зале все разом зашумели и заговорили:

Ловко чехвостит! Как пулемет.

Присутствующие не понимали картины, а выхватывали из нее только детали:

- А петух-от! Петух-от! Живой! Ай ты, батюшки!

Когда автомобиль поехал с экрана прямо на присутствующих, в зале шарахнулись. Бабы завизжали, а Петух Ефрем угрожающе вынул кнут. Один из стариков не выдержал, подошел к экрану и, ощутив руками движущихся людей, плюнул и пошел домой.

— Нечистая сила, не иначе что она!..

Киномеханик пустил вторую картину — «Как Семен перешел на многополье». Он же начал давать свои объяснения:

— Вот, граждане, этот старательный крестьянин сейчас пьет чай, а потом поедет в поле.

Мужики, уже успокоившиеся, сейчас вглядывались в то, что происходило на экране, с видимым интересом:

— Чисто одет. Видать, не наших губерний. Не иначе что ярославский...

— И сахару у него полна сахарница. Житишко богатое! И ухватки сурьезные.

Пока артист пил чай, всё сходило благополучно, но едва он вышел запрягать лошадь, а затем выехал в поле, все мужики покатались со смеху:

— Какой же это мужик? Гляди, гляди, коня-то как запрягает — и подойти к нему боится! Ах, собачий сын, хомут откеда подтягивает!

— А за плугом-то как идет. По воздуху шебаршит им. Вот-те и многополье!

— Нет, петух был без обману, действительный, а это так — шарманка.

— Эй, человек хороший! — крикнула Курбатову одна из женщин. — Не увози ты от нас эту штуку: интересная больно.

Курбатов, улыбнувшись, спросил:

— Что, интересно?

Женщина, подойдя к нему, ответила уже серьезно и с грустью:

— А ведь как мы живем — темень одна.... Всего и радостей, что поест да поспать всласть...

— Трудно живем, а тут ровно кто теплый в душу заглянул. Не увози, а?

Она поднесла руки к груди, и Курбатов не в силах выдержать ее просящего взгляда отвел глаза.

— Мы еще приедем... Скоро приедем, — пообещал он, веря в то, что это действительно так и будет. Нет, он не мог обманывать эту женщину.

— Скоро. Новую картину привезем, — сказал он уже твердо.

— Спасибо, — тихо поблагодарила его женщина.

* * *

Теперь Курбатов ходил именинником. Девки на улице пели сложенную ими частушку:

Пойдем, миленочек, в кину.
Пойдем, миленочек, в кину
Сделай милость для души —
Картины больно хороши.

Да, всё было так, как он и предполагал: достаточно было подтолкнуть немного людей, внести в их жизнь что-то живое, действенное, как это живое сразу же находило в них отклик.

С Егором Русановым Курбатов разговаривал каждый день, пытаясь узнать от него как можно больше о том, что происходит в деревне. Русанов, демобилизованный красноармеец-пограничник, жаловался:

— Отвык я... Кулаки, вроде Рубца, всю душу мне съели: так и хочется стукнуть. Ты меня не спрашивай, ты мне лучше сам скажи: когда мы их, сукиных детей, скрутим? Не понимаю я: власть наша, а кулак — живет. Живет ведь.

Курбатов пытался было растолковать ему, что такое нэп, но Русанов яростно дергал контуженной головой и обрывал Якова:

— А, брось ты!..

Почему Русанов так зло говорит о кулаках, Курбатов догадался позже, встретившись с Рубцом.

Он шел по селу с Карпычем, когда Рубец, одетый

... добротное, попался им навстречу. Карпыч нырнул Курбатову за спину, но Рубец заметил его уже издали. Иков увидел, как тот нагнулся и медленно вытаскивал из валенка большой, ослепительно блеснувший на солнце нож...

Курбатов почувствовал, как у него неприятно затряслись колени и закружилась голова. Невольно, поддавшись какому-то инстинкту, он попятился, не сводя глаз с ножа. Рубец был уже шагах в десяти и смотрел на него в упор из-под мохнатых рыжих бровей, раздвигая широкие, поросшие мелкими волосами ноздри.

— Отрыщ! — кинул он Курбатову. — Ну!

— Яшка, тикай! — отчаянно крикнул уже издали Карпыч.

Спиной Курбатов уперся в забор: дальше отступать было некуда. Теперь Рубец, увидев, что Карпыч удрал, надвигался на Курбатова. Курбатов почувствовал резкий запах самогона. «Конец», — мелькнула тоскливая мысль. Он быстро оглянулся, словно ища защиты. Улица была пуста...

Наган! О нем Курбатов забыл. Дрожащими руками, выворачивая карман, он рванул наган и щелкнул курком:

— Не подходи, убью!

Он не узнал собственного голоса. Рубец не останавливался. Очевидно, он заметил растерянность Курбатова, увидел его меловое лицо и дрожащие руки. В тот момент, когда Рубец взмахнул рукой, Курбатов отскочил: нож, распоров полушубок, задел плечо. У Курбатова потемнело в глазах, Рубец словно расплылся, превратившись в серое пятно. Тогда он выстрелил в это пятно раз, потом другой, третий и не видел, как Рубец медленно повалился на плетень, выронив нож.

По улице уже бежали люди. На Рубца навалилось несколько человек, но он не сопротивлялся...

Курбатову было досадно уезжать отсюда, не дождавшись до конца задуманного. Он хотел организовать здесь избу-читальню, провести несколько бесед, поближе узнать, чем держится кулак... Рана была не опасна, нож распорол мышцу, но рука от кисти до плеча ныла так, будто из нее тянули жилы.

Но главное — Курбатов не понимал, почему Ру-

бец бросился на него среди бела дня. За Тимоху? Он сделал бы это тайком, в другое время. И почему Карпыч так перетрусил, едва увидев Рубца?

Русанов, нежно усаживая Якова в сани, как маленькому, подпихивал со всех сторон подстилку и сено. Сюда же положили сало и масло для Алеши Попова. Карпыч, уезжавший вместе с Курбатовым, суетился вокруг него с виноватым видом: таким Яков видел его впервые.

Когда сани тронулись, Курбатов, приподнявшись, крикнул Русанову:

— Чуть что — приезжай в Няндому!

Они отъехали от крайних изб Лемжи; Курбатов и Карпыч молчали. Наконец, словно раздумывая про себя, Яков сказал:

— Плохо у нас еще в деревне. Ну, да ничего, вернемся, еще. Теперь-то уж вернемся...

— Что? — не расслышал Карпыч. — Куда вернемся?

— В деревню. Ох, Карпыч, как этих сволочей, вроде Рубца, еще крутить надо!

Карпыч оживился:

— Вот, вот. Я бы сейчас их всех... Гады они, сукины дети...

Он запнулся:

— Ты... Вот что, Яков: ты уж извини меня, что я... удрал. Наган-то у тебя был. Это через меня Рубец так накинудся. Мы ведь с ним старые знакомые.

Курбатов, прикрыв глаза, слушал, как Карпыч, люто ругаясь, рассказывал о своей встрече с Рубцом.

Года три назад в Няндоме было особенно тяжело с продуктами. Карпыч продал или поменял всё, что только можно было; он нередко приезжал и сюда, в Лемжу, встречался с Рубцом, который выменивал у него на хлеб вещи. Рубец уже пресытился: в большой пятистенной избе не умещалось всё, что он приобрел за бесценок. В конце концов, он начал выменивать только особые вещи, которыми мог бы похвастать перед родными и знакомыми.

Как-то раз, роясь на чердаке среди старого и никому не нужного барахла, Карпыч нашел больничное судно, бог весть какими судьбами попавшее сюда. На дне судна был фирменный штамп, поставленный зеле-

ной краской. Вот он и решил выменять у Рубца немного хлеба.

С судном под мышкой Карпыч пешком отправился за тридцать верст в Лемжу. Он пришел к Рубцу, сел на лавку и положил на колени завернутое в сатиновую тряпку судно.

Хозяева сидели за столом и хлебали наваристые мясные щи. У Карпыча подвело живот, даже голова закружилась от приятного запаха щей и настоящей говядины. Однако хозяева не пригласили его за стол. Они съели щи, принялись за жаренную на сале картошку, делая равнодушный вид и будто не замечая сидящего недалеко от стола, к тому же знакомого им человека.

Рубец, приобретая разные диковинные вещи, тайно соревновался в этом с кулаком из соседней деревни Бахваловым. Карпыч об этом знал и решил сыграть на этой слабости.

Рубец обедал, а сам всё время бросал косые взгляды на сверток, лежащий на коленях Карпыча. Вдруг Карпыч встал, взял шалку и пошел к двери.

— Куда это ты? — крикнул ему вслед Рубец.

— Хотел одну вещицу предложить, да вижу, что тебе ее не надо. Дорога больно. Я уж к Бахвалову пойду — он наверняка купит. Он в таких вещах толк понимает.

Упоминание о Бахвалове сразу вывело Рубца из себя. Он поспешно встал из-за стола, вытирая о штаны жирные пальцы, подошел к Карпычу, взял его за руку и повел обратно:

— Не уходи, раз пришел. Что мы — Бахваловых хуже или беднее, думаешь? Давай-ка раздевайся да поговорим. Ну, что там у тебя?

— Говорить-то, наверное, нам не о чем, — подзадоривал кулака Карпыч. — Вещь-то — царская. Да и боязно, что ты проговоришься: такой вещи в музее лежать, и то только в Питере или в Москве. Узнает кто — и заберут ее в музей.

Вконец распаленный любопытством, Рубец не мог больше терпеть. Упоминание о каком-то музее расстроило его: вдруг в самом деле Бахвалов перехватит эту диковину.

— Давай, кажи! — нетерпеливо потребовал он.

Карпыч осторожно, не спеша, начал разворачивать тряпку. Развернув, он поставил судно на стол. Рубец и его сородичи вопросительно смотрели то на судно, то друг на друга, то на Карпыча. Действительно, такой диковинной штуки Рубцу не приходилось видеть. «Вроде как бы на братыню похоже, из которой пиво пьют, — думал он. — Только ручка есть, да еще круглая и с дыркой».

— Ты вот на что внимание обрати! — солидно и таинственно сказал Карпыч. Он повернул судно кверху дном, и Рубец увидел большую зеленую печать с латинскими, стершимися от времени буквами, а в середине — птицу: кругом ее были нарисованы медали.

«Орел не орел, — думал про себя Рубец. — И медали, к тому же, имеются». Он был уже окончательно убежден, что это вещь не простая, и лишь не мог понять, для чего она предназначена.

— Говори давай, что это за штука, куда она приспособлена, — сказал Рубец. Карпыч, задумчиво почесав переносицу и еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил ему:

— Штука эта, видишь ли, не простая. Раньше в благородных домах ее сервизом звали. Да не все и благородные дома имели ее, а только те, которые принадлежали к царской фамилии. Видишь герб и медали?

Он показал на штамп.

— Это — итальянский королевский герб. Эту штуку на именины самому царю итальянский король подарил!

— Ишь ты! — не удержался Рубец. — Скажи пожалуйста! А что же царь с этой диковиной делал?

— Она у него в спальне на столике у кровати стояла. На ночь ее наливали полную шампанского. Вот ночью царь проснется с похмелья, голова-то тяжелая, ну и выпьет из нее.

Карпыч врал самозабвенно, но почувствовал, что где-то переборщил. Рубец подозрительно заметил:

— Пить из нее вроде неудобно...

Карпыч кое-как выкрутился, сказав, что из нее и не пьют, а наливают в особый стакан, тоже фарфоровый. Но недоверие у Рубца всё еще не проходило, хотя он был искренне удивлен:

— Скажи пожалуйста! И откуда ты всё это, парень,

нинешь? Уж не врешь ли? Да и как к тебе, шантрапе голодной, такая царская штука могла попасть?

— Я вам ее не наваливаю. На такую вещь охотники найдутся! — Карпыч стал медленно заворачивать судно в сатиновую тряпку. — А досталась она нам просто. Братуха мой, Павел, Зимний дворец в революцию брал. Вышибли они оттуда юнкеров и пошли по залам. Смотрит мой братуха — стоит этакий небольшой столик, весь золотой, на изогнутых ножках, а на нем эта штука, а рядом с ней стаканчик. Братуха мой тоже такой диковины никогда не видывал. Подвернулся тут в спальне лакей царский, ну и объяснил что к чему. Этой штуке, говорит, и цены нет! Ее, почитай, только три царские фамилии имеют. Ну, братуха не будь дурак, взял да и положил эту чашу в свой мешок.

После такого рассказа Рубец окончательно убедился, что действительно вещь эта царская. Он поспешно, дрожащими руками ухватился за Карпыча и, задыхаясь от волнения, проговорил:

— Чего заворачиваешь-то? Давай вынимай ее из тряпицы, да толком говори, сколько и чего хочешь. Говори, да только не привирай очень-то!

Он осматривал, будто ласкал, это судно, осторожно ковырял его ногтем, пробовал на язык, придирался к каждому пятнышку, говоря, что тут «скоро щель будет».

Карпыча разбирал смех, но он сдерживался и делал еще более серьезное лицо.

— Да что тут... Уж только есть нечего, а то бы ни за что не продал! Если желаете, то за пять пудиков муки отдам!

— Эка хватил! Пять пудиков? Да откуда я тебе их возьму? Да может еще ты и наврал мне всё! — проговорил Рубец.

— Как хотите, не наваливаюсь! — и Карпыч снова начал заворачивать судно в тряпицу.

— Ну, ты! Подожди, делом говори! Хочешь я тебе за нее два пуда ржи дам? — сказал Рубец.

— Это за такую-то вещь? — сделал удивленное лицо Карпыч, продолжая медленно заворачивать свою драгоценность. Рубец не выдержал. Он быстро согласился дать четыре пуда ржи и три фунта сала и даже

пошел на то, чтобы Тимоха довез Карпыча до Няндомы.

Через некоторое время в деревне был престольный праздник. У Рубца были гости, в том числе кулак Бахвалов с семейством, поп с попадьей и двумя дочками.

На столе было наставлено всякой всячины. Среди множества закусок и бутылок с самогоном, в самом центре стояло судно, наполненное брагой. Пока еще гости не сели за стол, кулак Бахвалов поинтересовался, что это за штука. Рубец подробно рассказал ему о своей необычайной покупке, и Бахвалов позавидовал его удаче.

Всё открылось тогда, когда гости начали рассаживаться. Младшая поповская дочка посмотрела на стол, покраснела и, фыркнув, неудержимо расхохоталась. Потом она чего-то пошептала на ухо матери.

Попадья, не сказав ничего, вышла из-за стола, отозвала в сторону Рубца и рассказала ему, что дочка видела такую штуку в городской больнице, когда болела дизентерией.

Рубец был вне себя от кипевшей в нем злости. Он велел немедленно убрать «это дерьмо» со стола. Однако гости уже узнали о его покупке, и подвыпивший Бахвалов так издевался над Рубцом, что тот извозил его в сенях до полусмерти... Ясно, что Карпыч боялся Рубца не зря.

Но Курбатов, слушая этот рассказ, не смеялся. В памяти снова вставало какое-то нечеловеческое, звериное, иступленное лицо Рубца, нож, зажатый в огромном кулаке, шевелящиеся ноздри... «Когда же? — спрашивал он себя. — Я первый пойду гнать их». Ярость, перед которой он был бессилен, душила его. Здоровой рукой он рванул на горле шарф и выглянул из саней, подставляя лицо встречному обжигающему ветру...

Курбатова должны были встречать: ребята знали, что он сегодня вернется. Но пустой была дорога возле Няндомы; мелькнули утонувшие в снегу окраинные домики; уже видна была крыша райкома, а Курбатова так никто и не встретил.

Ему стало обидно. Ну, положим, он сам не любит всех этих парадов, но речь-то ведь идет просто о человеческом отношении. Мог же он, раненый, вспомнить в

последний момент о том, что Алешке Попову надо прийти сала... Карпыч сопел: очевидно, он думал о том же самом.

Курбатов усмехнулся: раз так — не поеду в райком, имею полное право отдохнуть, в конце концов. На какое-то мгновение эта мысль показалась ему мелкой и себялюбивой, но обида не проходила; он крикнул:

— Да не туда, не туда... Давай, сверни вправо...

Когда лошади свернули на боковую улочку, Курбатов увидел Попова. Алеша шел, глядя себе под ноги и пошатываясь. Курбатов словно бы кипятком ошпарило: неужели пьяный? Он попросил возницу остановиться и, чувствуя, как злость начинает душить его, ждал, пока Алеша подойдет.

Попов дошел до саней и, взглянув Курбатову в глаза, поздоровался.

— Ну, здравствуй, — облегченно улыбнулся Курбатов. — Ты откуда?

— У тебя был. Там, дома. Печку стопил...

— А грустный чего? Захворал, что ли?

Алеша всё смотрел ему в глаза, и таким кричащим был этот взгляд, что Курбатов похолодел:

— Да что случилось-то?

Он не расслышал, а скорее почувствовал, что прошептал тот. Всё остановилось. Черным стал снег. Потом исчезли дома, заиндевевшие деревья, люди. Не чувствуя боли, он притянул Алешу к себе и прошептал, еще не веря в случившееся:

— Что... Что ты сказал?

— Да... Ленин...

Курбатов, широко и недоуменно раскрыв глаза, огляделся. Нет, по-прежнему белым, сверкающим на солнце был снег, нарядными — деревья, и пахло свежим хлебом. Гудел на путях маневровый паровоз. И Курбатов не поверил, что в этом мире нет Ленина... Его не могло не быть!

XVI

Эта зима была особенно тяжелой. Быть может, потому с таким нетерпением ждали люди прихода весны, с ее первым теплом, влажным воздухом, тонким запахом древесной коры... И весна пришла наконец —

дружная, необычайно быстрая, и казалось, что сама природа хочет вознаградить людей за те тяготы, которые им пришлось пережить...

Курбатов, едва выздоровев, опять работал так, что Лукьянов, поглядывая на него, спросил как-то:

— Ты что, парень, — двухильный?

В мае Курбатова слушали на бюро райкома партии. Он обстоятельно рассказал, что сделано за полгода: организован спортивный кружок, строятся лодки — весной, когда с озера сойдет лед, откроется лодочная учебная база, в Няндоме летом будет молодежный клуб. Но самое главное, чего удалось добиться, — после починки водопровода ребята поверили в живые дела, даже учеба, которую они не любили, перестала быть для них скучной комсомольской нагрузкой. Двенадцать человек были приняты в партию по ленинскому призыву...

Отчет всех заинтересовал; прения развернулись оживленные, и это было для Курбатова неожиданностью. Говорили много хорошего, и Курбатов смущенно молчал, когда его похвалили за поездку в деревню, впрочем, упомянув, что это — пока только «кавалерийский наскок», а настоящая, постоянная работа на селе так еще и не организована.

Наконец слово взял Лукьянов и, постукивая карандашом по столу, начал говорить, не глядя на Курбатова, словно его здесь и не было. Курбатов знал, что секретарь райкомпарта возобновит этот разговор, начавшийся там, в лесу, на починке водопровода. Но сейчас Лукьянов, видимо, решил высказать всё до конца. Курбатов слушал его, и ему было больно, хотя он и понимал, что секретарь прав, тысячу раз прав...

— Я думаю, товарищи, никто не будет возражать против того, что комсомольская работа у нас ожила, пьянства и хулиганства стало меньше. Молодежь нашла себя и с интересом участвует во всех мероприятиях комсомола. Всё это очень хорошо. А я вот буду говорить о плохом. Замечаете ли вы, товарищи, что наш комсомольский секретарь стремится делать всё сам? Мне кажется, он подминает ребят под себя, не дает расти тем комсомольцам, которые могли бы с успехом сами справиться с той или иной работой. Посмотрите, — наш Курбатов везде. В кружке спорта — он ру-

комодитель, вечер организовать — он руководитель. Ну, одним словом, везде он да он. Мы с ним как-то говорили об этом, но, видимо, не помогло, не понял он меня. Я думаю, что нам его надо поправить. Нам нужно растить актив в комсомоле, а его можно вырастить только на практической работе. Незачем Курбатову во всякую мелочь совать свой нос и зажимать инициативу других ребят. Лично ему надо взяться за основные, решающие вопросы и за проверку исполнения. Не нужно бояться, что другие завалят то или иное дело. При личной и хорошо поставленной проверке исполнения любое дело увенчается успехом. Курбатов должен знать, какое значение придавал Ленин вопросам проверки исполнения; «гвоздь всей работы» — вот как говорил Ленин.

...Летом у комсомола будет возможность отвлечь молодежь от пьянства, от всего плохого, что еще есть. Ну, а потом? Наступит осень и зима, куда молодежи идти? Где она будет проводить время? Опять в ресторане вокзала, на домашних вечеринках со всеми бытовыми искривлениями. Постоянного клуба у нас нет, а он очень нужен: летний клуб — это еще полдела. Я говорил с одним работником Дорпрофсожа. Он сказал, что при соответствующем нажиме снизу они смогут найти деньги на постройку клуба. Вот я бы и считал, что сейчас комсомолу и его секретарю и нужно заняться решением вопроса о постройке клуба. Пускай-ка комсомольцы всё это обдумают, а мы пошлем их в Москву, в Дорпрофсож.

После бюро райкома партии Курбатов вызвал к себе Карпыча и, коротко поговорив с ним о деповских делах, вдруг неожиданно сказал:

— Организуй поход, а? С песнями, с весельем, с удочками...

Карпыч опешил:

— Какой поход?

— А вот ты сам подумай — какой.

— Опух ты, что ли? — обиженно протянул Карпыч. — А кто ж тогда работать будет. Сам говоришь — все силы на работу, а тут — прогулка.

Курбатов, невесело рассмеявшись, рассказал Карпычу о сегодняшнем обсуждении, и тот только головой крутил, хлопал себя по промасленным штанам, ахал,

ошал, деловито справлялся — не очень ли ему, Курбатову, попало, а потом заметил:

— Правильно тебя взгрели.

— Что?

— Правильно, говорю. Помнишь, я однажды в до- по о спортивном кружке докладывал? Помнишь?

— Ну, помню, — неуверенно ответил Курбатов, еще не понимая, куда клонит Карпыч.

— Ну, а потом что было? Ты вышел и то же самое сказал. Не доверил, что меня самого ребята поймут. Я еще тогда об этом подумал. А потом...

Он замолчал, и Курбатов поторопил его:

— Чего потом? Ты договаривай...

— Да что потом? Нравилось нам, что ты всё за нас делаешь.хлопот меньше. Тебе к тому же деньги за это платят...

Он отшатнулся, когда Курбатов почти вплотную придвинул к нему свое лицо:

— А теперь — всё. Понимаешь? Сами будете всё делать. Хватит, устроил я вам легкую жизнь. «Не хотите ли спорткружок? Лодочную станцию? Пожалуй ста!»

Он передразнивал сам себя с чувством какого-то внезапного облегчения, даже, пожалуй, злостью на самого себя. Карпыч, вначале ошеломленный, довольно потер пятерней коленку, хлопнул еще раз по ней и удовлетворенно усмехнулся: «Подействовало!»

— Так вот, — уже сухо закончил Курбатов. — План прогулки, маршрут и всё такое представишь через два дня.

Карпыч, встав, вразвалку подошел к двери и, взявшись за ручку, обернулся с прежней усмешкой:

— А я и сейчас тебе всё могу представить. Думаешь, мы об этом не думали? Думали. На Большое Островишное пойдем... А ты у нас за повара будешь, уху тебя заставим варить...

* * *

В конце мая установилась летняя, теплая погода. На стенах няндомских домов, на заборах висели большие объявления:

«С субботы на воскресенье на всю ночь состоится прогулка-экскурсия на озеро Большое Островишное.

Прогулка преследует цель культурного отдыха и разумных развлечений. Там будут: музыка, песни, игры. Любители будут удить рыбу, а охотники — охотиться. Сбор молодежи в 6 часов вечера у райкома. Приглашается вся молодежь и взрослые».

Афиша висела всю неделю. В Няндоме об этой первой прогулке было много разговоров; женщины говорили — раз взрослых приглашают, так бояться нечего, мужской пошлостью ребяташки.

В субботу у райкома собралось человек триста. Разбились на звенья, встали в ряды. Из райкома вынесли комсомольское знамя, и за знаменосцем заняли места два гармониста; один гармонист шел позади колонны. Неожиданно для всех на прогулку пошло и много взрослых. Когда колонна проходила поселок, все его жители высыпали на улицу, оценивающими взглядами провожая молодежь.

Решили идти ближним путем — по тропе. Тропа была неширокая, и колонна сильно растянулась, однако это не мешало песне: в голове колонны пели одну, в середине — другую, в хвосте — третью.

Наконец за небольшим болотом показалось озеро. На его середине был большой остров. Берега озера — высокие и покатые — поросли травой, буйным ивняком, а под берегами, вздрагивая от всплеска шальной щуки, шумно покачивались густые камыши.

Каждое звено построило себе из ветвей шалаш. Около них уже горели, потрескивая, жаркие костры; ребята приспособливали над ними чайники и котелки. Самодеятельность было решено показать завтра днем, а сегодня вечером каждому разрешалось делать то, что он хотел. Любители-рыболовы со своими удочками приспособились на берегу. Охотники побрели в лес. Курбатов, решив: отдыхать так отдыхать, также сел на берегу со своими двумя удочками. Рыбных мест он на озере еще не знал и попал на такое место, где клевали одни маленькие прожорливые колючие ерши, так наглатывающие крючок, что его едва можно было достать у них из рта.

Вдруг за своей спиной он услышал звонкий, немного кокетливый возглас: «Яша удит, удит, а вот что кушать будет?» Он оглянулся. Сзади него стояли девушки и ухмыляющийся, довольный выше головы этим

походом Карпыч. Курбатов вспомнил, как тот грозился заставить его варить уху и кивнул на котелок, где поплескивала дюжина ершей:

— А я уже поймал.

— Кому же такая рыба нужна, что с ней делать-то? — спросила одна из девушек.

— А вот и не знаете, что самая вкусная уха — из таких ершей. Приглашаю вас на уху. Я ее сам и сварю, как приказано товарищем Карпычем, а потом уж и критиковать можете.

Посомневавшись, девчата крикнули ему: «ловись, рыбка, большая и маленькая» и ушли; словно бы в ответ на эти слова поплавок несколько раз сильно дернуло, и Курбатов, чувствуя, как упруго перегибается удилище, вытащил большого, не меньше чем в фунт, полосатого окуня.

«Оказывается, и отдыхать вроде бы интересно», — улыбнувшись, подумал он.

Он не видел ничего, кроме небольшого «окна» среди кувшинок, своего поплавок, сделанного из пробки, и гладкой, отражающей в своей глубине низкие облака, поверхности воды. Большой мотыль сел на поплавок, и тот дернулся, кругами разгоняя от себя воду, — мотыль улетел. Далеко снова плеснула большая рыбина, и у Курбатова сладко защемило сердце. «Как глупо, — подумалось ему. — Почему я стал считать, что это меня не касается? Глупо!»

Он вспомнил, что отдыхал последний раз на каникулах, когда учился в совпартшколе; сейчас он чувствовал, что просто устал, очень устал, и это здорово — отдохнуть так, в лесу, не думая ни о чем, кроме того, как бы поймать еще одного такого окуня. Имеет же человек, в конце концов, право отдохнуть, а то и в самом деле — двужильный я, что ли?..

Он не замечал, что неподалеку от него удит рыбу парень в форме телеграфиста. Какая-то женщина, долго сидевшая с ним рядом, очевидно устала от этой тоски и пошла вдоль самой воды, время от времени нагибаясь и срывая какие-то некрасивые болотные цветы.

Вдруг она поскользнулась и, проехав по траве, оказалась в озере. Здесь, сразу под берегом, было глубоко, и, пока телеграфист сообразил, что ему надо вскочить

и помочь женщине выбраться, она успела хлебнуть поды и теперь, схватившись за куст, судорожно глотала воздух.

Курбатов подскочил к ней первым. Когда он вытащил ее на берег и, обняв, помог встать, женщина благодарно взглянула на него. Курбатов покраснел, чувствуя под своей рукой ее грудь и увидев стройную, обтянутую мокрым платьем фигуру. Он также поспешно отошел, буркнув в смущении, что надо быть осторожней, особенно если не умеешь плавать.

Потом за своей спиной он слышал голос молодой женщины:

— Нечего сказать, хорош муж. Тюлень какой-то, а не муж. Хоть бы руку протянул... Не нужна стала...

— Марго, Маргаритка, ну перестань, что ты говоришь? — бегал около нее телеграфист. Она, отвернувшись, пошла к лагерю, где стояли шалаши и жарко горели костры. Муж вприпрыжку побежал за ней, бесвязно бормоча извинения.

Курбатов, собрав удочки, тоже пошел к лагерю, чувствуя, как сердце у него бьется почему-то особенно гулко, а стыдливость, пришедшая на берегу, когда он вытащил женщину, уступает место какому-то новому, давно не бывавшему, сладкому и волнующему ощущению.

Он сел возле своего костра, где, блаженно вытянувшись на еловых ветвях, сладко всхрапывал Карпыч. Алеша Попов читал какую-то книгу, надо полагать, не очень интересную, и отчаянно зевал, в раздумье поглядывая на спящего Карпыча: а не завалиться ли и самому рядом с ним? Приход Курбатова оживил его: он потянулся к котелку, щелкнул языком и полез в свой мешок — за луком, картошкой и солью.

Но Курбатов легонько толкнул его. Неподалеку возле костра сушилась, закутавшись в тонкое одеяло, неудачливая купальщица. Она сидела к Курбатову спиной, распустив свои, почти медного цвета, волосы.

— Кто это? — спросил он Попова.

— Это? — Попов мельком поглядел в ее сторону. — Марго, Володьки-телеграфиста жена. Ничего баба, только Володька рогастый ходит...

Курбатов вздрогнул и уткнулся в свой котелок, когда женщина поднялась. Он не видел ее, но знал, что

она идет сюда, и краснел почему-то, стараясь сделать вид, что ничего на свете, кроме пучеглазых ершей, его не интересует.

Марго стояла рядом:

— Я вас еще не поблагодарила. Вы настоящий джентльмен, не то что мой пентюх. Очень вас благодарю.

Курбатов пожал ей руку. Не выпуская его руки, Марго сказала:

— Теперь мы знакомы. Это всё равно, что мы с вами на брудершафт выпили, можем теперь друг другу «ты» говорить. Надеюсь, вы... Я на неделе буду ждать вас к обеду.

Потом она резко повернулась к мужу:

— А ты что? Опять тюленем стоишь?

Муж, растерявшись, бормотал какие-то бессвязные фразы. Курбатов протянул руку и ему, и тот, поглядывая на жену, подтвердил ее приглашение на обед. Когда они отошли, он поймал себя на том, что руки у него дрожат, ему трудно чистить рыбу.

Положив в котелок ершей и окуней, он повесил его над костром; когда вода вскипела, он бросил туда пару вычищенных картошек, лавровый лист и соль. Скоро уха была готова. Карпыч, проснувшись, умчался разыскивать девушек, Алеша нетерпеливо поглядывал на котелок, а Курбатов, дожидаясь Карпыча, думал, что же произошло за какой-нибудь час...

Уху начали есть впятером. Ели с аппетитом и всё время хвалили, но Курбатов, черпая своей ложкой, не слышал похвал и не разбирал вкусно или нет. Он очнулся только тогда, когда Алеша, почерпнув со дна котелка разваренную рыбу, вдруг бросил ложку, зажал рот рукой и побежал в кусты. Все с недоумением смотрели ему вслед. Потом девушки, подозрительно рассмотрев содержимое котелка, прекратили есть и засмеялись: они еще не пробовали самую рыбу. Курбатов недоумевал и поглядывал на невозмутимого Карпыча. Наконец вздрогнул и он, понял всё и пришел в ужас: на ложке лежал самый обычный червяк — рыба наживка. Значит, когда он чистил рыбу, задумавшись, забыл вытащить наживку!.. Девушки смеялись, Карпыч пожимал плечами, а Курбатов с тревогой поглядывал на кусты.

Через несколько минут оттуда вернулся Алеша; он был бледен и вытирал со лба мелкий бисер пота.

— Ну, и накормил, секретарь! — почти простонал он. — Никогда так не тошнило, прямо скажу, напарьд, даже ослаб как-то. Червей в первый раз ем. Ты что, Яков, случайно не папуас? Говорят, папуасы тоже червей едят. Вот ведь повар какой. А сразу-то уха вроде бы вкусная была...

Девушки уже возились с самой обыкновенной яичницей, свиное сало с треском шипело на чугунной сковородке. Скоро поспела и она, сгладив все неприятности от ухи.

— Век теперь буду помнить эту уху, — ворчал Попов.

И потом еще долго смеялись ребята над курбатовской ухой, и даже в стенной газете «Колотушка» была помещена по этому случаю карикатура...

Встретившись через день с Лукьяновым, он сухо и скупко рассказал о прогулке, не преминул упомянуть и о том, что с начала и до конца прогулка была организована Карпычем.

— Значит неплохо получилось? — хитровато спросил Лукьянов. — И пьяных не было?

— Не было.

— И сам отдохнул?

Курбатов, вспомнив о Марго, вспыхнул. Но Лукьянов не заметил этого. Строго глядя на секретаря райкома комсомола, будто тот был в чем-то виновен, он начал расспрашивать его о том, где и как он живет, хватает ли денег, как отдыхает.

— Да никак, — рассмеялся Курбатов. — Вот только вчера и отдохнул.

— Плохо, — нахмурился Лукьянов. — Работе всего себя отдавай. Но и отдохни, силы твои нам ведь надолго нужны. Уметь отдыхать надо, Курбатов. Я вот староват, правда, а знаешь, что делаю? По дереву выпиливаю. Очень хорошо отдыхается.

«Странный разговор», — думал Курбатов, идя домой. Но этот разговор неожиданно совпадал с теми его мыслями, которые пришли на озере, — пусть сейчас валяющимися пустыми, но тогда полными особого значения мыслями о том, что должно же быть где-то и личное, одному ему принадлежащее, свое.

Две вещи волновали сейчас Курбатова: организация комсомольско-молодежной бригады для субботников по капитальному ремонту паровоза — подарок к Первому мая — и лодочная станция. Лукьянов оказался прав: стоило только Курбатову вскользь сказать деповским ребятам о том, что хорошо было бы субботниками отремонтировать паровоз, как те загорелись и через два дня пригласили Курбатова на комсомольское собрание по этому вопросу.

Карпыч ходил именинником. Идеи сыпались из него, как из рога изобилия. Начальник тяги, поначалу недовольно слушавший комсомольцев («А кто из них отвечать будет за ремонт?»), наконец махнул рукой: «А, делайте, как хотите, и так все под богом ходим». Ремонтные бригады были организованы тут же, на комсомольском собрании; один только Рябов был недоволен, что не попал в них. «Когда трепаться — так вместе, а здесь — карточкой не вышел?».

С лодочной станцией дело обстояло сложнее, и сложность была в одном — в деньгах. Платные спортивные представления давали крохотные сборы. Учпрофсоюз отмалчивался, и к концу мая удалось построить всего лишь одну лодку, да и с той произошла неприятность. Первую шлюпку с тремя парами весел решили не тащить на озеро, а вначале испытать на пруду, в центре поселка.

Под звуки гармошки, с флагами комсомольцы принесли ее на пруд. Вокруг него собрались жители поселка: зрелище для этих мест было еще невиданным. Шлюпку спустили на воду, но она оказалась такой вертлявой, что в нее едва села мужская команда. Ваня Рябов цвел. Он был в новой морской форме «первого срока», гладко выбритый и надушенный, такой, каким вряд ли был когда-нибудь на инспекторских смотрах. «Весла на воду! Правое гребь, левое табань!» Поскольку ребятам приходилось только приблизительно догадываться, что такое «табань», шлюпка сразу же чуть не опрокинулась. Рябов, казалось, не слышал ничего, ровно глухарь на току. «Суши весла! Весла на вале! Весла по борту!» Тут-то она и зачерпнула бортом воды, шатнулась с боку на бок и спокойно пошла ко дну. Ребята, а вместе с ними и Рябов, по горло оказались в

грязной воде пруда и с трудом, по глинистому дну шли к берегу, подхватывая плавающие весла. С берега кричали разные сочувственные слова — что, дескать, первый блин всегда комом, а у первых-де российских мореходов получалось и вовсе хуже, утешали Рябова, что белая форменка отстирается, только поначалу из нее надо вытряхнуть карасей. Курбатов и досадовал и хохотал вместе со всеми, когда злополучную шлюпку вытаскивали и снова тащили обратно на «верфь»: к ней пришлось приделывать дополнительный киль.

В тот же вечер, возвращаясь домой, он услышал за спиной веселый и одновременно укоризненный женский голос:

— Пойдите, спаситель мой! Что же это вы как будто меня избегаете? Приглашали вас обедать — не приходите. Что это вы?

Курбатов смутился. Последние дни он думал о встрече на озере со стыдом и действительно избегал этой семейной пары, продолжительных и каких-то вызывающих взглядов Марго. Его невольно тянуло к ней, и он боялся этого, понимая, что женщина эта никогда не станет ему такой же близкой, какой была Клава. Марго тем временем продолжала скороговоркой:

— Не секрет, Яша, куда вы идете?

— Какой же тут секрет! Просто иду обедать.

— Вот и хорошо! Значит, обедать вы пойдете к нам и не пытайтесь отговариваться. Обедать вам должно быть все равно где. Голосуем: все за, против — никого.

— Но, Маргарита... Меня же ждать будут. Я уж к вам... в следующий раз.

— Что? Опять бузить хотите? Ну, нет; на этот раз ничего не выйдет. Я вам не Володька-тюлень. А ну-ка, берите меня под руку и — шагом марш.

Курбатов нехотя, с какой-то тревогой и тоской взял Марго под руку и зашагал вместе с ней в обратную сторону, на окраину поселка. «Черт его знает, зачем я пошел... Ах ты, как глупо всё получается».

Здесь, где кончалась улица, стоял маленький, скрытый палисадником домик.

— Вон, видите, и наша хата! Безобразие, дальше даже тротуара не сделают. Скачи по камням, что крошки, а то по колено в грязи увязнешь. Но сегодня я

прыгать не согласна. Думаю, что у товарища спорт смена хватит силы, чтобы донести до крыльца мои четыре пуда. Это ведь не так много — как вы думаете? В этой глухомани я безудержно полнею. Я даже за себя боюсь.

Курбатову больше ничего не оставалось, как предложить Марго держаться за его шею. Когда он нес Марго через лужи, далекий образ Клавы снова мелькнул и исчез: он так же вот нес ее с субботника, когда ей бревном разбило ногу... «Где-то она сейчас?» — тоскливо подумал Курбатов. Но горячее дыхание Марго обжигало его затылок и уши.

Он перенес Марго и поставил ее на крыльцо. Женщина поднялась по ступенькам и ключом открыла наружную дверь:

— Прощу гостя вперед!

Он вошел в прихожую, снял макинтош, кепку и галоши, помог Марго повесить пальто. Она толкнула дверь в комнату.

— Познакомьтесь с моим гнездом. Проходите, садитесь, я вам сейчас семейный альбом покажу.

Курбатов сел на диван, возле которого стоял маленький круглый столик, покрытый зеленой плюшевой скатертью, и незаметно огляделся. В комнате было уютно, чувствовалось, что хозяйка квартиры — чисто-плотная, аккуратная женщина, мастерица до всякого женского рукоделия: на окнах висели красивые, расшитые занавески.

— Вы здесь смотрите пока фотографии, поскучайте один, а я пойду займусь обедом.

Он смотрел фотографии, не видя их, прислушивался, как Марго гремит на кухне посудой, и мучительно думал о том, как бы встать и уйти. Но было уже поздно: Марго вошла и начала собирать на стол. Курбатов поднял голову и спросил ее:

— А где Володя, как же мы обедать будем без него?.

— Володя? А разве без него обедать нельзя? У меня, наоборот, аппетит лучше будет. Володя еще вчера уехал на линию и придет только завтра. Я даже рада, что сейчас нет моего моржа. Вы знаете, Яша, я не живу с ним, а прозябаю... Ну, да об этом я вам после расскажу, за обедом, если это вас интересует.

Марго принесла две тарелки с дымящейся душистой ухой и пригласила Курбатова к столу. В пузатые, толстого стекла рюмки она налила водки: в нос Курбатову ударил знакомый, неприятный запах спирта.

— Давайте выпьем, Яша, перед обедом это полагается.

— Да я не пью, — ответил он.

— Вот еще. Да ведь это водка, а не самогон. А почему мы оба «выкаем»? Давайте-ка, выпьем сейчас на брудершафт.

Всё это было какое-то чужое ему, но он не мог побороть сковавшего его смущения; Марго заметила это и тихо рассмеялась:

— Какой вы еще не оперившийся, да зеленый. Краснеете, как девица!

Она встала и подошла к нему. Ее зеленые глаза сузились, вздрагивали губы и тонкие, красивые ноздри...

Медленно она запустила руку в густые волосы Курбатова, крепко захватила их в горсть, опрокинула его голову назад и впилась в его губы своими. Курбатову показалось, что он задыхается. Так же медленно она отпустила его и, тяжело дыша, села рядом. Он вздрогнул, когда Марго тихо, с затаенной грустью сказала:

— Я знаю, ты, наверное, очень плохо обо мне думаешь. Сплетен в поселке много ходит. Есть, конечно, и в них и своя правда, но ты всему не верь. Здесь меня уже в распутницу, в какую-то Марию Магдалину превратили и плетут, плетут обо мне... Если бы знали мою жизнь, не стали бы так осуждать. Не от хорошей жизни у Володьки рога выросли. Это только он с виду такой смиренный и как будто порядочный. А на самом деле... Мне, Яша, двадцать пять лет и ему, дураку, двадцать восемь. Три года мы женаты — а жизни у нас так и не было.

Курбатов насторожился. Сейчас Марго была совсем другой, и, как тогда, в Клавином рассказе, показывалась ему такая глубокая, такая безысходная печаль, что он содрогнулся: сам немало пережив, он каждый раз, встречаясь с простым человеческим горем, протестовал против него...

— Вот уже скоро год, как мы сюда приехали. До этого мы в Москве жили, там сейчас мои родичи. Я с Володькой еще со студентом познакомилась. Жил он

плохо, я ему, как могла, помогала, он даже к нам в квартиру переехал. Мама за ним ухаживала. А папа тянул его за уши — он профессор, как раз по этой специальности. Ну, он окончил институт, и мы поженились. Его оставили работать в главке наркомата. Через несколько месяцев я забеременела, очень хотела иметь ребенка, а когда я ему сказала об этом, то он надулся, стал холодный... Потом заявил, что сейчас не до ребенка, что это помешает ему выдвигаться дальше. Во мне сразу что-то оборвалось. Я сделала аборт, он прошел очень трудно, и врачи сказали, что больше у меня детей не будет...

Вот у моего Володьки карьера оказалась на первом плане. В будущем году он решил принять все меры, чтобы перебраться куда-нибудь в крупный городской центр, и увидишь — он своего добьется. Начальство таких подхалимов любит, ведь он, как пес, перед каждым готов на брюхе ползать. Можешь мне верить — верь, нет — так нет, а он хотел, чтобы я сошлась с его начальником. Приехал тот однажды из Москвы на ревизию...

Дело это было так. Тот, мужчина лет сорока, остановился у нас. Вечером мы поужинали и выпили. Володька всё время шептал мне, чтобы я с гостем была поласковее: «Ты пойми, что от него так много зависит!» Когда мы все легли спать, Володька вдруг встал, оделся и ушел, вспомнил какое-то срочное дело по службе. Ну, тот и... стал приставать ко мне. Я этому гостю всё лицо и лысину в кровь распахала, да так, что посмотрел он на себя в зеркало и застонал. Утром он уехал. Володька кричал, чуть не плакал: «Ведь просил я тебя быть поласковее». Я не выдержала, ударила его тарелкой. Вот я какая... драчуня. Теперь как хочешь обо мне думай. Ты, я слышала, умный, скажи мне — верно обо мне говорят?

— Конечно... вы... ты... во многом права, но тогда почему же ты, Марго, живешь с ним? Почему не разведешься, ведь это так легко.

Курбатов с трудом находил сейчас слова, но то, что он сказал, показалось ему таким простым и ясным, что он сам удивился — как же Марго сама не догадалась об этом. Но женщина усмехнулась, зло и вместе с тем грустно.

— Это верно, что не трудно. Я и разведусь с ним, но не здесь. Ведь он меня не только как женщину испортил — мало того, что я не могу матерью быть, я еще и специальности не имею. Он меня сюда с учебы сорвал, с третьего курса института. Ну, разведусь с ним сейчас, а где я работать буду? Ну, скажи, как после всего этого я к нему относиться могу?

В глубине души Курбатов оправдывал Марго. Чувство, похожее на жалость, шевельнулось в нем тогда, когда он положил свою руку на ее и убеждающе сказал:

— Ничего... Тебе еще не поздно... Всё впереди... И учеба, и...жизнь.

Марго медленно повернулась к нему. В глубине ее прачков Курбатов на какой-то миг увидел себя, а потом у него всё поплыло перед глазами — и Марго, и эта комната, и стол, — и новое, еще не изведенное охватило его всего теплой, душащей волной, из которой он уже не мог выплыть...

XVII

Уезжая на губернский комсомольский съезд, Курбатов и не предполагал, что вернуться на работу в Няндому ему уже не доведется и приедет он только затем, чтобы передать дела, в последний раз поговорить с ребятами и собрать свой нехитрый багаж.

Никакие самоотводы не помогли. Не помогли и доказательства, что нельзя так срывать человека с места, когда он только-только начал налаживать работу. Не помогла телеграмма в Няндому, к Лукьянову — несколько коротеньких взывающих слов: «Собираются выдвигать секретарем губкома срочно опротестуйте перед Даниловым». В день выборов пришла ответная телеграмма, Курбатов распечатал ее с волнением: «Горичо поздравляю зпт одобряю решение съезда зпт лети высоко тчк Лукьянов». Фамилию Курбатова внесли в списки для тайного голосования; потом оказалось, что и члены пленума его избрали почти единогласно. На ивещуме его выбрали секретарем губкома; как и прежде, против было два голоса.

Но теперь он уже не думал: «Завалю, не справлюсь». В конце концов справился же он там, в Няндоме. Когда уезжал, в райком пришло сообщение из Дор-

профсожа о деньгах на клуб: всё-таки грозное письмо подействовало. И теперь, отправляясь на два дня в Няндому, Курбатов чувствовал, что с новой работой он справится, но всё-таки лучше было бы остаться пока на прежнем месте. Действительно, не успел развернуться — и нате вам!

В Няндоме уже всё знали. И жалко было ребятам расставаться с Курбатовым, и радостно, что избрати секретарем именно его; впрочем, Карпыч, сухо поздравив его, проворчал:

— Так я и знал, что ты на гастроли к нам приехал. Не работа это... Теперь пришлют нового. Добро, если нормальный человек, а то опять трепач какой-нибудь попадется.

— Никого присылать не будут, — спокойно ответил Курбатов...

— Как же... — начал было Карпыч.

— А так вот. Мало ли здесь своих ребят? Возьмут и тебя, например, изберут. Я обязательно посоветую.

Карпыч просто взъярился:

— Я тебе «посоветую»! Ты что, хочешь, чтоб здесь всё прахом пошло, да?..

Этот спор оборвал Иван Рябов. Счастливый, даже какой-то немного обалдевший от счастья, он ввалился в райком, такой же красивый и надушенный, как и тогда, на первом испытании лодки. Еще в соседней комнате он с кем-то целовался, хохотал так, что казалось, в горле у него катается какая-то звонкая горошина, и, наконец, войдя к Курбатову, обнял его.

— Я к тебе, секретарь, — сказал он. — Мой штурман снова мне военмора принесла на десять с половиной фунтов. Я его в Совете зарегистрировал, только как-то не то получается. Вот раньше крестины были — всё-таки шум устраивали и слышно было, что человек родился. А ведь нынче-то не просто новый человек рождается, а-новый, да еще советский. А вокруг его рождения — молчок, тишина, когда, наоборот, надо бы звону... Очень тебя попрошу: давай октябрьить моего пацана.

Курбатов, еще расстроенный предстоящим расставанием, сразу не понял: что за октябрины. Рябов растолковал, что к чему, и у Курбатова озорно, совсем по-мальчишески блеснули глаза:

Ладно, Иван. Такие октябрины устроим...

На второй день «крестили» сына Ивана Рябова. Всё было честь-честью: Курбатова избрали вместо крестного, «кумой» была приглашена второй секретарь райкома партии Мокина. Карпыч и здесь развернул бешеную деятельность: неожиданно новорожденномунесли много подарков, счастливые отец и мать сидели и президиуме. Когда были сказаны речи, вручены подарки, Рябов встал, развернул своего сына и показал его голенького переполненному залу. Раздались одобрителльные аплодисменты: мальчонка был здоровый, толстый, с ручками в «перевязочках».

Рябов передал сына Курбатову. До этого ему никогда не приходилось держать новорожденного. Он должен был поднять ребенка над головой и громко сказать: «И имя мы даем ему — Красногвард». Таким именем и честь Красной гвардии, бойцом которой в Октябре был балтийский матрос Иван Рябов, пожелал назвать своего сына отец.

Затем Курбатов должен был передать ребенка «куме» — Мокиной. Но тут произошло такое, что он чуть не выронил Красногварда: мальчонка насквозь промочил Курбатову новый костюм, в зале смеялись и хлопали, и торжественность октябрин была нарушена. Впрочем, веселье заменило торжественность, октябринами были довольны все, и только выходя из четного клуба, Курбатов слышал иронический разговор:

— Вырастет этот «Красногвард», так уж помянет добрым словом папу и маму. Всю жизнь парню испортили таким именем. И что творится! Запретили бы такое издевательство над детьми.

Пока Курбатов бежал переодеваться, он думал, что разговор этот верный и надо посоветовать ребятам, что если придется еще проводить октябрины, то выбирать все-таки простые имена.

Эти крестины были последним его делом в Няндоме. Уже вечером, стоя на перроне с ребятами, он прислушивался к звукам, идущим из поселка, к далеким голосам, последним петухам, скрипу телег, и легкая, но опасная сердцу грусть поднималась в нем снова.

За пыльными кустами, подступающими к зданию танции, мелькнула знакомая женская фигурка: жен-

щина вышла из-за кустов, махнула рукой и быстро ушла, не оборачиваясь...

Карпыч молча стоял в стороне и, когда появился поезд, быстро, как-то боком придвинувшись к Курбатову, пробурчал:

— Ты... прости, если что не так... Встретимся, я думаю...

Курбатов рассеянно кивнул и еще раз оглядел низенькие дома, невысокие северные деревья, лица ребят, длинное, кирпичное здание депо, увидел флаг над райкомом... Все-таки он оставлял здесь часть своей души, большую ли маленькую, но оставлял, и появившаяся было грусть вдруг куда-то ушла, уступив место радости, от сознания, что жил он здесь не зря...

* * *

Неприятности начались сразу.

Несколько дней он знакомился с делами. Хотя на съезде много говорилось о различных неполадках, но то, что читал Курбатов — сводки, отчеты секретарей райкомов комсомола и низовых комсомольских организаций, заставило его посмотреть на вещи другими, куда менее жизнерадостными глазами.

В городе безработица. Кончающие школу не находят применения своим силам. Дисциплина на предприятиях расшатана, цветут пьянство и хулиганство. Кроме того, из-за непонимания нэпа появляются упадочные настроения, их кто-то назвал есенинскими. Многие выходили из комсомола, даже не подавая заявлений: просто посылали к черту секретаря, если тот пытался «вразумлять». Положение крестьянской молодежи было в общем таким же, с каким Курбатов уже познакомился в Лемже.

Вскоре на бюро был поставлен отчет первого райкома комсомола города. Секретарем его был Митя Чубуков, тот самый, с которым Курбатов учился в совпартшколе. Паренек из железнодорожных мастерских, он был неуравновешен, быстро загорался, хватался за любое дело, но так же быстро и потухал, а потом «дымил», ныл, что «вот опять ничего не получилось». Отчет Чубуков сделал такой, что впору было запеть «гром победы раздавайся», и прения поэтому начались вяло. Первым выступил заведующий экономотделом

губкомола Галкин: как-то нехотя, словно по обязанности, похвалил работу райкома и его секретаря Чубукова. Те, кто выступали за ним, также говорили какие-то ничего не значащие слова, и только завполитпросветом Фокин, московский комсомолец, покритиковал райкомол.

Курбатов сидел как на иголках: «Галкин голосовал против меня на пленуме. Может быть, вся эта похвальба и рассчитана на то, что я не сдержусь?» Но начал он спокойно:

— Галкин восхвалял здесь работу райкомола. Кому-кому, а ему-то нужно было бы знать положение молодежи на производстве. Я в губотделе труда и у директоров предприятий поинтересовался, как работает молодежь на производстве. И надо сказать, что цифры я получил страшные, если, конечно, принимать их близко к сердцу, а не относиться к ним хладнокровно, как Галкин.

— Что, плакать мне прикажешь? — вызывающе бросил Галкин.

— Смеяться или плакать — это крайности. Цифры надо анализировать и делать выводы, правильно ли мы работаем, тем ли занимаются комсомольские ячейки. Я оглашу вам эти цифры. Из всех самовольных прогулов восемьдесят процентов падает на молодежь, а из нее шестьдесят процентов — на комсомольцев. За полгода из всего количества административных взысканий шестьдесят процентов получила молодежь, и из этого — половина комсомольцы. Спрашивается, где же руководители комсомола? Почему мы не замечаем такого упадка дисциплины на наших советских предприятиях? Говорят, что некоторые хозяйственники тоже неправильно относятся к молодежи. Верно, не все. Не всюду хотят брать подростков на сокращенный рабочий день. Мол, по окончании фабзавуча к ним вольются подростки и броня будет заполнена. А некоторые кончают фабзавучи через два года. Или известно ли вам, товарищи, что на бирже труда на учете около тысячи безработной молодежи. Какие-то умники там даже комсомольскую ячейку безработных создали.

— Ну и что такого, — отозвался Чубуков. — Это по уставу, по производственно-территориальному принципу.

— Я дал указание создать эту ячейку, — опять вызывающе поднял глаза Галкин.

— А ты бы хоть советовался в таких вопросах. Ум хорошо, а два лучше. Какой же здесь производственный принцип.

— Извините, товарищ начальник, больше не буду, — издевательски ответил Галкин.

Курбатов, чувствуя, что бледнеет, сказал как можно спокойнее:

— Чем так кривляться, ты бы лучше уважал тех, с кем работаешь, мы все ведь тоже — коллектив.

Но Галкина уже нельзя было остановить:

— С уважением и почтением к вам, синьор Курбатов..

Курбатов подавил в себе растущую злобу, еще не понимая, чем вызвано такое поведение Галкина. В конце концов, может, это просто зависть?

— С таким обсуждением мы далеко не уйдем и, конечно, правильного решения не примем. Я продолжаю дальше. Вот у меня справка из милиции. За прошлый месяц из трехсот приводов за хулиганство и в состоянии опьянения — двести пятьдесят падают на молодежь. Были два случая группового изнасилования. Я думаю — цифры очень убедительные. До отчета я советовал Мите Чубукову достать и посмотреть цифры по району. Он этого не сделал, и это лежит на его совести.

Чубуков пожал плечами.

— Я советовался с Галкиным, а он посмеялся надо мной и сказал, что Курбатов чушь морозит. Он, мол, скоро тебя еще к сектантам пошлет — цифры у них о молодежи просить.

— А ведь правильно, — усмехнулся Курбатов. — Нам и сектантами надо заняться. Я недавно проходил мимо их молельни и заглянул туда: очень много там молодежи. Я не знаю, понял ли Чубуков всё, о чем здесь говорили?

— Понял, понял, — поспешно, даже, пожалуй, чересчур поспешно ответил тот.

— Раз понял, то и хорошо. Я предлагаю работу райкома признавать неудовлетворительной. Чубукова предупредить, что так работать нельзя. Практические предложения поручить комиссии. Срок три дня.

Воздержался один Галкин. После бюро Курбатов спросил его остаться, но Галкин, усмехнувшись, махнул рукой:

Отношения выяснять? Думаю, не стоит — не умеем. Притворяться не умею. Работать вместе будем, но и только.

— А я, между прочим, тебя не на чай приглашаю, — язвительно ответил Курбатов. Тот вспыхнул и, повернувшись, вышел. Курбатов кивнул Чубукову: «Видел?»

— Чего это он? — удивился Чубуков.

— А у нас это еще с совпартшколы идет. Помнишь?

Чубуков упрямо нагнул голову и глядел на Курбатова как-то исподлобья.

— Ну, Галкин с тех пор очень переменился... — начал было он.

— К худшему, — резко сказал Курбатов. — И не будем больше говорить об этом. В конце концов для меня работа важна. Кстати, если ты с ним по-прежнему в дружбе, то так и передай. Еще передай, что на все личные неприязни я плевал.

Он сердито отвернулся к окну, подумав: «А ведь так ничего он и не понял, Галкин...»

* * *

Вернувшись вечером домой, в общежитие губкомомла, Курбатов ощупью добрался в темноте коридора до своей комнатки и, войдя, устало кинул кепку на стул, стоящий возле дверей.

Потом, нажав рукой на стене выключатель, он зажег свет и вздрогнул: возле окна стоял высокий человек в черной кожаной тужурке, перепоясанный ремнями: на Курбатова глядели огромные, обведенные густыми тенями, черные глаза.

— Лобзик? — нерешительно спросил Курбатов. Тот шагнул к нему навстречу.

Они сидели друг против друга — Лобзик на стуле, Курбатов на кровати, то начинали хохотать, ударяя один другого в грудь, в плечи, то оба мрачнели, вспоминая каждый о своем, то вдруг Лобзик начинал рассказывать обычной своей скороговоркой о старых друзьях, о том, что встретил в Москве Вальку Кията — он учится в институте, или о своих злоключениях.

— А сюда-то ты как попал? — спросил, наконец, Курбатов.

— На работу прислан.

— На какую?

— Оперуполномоченный ОГПУ. Так что, товарищ секретарь губкоммола, работать нам снова рядышком...

XVIII

Приходя утром на работу, Курбатов прежде всего просматривал газеты. Так и в тот день, развернув «Красный Север», он пробежал глазами заголовки и наткнулся на жирные строки: «Верный барометр партии». Слова эти были уже знакомы, их недавно бросил Троцкий. Под статьей стояли фамилия и титул автора — Иван Галкин, зав. эконо. отд. губкоммола. Курбатов повернулся к окну, к свету, сразу почуввав недоброе.

В самом деле: в статье пунктуально перечислялись все те недостатки, о которых несколько дней назад он, Курбатов, говорил на бюро. Но вывод, вывод! Он два раза, еще не веря себе, прочитал конец статьи: «Всё это является отражением того политического состояния, в котором мы сейчас находимся. Трудно в такой обстановке думать о каком-либо успехе. Мы вредим сами себе».

Курбатов, задыхаясь, скомкал газету. «Ах, сукин сын!.. Троцкий — так тот хоть более или менее отчетливо говорит, что у нас ничего не выйдет. А этот — «трудно думать об успехе»... Ах, сукин сын...».

Галкина в губкоммол не было: он взял отпуск и укатил отдыхать — в Москву; Курбатову не удалось поговорить с ним. Он хотел позвонить Данилову, но тот позвонил сам, и Курбатов услышал в трубке какой-то незнакомый, клокочущий, плохо сдерживающий ярость голос:

— Читал? Обсуждалась ли эта статья на бюро?

— Нет. Он мне ее не показывал. Думаю, членам бюро тоже.

— Что ты думаешь предпринимать?

— Еще не думал... Но этого дела мы, конечно, так не оставим.

Данилов, выругав в трубку троцкистское болото,

уже спокойней попросил Курбатова зайти к нему: «Истати, объясню тебе, откуда такие настроения... Все больше культурой увлекаетесь, вечерами да забавами. Между прочим, Галкин правильно восклицает... возьми-ка газету. Взял? Вот во второй колонке: «Где же дела и подвиги подстать героике гражданской войны?» И на этом сыграл, подлец».

Курбатов, повесив трубку, задумался. Действительно, культработе отдавалось больше всего и сил, и времени, и внимания. Он чувствовал, знал, что это уже не самое главное в комсомольской жизни, но сложившаяся у губкомоловцев привычка была прочной; вот и сегодня в городском театре комсомольская пасха — большой карнавал-маскарад, будет около тысячи комсомольцев. Конечно, лучше, чтобы они шли на карнавал, чем по пивнушкам, но на подготовку этого, как говорят в губкомоле, мероприятия ухнуло столько времени, что просто досада берет.

Слишком много этих «мероприятий» (и слово-то какое выдуманно: похоже на сухую и жесткую воблу!). Слишком много экскурсий, вечеров, танцулек. А вот на субботники ребята идут нехотя. Что-то усталое чувствуется в них; Курбатов только удивлялся, сидя на комсомольском собрании в одной из ячеек: ребята чего-то мычат, говорят скучно, по обязанности, и чувствуется, что они сами не верят в то, что говорят.

На карнавал Курбатов пошел со стесненным сердцем. Лобзик сегодня вечером был свободен, они вместе вошли в театр и, стараясь держаться в стороне, сели в глубине длинного, вытянутого фойе. Мимо них проносились веселые, смеющиеся люди: арлекины и толстопузые купцы, гусары в доломанах из прокатной конторы и нарядные красавицы в высоких кокошниках. Лобзик следил за весельем жадными, горящими глазами; Курбатов это заметил и отвернулся.

— Что, ноги сами в пляс идут?

— Идут, — сознался Лобзик. — Люблю, когда людям хорошо.

— Мало... — про себя сказал Курбатов, и Лобзик удивленно взглянул на него, так и не поняв, чего же ему мало.

Потом они долго ходили среди танцующих, с кем-то здоровались, но с кем — нельзя было понять: все бы-

ли в масках. Веселье затянулось. Казалось, оно достигло своей высшей точки, когда воедино сливается музыка и смех, а сама усталость отступает... Вот тут-то и потух свет.

Он потух так неожиданно, что какое-то время еще слышалась музыка, а молодежь продолжала танцевать. Лобзик схватил Курбатова за рукав. В крошечной тьме наступила вдруг недобрая выжидающая тишина.

Но глаза сразу привыкли к темноте: за окнами стояла светлая еще, мягкая весенняя ночь. Курбатов увидел людей, отходящих к стенкам, услышал глухой ропот, чей-то выкрик: «Это что, намек?» Потом от дверей через весь зал донеслось:

— Всех просим остаться. Секретаря губкомла к телефону.

Курбатов и Лобзик, натыкаясь на людей и забывая попросить прощения, ринулись к выходу. Было и так ясно: случилось что-то нехорошее.

Звонил снова Данилов. На этот раз голос у него был не злой, а какой-то удивительно спокойный, даже усталость сквозила в нем. Лобзик нетерпеливо дергал Курбатова за рукав:

— Ну, что там? Что случилось?

— Понимаешь, что произошло, — говорил Данилов, по своей привычке растягивая, словно подбирая нужные слова. — На Шоше был залом... Местные комсомольцы разобрали лес... Один человек погиб там... Ну, моль и понесло. Запань раскидало бревнами. Коротче говоря, весь лес дошел до плотины и развалил перемычку. Она земляная, а тут еще паводок, будь он не ладен. Понял ты меня?

— Да, да...

— Попробуй поднять комсомольцев. Сколько там у тебя человек?

— Около тысячи.

— Я уже распорядился подать эшелон.

Курбатов кинулся обратно в фойе. Подняв по обыкновению руку (никто в темноте этого не заметил, и шум продолжался), он крикнул, требуя тишины, но за голосами его не слышали; те, кто стоял ближе, защищали, и, наконец, в фойе стало тихо, слышалось только дыхание сотен взволнованных людей.

Он вкратце рассказал, что произошло. Он не требовал, не просил, не уговаривал никого — он просто сказал, что надо всем сейчас же идти на вокзал. И когда все, один за другим потянулись к выходу, он замесился в толпу и только на улице снова крикнул:

— Строиться!

— Как они пойдут? — прошептал сзади Лобзик.

— Так и пойдут, — резко ответил ему Курбатов, не оборачиваясь. — Что это тебе — костюмов жаль стало?

Странное это было шествие по ночному городу. Колонны почти бежали, и всё-таки ребята ухитрялись петь: «Ах, куда ты, паренек, ах, куда ты...» Впереди, как нарочно, шли черти, страшные, рогатые; среди них затесался Посейдон с трезубцем. Прохожие шаркались в стороны, некоторые крестились.

Данилов уже рассказывал взад и вперед по перрону, поглядывая на часы. Когда вагоны были «взяты штурмом», он, подтолкнув Курбатова, сам вошел в теплушку и, держась одной рукой за перекладину, а другой обняв Курбатова, вдруг тихо сказал:

— Ах, вы, комсомолцы мои!..

...Река уже пробилась в плотине широкую, метров в десять, брешь. Через промоину, всё дальше и дальше размывая земляное тело плотины, с рокотом, подпрыгивая, лилась вода, кидая вниз, в коловорот, последние бревна принесенного паводком леса.

Нужно было на носилках, тачках, а то и просто в мешках на спине, таскать песок и камни из берегового карьера. Пожарники, прибывшие раньше, не могли справиться одни.

И странно: вроде бы никто и ребят не организовывал, никто не собирал звеньев, а мало-помалу промоина закрывалась песком. Матрос, перепоясанный пулеметными лентами, взвалив на плечи мешок, тяжело бсжит к плотине. Две девушки, одна — фея, а другая — Весна в зеленой тюлевой накидке, сняв туфли, быстро перебирают босыми ногами: на носилках не так уж много камней, но и то помощь... Архиерей в клобуке, подоткнув рясу, тянет с лордом Керзоном рогожу, на которой высится целая пирамида сырого песка.

Когда через несколько часов последние струйки воды стекли по плотине вниз, Курбатов, разогнув за-

немевшую от тяжеленных мешков спину, с удивлением подумал: «Уже кончили?».

Да ничего особенного и не сделали вроде бы: ну, поработали. А Курбатов, прислушиваясь к песне, уже возникающей на плотине, зло улыбался про себя: «Где же ты, Галкин? Какие статьи пишешь, писатель? В Москву уехал, за песнями, а песни-то, они — вот где...».

Вместе с Даниловым он обошел весь участок; их не замечали. Данилов молчал. Вдруг, повернувшись к Курбатову, он спросил:

— Как ты думаешь, они жалеют об этом?

— О чем? — не понял его Курбатов.

— Ну, о том, что пошли сюда... Все-таки бал, веселье, наряды... Смотри, ведь сегодня в баню не пробиться будет, грязные все.

И, не дожидаясь ответа, ответил сам:

— Нет, не жалеют... А в чем же дело? Почему каждый день, на простых делах, у себя на работе, они живут не так? Подвиги нужны? Плохо мы им доказываем, что каждый день можно совершать подвиги... И грязи еще много. Очень много, Курбатов...

Этот разговор с Даниловым невольно вспомнился Курбатову утром, когда ребята собрались на берегу реки, после того как плотина была поднята на два метра. Данилов говорил. Не благодарил, не хвалил никого, а просто говорил о том, что нужно делать в ближайшее время рабочей молодежи. Его слушали, выжимая мокрую одежду, счищая друг с друга сырой песок, и, казалось, этот короткий митинг — очень деловой и не похожий на все те, какие приходилось видеть Курбатову, — словно бы закреплял тот неожиданный взлет, которому суждено будет перейти в обычные, ничем не приметные внешне будни.

Стоя возле костра, Курбатов неожиданно встретился глазами со взглядом девушки, сидящей на носилках. Закинув руки за голову, она поправляла тяжелые волосы: Курбатов разом увидел острые локти, выскользнувшие из-под рукавов, спокойный, нежный овал лица, задумчивые темные глаза, глядящие на него, и отвернулся. Но тут же он снова посмотрел на нее, и теперь уже отвернулись оба.

Курбатов увидел ее снова на станции, когда она садилась в поезд. Вместе с ним был Петр Колчин, дав-

ний член бюро, хорошо знающий местных комсомольцев. Курбатов, показав глазами на девушку, спросил:

— Не знаешь, кто это?

— Знаю. А что — заинтересовался? Так сказать, любовь на основе трудовых дел?

— Не треплись, — поморщился Курбатов. — Какая еще любовь...

— Это Таня Воротова, член бюро комсомольской ячейки безработных. Идем в вагон, познакомлю.

Курбатов поднялся в теплушку с сильно бьющимся сердцем. Здесь было человек десять, не больше. Едва Курбатов и Колчин вошли, Таня поднялась и перешла к противоположным дверям.

— Куда ж ты? — удивился Колчин. — Во-первых, здравствуй, а во-вторых... Вот, знакомься, человек с тобой поговорить хочет.

Колчин, познакомив их, отошел к ребятам, а Курбатов, внезапно растерявшись, не знал, с чего начинать разговор, смотрел в лукавые глаза девушки и терялся еще больше.

— Так о чем вы хотели говорить? — насмешливо спросила Таня. Курбатов, покраснев, нахмурился.

— Как вы относитесь к тому, что сказал на митинге Данилов? — сказал он, сам удивляясь неимоверной глупости этого вопроса: ну, конечно, ей было ясно, что он брякнул первое, что пришло в голову.

— Положительно, — пожала она плечами. — Только вы уж очень меня разглядывали, я даже ушла... А что касается Данилова... что ж, он верно говорил о пьянках и безобразиях. Но знаете, хуже есть вещи.

Курбатов, почувствовав, что разговор неожиданно наладился, снова повернулся к девушке:

— Какие вещи?

— Ну, например, семейные вечера. Там не только пьянки бывают.

— Много ли их, — с сомнением произнес он. — Да и приукрашивают, мне кажется, много.

Таня, усмехнувшись, качнула головой, провожая глазами уходящие назад деревья:

— А вы не знаете. Каждую субботу их полно. Сколько потом несчастий после этого бывает, особенно у девушек. Вы слышали о самоубийстве комсомолки Марины Деминой? Это ведь и есть следствие та-

кой семейной вечеринки, а в результате загублена молодая жизнь.

Курбатов слушал ее внимательно, со всё растущим удивлением, и, чтобы не обидеть девушку прямым вопросом, откуда она всё это знает, спросил осторожно:

— Вот я замечаю... вы всегда такая грустная?

— Вы наблюдательны, оказывается, — с иронией ответила Таня. — Да, знаете, ничего веселого-то в моей жизни нет. Говорят о каких-то идеалах, а где они — эти идеалы — у безработной. Как-то даже смешно, что у нас при бирже труда существует комсомольская ячейка безработных и я член бюро, политпросветработник ячейки. Ведь правда смешно?

Она деланно рассмеялась. Курбатов тихо попросил:

— А вы расскажите мне, чем живет молодежь. Я ведь здесь человек новый.

Девушка не отвечала долго. Потом, вздохнув, она опять пожала плечами:

— Чем молодежь живет? По-настоящему живет только тот, кто работает. Действительно, для рабочей молодежи у нас везде дорога, для нее и рабфаки и вузы, хотя и среди этой молодежи настроения не ахти какие и много погрешностей в быту. Некоторые недовольны тем, как работает комсомол. Всё одно: политкружок, политлекция, политлотерея, политвикторина. Всё полит да полит. Или уж вечера один за другим... Вы знаете, как всё это оскомину набило? Вот некоторые и ударяются в пьянку. Я знаю многих ребят, рабочих, которые воевали в гражданскую войну. У них тоже нехорошие настроения: «За что боролись?» Снова «Пивоваренный завод Киселева и К^о», «Колбасная Мазалева», «Мучная торговля Кожина». Ну, непонятно это многим, мне тоже непонятно, хотя я не такая уж неграмотная.

Всё это Курбатов слышал уже не раз. Не так ли точно его приняли в Няндоме двое ночных гуляк («Опять брюханы с цепочками пошли!») и член бюро Уткин? Да, многие не понимали, что происходит, и в этом тоже была вина комсомола: плохо объясняли.

Сейчас Курбатов, порывисто и протестующе замахав рукой, хотел было заговорить, но девушка перебила его:

— Не собираетесь ли вы мне лекцию о напе читать? Ой, не надо, убегу. Надоело, не хочу больше.

— Да я лекцию читать вам не собираюсь, но заблуждаетесь вы. Об этих настроениях я знаю, в кабинете сидеть не люблю. Ну да ладно, хватит об этом... Расскажите лучше о себе, — закончил он уже примирительно.

— Это что, анкета? — с иронией спросила Таня.

— Ну что вы, — испугался Курбатов. — Просто... Просто мне интересно узнать о вас хотя бы немного...

— Могу удовлетворить вашу личную заинтересованность, хотя я еще никто — ни рабочая, ни крестьянка, ни служащая... Год назад окончила школу и ищу работу, состою на учете в бирже труда. У нас там полсотни комсомольцев, и знаете, состав более или менее постоянный. Да это и понятно, там все такие, как я. А что дала мне школа? Общие знания и никакой профессии, никаких трудовых навыков. А кому нужны мои знания? Например, учила я астрономию, знаю географию звездного неба, знаю, где какая звезда. А кому это нужно? Да мне самой это не нужно. Один раз предложили мне пойти уборщицей в какую-то литейную мастерскую. Я не пошла. Не пошла не потому, что считаю это зазорным, а потому, что подумала: «Неужели только там могу применить свои знания?» А другой работы нет. Отец у меня служащий, из-за этого я не смогла получить командировку в вуз. Справедливо это? Вот тут и тупик, податься мне некуда. А учиться очень хотелось, но я разве виновата, что мой отец не кузнец, не слесарь, а банковский чиновник? От такой жизни волком завоешь, опуститься можно. Да мои подружки, которые послабее, уже опустились.... Курят, пьют вино, перестали за собой следить. Всем этим и пользуются разные «уловители девичьих душ» — устраивают семейные вечера с пьянкой и оргиями...

Разговор снова вернулся к тому, с чего он начался. Курбатов понимал всю несправедливость происходящего с Таней, но понимал он и другое: всё это преходящее, пройдет время — и партия разберется во всем этом. Безработица тоже явление временное — девушка еще не знает — она уже рассасывается помаленьку. Безработных не будет! Он сейчас думал только об этом; голос Тани доносился до него словно бы издалека:

— Вы слышали что-нибудь о «вечерухах»? Так вот, я знаю, в одном месте они бывают частенько. Меня да-

же познакомили с компанией, которая этим занимается. Как всё это отвратительно...

— А что такое «вечерухи»? — спросил Курбатов.

— Не спрашивайте об этом. Это очень... скверно: групповой разврат.

Курбатов покраснел, нельзя было об этом спрашивать девушку. Однако он не успокоился. Внезапно нахмурившись, он взял Таню за локоть:

— А ведь этого нельзя так оставлять. У нас есть законы, преследующие таких людей. Тут одной системы воспитательной работы мало... Вы зайдите ко мне в губкомол... Да хотя бы завтра вечером. Зайдете?

Она ответила не сразу. Курбатов всё еще держал ее за локоть и выпустил, когда девушка повернулась к нему.

— Я давно хотела пойти... Пойти и рассказать. Адрес я знаю.

— Вот и хорошо.

— Хорошо? — грустно усмехнулась Таня. Тогда Курбатов заговорил, быстро и о другом — о том, что сейчас волновало девушку больше всего, и о чем он догадывался внутренним чутьем близко принимающего чужую печаль человека:

— Вы не тужите. Такое положение с безработицей среди молодежи будет не долго. Мы сейчас восстанавливаем наше хозяйство, а скоро к индустриализации страны приступим. Будем строить много — не будет тогда у нас безработицы вообще, о ней даже памяти не останется, людей не будет хватать... При поступлении в вузы отменяют все ограничения... ну вот такие, с каким и вы столкнулись. Конечно, бывших дворян, буржуев и кулаков мы в вузы не пустим, а такие как вы, — будут учиться. Только еще повременить надо немного: надо же исправить вопиющую несправедливость, когда из рабочих и крестьян у нас раньше не могло быть инженеров, врачей, агрономов. А нам людей много понадобится. Еще несколько лет — и мы сами себя не узнаем.

Девушка слушала его поначалу с прежней грустной улыбкой, а потом, взглянув на него, улыбнулась хорошо и просто:

— А я, между прочим, все это знаю... И... верю в это. Иначе совсем плохо было бы...

Курбатов не был в губкомле три дня: ездил в Печаткино и вернулся, привезя с собой теплоту встречи с родными местами, ласковые слова Чухалина, нежную заботливость Алешина, хотя оба даже не обмолвились о Клаве, словно бы по молчаливому сговору. О Клаве Курбатов узнал стороной: она в Москве, учится в медицинском институте.

Когда он вошел в свой кабинет, сразу же раздался назойливый телефонный звонок.

— Я тебе весь день звоню, — недовольно говорил Лобзик. — Где ты пропадал? Тут сегодня одно дело есть, подожди, я сейчас приеду...

Он появился минут через пятнадцать, прошел по комнате, скрипя кожей ремней, куртки, сапог, и, чуть расставив ноги, спросил:

— Пойдешь на «вечеруху»?

— Куда? — Курбатов сразу не понял. — А... Что, решили прикрыть? Почему же ты в это дело вмешался, а не угрозыск?

Лобзик не ответил; Курбатов усмехнулся:

— Тайна? В вашем чекистском деле от партии тайн нет.

Усмехнулся и Лобзик:

— Так ты ж еще не партия, а отдельный мыслящий коммунист.

Он хохотнул, поднимая голову, а потом, словно сложившись пополам, сел в кресло:

— Никакой особой тайны нет... Но говорить об этом никому не надо. Задержали мы тут одного... деятеля, из-за кордона прибыл. Он на допросе раскололся. Оказывается, хозяин одной квартиры устраивает оргии по его заданию, чтобы больше втягивать молодежь в разврат и пьянку. Дело, так сказать, вроде бы уголовное, а если пошире поглядеть — политическое.

— Тогда ясно, — буркнул Курбатов. — А то — «тайна, тайна...» Когда идем?

Лобзик снова долго не отвечал. Таким Курбатов видел его впервые. Собранный, сухой, хмурый, он ничем уже не напоминал того угловатого паренька в разодранной куртке, который, зябко ежась, ждал Курбатова на архангельском вокзале.

— Вот что, — ответил он сдержанно. — Пойдет группа комсомольцев-осодмиловцев. Ведет нас эта твоя девушка, Таня. Комбинация простая: ее ждут, она звонит, хозяева открывают, мы входим... Сегодня в девять часов подходи к Сенной площади.

В девять Курбатов был уже там. Из подъезда одного из домов сразу же выбежала Таня и бросилась к нему. Он увидел ее немного растерянное лицо и, протянув руку, улыбнулся:

— Ну, что с вами? Страшно?

— Немного, — призналась она. — Они на всё способны. Один — я его видела — Геннадий, словно рысь: глаза желтые и клыки...

Лобзик подошел к ним неслышно и на ходу бросил Тане:

— Идите вперед. Мы сзади. Ты, — он придержал Курбатова за рукав, — со мной.

Курбатов шел, нащупывая в кармане теплую, шероховатую рукоятку браунинга. Он не видел ничего, кроме тоненькой девичьей фигурки впереди: Таня шла одна, осторожно ступая по камням тротуара. Курбатов слышал, как постукивают ее каблучки, и внезапное теплое чувство чего-то родного, близкого охватило его, он даже замедлил шаги, потрясенный.

Может быть так, внезапно, когда не подозреваешь, и приходит любовь, читатель? Сама собой, даже случайно — приходит и занимает свое место в твоей жизни. Большая, невысказанная еще — разве не может она появляться именно так? Может!

...Вот и калитка, ведущая в небольшой захламленный двор. Вдоль стены стоят дровяницы, за ними — голубятни, сбитые из ржавого кровельного железа. Прижимаясь к дровяницам, осодмиловцы скользнули вглубь двора и оказались на крутой, с разбитыми ступеньками лестнице. Здесь пахло кошками, кислой капустой, и Курбатова передернуло: ну и логово!

Таня поднялась на второй этаж и, когда Курбатов и Лобзик встали рядом, дернула три раза ручку звонка. Сначала, когда умолк колокольчик, всё было тихо там, за дверями, потом послышался женский голос:

— Кто там?

— Я, откройте, — громко сказала Таня.

— Что ты так поздно? С тобой никогда нельзя по-настоящему договориться.

Таня вошла первой, а за ней Лобзик с пистолетом наготове и двое осодмиловцев. В прихожей они оттерли и прижали к стене открывшую им дверь девушку и легком халатике и с распущенными волосами.

— Только тише, — шепотом предупредил Лобзик, — иначе и себе плохо сделаете.

Из комнаты, где сидела компания, донесся неприятный, сиплый голос: очевидно, всё-таки там услышали какой-то шум, как тихо осодмиловцы ни входили.

— Вера, что ты там застряла? Кто это шумит в прихожей?

Другой голос отозвался со смехом:

— Это, наверно, наша завербованная пришла. Говорят, ничего бабеч!

В это время Лобзик распахнул дверь, и вытянув руку с пистолетом, приказал:

— Сидеть смирно, иначе будет плохо!

Курбатов вошел за ним. Двое осодмиловцев, быстро обогнав его, встали у окон. Курбатов огляделся.

Здесь, в большой комнате с мягким пушистым ковром на полу и дорогой, хотя и безвкусной мебелью, стоял стол, заставленный бутылками. В комнате было жарко и накурено. За столом сидело человек пять парней и две девушки — все почти голые.

— Ваши документы, — потребовал Лобзик.

Из-за стола медленно встал высокий сухопарый парень. Свет от лампы упал на его лицо, и Курбатов ахнул: — Генка!

Действительно: желтые рысьи глаза глядели на Курбатова с ненавистью. Ленивым движением Генка накинул на голое тело пиджак, столкнул со своего стула девушку и, упершись руками о стол, так же медленно сел:

— А, чумазый! Вот ведь и снова встретились. Мне говорили, что ты в больших начальниках ходишь, а ты, оказывается, просто сексот¹. Небольшая же шишка. Ну, да где тебе, чумазому, в начальниках ходить. Документы тебе надо? Сейчас получишь.

Он стал рыться в карманах пиджака, и Курбатов

¹ Сексот — секретный сотрудник.

вынул браунинг: мало ли что может выкинуть эта сволочь. Злоба душила его, он еле сдерживал себя. Но, забыв, что не он здесь главный, Курбатов приказал: — Всем выйти из-за стола.

Лобзик, удивленно взглянув на Курбатова, подошел к Генке и точным сильным рывком заломил назад его руку. При свете закрытой снизу лампы тускло блеснул ствол нагана.

Обыск ничего не дал. Лобзик, кивнув осодмиловцам — «ведите!», сдернул с лампы плотный абажур: свет, словно ворвавшись в комнату, осветил ее всю — и омерзительные фотографии на стенах, и бутылки с вином, и смятую, скомканную постель...

Внизу уже стоял крытый фургон, и лошади нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

* * *

Историкам нынешним и грядущим предстоит сделать многое. Но, быть может, десятилетие после Октября окажется для них таким периодом, о котором надо будет писать без конца, каждый раз находя в нем все новое и новое, будь то факты или отдельные черточки жизни, в ту пору мало кем уловимые — то, что раскрыло бы со всей полнотой дни великого мужества и великой борьбы. И героем многих книг, которые написаны или будут написаны — есть и останется: Партия.

В том, 1925 году (когда многих из вас, читателей, еще не было на свете) восстанавливалось народное хозяйство. Слова «довоенный уровень», поначалу бывшие неким пределом успехов, оказались внезапно старыми. И хотя жить становилось легче, это была тоже жизнь «довоенного уровня» — еще как бы нерешительная, не в полную мощь человеческих сил, не в полную меру освобожденных способностей, желаний, талантов.

Быть может, нынче странным покажется, что стоял тогда такой вопрос: можем ли мы построить социализм или нет? Партия отвечала: можем. Другие... Впрочем, недобрая память о других пусть останется недоброй: сегодня, с вершины уже построенного социализма, видней правота партии и ничтожество тех, других, о которых нынешние поколения знают скорей понаслышке.

В декабре 1925 года открылся четырнадцатый съезд

партии. Центральным его решением было — превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, независимую ни от кого, способную все производить своими силами. Только это создавало все необходимые условия для победы социализма в СССР. В этом и состояла генеральная линия партии: против нее выступили зиновьевцы.

Съезд остался на ленинских позициях, он заклеил выходки и платформу зиновьевцев. И тогда опять ожило такое, казалось бы, забытое в жизни понятие, как «подполье» — не то, не такое, какое мы привыкли подразумевать, говоря о большевиках.

Темные силы — чего хотели они? Сейчас ясно всем, чего они хотели, о чем говорили, собирались на тайных квартирах, о чем мечтали, толкая на преступление Ленинградский губком комсомола: губком вынес страшное в своем цинизме постановление, отказавшись подчиниться решениям XIV съезда партии.

О том, что Ленинградский губком комсомола оказался в руках зиновьевцев, здесь, в городе, знали понаслышке — одни больше, другие меньше. Известие, что губком принял страшное в своем цинизме решение, отказавшись подчиниться постановлениям XIV съезда партии, оказалось неожиданностью: слишком трудно, невозможно было поверить, что такое могло произойти. Но это произошло, и всем стало ясно, чьи руки, чья злая воля направляли Ленинградский губкомол.

Однажды, придя в губком, Курбатов среди утренней почты увидел на своем столе увесистую бандероль с почтовым штемпелем Ленинграда. Разорвав бумагу, он вынул папку с надписью: «Синяя папка», хотя на самом деле она была зеленой, и черт знает, почему ее называли синей: из дальтонизма, что ли... Внутри папки лежали антипартийные оппозиционные документы — платформа оппозиции, несколько листовок, решение Ленинградского губкомол, несколько других оппозиционных документов и книга Зиновьева «Ленинизм».

Рассылкой этой «Синей папки» преследовалась одна цель: втянуть другие губернские комсомольские организации в борьбу против партии.

Курбатов, захлопнув папку, отложил ее в сторону и вспомнил о ней только перед тем, как идти на бюро

губкома партии: «Покажу Данилову»... Что-то уж больно оживленно трудятся ленинградские губкомовцы... Ах, чёрт, не узнал, сколько и кому еще при слали...».

Данилов, наспех перелистав документы, бросил их в ящик, пошутив при этом, что нижний ящик его стола — долгий.

— Паршивое дело, в общем-то. Комсомол одно думает в Ленинграде, губкомол другое, а решение подлое. Стиль у него — и тот зиновьевский. Ты мне вот что скажи — у тебя-то в комсомоле как? Без этих?.. — он покрутил пальцами возле лба, и Курбатов невольно засмеялся, так это смешно получилось у Данилова.

— Да нет, не без этих... Вы Галкина помните? Ну, помните, еще в совпартшколе вам вопрос задал, зачем вам нужен союз с середняком? Да вот его статья была — о градуснике, — усмехнулся он.

Данилов вспомнил: память у него была цепкая; он говорил — «ровно репей». Курбатов коротко рассказал ему о Галкине, и секретарь губкома крикнул:

— Почему же ты мне раньше не сказал? А сейчас всю эту накипь трудней снимать... А главное — сам почему ничего не сделал? Переводить его надо было, переводить...

— Переведешь, — снова усмехнулся Курбатов. — Он в ЦК поедет, правоверным сделается, меня же в личной неприязни обвинит.

— Ладно, — недовольно пробасил Данилов. — Поговорим после.

И Курбатов догадался, что тот недоволен и тем, что в губкомоле есть «умники», и тем, что он, Курбатов, с этими «умниками» возится, хотя давно пора было бы причесать их как следует. Впрочем, он и хотел поговорить с Галкиным как следует, но тот вернулся из Москвы, покаялся в грехах, напечатал в «Красном Севере» опровергающую самого себя статью, и дело ограничилось словесным внушением на партийной ячейке губкомолла. Теперь Курбатов ждал, что что-то изменится. Что — он еще не знал. Галкину как-то легко и просто все перестали верить: ехал человек в отпуск — одно думал, вернулся, отдохнув, — другое говорит...

Ждал перемен Курбатов еще и потому, что на механическом заводе к нему как-то подошел рабочий па-

руки и, вытирая ветошью измазанные маслом руки, окликивал:

Что же вы к нам всякое дерьмо присылаете?

Какое дерьмо?

Да этот, Антонов. Ходит только, воду мутит.

Антонова прислали из ЦК комсомола: какими-то путями он перевелся сюда из Ленинграда. Характеристика у него была обычной, и только после беседы на механическом Курбатов узнал, что Антонов и есть один из тех самых «умников», о которых спрашивал его секретарь губкома партии.

Когда Курбатов рассказал об этом секретарю райкома комсомола Чубукову (завод входил в его район), он набылчился:

— Брось ты эту демагогию разводить, тебе уже всюду оппозиция мерещится. А если парень с мозгой и думает не так, как записано в решении под нажимом Курбатова, — то еще не беда. Я его в состав пленума выдвину, между прочим.

Пленум был назначен на начало января; Антонову послали гостевой билет. Ждали Данилова, но он уехал в Москву, и Курбатов, почему-то волнуясь, открыл пленум.

— Еще до съезда на дискуссии и после съезда на проработку его решений у нас ушло много времени и сил, но зато мы можем сказать, что комсомольцы и молодежь, которые участвовали во всем этом, многому научились. На собраниях наших ячеек было предоставлено право говорить всем, даже оппозиционно настроенным товарищам. Я, пожалуй, оговорился, назвав их товарищами. Нашими товарищами могут быть только те, кто беззаветно предан партии и борется за ее генеральную линию, за решения съезда. Во всяком случае, они открыто проповедовали свои антипартийные взгляды. И вот сегодня на наш пленум мы выдали им гостевые билеты. Не наша вина, товарищи, что они не нашли себе сторонников в наших ячейках, что от них все отвернулись и всем надоело слушать их трепотню и клевету на партию. Меня тут на механическом один парень так и спросил: «Зачем дерьмо прислали?».

Съезд партии, вы знаете, принял решения, утвердил генеральную линию партии. Всё стало ясным; только, мне кажется, что еще не всё ясно тем, кто забрался в

оппозиционные переулки. На этом пленуме мы должны потребовать от наших доморощенных оппозиционеров — от того же Галкина, Чубукова и Антонова — честно выступить и рассказать об их теперешних настроениях и о том, разделяют ли они решения съезда партии. Могут ли они сказать, что признают свои ошибки?

— Мы скажем! — раздался с места голос Галкина.

— Так я к этому и призываю вас. Кстати, несколько слов о Галкине... Он член бюро губкоммол. Все мы его знаем, вместе учились, вместе работали. Партия его тянула, он стал вроде бы политически грамотным, а...

— Ты брось обо мне трепаться! Что я тебе, брюквы на выставке, что ли? — зло перебил его Галкин.

— А ты зря сердишься, — улыбнулся Курбатов. — Видно, правда глаза колет. Вы знаете, товарищи, что уже несколько месяцев Галкин мешает работать губкоммолу, мешает работать комсомольской организации. Его оппозиционные взгляды по коренным вопросам политики партии превратились в беспринципную склоку, которая всё больше и больше разваливает нашу работу. В споре о политике и культурничестве он хочет протасовать оппозиционные идейки. Вспомните его статью: убедительно вроде бы была написана — или нет, скорее убежденно. А вот раскаяние было такое, что никто не поверил... Если так убеждения менять, то и убеждений не хватит!

По залу прошел легкий смешок: о Галкине в губкоммоле сложили «сентиментальный романс» со словами: «Но пусть непризнанный я гений — я не меняю убеждений. Умру, любя, умру, любя, лишь только одного себя».

Курбатов, подождав, продолжал:

— Он требует от нас поворота к старым формам работы, которые давно были отвергнуты самой молодежью: Он выступает против организации комсомолом досуга молодежи, политической учебы. По этим вопросам он нам навязывает спор, какую-то новую дискуссию. А мы ему говорим: спорить незачем, всё ясно. А теперь спорить совсем нечего: съезд партии очень ясно сказал, чем должен заниматься комсомол. Пускай здесь Галкин и скажет, как он относится к этим решениям съезда.

И скажу! Думаешь, испугаюсь тебя, аппаратчик? Скажу, как ты критику зажимаешь! — крикнул Галкин. На него зашикали, председатель постучал карандашом о графин.

Видите, — усмехнулся Курбатов. — Типичная оппозиционная реплика. Еще в тысяча девятьсот двадцать третьем году троцкисты обвиняли партийный аппарат. «Если партийный аппарат не сдастся, то мы его сломаем силой». Аппарат, по их мнению, одно, а партия — это уж совсем другое. А ты, товарищ Галкин, не считая критики лучше бы помолчал. Если бы ее кто-либо зажимал, так ты бы не смог больше трех месяцев будоражить всю организацию и мешать работать.

— Правильно! Хватит трепотню Галкина слушать! — кричали из зала.

Услышав знакомое — «регламент», Курбатов поднял руку:

— Я немного затянул, товарищи. Но скажу несколько слов о Чубукове. Он рабочий парень, из беспризорников стал помощником машиниста паровоза, а затем секретарем одного из райкомов города. Митя — честный работник. Мне кажется, он не будет скрывать своих истинных взглядов, не будет на партию держать камень за пазухой, а честно признает свои заблуждения и по-прежнему будет активным работником комсомола и партии. Всё, товарищи.

Председатель спросил, кто будет выступать, и, как и ожидал Курбатов, Галкин поднялся со своего места:

— Дай-ка мне слово.

Он протиснулся между рядами и, на ходу доставая из карманов какие-то бумажки, поднялся на трибуну. Он был бледен, взволнован. Обеими руками приглаживая свою непослушную кудрявую шевелюру, Галкин, усмехнувшись, сказал:

— Вот тут Яков Курбатов произвел меня чуть ли не в вождя оппозиции. Договорился до того, что я мешаю работать и даже разваливаю работу организации.

Кто-то крикнул из зала:

— Правильно, мешаешь!

— Давай, говори об оппозиционных взглядах. А насчет практических твоих дел я еще скажу, — поднялся с места и бросил реплику Карпыч: он только вчера

приехал из Няндомы и весь вечер рассказывал Курбатову о директивах, присылаемых Галкиным.

— Вот тут требуют, — продолжал Галкин, показывая на Карпыча, — чтобы я сказал о своих якобы оппозиционных взглядах. А я скажу, что у меня этих взглядов и не было.

— Не ври, не крутись! На комсомольских собраниях со своим ленинградским дружкой Антоновым вместе выступали, — заметил Курбатов.

— Видите, мне не дают говорить. Где же демократия? Почему секретарь губкомла не дает мне высказать своих взглядов?

Колокольчик председателя наконец-то водворил тишину, и Галкин продолжал, подавляя волнение:

— Не во всех вопросах, а только в некоторых я был не согласен. Первое — я не был согласен, да и сейчас это мнение у меня осталось, что наши предприятия являются предприятиями последовательно социалистического типа. Если предприятия социалистические, то почему у нас есть безработица, почему мы вводим броню подростков, почему рабочий не получает полностью за свой труд в размере тех ценностей, которые он производит? Почему жмут на рабочего, заставляют выполнять его норму выработки, могут уволить с завода, если рожа рабочего не понравится начальству? Да и много еще есть почему... Пока никто меня не убедил в обратном, а если так, то «госкапитализм назовемте госкапитализмом».

Он закончил свое выступление цитатой из книги Зиновьева и не успел сойти с трибуны, как сразу же на его месте встал Чубуков — растерянный, даже, пожалуй, подавленный всем тем, что здесь происходило:

— Ну, что я вам скажу, ребята?.. Скажу по-честному, по-рабочему: запутался я, вернее, запутали меня, а я сразу не разобрался, да и стал звонить в чужой колокол. Вот тут Антонов постарался, да и Галкин тоже. Ну, и попал я в темный переулок. Вот только съезд партии мне помог... Здорово помог! Я полностью согласен с партией, что социализм в нашей стране мы построим, что наши предприятия — последовательно социалистического типа. Тут до меня Галкин болтал на эту тему. Видно сразу, что он промышленных пред

прятий не знает. Он думает, что работать на заводе все равно, что коров пасти, — особой дисциплины не надо. А вот попробуй без дисциплины металл, литье из награнки получить или на паровом молоте отковать что-либо, или паровоз отремонтировать. Без дисциплины тут ничего не сделаешь...

...И вот еще что: любой малограмотный рабочий не поверит, что он работает на капиталистическом предприятии. Разве бы у нас стала в таком случае развиваться рационализация? Стали бы сами рабочие заботиться о производительности труда? Хотя Галкин и ведущий экономотделом губкомола, а в рабочих ячейках не бывает. Он, конечно, грамотнее меня, умеет говорить красиво, а я говорю, как умею, и выкладываю вам начистоту.

...Простите меня, ребята! У партии я еще прощенья просить буду. Простите, запутался я! Ослеп. Но теперь всё вижу, вижу, что не туда и не за теми пошел. А где я был с ними, завтра об этом расскажу на бюро партколлектива и туда же принесу всю «амуницию», которой меня снабжали.

— Предатель! — крикнул из зала Антонов. Чубукова передернуло. Он грохнул кулаком по доске трибуны так, что стакан с водой, жалобно звякнув, свалился на пол:

— Чего кричишь ты, замухрышка! Я партию и товарищей никогда не предавал и не предаю. О тебе же разговор особый... Поздно я тебя понял и о тебе еще многое расскажу. Расскажу, как ты ловишь вот таких дураков, как я, пугаешь их и заставляешь идти против партии. Про тебя, про Бека, про Ханина расскажу.

Курбатов не знал, кто такие Бек и Ханин, и насторожился. Но Чубуков уже шел на свое место, а в зале зашумели: колокольчик в руках председателя звенел беспомощно. Наконец, перекрывая голоса, председатель объявил:

— Слово имеет Антонов.

На трибуну выбежал коротконогий, с большой головой, взъерошенный Антонов. Поправляя очки короткими толстыми пальцами, он начал говорить визгливо, поспешно, будто боясь, что ему не дадут договорить:

— Я, товарищи, много говорить не буду, знаю, что

это бесполезно. Вас большинство и вы не умеете уважать мнения меньшинства. Прежде всего я хотел рассказать вам о том, что Ленинградская комсомольская организация не согласилась с решениями XIV съезда партии и вынесла по этому вопросу свое решение.

— Организация или губкомол? — ехидно поинтересовались из зала.

— Решение вынес губкомол, но губкомол отражает мнение всей организации.

— Всей ли? Сколько сейчас там ваших сторонников? — снова крикнули с места.

— Что сейчас в Ленинграде делается, я не знаю. Я уже четыре месяца у вас работаю. Но я хочу не об этом сказать, а о том, что вот этот аппаратчик (он ткнул своим толстым пальцем в Курбатова) скрыл от вас и от всех, что он получил из Ленинградского губкомола так называемую «Синюю папку», где были все документы, о которых вам необходимо знать.

Это был точный расчет: в зале загалдели. Курбатов, никак не ожидавший такого поворота, побледнел и, сжав кулак, еле сдерживаясь, поднялся, слыша сам, как у него срывается голос:

— Что, сейчас по этому вопросу дать справку или потом?

— Давай для ясности сейчас.

— Тогда проголосуем, а то Антонов скажет, что я не дал ему говорить. Кто за то, чтобы я сейчас дал справку? Большинство. Тогда минуточку, Антонов. Да, я получил «Синюю папку». В ней были те же самые оппозиционные антипартийные документы, о которых не раз говорилось на собраниях, и мне кажется, что все они вам надоели.

— Надоели, правильно, долой!

— Поэтому я вам ничего об этой папке и не сказал: лучше заниматься делом, чем этой папкой. Но все документы, которые там были, я сдал в губком партии товарищу Данилову. Продолжайте, Антонов, я кончил.

Казалось, что это выступление ничуть не смутило Антонова, он словно бы ждал, что Курбатов скажет именно так. Подождав, пока в зале утихнут смешки, он, будто и не зарвался только что, начал говорить о другом, поблескивая стеклами очков:

У нас, среди ленинградских активистов, распелась, между прочим, такая частушка:

И решили мы на съезде:
Социализм в одном уезде
Будем строить без конца —
Ламца-дрица, гоп ца-ца.

Сейчас я и буду говорить об этом «уездном социализме», ибо это основной вопрос наших разногласий с большинством.

— Не с большинством, а со всей партией, — не выдержал всё-таки Курбатов: черт с ним, пусть кричит, что ему мешают говорить. Антонов вежливо поклонился:

— Раз вы считаете, что со всей партией, то пускай будет так. Нам известны исторические примеры, когда большинство тоже ошибалось. Может, кто знает, что это было на Лондонском объединительном съезде нашей партии?

— Брось передергивать, — поднял руку Чубуков. — Там большинство-то меньшевиков было.

Антонов поклонился и ему.

— Как известно, большевики после этого съезда сохранили свою фракцию, а потом окончательно оформились в свою партию. Подумайте только, товарищи, об этом «уездном социализме», и вы придете к выводу, что его без мировой революции построить нельзя.

— А если ее долго не будет — пропадать нам всем, что ли? Что же мы тогда строить будем?

Антонов обернулся: сзади него стоял Карпыч и тянул за край пиджака. Обиженно отойдя в сторону, Антонов развел руками — мол, видели, какова демократия. А Карпыч, неуклюже ворочаясь на трибуне всем своим грузным телом, тиская одну в другой черные неотмывающиеся руки, пробурчал:

— Прошу слова по порядку ведения нашего пленума. Что же это, товарищи? Разве опять после съезда дискуссия открылась? Почему сегодня нам снова приходится выслушивать клевету на решения съезда, на партию? Я предлагаю лишить Антонова слова и отобрать у него гостевой билет. Ты, Курбатов, не звони в колокол-то свой. Ты хотел показать, что партия оппозиционерам рот не зажимает, а мы сейчас с этим не согласны. Мы хотим покрепче им рот зажать. Хватит,

наслушались. А этого брехуна я предлагаю из зала вести. Поднимите-ка, ребята, кто «за».

Когда в зале поднялся лес рук, Карпыч, потоптываясь, повернулся к президиуму:

— Ты уж, Курбатов, меня извини, что я в твои функции влез. Я думал, так скорее будет, и оппозиционерам крыть, глядишь, нечем: не «аппаратчик» и зажал, а чумазый рабочий с паровоза.

Так же вразвалку он подошел к Антонову, взял его за воротник и приподнял. Рядом с могучим, крепким Карпычем Антонов казался необычайно хлипким и тщедушным.

— Хватит тебе тут стоять, мухомор. Принимай его, ребята, и транзитом из зала...

Когда Антонова выпроводили, Карпыч опять встал на прежнее место, на трибуне и, путаясь в словах, будто и не умел говорить иначе, продолжал:

— Думаю, что мы правильно сделали, товарищи. Дискуссия-то ведь давно окончилась. Надо решения съезда выполнять. Это, наверно, Курбатов для близиру такую демократию развел, чтоб не кричали, что им рот зажимают. — Он обернулся к Галкину: — Видел, намняли сейчас бока Антонову, и тебе, Галкин, намнем. Ой, смотри, намнем! Работать надо, а не языком молоть. Ты тоже потрепался, хватит. Много тебе воли губкомол дал, надо бы за склоку тебе всыпать как следует. Да я думаю, губком партии всыплет еще тебе и Курбатову тоже за то, что допустил и своевременно не всыпал тебе...

Карпычу хлопали яростно. Он еще постоял, будто вспоминая о чем-то, но, видимо, так и не вспомнив, спустился вниз, на ходу пожимая протянутые руки. А Курбатов безудержно хохотал и не мог остановиться: «Ай да Карпыч! Ну и наловчился же говорить, парень». И хлопал ему вместе со всеми, вполне соглашаясь с тем, что и ему, Курбатову, следует «всыпать» за то, что «допустил и не всыпал» сам...

* * *

На следующий день был убит Митя Чубуков. Он шел на бюро партийной ячейки и нес с собой всю оппозиционную литературу. Кирпич, сброшенный с крыши одного из домов, убил его наповал.

Казалось бы, всё было ясно — кто и зачем это сделали: Антонов и, может быть, Галкин боялись разоблачения. Но чекисты их не нашли дома: оба — и Антонов и Галкин — оказались большими любителями подледной рыбалки и уехали за город. В час убийства их видели на озере десятки человек. Данилов, узнав об этом, усмехнулся:

— Ловко они устроили себе алиби, вроде не подковнешься. Только кто же поверит, что после такой вострепки они так сразу и захотели свежей рыбки. Ах, сволочи!..

Бека и Ханина, о которых упомянул на пленуме Чубуков, не нашли. Очевидно, убийство было их делом, и они успели скрыться.

XX

Для людей молодых, если только они не праздны, три года — срок небольшой; к тому же в молодости не знают еще цену времени и торопят его, не боясь, что когда-нибудь будут вспоминать о прошедшем пусть с легкой, но грустью.

Курбатов, казалось, и не заметил, как прошли эти три года. Просто было немного странно, что однажды утром, проснувшись, он подумал: «А ведь сегодня мне двадцать пять»; странно было встретить на вокзале высокого парня, нет, мужчину, даже, пожалуй, элегантного мужчину, инженера Валентина Эрнестовича Кията — только такие явления и были для него приметой прошедших лет. Он не удивлялся тому, что Печаткино разрослось, что там было построено еще два завода, объединенные со старым в комбинат, и что упорно говорили о строительстве там тракторного гиганта. Не удивлялся он этому потому, что бывал там каждый месяц — то наскоками, то выбираясь к печаткинским комсомольцам «всерьез и надолго».

Ведь так всегда бывает: родители, каждый день видящие своего ребенка, обычно не замечают, как он растет...

За три года выросло и укрепилось у Курбатова и другое — то, что пришло к нему неожиданно в теплушке, возле окна, и было еще тогда неосознанной тягой, — любовь к Тане. Поначалу робкая и нерешитель-

ная, ему самому скорее напоминаящая просто желание побывать и поговорить с хорошим, умным и приятным человеком, — она оказалась сильнее, чем он сам мог об этом подозревать. Мало-помалу он начал замечать, что эта невысказанность ему мешает: что бы он ни делал, куда бы ни ехал, он не мог думать только о деле или только о поездке: беседуя с людьми, он вдруг ловил себя на том, что ему хочется, чтобы здесь была и Таня и чтобы он мог сказать ей что-нибудь — только затем, чтоб услышать ее ответ, ее голос. Когда один из членов бюро губкомла спросил его как-то, почему он, Курбатов, так внимательно следит за работой Наробраза, Курбатов вспыхнул и резко ответил, что народное образование должно быть всегда в центре внимания комсомольских организаций. Это была правда. Но Таня работала в Наробразе, и Курбатов — надо или не надо — часто наведывался туда или звонил даже по мелким, порой не заслуживающим такого пристального внимания делам.

Образ Клавы, заслоненный другим, потух, поблек, и старая боль уже больше не появлялась. Курбатов склонен был даже думать, что первая любовь и должна быть такой — мучительной в своем конце, но уходящей без следа.

Но Таня, казалось, не замечала ничего или, по свойственной девушкам манере, не хотела ничего замечать, великолепно зная, что происходит в душе Курбатова. Он ревновал ее, и это была тоже заметная ревность, буквально ко всему: к работе, к тому, что вечно она возилась с маленькими беспризорниками и любила их больше всего на свете, к тому, наконец, что на все его смущенные, а потому нерешительные просьбы пойти сегодня в кино, она неизменно отвечала «не могу» и приводила этому десятки самых убедительных оправданий.

Наконец Курбатов решил, что дальше так продолжаться не может. У него бывало состояние, когда ему казалось, что он задыхается. Такое состояние появлялось всё чаще и чаще, оно становилось мучительным. Как-то, еле дождавшись конца одного заседания, Курбатов вышел на улицу и, еще не зная, что он скажет, пошел к Тане домой.

Ее он не застал. Дома были только двое пареньков.

лет двенадцати — одни из сотен беспризорников, с которыми возилась Таня. Тихо войдя в квартиру (двери были открыты настежь), Курбатов услышал деловитые и вместе с тем необычайные мальчишеские голоса:

— Чинарик дашь?

— Факи.

— Зря обозвались Таньке.

Курбатов вошел, и ребята, вскочив, начали судорожно делать вид, что они — упаси боже! — не курили, а дым взялся неизвестно откуда.

Курбатов вспомнил, как сам начинал курить, и, расхохотавшись, сел.

— Смотри, рукав прожжешь, — заметил он одному из пареньков, который старательно прятал в рукаве окурки. Ребята, видимо поняв, что ничего страшного им не грозит, переглянулись и заулыбались.

Через пятнадцать минут Курбатов уже знал, что эти двое — из Пензы, удрали из «стайки» налетчиков-отымал, что «факи» значит «ну конечно», а «обозваться» — поклясться в чем-либо: они поклялись Тане не курить. На вопрос, как же они, эти двое, жили, ребята, снова переглянувшись, протянули вперед руки и запели высокими, срывающимися, хватающими за сердце голосами:

Ой, ты ноченька, ночка темная,
Погубила меня, молодца:
Этой ноченькой, ночью темною
Я зарезал родного отца.
И от ужаса преступления
Я над телом отцовским рыдал,
На колени встал, приготовился,
Но осечку мой маузер дал.
И теперь, за тюремной решеткою...

Вошла Таня, и ребята замолчали. Курбатов поднялся ей навстречу, охваченный одновременно и острой жалостью к этим двум хлопчикам с исковерканной судьбой, и любовью к ним, и невыразимой болью от сознания, что много еще таких ободранных пацанов ходит по всей России с протянутой рукой и заунывной, нивесть кем сочиненной песней о человеческих бедах.

Быть может, именно потому он не мог сказать Тане того, что хотел сказать, а посмотрев на ребят, дружелюбно попросил:

— Знаете что, пойдите, погуляйте, а? В кино зай-

дите, я вам денег дам... Только чур — без этих... Ясно? Таня молчала; она не воспротивилась этой просьбе Курбатова.

Когда ребята, сделав глупые лица, — хотя, конечно, они великолепно понимали, зачем их попросили уйти, и возможно подразумевали гораздо большее, чем было на самом деле, — ушли, Курбатов обернулся к Тане. Он с минуту глядел в ее глубокие, карие, с хитрыми золотистыми искорками глаза и, чувствуя, что бледнеет, шагнул к ней. Та решительность, с которой он сказал ей, что им пора быть вместе, что они (во всяком случае он) жить иначе не могут, не обманула девушку. Если б он начал сейчас говорить что-то обычное в таких случаях, вроде, что он любит ее — она бы могла и не поверить. Теперь, встрепенувшись, словно пытаясь возразить, она замерла, прислушиваясь, что он скажет ей. Но Курбатов, дотронувшись до Таниного плеча, тихо попросил:

— Ты подумай... Я долго думал об этом... Только ты... сразу скажи.

Тут он растерялся, всю его решительность как рукой сняло. И тогда Таня, приподнявшись, закинула ему за шею руки, прижалась к нему, пряча у него на груди лицо, и тихо, счастливо рассмеялась:

— Глупый... Давно... Глупый...

* * *

Данилов вызвал его неожиданно, в неурочный час — ранним утром. И, проходя по длинным коридорам обкома, Курбатов терялся в догадках относительно того, что случилось и почему секретарша Данилова, позвонившая в облкомол по телефону, добавила: «Очень срочно».

Данилов был взволнован. Обычно ровный и внешне спокойный человек, сейчас он ходил из угла в угол своего кабинета и, увидев Курбатова, даже не поздоровался с ним. Остановившись, он сказал ему как-то торжественно, не дожидаясь, пока тот пройдет в комнату:

— Начинаем проводить коллективизацию... Наконец-то... Будем раскулачивать мироедов, создавать новое — колхозы. Ты чуешь, какое время идет? Ах ты, какое время! Давно уже все об этом думали... Рево-

люция... Да, да, революция, — подхватил он эту, внезапно пришедшую мысль. — Всю деревню с головы на ноги поставить, а? Завтра пленум... Лучших большевиков пошлем в деревню. Рабочих пошлем. Ты учти, тебе тоже придется ехать, так что выбирай район.

— В Няндому, — набычившись, словно Данилов уже собирался возражать, ответил Курбатов. В памяти сразу же всплыли рыжее, искривленное злобой лицо Губца, тусклый блеск его ножа, ненавидящие, подернутые какой-то белесой пеленой глаза.

Немного успокоившись, Данилов, поглядывая на часы (члены бюро собирались медленно!), познакомит Курбатова с присланными из ЦК документами. Собственно, ничего нового в них не было: о начале коллективизации знали и говорили давно, к ней готовились, и документы ЦК были сейчас как приказ по армии о наступлении.

Курбатов в душе ликовал. Наконец-то сбывалось то, о чем он мечтал всякий раз, как только сталкивался с одним лишь словом «деревня».

Но когда они поговорили уже обо всем, Курбатов, нерешительно глядя на Данилова и не зная еще, удобно или неудобно начинать сейчас совсем другой разговор, всё-таки пробормотал:

— У меня, Григорий Иванович, к вам еще дело есть.

Данилов, с трудом оторвавшись от своих мыслей, внимательно наклонился к нему: это означало — я слушаю. Но так как Курбатов долго не мог начать, запутался в словах и начал нести под конец что-то уж во все неразборчивое, Данилов, облегченно откинувшись на спинку кресла, лукаво спросил:

— Так какое дело-то?

— Я хочу... Хочу посоветоваться с вами. Мне больше не с кем, а вопрос для меня серьезный... Лично для меня.

— Понятно. Ну, выкладывай, не смущайся.

— Я, Григорий Иванович... Я решил жениться, — проговорил Курбатов, причем последние слова он выкрикнул.

Лицо у Данилова не изменилось, только как будто бы взгляд его излучал еще больше доброты. Впрочем, тут же он построжал и стал таким, каким был всегда, когда речь шла о больших и серьезных делах:

— Жениться, говоришь? Дело-то серьезное, тут смаху нельзя, надо всё взвесить. Ведь я не думаю, что ты хочешь жениться, как сейчас иные женятся или замуж выходят. Поживут неделю, месяц, год и трах, бах — характерами не сошлись. Ведь семья есть первая, самая низовая ячейка нашего советского государства. Ты это должен особо понимать. Ты не просто жених, а уже государственный деятель, пускай хотя еще небольшой. Твой пример для других, таких, как ты, очень важен будет.

— Что вы, Григорий Иванович? Я всё обдумал... Я серьезно... Да и Таня не такая... Мы... любим друг друга, — сказал, всё еще волнуясь, Курбатов.

— Ну, это еще не резон. Влюбляться каждый может быстро, а вот любить... Любить — это значит доверять друг другу, уважать друг друга, вместе делить и горе и радости, помогать друг другу. Я говорю это к тому, что брак есть испытание человеческих чувств, обоюдных взглядов на жизнь, на труд, на мир вообще. Мы, большевики, за укрепление семьи, за здоровые отношения в браке. Я всё к тому это говорю, что знаю, как люди женятся по-разному. Кто из любви, иногда очень сильной. Кто по здравому смыслу, по осторожному голосу расчета. Иные женятся просто от скуки, от тоски, одиночества и оттого, что некому оторвавшуюся пуговицу пришить.

— Нет, я люблю Таню... и она меня! — уже засмеялся Курбатов.

— Ну, а на свадьбу я приду, — поднялся Данилов. — Вроде посаженного отца буду. Пригласишь или, может, нет? Да ты не смущайся, стариков нынче молодежь не очень-то жалуется... Только предупреди жену, что работа у тебя... трудная и что скоро придется уехать... Быть может, надолго.

Курбатов ушел от него с необычайным ощущением чего-то светлого и большого, что уже прочно, раз и навсегда, вошло в его жизнь. Еще не зная, как отнесется Таня к известию о его отъезде, он скорее догадывался, чем понимал, что она не огорчится, не упрекнет ни в чем...

Революция... Курбатов вспомнил это слово, сказанное Даниловым, и с удивлением прислушался к нему: да, революция, и он, Курбатов, будет ее участником,

потому что эту революцию делает его партия, а для него самого иной судьбы нет...

* * *

На пленуме крайкома Курбатов был вместе с Даниловым. Вопрос обсуждался один: «О темпах сплошной коллективизации и о ликвидации на ее основе кулачества как класса». В постановлении пленума проектировалось создание в крае колхозов-гигантов, предлагалось обобществить весь крупный и мелкий скот, птицу... На совещании членов бюро обкомов, созванном сразу после пленума, Курбатов не выдержал и спросил у секретаря краевого комитета партии Баранова:

— Куда мы будем девать раскулаченных?

Баранов ответил быстро и резко:

— Не твое дело о кулаке заботиться. Ты мне поедешь колхоз-гигант создавать.

На обратном пути Данилов хмурился, молчал, думал, а уже прощаясь с Курбатовым, сказал, усмехнувшись:

— Крутенок-то, оказывается, секретарь... Из молодых, да ранний.

И не понять было, сказал ли это Данилов с упреком или удивлением.

Таня не смогла проводить Курбатова: она отправляла партию колонистов, и прощание было поспешным, сумбурным и немногословным. Курбатов увёз с собой пленительный, кружащий голову взгляд, ощущение долгого поцелуя и сказанные шепотом ласковые, идущие откуда-то из самых глубин души, слова: «Береги себя...» Сидя в поезде и прислушиваясь к перестуку колес, он поймал себя на том, что снова думает о Тане, но уже не так, как думал прежде, а с тихой нежностью удовлетворенного своей любовью человека. Он еще несколько раз повторил про себя непривычные слова «моя жена» и, улыбнувшись, начал думать о другом — о том, как удивятся ребята, увидев его в Няндоме.

Он ошибся. Ни Карпыча, ни Алеши Попова, ни Рябова в Няндоме не было, Лукьянов уехал в глубь округа. После долгих расспросов Курбатову удалось установить, что в Лемжу уехал Карпыч: «Ах, чёрт какой, надо ему было ехать именно туда...» Курбатов досадо-

вал, не отдавая себе отчета в том, что досадует не потому, что Карпыч уехал, а что уехал он именно в Лемжу, куда первым делом хотел ехать Курбатов. Из-за этого он торопился, торопливо договорился в окружном суде о том, что ему дадут до Лемжи лошадей, и так же торопливо пошел в Дом крестьянина — писать новые письма.

Но, оставшись один, он лег на кровать, закрыл глаза, и неотвязные мысли снова полезли в голову — те, которые пришли к нему еще там, на пленуме, и на которые он не мог пока получить или сам хотя бы найти ответ.

Думалось ему об одном. Да, время коллективизации назрело. Иначе жить страна не может — не может иметь высокоразвитую промышленность социалистического типа и рядом — мелкотоварное хозяйство в деревне. Всё это так. Верно, что коллективизация должна подкрепляться не только организационно, но и технически. Организационно — много неясно: задача поставлена — колхоз-гигант. Нет еще никаких указаний о нормах, об оплате труда, о колхозных фондах, нет типового устава сельскохозяйственной артели. И практически — не ясно: что же, придется пока обходиться старой «техникой» — лошадьми?

Возможно, эти мысли не были бы такими навязчивыми, если бы не существовало той спешки, с которой делалось всё, спешки, которую Курбатов не любил, полагая, что в ней всё получится хуже, чем можно было бы сделать.

Но он поддался уже этой спешке — потому, что хотелось скорее столкнуться с глазу на глаз с Рубцом и такими же, как он, и наконец-то решительно смести его всей силой ненависти, скопившейся за годы.

От мыслей его оторвал четкий стук в дверь. Курбатов поморщился: сейчас, когда ребят здесь не было, ему не хотелось никого видеть.

— Войдите, — неохотно крикнул он.

Дверь открылась, и в нее боком просунулся мужик, тощий, низкорослый, о каких говорят «мешком ударенный». Еще в коридоре он стянул с головы шапку, и Курбатов с удивлением разглядывал голую голову с тонким, почти детским пушком над ушами. Только реденькая рыжая бородашка украшала его лицо.

Ты уж извини меня, товарищ полномоченный, пискливо и быстро заговорил он. — Меня на это время к тебе приставили. А дело такое: вызвал меня приседатель Александра Василич и говорит: ты, говорит, Пахом, отчаянный мужик и деревню знаешь. Ойтить же из Лемжи родом. Так что я смело тебя к нашему дорогому товарищу полномоченному приставляю, и ты, говорит, в случае чего помогай ему... Так вот я и есть кучер исполкому....

Курбатова неожиданно насмешила эта тирада, скапанная единым духом, тем знакомым и милым северным говорком, который никогда не надоест.

— Что ж, давайте знакомиться... Как вас — Пахом, Пахом...

— Лукичем кличут. Так, я значит, нащот лошадей пришел спросить: как ехать-то изволите — верхами или в тарантасе?

— А ты, дед, как думаешь?

— Да по мне што... Только в тарантасе для коней припасу взять можно.

— Хорошо, поедем в тарантасе.

Пахом обрадовался, очевидно, отдавая дань разумности и некапризности начальства, и, посулив запрячь коренником «Стервеца», присел на краешек стула с таким видом, что, мол, я могу и встать, если начальству неприятно, что сижу в его присутствии.

Курбатов, всё еще с любопытством разглядывая кучера, улыбался. Тот, приняв эту улыбку на счет своей внешности, предупреждающе поднял руку:

— Так что не сумлевайтесь, меня к вам не зря приставили... У кого хошь спросите, какой я отчаянный... Верно, на вид я и глиста, а лонись рельцы новые на перегоне укладывали, так я один на один штуку тянул, когда, поди, другие вдесятером кряхтели...

Вечером Курбатов выехал в Лемжу. Он вспоминал, как ехал туда же с неразговорчивым возницей и как потом разговорил его. На этот раз возница был другой, и Курбатов не знал, как его остановить. Пахом был словоохотлив. Сидя не на облучке, а рядом с ним, в тарантасе, он то плел про свою службу в Питере денщиком у какого-то полковника, то вдруг поворачивался к Курбатову:

— Ты, товарищ полномоченный, дозвошь мне Руб-

ца да Бахвалова раскулачить. Я ж у них, стервецов в работниках ходил, как есть с зари до зари спина гнул, они у меня, конкретно, всю душу выпили. Я у них, гадам, всё припомню. Я, можно сказать, один раз в жисть себя человеком почувствовал, да и то, когда попом был.

Курбатов, изумленно поглядев на него, спросил всё таки недоверчиво.

— Как это — попом?

— Да так, — ответил Пахом, словно сам удивляясь тому, что с ним произошло. — Дело так было. Серость тогда и неграмотность совсем деревню заели... Ну, и бога-то, значит, все верили, а церковь не действовала: попа за агитацию против советской власти в исправдом посадили. Дьякон остался, а попа нет. Ну, а я, надо вам сказать, всю воскресную обедню наизусть знал, не хуже попа.

Жена моя портнихой была, много к ней заказчиц ходило, деревенских баб да девок. Жена-то и проговорила, что я-де обедню, значит, знаю... После этого деревенские бабы и пристали ко мне: отслужи да отслужи. Я это вначале отбивался от них, дуры, говорю, вы. Конечно, обличем своим и похож я на попа и обедню знаю, это точно. Только ведь в сан-то я не посвящен да и рясы у меня нет. Что, говорю я, в портках на выпуск да в пиджаке служить-то буду. Смехота ведь, говорю. Понимать надо, о чем просите-то. Всё же отбиться не мог. Ничего не помогает. Одна шустрая бабенка мне и говорит: «Один-то раз и без посвящения в сан отслужить можно. А ряса — что? Она тебе и не нужна. Ты в ризе служить будешь». Я опять говорю: «Ну, что вы, дуры, как это так можно. Риза-то, говорю, только зад прикроет, а ведь перед-то весь полый, из под него всё мое обличие видно». Одна из баб и говорит: «Ничего, мы тебе юбку черную наденем. Она за рясу и сойдет, из-под ризы не видно. А грудь-то ризой всё едино будет прикрыта». С этим и остальные согласились и вот, значит, уговорили меня. Известно — бабы: они кого хошь уговорят.

Подошло и воскресенье. Расчесал я утром, смазал деревянным маслом волосы (Курбатов еле сдержался, чтобы не фыркнуть, посмотрев на пушок у Пахома над ушами), примерил юбку, что бабы принесли. Длин

монета была, да, думаю, — ничего, сойдет. Завязал я ее в узелок и пошел в церковь. Правда, оторопь меня брала, страшновато было, да уж отказаться-то нельзя... Попомарь еще глаза не успел продрать, а уж что ошальстый звонил в колокола на всю округу. Звон далеко слышно. Своих-то, деревенских, я не боялся, да ведь к обедне в церкву шли и из других деревень.

Стал я, значит, готовиться. Надел юбку, застегнул ее на крючки. Ризу надел. Вроде всё и ничего. Правда, хвост от юбки немного по полу волочится, будь ты пеладна!

Из-за этого-то всё и приключилось. Пошел это я с крестом кадить в народ, махаю кадилом. Дьякон, черт рыжий, и наступил мне на юбкин хвост, крючки и лопнули. Лопнули крючки — и юбка свалилась. Я, правда, не растерялся — подобрал юбку и сунул ее под ризу. И вид, говорят, у меня такой был, точно ничего не произошло. Конечно, многие это видели. А потом без юбки-то из-под ризы весь мой костюм видно. Брюки в плосочку со складочкой. Конечно, которые не наши, деревенские, зашумели и стали обидные для меня слова произносить: «Леший, говорят, какой-то, а не поп. Что это он, прощальга, над леригией глумляется? В церкву ряженым пришел. Из-под ризы-то не поповские портки да гамашки видно. Какой же это поп?»

Обидно было слышать, но всё еще ничего. Дальше хуже получилось. Дьякон этот, чёрт рыжегривый, причастье готовил. Готовит он причастье, а церковного вина, значит, у него и не хватает. Так он, не спросив, бухнул в причастье чистой водки. Значит, не причастье, а ерш получился. Я-то, конечно, всего этого не знал.

Причащаю я это православных христиан и вижу, что бабы чего-то морщатся, а детишки — так те поперхиваются и кашляют. Вот подходит под причастье кум мой. Ехидной такой мужичонко был. Дал я ему причастье, а он проглотил, да и крякнул. Громко так крякнул. А потом и говорит:

— Ох ты, и причастье сегодня! Дюже чего-то крепкая стала кровь Христова. Рыжичком бы ее соленым закусить. Уж ты, поп, в следующий раз рыжичков вынеси на тарелке.

Я и думаю — что за черт? Взял да и попробовал

сам. И верно — чисто водка. Дьякон тут рядом стоял я шепотом и матюкнул его: «Что же ты, сучий сын, с причастьем-то сделал?» Дьякон мне и отвечает: «А ты не сучись. Я еще после обедни с тебя деньги за водку взыщу. Ты бы, говорит, прежде чем служить, посмотрел, всё ли у нас для обедни есть. Я только на донышке бутылки кагору-то нашел. Слышу, что ты обедню закругляешь и о причастье рассуждаешь. А народу-то эвон сколько! Я свою полбутылку водки сюда вбухал да еще у старосты полбутылки взял. Кагором-то только покрасили да еще воды малость ленул, а то бы и этого не хватило. А ты, говорит, леший неласканый, еще сучить меня вздумал». И тоже матюкнул меня, да громко так.

Тетка, что причащалась, услышала это, с перепугу подобрала свои юбки да ходу из церкви. Спешит к выходу да оглядывается. А другая старуха — видно, ехидная такая — громко и заговорила: «Ироды вы нечестивые, что это вы перед алтарем-то матюкаетесь! Что вам, шинок здесь или трахтир какой? Смотрите, адисты, даже лики святых, глядячи на вас, скособочились. Ужо подождите! Вот выйдите только из церкви!».

После обедни мы с дьяконом поделились выручкой да остаток причастья выпили. Вот тогда я себя человеком и почувствовал: на ту выручку в город и уехал. А жену на земле оставил — жалко совсем-то от земли себя отрывать. Ты, товарищ хороший, теперь сам расскажи, как с землей у нас будет...

Курбатов ответил ему не сразу. Этот вроде бы смешной рассказ неожиданно предстал перед ним совсем в другом свете. Пахом, казалось, сам не догадывался о том, что правда, которую он только что рассказал, была не смешной, а страшной. Курбатов увидел другое — маленькое, скупое, скудное, нищее человеческое счастье, пришедшее по воле дурацкого случая. Только так, собрав деньги с прихожан, смог уйти этот мужик от Рубца и, конечно, уйдя, снова мечтает о земле, о том, чтобы опять тронуть ее своей квадратной, с короткими красными пальцами и потрескавшимися ногтями рукой.

Пока он говорил ему о коллективизации, Пахом одобрительно качал головой, время от времени взма-

и привел веревочным кнутом. Потом, когда Курбатов замолчал, кучер повернул к нему свое узкое, в крупных и грубых морщинах лицо и с уважением сказал:

Верная это затея. Ты, полномоченный, полагайся на меня. Я за твое дело костей своих не пожалею. — И добавил, уже с чувством собственного достоинства, но пытаясь казаться равнодушным: — Верно только вот... отчаянный я.

Показалась Лемжа.

XXI

Убогие, почерневшие от времени домишки, серые соломенные крыши, серые заборы, серые колодцы, дворы... Уже однажды поразивший Курбатова отпечаток серости лежал здесь на всём, словно ничего не изменилось за прошедшие годы. Но так было только на первый взгляд. Вдруг на стене старой, бог весть когда выстроенной избы он видел вывеску — «Изва-читальня», на другой — аршинными буквами объявление о собрании в сельсовете, о новой кинокартине, и это были приметы нового, те, которые приводились в пример на различных совещаниях, пленумах и конференциях.

По-видимому, Карпыч был в сельсовете, и Курбатов попросил везти его туда.

— Поздно уже. Ты не смотри, что ночь светлая. Спит народ уже, так что в самый раз спать ехать.

Курбатов согласился, и Пахом, остановив тарантас возле своего дома, пригласил Курбатова в избу, а сам, не поднимаясь на крыльцо, задумчиво пробормотал:

— Пойду, пожалуй, по соседям.

Жена Пахома — такая же маленькая и тщедушная женщина, с белыми поджатыми губами, — проводила Курбатова на поветь. Но прежде чем уйти и лечь спать, он долго еще стоял, слушал, как спит деревня, только легкий ветер шуршит в листве, да где-то далеко лениво, нехотя погромыхивает гром. С повети доносились сухие запахи сена, полевых цветов.

Он заснул сразу же, а проснулся оттого, что кто-то ходил по повети. Было уже утро, солнце врывалось через широкие щели золотыми полосами, и в лучах вверх и вниз вились пылинки, вились и исчезали, попадая в тень, словно растворяясь в ней. «Проспал», —

тоскливо ахнул Курбатов, садясь и забывая о том, что его разбудило.

Двое мужиков волочили под руки Пахома. Он со стоном опустился на пол и начал часто икать.

— Что с тобой, Лукич? — встревоженно спросил Курбатов. Тот не ответил, один из мужиков поднял голову и спокойно сказал:

— Так что, товарищ полномоченный, деда-то Загнеткина бабы здорово потрепали.

— Как потрепали? За что?

— Да так вот, — неожиданно оживился Пахом, морщась от боли. — Смотрю утром: народ в сельсовет идет, ну, и я туда. А там, значит, баб нащот колхозной жизни собрали.

— Ты помолчи, Пахом, — оборвал его один из мужиков. — Может, говорить тебе сейчас вредно, а я сейчас доложу товарищу полномочному, как дело было... Пришел, значит, Пахом в Совет, а там собрание... Бабы собрались... Докладчик Иван Карпыч пришел, а председателя Совета всё нет. Ну, Пахом это прямо к столу прется и с докладчиком вместе — за стол. Чего-то пошептались они, а потом Пахом встает и говорит. «Как есть я, говорит, вместе с товарищем полномоченным приехал, он, значит, препоручил мне это собрание». Тут он для слова докладчику речь предоставил. Сказал это свою речь докладчик и сел на место. Тут встает Пахом да и говорит: «А теперь, гражданочки, мы дебаты о новой колхозной жизни устроим». Бабы наши, конечно, городских-то слов не понимают, — мало ли что на дебаты подумали, ну, известно, загалдели они все сразу, закричали на Пахома. Он их ругать, перечить им стал и опять про дебаты спрашивает. Тут Стешка наша орет ему: «Чего ты охальничаешь, кочерыжка старая. Сам, говорит, в землю смотрит, а туда же...».

Тут Пахом разъяснять им стал: «Дебаты, говорит, гражданки, это всё равно, што прения: кто, говорит, хочет из вас до новой жизни притолкнуться».

Тут Соколиха, язвенная баба, подходит к столу, подняла сзади подол да и говорит Пахому: «На, дескать, притолкнись». А Пахом-то возьми и тресни ее кнутовищем, по голому-то... Вот и сшалели бабы.

Курбатов, еле сдерживая смех, подошел к Пахому,

но тот уже, покряхтивая, поднимался сам, растирая бока и впалую грудь:

— Ничего... Отбили мужики-то... Только я вам одно, товарищ полномоченный, доложу: несознанный они народ, бабы. Ну, чисто дети какие. Никаких выгод себе не понимают, пока по голому кнутом не распишешься.

— Попробуем без кнута, — еле сказал Курбатов, выскакивая на улицу. Смех его душил, он сдерживал себя уже из последних сил.

Но сразу же уйти ему не удалось. Жена Пахома, угрюмо стоявшая у забора, потащила его в избу — пить чай, и, как он ни отнекивался, она просто вцепилась ему в рукав своими сухими, жилистыми руками: пришлось идти, прислушиваясь к голосам, доносящимся из деревни.

Пока он торопливо пил чай, женщина сидела напротив него, кулаками подперев шелушащиеся щеки:

— Вот я о чем скажу тебе, гражданин хороший: чисто свихнулся старик-то мой. Как приехал из города, всё какие-то мудреные и непонятные слова говорит. «Я, грит, тапереча канкретно с тын... с тын... с тынденцей какой-то живу», в городе-то это значит. Пойми ты, каково мне это слушать! Ему ведь скоро семьдесят годов, а потом имя-то какое-то у бабы не христианское. Хорошо, если эта тынденция не вертихвостка, а, может, она и хуже того. Прямо шалопутничать стал старик мой. Правда, он и ране шалопут был.

Курбатов не выдержал и засмеялся. Не ответив на вопрос старухи, он спросил, чтобы хоть чем-нибудь замять этот разговор:

— Где сейчас Егор Русанов, не знаете? И Ясин еще...

Женщина нехотя разжала белые губы:

— Да вот Егорку-то вчера и окулачили. Главный из Няндомы и окулачил.

— Карпыч? — удивленно спросил Курбатов, чувствуя, как бледнеет.

— Нет. Главный-то там Савин. Может, знаете, председатель ЕПО у нас был, Евлаха? — Курбатов вспомнил маленькие, клюквенные глазки сюсюкающего человека. — Так вот его сынок. Сам-то Евлаха после Рубца вторым лавочником в Лемже стал... Да куда вы?

Курбатов, наскоро поблагодарив, выбежал из избы. Улица была пуста, и только в конце толпился народ. Он еще сдерживался, чтобы не побежать, понимал, что подойти надо к людям спокойно, деловито и сказать что-то такое, от чего люди сразу бы расположились к нему.

Еще издали он увидел шалаш напротив русановского дома, а возле шалаша — плачущих женщин и детей. Он не выдержал и пошел быстрее.

От толпы отделились двое: в одном из них Курбатов сразу узнал Карпыча. Другой — высокий, размахивающий руками, обогнал Карпыча и пошел навстречу Курбатову с радушной, безмятежной улыбкой:

— А, приехали... Мы вас будить не хотели. Савин, из окружкома.

Карпыч, подойдя к Курбатову, засопел, облапил его и, тиснув пару раз, отпустил, почему-то краснея.

— Ну, вот и... хорошо, — буркнул он, отворачиваясь.

Савин уже торопил Курбатова:

— Идемте, идемте, дел неспорно. Вон одну миродскую семью уже раскулачили, сейчас дальше пойдём...

Курбатов подошел к шалашу. Перед ним, бессильно опустив руки, стояла жена Русанова — Устя; двое ребят в рубашонках орали, вцепившись в ее юбку, размазывая кулачками слезы и сопельки.

— Устя, где Егор? — тихо спросил Курбатов.

— Там, — ответила она, не двинувшись, и Курбатов понял, что «там» — это в шалаше, потому что шалаш был теперь их домом, взамен того, который стоял напротив и в котором сейчас ходили — это было видно через окна — какие-то люди.

Он не побежал — он прыгнул к шалашу. Егор сидел на деревянном чурбане, спиной ко входу, закрыв руками лицо, и плечи у него мелко дрожали. Курбатову редко приходилось видеть, как плачут мужчины, и ему стало жутко. Он дотронулся до трясущегося плеча и позвал:

— Егор... Русанов, это я... Ну, прекрати, хватит..

Когда Русанов обернулся, Курбатов не поверил себе. Это был старый, согнувшийся человек, разбитый, безвольный, ничего не понимающий, что с ним проис-

ходит, или, вернее, понимающий одно — то, что жизнь уже кончена и нет такой силы, которая могла бы помешать несправедливости.

— Как же это... — выдохнул Курбатов. — Егор, да скажи ты... Как это всё... Почему?

— Да так, — не узнавая Курбатова, ответил тот. — Чего уж...

Присмотревшись, он изумленно провел жесткими ладонями по воспаленным глазам и встал:

— Это ты? Ах, ты... Яша... Милый, как хорошо... Ах ты, господи... — забормотал он. Курбатов, надавив ему на плечо, снова посадил его на чурбан и потребовал:

— Рассказывай!

— Ах ты, — всё бормотал Русанов. — Чего ж рассказывать-то... Окулачили. Верно, прошлый год в страду держал батрачку, было это... Так ведь наравнях работали... А как было не держать. Раненый я... Устю в город свез, в больницу... А тут косить, жать надо... Да еще детишков двое у меня — не котята, не кинешь... Вот за то и в кулаки попал... Ты спроси, у батрачки-то... Как родная у меня живет... Всё пополам...

Он снова закрыл руками лицо. Курбатов, с трудом разомкнув сведенные яростью челюсти, вышел на улицу. Савин и Карпыч ждали его там, а Устя, как стояла, так и оставалась стоять...

Курбатов, перейдя улицу, толкнул дверь в палисадник и пошел к дому. Савин побежал за ним. Уже на крыльце он торопливо объяснил, что здесь будет правление колхоза, и, когда Курбатов, стоя наверху, обернулся к нему, Савин, дружелюбно улыбнувшись, спросил:

— Верно придумано?

— Вы кто такой? — тихо спросил Курбатов, не замечая, что те, кто стоял на улице, пошли сейчас за ним и остановились, когда остановился он.

— Кто? Я? — полуудивленно, полубиженно спросил Савин. — Как это «кто»? Представитель округа... Няндомского. Мандат есть, могу показать.

— Сволочь ты, — так же тихо сказал Курбатов. — Понял? Сволочь.

Схватив Савина за лацканы пиджака, он легко стряхнул его со ступенек, прямо в объятия Карпыча.

Тот, поставив Савина на ноги, в свой черед толкнул его дальше и, тяжело поднимаясь по ступенькам, пробурчал:

— Я то же самое ему говорил... Покрепче только... Письмо в окружком уже послал. Убрать его отсюда, что ли.

Курбатов не слышал его. Люди расступились, пропуская вперед Устю с ребятами. Ребята шли притихшие, испуганные и вместе с тем любопытно поглядывающие по сторонам.

Устя вошла в сени; Курбатов слышал, как она хлопнула дверь в горницу; из-за окна донесся ее недовольный голос:

— Наследили-то как, господи... Да отцепитесь вы от меня, ошалелые, — не видите, прибираться надо.

Все молчали, а Курбатов, медленно спускаясь с крыльца, думал, что это только начало, и будет трудно, очень трудно.

* * *

Жить Курбатов остался в русановской избе вместе с Карпычем. Хозяин, еще не веривший в свое счастье, не знал, куда посадить его и что для него сделать. Савина Курбатов из Лемжи выгнал: тот, пригрозив напоследок всеми карами и взысканиями, какие только были в Уставе партии, уехал, и Курбатов, отправив письмо о случившемся Данилову, решил остаться здесь надолго, а по соседним деревням ездить время от времени, благо Пахом был под рукой.

На собрании группы бедноты Курбатов — для того, чтобы лишний раз проверить правильность сделанного, — поставил вопрос о неправильном раскулачивании Егора Русанова. Собрание его поддержало: Егора знали и любили и только не могли взять в толк, почему он сам ушел с должности председателя сельсовета.

— Из-за вас же и ушел, — ответил Егор. — Гонялся за налогами да страховкой... Опять же за самогонщиками... Дома-то работать некому, хозяйство в упадок пошло.

Курбатов так и ахнул: год жили без председателя, без советской власти!

— Ну, не совсем так... Печать приложить или справку какую дать — это я делал, — смущенно ото-

пнулся Егор, поняв, что совершил ошибку и, как знать, возможно за нее придется еще расплачиваться.

Сейчас он делал всё торопливо: один из первых подал заявление о приеме в колхоз, махнул рукой на хозяйство, предоставив его жене и батрачке, которую и батрачкой-то нельзя было назвать: девушка жила у Русанова действительно как родная, пользуясь всем, что было у него в доме. Впрочем, и Устя и Нюша тоже подали заявления.

Русанов, будто наверстывая упущенное, дневал и ночевал в сельсовете, проводил вместе с Карпычем собрания, ходил по домам, кого-то уговаривая, кому-то доказывая, с кем-то ссорился. Курбатов время от времени поглядывал на него веселыми, хитроватыми глазами.

Но пора было приниматься и за Рубца и за Бахвалова: собранием бедноты было решено раскулачить их в первую очередь. Ни того, ни другого Курбатов еще не видел: Бахвалов жил на хуторе, а Рубец на улицу не выходил не только сам, но и запретил показываться кому-либо из семьи...

Настроение у Курбатова упало, когда нарочный из Няномы доставил ему письмо. Писал Данилов. Пробежав первые строчки, Курбатов поежился: слова были резкие и беспощадные:

«... Тебя послали в округ, а не в Лемжу. Учти, что в деревнях, как сообщает Лукьянов, режут скот. Обрати первое внимание на это, а уж потом на раскулачивание — если не можешь обращать внимание на то и другое одновременно. Громить же кулака должны все, а не ты один — тоже учти. Если всем миром на него не навалиться — значит, загубить дело. А ты единолично решаешь вопросы. Мне Савин доложил. Проведи собрание бедноты, пусть она решит — следовало раскулачивать Русанова или нет. В следующий раз за самоуправство не только снимем, но и обсудим на бюро...

Короче говоря, помни не только о том, что ты делаешь и как делаешь. Помни и о том, что каждую твою ошибку будем рассматривать круто. Сейчас каждая ошибка — нож острый».

Курбатов, несмотря на то, что вопрос о Русанове решен коллективно, всё-таки не мог возразить Данилову ничего: надо было ехать. Но, тем не менее, он решил

остаться еще на один день — на тот день, когда будут раскулачивать Рубца. И Курбатов — коль скоро это было в его силах — поторапливал события.

... Утро выдалось на редкость ясное; высоко в небе, как огромные рыбы в тихой речной заводи, стояли вытянутые неподвижные облака, и не видимое еще с земли солнце уже играло в них, переливалось, отсвечивая по краям ровным розовым цветом.

Даже не верилось, что под этим тихим и ласковым небом, под этими замершими в безветрии облаками, и именно сейчас, в это ясное утро, когда птицы с бронзовых верхушек деревьев многогласно приветствуют зарю, происходит то, о чем мечтали многие поколения мужиков — нищих, темных, забитых, голодных.

В группу, которая шла раскулачивать Рубца, втерся Пахом. Он шел впереди всех, как мельница размахивая руками и крича, что дом Рубца надо вообще раскатать по бревнышку, а его самого, Рубца то есть, пустить в расход, потому что такая гнида всё равно устроится и будет жить по-своему.

У Курбатова он потребовал, чтобы ему выдали наган, потому что хоть он, Пахом, и отчаянный («У кого хошь спроси»), но нерезонно лезть с колом против берданов Рубца, а у него берданов три. Нагана ему Курбатов не дал, но, скрывая смех, посоветовал:

— Ты бы не ходил, Лукич. Нам с тобой вечером ехать надо, а, глядишь, тебе остатки бороды выдерут.

Лукич рассердился и пошел просто так.

Карпыч и Курбатов шли сзади всех. Оба молчали. Первым заговорил Карпыч:

— А знаешь... Вот иду и волнуюсь...

— Чего ж волноваться-то? Тебе волноваться нельзя, Карпыч. Я уеду — ты здесь один останешься. Одну ошибку сделаешь — партийным судом судить будут.

— Это я знаю... А вот всё равно волнуюсь. Потому волнуюсь, что не знаю еще, как вести себя буду... Ты, в случае чего, придержи меня... С Рубцом-то у меня старые счета.

Курбатов рассмеялся, откидывая голову:

— Ты попроси его угостить тебя... из твоей же братины.

Тебе всё смешки, — недовольно проворчал Карпыч. — Чего это там твой кучер орет?

Курбатов прислушался. Идущий впереди Пахом, размахивая руками, остановился возле рубцовского дома и, повернувшись, кричал:

— Мне, мне доверьте... Чую, суждено мне всё на этих плечах вынести.

Видимо, в доме их уже ждали. Тимоха Рубец, в одной майке, колот на дворе поленья, мягко играя тяжелым колуном. Он даже не поглядел на Пахома; когда тот, осторожно приоткрыв калитку, вошел в палисад, Тимоха, яростно рубанув толстое полено, бросил колун и поднялся в дом. Пахом, отскочив в сторону, споткнулся и упал: ему показалось, что Тимоха метнул в него колуном. Падая, Пахом в кровь разодрал себе руку о забор и теперь, мелко дрожа, обращался то к одному крестьянину, то к другому:

— Видали? Видали, а? Ка-ак он в меня... Подтвердите перед полномоченным, что первые-то удары я на себя принял, что если б не я...

— Молчал бы, брехун... — сказал кто-то.

Вместе со всеми Курбатов вошел в избу и вздрогнул. Светила возле образов лампада. Под образами, в мягком кресле, обтянутом малиновым бархатом, сидел Рубец, недавно выпущенный из тюрьмы, где он сидел за нападение на Курбатова. Рубец сидел и, сдвинув очки на нос, читал учебник по политграмоте Коваленко; он отложил его нехотя, будто досадуя, что ему мешали каким-то назойливым, но мелким и не заслуживающим его внимания делом.

— Раскулачивать пришли? — спокойно спросил он, не вставая. — Что ж, власть теперь ваша и сила ваша, открыто грабить можно.

Один из бедняков, Назар Новый, ответил ему так же спокойно, но с довольной усмешкой:

— А мы не грабить пришли, а выполнять постановление собрания бедноты.

— Кого-о? — протянул так же насмешливо Рубец. Курбатов только удивился его выдержке. — Бедноты, говоришь? Это голи-то перекатной? Нет, дядя, если бы власть вам таких прав не дала да вот этих двух (он быстро кивнул на Курбатова и Карпыча) не было, так вы бы ко мне еще с поклоном пришли. Поди, ведь

если я сопротивляться буду, то вы еще милиционеры призовете... Вот то-то и оно! Ну што ж, приступайте. С богом, как говорится.

И он широко, истово перекрестился на тусклые облака.

Бедняки, пришедшие сюда, чувствовали себя смущенно — топтались на месте, оглядывали сундуки, пузатый комод, шкаф... Пришлось вмешаться Карпычу. Вытащив из кармана замусоленную тетрадку и огрызок карандаша, он басовито сказал:

— Что ж, начнем с описи, благо хозяин разрешает.

Тимоха Рубец безучастно сидел на лавке и, наклонив голову, перебирал лады своей гармошки. Казалось, его ничего на свете не интересует, кроме этих звуков, свободно вырывающихся из-под пальцев. И когда Назар Новый, подойдя к нему, положил на гармошку руку, Тимоха спокойно, даже лениво поднялся, положил инструмент на лавку и, коротко развернувшись, сбил Назара с ног страшным ударом.

— Дурак, — равнодушно заметил из своего кресла отец. Он даже не пошевелинулся, когда Тихоме скрутили руки и вывели из избы.

Вдруг в светелке за перегородкой раздался отчаянный, полный смертельной тоски женский вой. Курбатов, рванув из кармана наган, прыгнул к дверям и открыл их носком сапога: там, в каком-то диком клубке катались по полу трое. На секунду мелькнуло искаженное лицо жены Рубца, затем другое — его дочери, и бледное, но торжественное лицо Пахома. Женщины выли, а Пахом, тяжело дыша, катал их на себе по полу, норовя забраться за ворот то к одной, то к другой.

Курбатов, подскочив, раскидал всех троих в стороны. Женщины не поднимались, продолжая выть, а Пахом резво вскочив, снова бросился к жене Рубца:

— А-а, стерва!..

Курбатов еле оттащил его и припер к стенке. Ему помогли мужики, и, когда отчаянно ругающийся на чем свет стоит Лукич обрел снова дар речи, то есть мог снова говорить не матюгом, а простыми человеческими словами, — всё стало понятно.

— Растяпы вы... Да их держите, а не меня... Ох,

растяпы!.. Никакой у вас тенденции нет. Ты посмотри, товарищ полномоченный, что у них за воротом-то, посмотри...

Чай, не маленький, и так знает, — заметил кто-то.

— Юрод несознательный, — огрызнулся Пахом. — И то первые удары на себя принял... А когда опись проводить стали — черта вы знали, какое у него имущество. А я знаю, с какой тенденцией Рубец жил, конкретно у него несколько часов с цепками было... И опять же сахарница драгоценная, серебряная... Я-то у него работал, знаю, потому что отчаянный... А тут смотрю — часиков-то да сахарницы нет. Захожу это я в горенку к бабам, встал так у дверей, а тут эта девка рубцовская пришла... Я и слышу у нее за воротом звон какой-то... Врешь, думаю, я ученый да отчаянный, знаю, где рубцовские часики и сахарница. Ишь ты, куда запихали!.. У, стервы кулацкие!

Бабы снова завывли, божась, что никаких часов у них нет, а Пахом лез к ним просто так, из озорства. Дед рассвирепел. Яростно выругавшись, он выпучил глаза, стараясь найти какие-то необычайные, насмерть уничтожающие слова — и, наконец, нашел их:

— Я когда у полковника в городе в денщиках жил, с графинями, может быть, лапался. А тут, с этим дерьмом... Тьфу!

* * *

Вечером в сельсовете Курбатову дали сводку о переписи скота в Лемже. Оказалось, что за несколько дней было забито больше половины коров, свиней и овец. Карпыч, заглядывая в сводку через плечо Курбатова, сопел, и Курбатов понимал его: ему ведь оставаться, а что сделаешь, когда скот бьют направо-налево, лишь бы только не вести его в общий хлев.. И у Курбатова не было никаких слов, которые могли бы помочь Карпычу. «Плохо разъяснили людям, — подумалось ему. — Не поняли... Душой не почувствовали».

И хотя люди в колхоз уже шли; хотя на столе у Егора Русанова уже лежала стопка заявлений, и он, получая новое, перекладывал каждый раз свое заявление наверх, этого было мало: крайком требовал, чтобы в колхозы были записаны все, кроме кулаков, разумеется. А все не шли, и когда Курбатов, простившись на

несколько дней с Карпычем и Русановым, сел в тарантас, из-за одного забора молча вылетело какое-то страшное безголовое чудовище, стукнулось о дерево и свалилось, разбрызгивая кровь: в соседнем дворе кто-то неумело рубанул петуха голову.

Карпыч, выругавшись, бросился туда, но Курбатов остановил его:

— Что, кричать будешь? Хозяин тебе скажет, — на суп кочета порешил. А ты докажи... Докажи, понял?

— Понял, — угрюмо буркнул Карпыч. Внезапно он поднял на Курбатова светлые, невидящие глаза: — Только... Как хочешь, суди, но я еще посмотрю... Может, и крикну...

... Положение в районе было напряженным. По дороге Курбатов вытащил краевую газету, пришедшую накануне, которую за делами еще не успел просмотреть, и, раскрыв ее, увидел большой, через всю полосу заголовок: «Превратим Лемженский район в единый колхоз с восьмидесятитысячным населением!». Бросилась в глаза фотография — какие-то крестьяне стояли у стола, протягивая то ли председателю сельсовета, то ли уполномоченному окружкома заявления о приеме в колхоз. Всё остальное в газете было занято статьей, тоже безымянной, словно автор постеснялся поставить свою подпись под этой писаниной. Курбатов зло сунул газету обратно в карман. Вот бы сюда этого писаку — посмотрел бы он, как «легко уговорить, убедить и привлечь массы, которые уже забыли привычки одиночек и душой давно стремятся к коллективизму». Летающий по улице безголовый петух — это стремление середняка к коллективизму, что ли? Тут пуд соли надо съесть, чтобы уговорить... а пуд пока съешь, пройдут установленные крайкомом сроки. И Курбатов торопился, не подозревая сам, что теперь так же торопятся все и что эта торопливость обернется к ним своей другой стороной...

В одной из деревень он остановил свой тарантас возле плотной толпы кричащих и плачущих женщин. Несколько женщин подскочили к тарантасу и, вытирая слезы, наперебой стали что-то объяснять Курбатову, но что — он так и не мог разобрать.

— Да не все сразу! — крикнул он, стараясь при-

дать голосу тот полусерьезный, полушутливый тон, который обычно действует успокаивающе, заставляя смотреть на вещи другими, спокойными глазами.

Оказалось, что здесь, в селе с древним, красивым и непонятным названием Челмохта, обобществили всех коров, согнали в один хлев, вот бабы и дежурят с утра, каждая смотрит, как за ее коровой ухаживают и доят. Каждая приносит своей буренке гостинцев — то болтушку, то хлебных корок с солью. Дояркам, конечно, житья нет: бабы ругают их почему зря: то они корову плохо накормили, то водой обнесли, то сильно за дойки дергают...

Курбатов вылез из своего тарантаса, и бабы, не зная, кто он такой и зачем пожаловал сюда, начали поверять ему свои обиды:

— Неверно это, последнюю-то корову обобществить. У меня пятеро детишков, видишь... Ранее они у меня каждый день молоко ели, а теперь и кормить эту ораву не знаешь чем...

— Или птица, вот еще беда с ней. Помещениев у нас для птицы нет. Разбегаются куры да дома и несутся. Для колхоза убыток один. С кочетами не знаем, что и делать. Уж так дерутся, так дерутся, в кровище все... Намедни Домнин кочет выбил глаз Маришкиному петуху, так ведь сами бабы, Домна с Маришкой, сцепились...

Они выносили Курбатову всё — и сомнения, верно ли всё сделано, и вопросы, как будет дальше, и обиды на то, что хочешь — не хочешь, а всех огулом записали в колхоз. Постепенно вокруг Курбатова, незаметно для него, собралось человек пятьдесят: молва о том, что приехал еще какой-то уполномоченный, быстро облетела село.

Курбатов отвечал неторопливо, тщательно выбирая слова. Не потому, что именно так говорил Данилов, а потому, что надо было говорить только так, обдумывая каждое слово, с тем чтобы оно не прошло мимо, а зашло в душу и пустило бы там свой, пусть маленький пока, но росток.

— Неправы вы, что с утра до вечера возле своих коров стоите. За ними доярки не хуже присмотрят — небось, сами крестьянки, и скотина им не чужая... А нас на работу не вытащишь. Зря время убиваете. Если

так зря стоять, то не только пять, а одного рта не прокормишь.

— Это-то верно. Под лежачую колоду и вода не течет..

— То-то и оно, что не течет... Привыкли вы к своему: моя корова, моя свинья, мой кочет, мой гусак. К клочку земли привыкли. Знаю, трудно от таких привычек отказываться. А надо. Нельзя ведь, чтобы промышленность была одной, а крестьянские хозяйства — мелкими, единоличными... Погибнем тогда все. А так — город даст вам технику, трактора придут...

— Соловья баснями не кормят, — хмыкнул кто-то.

— А это не басни, — спокойно возразил Курбатов. — Вот я, например, сам из рабочих, родом из Печаткино — слышали такой городишко? Так вот, в этом городишке сейчас тракторный завод строится...

— Улита едет!..

— ... И строится быстро. Через год он уже даст первые машины — вот-те и басни.

— Выходит, обязательно нужно в колхоз? — пригорюнившись, спросила одна из баб. Курбатов расхохотался. Смеялся он заразительно, звонко, откидывая назад голову. Стоявшие рядом заулыбались, какая-то девушка довольно громко сказала: «Вот бы мне такого мужика, а?» — и тогда засмеялись все: то ли вопросу бабы, то ли смеху Курбатова, то ли пожеланию девушки. И Курбатов подумал внезапно о том, что так нужно всегда — с улыбкой должен жить на земле человек!..

В Серенях было назначено совещание уполномоченных, и Курбатов прибыл на него как раз тогда, когда все сходились в сельсовете. Вдруг его кто-то окликнул. Обернувшись, он увидел, что с коня слезает Лукьянов, и бросился к нему. Они обнялись.

— Ну, как, жив? — хлопал его по спине Лукьянов. — Всё еще комсомолом заворачиваешь? Слышал я о том, что твои черти и архиереи плотину спасали. Данилов рассказывал — и смешно было и хорошо... Вроде нашего похода на трубопровод — помнишь? Ну, а в основном-то как?

Курбатов понял его: основным Лукьянов всегда называл ту, подчас надоедливую, кропотливую, повседневную работу, когда результаты труда сразу не ося-

шумы, а сказываются так же незаметно, исподволь, по мелочам.

— Как? Дисциплину на предприятиях среди молодежи подняли. Работать ребята стали лучше, это факт... Учиться многих послали. Рыпались, ругались — а поехали... Теперь вот — коллективизация.

— И ругаться мы с тобой по этому поводу еще будем, — вдруг нахмурившись, сказал Лукьянов тем, уже знакомым Курбатову тоном, после которого обычно начинался какой-либо неприятный разговор. От Лукьянова тепло и мирно пахло конским потом, сам он — запыленный, усталый — казалось, не мог вести сейчас вообще какие-нибудь серьезные, а тем более неприятные разговоры. И всё-таки он, похлопывая хлыстиком по сапогу и оставляя на нем тонкие полоски, сказал:

— Ведь комсомол-то в деревнях бездействует, а? И спрашивал — как там, в Лемже. Не поднял ты комсомол, даже не встретился ни с кем. Как же так, а? Ты же не просто уполномоченный — ты же еще и секретарь обкома. Я своему секретарю окркомла — Алеше Попову — еще на бюро взбучку дам, а тебе уж и вовсе непростительно. Что ты, с организационными формами работы не знаком, учить тебя надо?

Курбатов, густо покраснев, отвернулся. Лукьянов был прав, и возразить было нечего. Покосившись на него, Курбатов вдруг нерешительно протянул руку, Лукьянов механически пожал ее и только тогда спохватился:

— Ты куда?

— Нет, я... так.

И пошел в сельсовет один, хотя Лукьянов тоже должен был быть на совещании и им, по всем данным, надо было сидеть вместе. Всё-таки обидная вещь критика, даже справедливая. Пил бы ее, как сладкую микстуру, а пьешь, как касторку, отворачиваясь.

* * *

Он осунулся, побледнел, бриться было некогда. В селах его ждали, потому что там ждали каждого нового слова, а он вез с собой эти новые слова: спокойные, сильные, исполненные веры.

Он устал до такой степени, что не заметил, как

уже подкралась осень, встали в полях желтые скирды, бурым листом покрылась ольха... Он бы еще долго не замечал ничего, если б не тот вечер, сухой и ясный, когда тарантас с усталым Пахомом на облучке (теперь уже на облучке!) тащился обратно в Лемжу. «Стервец» — старый и норовистый мерин — шел нехотя. Когда раздался из придорожных кустов выстрел и Пахом, тихо охнув, сполз под колеса, лошадь понесла Второго и третьего выстрелов Курбатов не слышал: по вернулись и опрокинулись небеса, потускнел, раздваиваясь, диск солнца, и он провалился в теплую оранжево-зеленую муть, когда что-то тупое, сильное, совсем не больно ткнуло его в бок...

Так и влетел тарантас в Лемжу, без возницы, с седоком, лежащим в луже крови.

XXII

Бездеятельная жизнь выматывает больше, чем работа: в этом Данилов убедился за последние два месяца, когда жил он в основном в поезде, между краевым центром и городом, где работал. Не успевал он вернуться, как следовал новый вызов, и он уезжал, в душе досадуя на то, что дела в обкоме скапливаются, а рукам до них не добраться. Даже не был в Печаткино, на открытии тракторного завода, а как хотелось бы сказать там пару хороших слов — не потому, что это было просто нивесть какое желание, а потому, что теперь в области, да и в крае, с пуском завода менялось многое и главное — техническая оснащенность колхозов. Об этом надо было напомнить.

О делах он думал в пути, с каждой станции отсылая в обком письма, в которых не забывал ни о чем. Об агитационно-массовой работе на механическом заводе (давно не проверяли). О директоре запани на Шоше — почему до сих пор не обсудили его антипартийное выступление на собрании. О срочной отправке библиотечек в колхозы. О том, что надо сходить на квартиру к Курбатову и посмотреть, в чем он нуждается. Кстати, о Курбатове. Хорошо бы обсудить на бюро обкома вопрос о его переводе на другую, более легкую работу, в связи с ранением, но так, чтобы человек не обиделся. Ему он писал прямо в больницу...

Данилова не было в городе, когда Курбатова выпилили. Два дня он прожил дома, тоскуя без Тани (жена возвращалась поздним вечером), безо всяких забот, дел, и не выдержал: на третий день сбежал. Ходить еще было больно: каждый шаг отзывался в прострелочном боку. Но он шел, прислушиваясь, как скрипит под ногами снег, как свежий, морозный воздух легко входит в него, пощипывает лицо — и ему было хорошо. Он словно впервые видел всё вокруг себя — и глядел на всё с какой-то восторженностью, будто любясь жизнью и удивляясь ей.

Сначала он зашел в облкомол. Здесь было пусто: ребята разъехались по деревням. Управделами, необычайно серьезная девушка, встала, когда он вошел, и, будто с ним ничего не происходило, будто он не был здесь день или два, доложила о том, что сегодня должен быть областной актив и ему, Курбатову, надо на нем присутствовать. «С корабля на бал», — рассмеялся Курбатов; управделами глядела на него по-прежнему строго и без улыбки, а ему хотелось, чтобы все кругом него улыбались.

Впрочем, он знал, что особых улыбок не будет, особенно на активе. В крае — и об этом сурово писала «Правда» — был допущен в первые месяцы коллективизации серьезный недостаток, нарушено основное требование партии к коллективизации — принцип добровольности. Левацкий загиб — так было названо стремление к огулу и гигантомании местных работников, к фактам раскулачивания середняков, к быстрому (порой только для сводки) созданию того или иного колхоза. Курбатов, еще в больнице несколько раз подряд прочитавший газету, почувствовал, что всё это в полной мере касается и его. То, о чем он думал смутно, что видел, но не мог еще целиком осмыслить, встало теперь на свое место. Надо было называть вещи своими именами, и он нашел свое имя той торопливости, спешке, в которой работали все, делая часто не так, как это было надо: искривление линии партии. Он не испугался этих слов, не попытался заменить их какими-нибудь другими, более мягкими. В самом деле, разве не он, а кто-нибудь вместо него, одобрил действия бригады в Челмохте, и сам еще писал об этом в обком? Кажется, он говорил с женщинами убежден-

но: «Неправы вы, что с утра до вечера возле своих коров стоите...». Что они отвечали ему? «Неверно это последнюю корову обобществить... Пятеро детишков, видишь... Ранее они у меня каждый день молоко ели...»

Курбатов крепко зажмурил глаза. А ведь она права, эта женщина. И неужели он, Яков Курбатов, сам вдосталь хлебнувший шилом патоки, мог в общем-то спокойно слушать ее — лишь только потому, что на это обобществление есть директива крайкома, директива Баранова?

Однако внутренне он не чувствовал своей вины в том, что допустил искривление линии партии в вопросе коллективизации: «Я же выполнял распоряжение крайкома. Если и допустил я ошибку, так чего же сразу меня не поправили? Нет, даже в порядке самокритики, я не могу признать своей вины. Я не хочу быть кающимся грешником. Правда, грех и у меня есть, но это грех общий, и надо нести ответственность со всеми...».

На актив он пошел, попросив управделами бросить к нему домой записку — Тане. Простреленный бок ныл, Курбатов уже не улыбался, морщился от тупой, тянущей боли и ругал себя за то, что пошел: в конце концов, никто не мог сказать, что он уклоняется от возможных неприятностей.

Все знакомые, пришедшие на актив, подходили к нему, спрашивали, как здоровье, один только Лукьянов, сев рядом с ним, обнял его за плечи и, осторожно прижав к себе, шепнул:

— Не надо было приходить, родной. Разнервничаешься. Сегодня тут черт знает что будет... Слыхал — Баранов приехал? А он, знаешь...

Курбатов кивнул: знаю. Прошлая (и пока единственная) встреча с секретарем крайкома произвела на него удручающее впечатление.

Это впечатление не исчезло, не сменилось другим, когда актив начался, и Баранов, методично выкидывая вперед кулаки, ругал райкомы. Слова были резкие, клесткие, во многом справедливые, но Баранов даже звуком не обмолвился о том, в чем же вина крайкома. Лукьянов снова шепнул: «Чуешь, куда гнет, а? „Местные работники“...»

Выкидывая кулаки, словно грозя кому-то, Баранов закончил свое выступление так:

— Товарищи! Сущность большевистской критики и самокритики заключается в том, что если он дурак, то и назови его дураком; если он осел, то и назови его ослом. Я и призываю вас сегодня, товарищи, выступить с такой критикой, с критикой, невзирая на лица.

Как ни уговаривал Лукьянов Курбатова, тот не смог удержаться, чтобы не выступить в прениях: послал в президиум записку. И когда ему дали слово, когда он поднялся на трибуну, Баранов злорадно и громко сказал:

— А, герой! Расскажи, Расскажи активу, как ты загибал в районе. Всю птицу в Челмохте в колхоз записал!

— И расскажу! — пожал плечами Курбатов. Он подождал, пока утихнет вспыхнувшая боль, и, повернувшись к залу, начал тихо, чтобы не сорваться: — Я признаю, что мы в районах действительно оказались «ослами», как об этом только что сказал секретарь крайкома. Но сегодня я хочу, чтобы все подумали о том, почему мы оказались ими. Мы «ослами» оказались потому, что выполняли директивы тех людей, которых только что секретарь крайкома назвал по-другому.

Вынув из кармана решение пленума крайкома, где были и колхозы-гиганты, и сжатые сроки, и «поголовный охват», он прочитал его вслух и, сунув листок обратно, заметил:

— Вот, товарищи, и судите, кто в этом деле был «дурак», а кто был «осел».

В зале послышался смех и аплодисменты. Поблудневший Баранов, резко повернувшись, зло крикнул:

— Что же, по-твоему, крайком «дурак»?

— А это сам актив разберется, — невозмутимо ответил Курбатов.

— Ах ты, молокосос, сопляк! — грохнул по столу ладонью секретарь крайкома. — Мы еще с тобой разберемся!

Курбатов снова пожал плечами:

— Не пугайте, товарищ Баранов. Да, возможно, я еще молокосос, но сопли вы мне своевременно не вытерли, как это делает каждая мать, если у ее малого

сына они текут. А потом, «молокосос» — это еще и доказательство того, что молодые годы служат помехой в проведении линии партии. Не по годам бьют, а по ребрам, товарищ Баранов.

В зале снова вспыхнул веселый смех: Баранова и любили.

На другой день Курбатова вызвали на бюро обкома; Данилов еще не приехал, а на бюро присутствовал Баранов. Курбатов, чувствуя, что дело примет крутой оборот, решил держаться до последнего. Но о таком обороте он не мог даже предполагать. Баранов, усмехаясь, сказал:

— Сегодня мы тебе и по годам и по ребрам набьем. Я предлагаю немедленно снять Курбатова с работы и направить в распоряжение крайкома, а уж там я его пошлю туда, куда Макар телят не гонял. Самый медвежий угол найду. Его надо научить обращаться со старшими, научить уважать крайком.

Курбатов, усмехнувшись в свой черед, спокойно ответил:

— Вы же сами, товарищ Баранов, сказали активу о сущности большевистской критики и самокритики. А что же получается: критиковать ни вас, ни крайком нельзя. Меня всю жизнь учили уважать старших, но тех, которые правильно понимают и проводят линию партии. То, что с этой работы меня снимают, я даже приветствую: сейчас трудно мне это. А поехать — я никуда не поеду. Если бы это было действительно необходимо для партии, то я бы хоть на луну полетел. Но все видят, что это только месть с вашей стороны за критику, и в крайком я не поеду. Я прошу или откомандировать меня в распоряжение Цекамола, или отпустить работать на производство слесарем.

Баранов, обращаясь ко всем, хмыкнул:

— Видишь ты, ерш какой. Ну, да из ершей уха хорошая бывает.

— Я для уха не годюсь. Я и в ухе критиковать буду.

— Ладно, черт с тобой, иди работать на производство, раз сам желание изъявил. Может дальше из тебя еще и толк выйдет.

Члены бюро задвигались, зашумели, но Баранов, предупреждая постукав по столу, тихо спросил:

Что такое? Дисциплина, товарищи, дисциплина. Данилов сам писал вам об освобождении Курбатова, кажется?

Курбатов вспыхнул. Единственное, о чем он действительно жалел сейчас, — это о том, что здесь не было Данилова. Впрочем, директор машиностроительного завода Родин, откинувшись на спинку стула, сказал, и упор глядя на Баранова:

— Я полагаю, что вопрос еще не решен. Мы не голосовали. А, во-вторых, отпустит ли Курбатова ЦК комсомола?

— Что же вы предлагаете?

— Я против скоропалительности и за коллегиальность, — отрезал Родин. Тогда секретарь крайкома встал. Он прошел до дверей, от них — к окну и, повернувшись к членам бюро, заложив руки за спину и слегка расставив ноги, тихо и жестко произнес:

— Отпустит ли ЦК — это моя забота, а не ваша. Предложение об освобождении Курбатова прошу голосовать в порядке партийной дисциплины.

Родин и еще двое членов бюро рук не подняли. Курбатов, встретившись ненавидящим взглядом с Барановым, медленно встал и пошел к дверям. Его пошатнуло: закружилась голова. Родин быстро подскочил к нему, крепко взял под руку и помог выйти. Так они и вышли на улицу — вдвоем.

* * *

Когда он всё рассказал Тане, сначала она не поверила, потом, осторожно обняв его, уговорила лечь в постель и несколько дней вообще не вставать: вид у Курбатова был действительно страшный. И, хотя Таня тут же побежала просить отпуск, получила его и могла быть всё время с ним, с Курбатовым, он чувствовал, что из его жизни ушло главное и ничто другое не смогло бы это главное заменить.

Всё, чем он жил, чему отдавал себя, о чем думал, просыпаясь по ночам, что любил и чем дышал, — оставалось теперь позади грустным воспоминанием, тревогой о недоделанном и жестокой, непростимой, казалось ему, обидой.

Оставалась одна Таня. Оставались ее глаза, ее руки, губы, ее тепло, ласка... Лежа, он с удивлением на-

блюдал, как она ходит по их маленькой комнатке, и под ее руками вещи словно бы оживают, словно бы начинают смотреть веселей. На улице стояли морозы, окно затянуло диковинным узором. Весь мир теперь был для Курбатова в этой комнате, он хотел и боялся даже в мыслях пойти туда, на улицу, к знакомым и родным ему людям, не желал, чтобы они разделили с ним обиду и посочувствовали ему.

Первым примчался к нему Лобзик. Замерзший, посиневший от мороза, он шумно ворвался в комнату, на ходу доставая из карманов своей куртки бутылку вина и какие-то пакеты, требуя, чтобы сейчас же все сели, потому что сегодня — хочешь не хочешь — день его рождения. Курбатов усмехнулся: чекист, а так неумело себя ведет. Да разве знает он, безродный, когда он родился! Но Курбатову было приятно, что первым пришел именно Лобзик, и то, что, раздевшись, он сразу же сказал:

— Знаю я всё, Яшка... А жалеть — не буду. Тебе жалость не нужна. Давай лучше выпьем за хорошее.

Больше они к разговору о случившемся не возвращались.

На следующий день неожиданно пришли двое: высокий и элегантный Валька Кият и Павел Титович Алешин. Они пришли к нему как к больному — с ворохом самых различных кульков и свертков и тоже, разумеется, с вином. Таня засмеялась: «Ты у меня так и сопьешься, Яшка, если все вино носить будут». Кият, смутившись, замахал руками: «Ничего, ничего, это ему полезно... Десертное». Он сказал это таким тоном, будто и впрямь десертное вино могло помочь Курбатову. Но разговора о снятии Курбатова опять не было.

Только когда Таня, одевшись, ушла в магазин — что-то давали по карточкам, — Алешин, разглядывая на свет стакан с вином, сказал:

— Хорошая у тебя жена.

Курбатов вспыхнул: из других уст эта похвала была бы ему менее приятна. Но Алешин, вздохнув, сразу сказал о другом:

— И ей работу у нас найдем — в школе. А тебя — на партийную работу. Будем просить обком...

— Чудак вы, дядя Павел, — усмехнулся Курбатов. — Кто ж меня допустит до партийной работы?

Баранов меня теперь... в бараний рог гнуть будет. Вы же не знаете, как он со мной говорил.

— Знаем, — буркнул Кият.

— Откуда? — изумился Курбатов.

— А мы к тебе прямо из обкома. Данилов приехал — за голову схватился. Родин ему всё рассказал... Он при нас двух членов бюро, которые голосовали «за», партшкурниками назвал... Вот как оно, брат, получается.

Курбатов лежал, закрыв глаза и улыбаясь, он еще не верил... Да и трудно было поверить в то, во что очень хотелось верить и что расходилось до сих пор с истинным положением вещей. В памяти с отчетливостью, почти осязаемой, всплыли слова Баранова: «Данилов ведь тоже настаивал на этом. Он вам писал...»

* * *

Данилов пришел неожиданно, поздней ночью, и Таня, заспанная, запахивающая свой халатик на большем круглом животе, металась по комнате, готовя хоть какой-нибудь ужин: Данилов, войдя и поздоровавшись, попросил есть.

— Ты меня прости, — басил он, устраиваясь поудобней на шатком стуле. — Раньше никак не мог. Ай да Таня — скоро, значит, мамой будешь? Не красней, дело святое. Ну, а ты как, всё переживаешь? Не переживай, не надо...

Курбатов смотрел на него, на его доброе, темное от усталости лицо, и не верил, что этот человек, к которому он привязан всей душой и за которым готов идти действительно в огонь и воду, — что этот человек сам писал членам бюро о его снятии... Лукавить было незачем; молчать и ждать, пока Данилов сам об этом заговорит — тоже; Курбатов спросил его, правду ли говорил Баранов на бюро обкома. Данилов, отпивая мелкими глотками теплый чай, кивнул:

— В общем — правду. Только ведь и правду по своему повернуть можно. Баранов так и повернул. Я писал, чтобы тебе пока нашли другую, менее утомительную работу. В дальнейшем я рассчитывал перевести тебя в партийный аппарат. Но Баранов, видимо, рассудил иначе...

Курбатов, приподнявшись на локте, слушал его,

сдерживая волнение. То, о чем думал он еще робко, осторожно, теперь начинало приобретать вполне определенные формы:

— Значит — личные счета и ничего больше? Личные счета, в результате которых любой работник может быть отстранен?

— Значит — так, — усмехнулся Данилов.

— Но ведь это... — Курбатов задыхнулся. Секретарь обкома, допив чай, отодвинул стакан и повернулся к Курбатову так, что стул жалобно заскрипел под его грузным телом:

— Ты хочешь сказать, что это нарушение ленинских принципов? Да, так оно и было в этом случае. И не только в этом. Я сегодня приехал с пленума крайкома; видел бы ты, как вел себя Баранов! А вокруг него угодничают либо запуганные, либо подхалимы. Так что он даже сам морщится. Он, конечно, работник энергичный, знающий, образованный, но...

— И спорить с ним нельзя? — усмехнулся Курбатов.

— Нет, почему же, можно. Только вот ты поспори и увидишь, что из этого получается. Кстати, Родин уже снят с работы, как несправившийся: снят решением крайкома, а вернее, одного Баранова. А всё потому, что за тебя заступился. Я вот, — он грустно усмехнулся, — тоже с ним спорил и за тебя заступился. Обещал ему поднять этот вопрос в ЦК. Знаешь, что он мне ответил? «Ты, — говорит, — Данилов, не ерепенься. Ты про старые методы руководства забудь. Сейчас наступает такое время, когда нам нужна одна сила — сила авторитета». Тут я, откровенно говоря, испугался и не стыжусь признаться тебе: испугался.

Он оборвал себя: ему было больно говорить дальше, и Курбатов понял это. Зная Данилова, он знал теперь и все его мысли, и всю ту горечь, которую он нес в себе.

Когда Данилов спросил его: «Ну, а теперь как думаешь жить?» — Курбатов понял, что вопрос этот задан неспроста и что секретарь обкома уже сам подумал над тем, как будет жить и что делать Яков Курбатов. Он ответил, отворачиваясь к стене:

— Как? Я всё-таки слесарь. Плохой ли, хороший... Уеду в Печаткино.

— Значит, в кусты? — тихо сказал Данилов. — Или фордыбачишься? Мол, сняли — так я вообще больше палец о палец не ударю. Для кого не ударишь? Для партии? Не позволим.

Голос у него стал неожиданно жестким, в нем появились знакомые Курбатову твердые нотки — первое свидетельство того, что Данилов недоволен человеком. Курбатов посмотрел ему прямо в глаза и так же тихо спросил:

— А вы думаете, мне Баранов даст работать? Нет, не даст.

— Пока что не на одном Баранове свет клином сошелся, — с теми же нотками в голосе ответил Данилов. — Как выздоровеешь — поедешь в Печаткино. Обком будет рекомендовать тебя секретарем парткома на комбинате. Думаю, коммунисты тебя выберут: ты у них вырос.

Он встал и начал ходить по комнате — давнишняя привычка в минуты раздумий. Комната была мала для его шагов, и он едва поворачивался между шкафом, кроватью и диванчиком, продолжая говорить, будто рассуждая вслух — с самим собой:

— Будет трудно... Чухалин постарел, характер у него переменялся. Он считает, что ему на комбинате дано право осуществлять и свои, административные, и заодно партийные функции, как старому большевику. Так сказать, един во двух ипостасях. Думаю, и нынешний секретарь парткома будет не очень рад тебе. Конечно, Булгаков и слова не скажет, но червячок его загрызет: как так! Мальчишку прислали!

Он всё ходил, всё говорил, и Курбатов слушал его, не отдавая себе отчета в том, что всё это — его собственные, Курбатова, мысли, желания, и что он действительно мальчишка еще, раз мог так «фордыбачиться»: слесарем, слесарем...

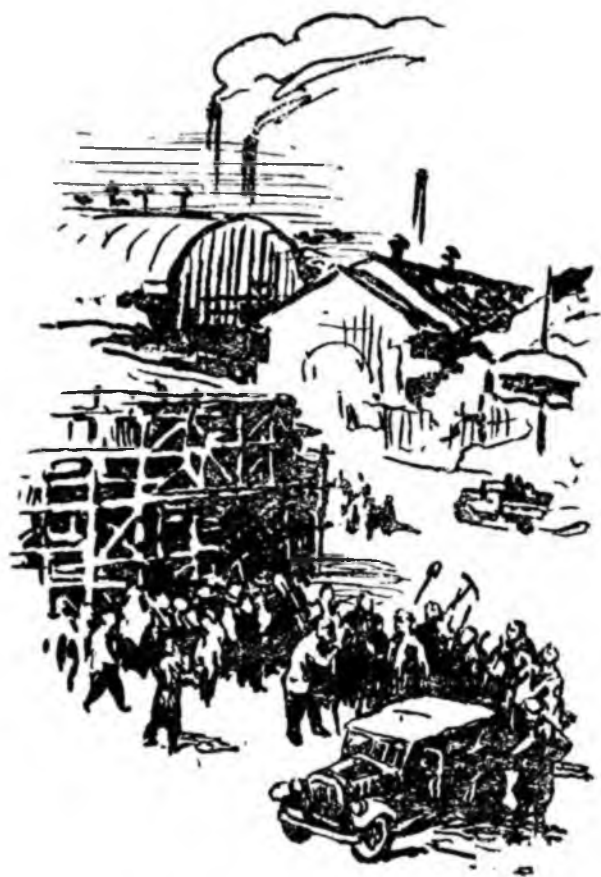
— ...Но главное не в этом, — продолжал Данилов. — Печаткино уже город. Город, который растет. И производство растет. На комбинате же — дел уйма, производительность низкая, планы не выполняются... В Москве кое-кто начинает говорить: нерентабельно. Коротче говоря, не на курорт поедешь.

Он ушел через час, оставив у Курбатова ощущение какой-то необычайной легкости и уверенности в том,

что трудности, в конце концов, вещь преодолимая, и главное — что люди думают о нем, помогают и помогут ему, как и он думал о них и помогал им...

На прощание, пожимая Курбатову руку, Данилов вдруг задумчиво, даже с какой-то грустью качая головой, сказал то ли удивленно, то ли с сожалением:

— Комса, комса, как ты выросла!



Верность

I

Много лет назад он ехал по этой же дороге, прислушиваясь к голосам незнакомых людей, — маленький мальчишка, напуганный жизнью, в которой он тогда еще не умел и не мог разобраться.

В темном вагоне было не топлено, бледный желтый свет перронных фонарей искрился на замерзших окнах. Люди рассаживались, переговариваясь вполголоса, только временами кто-то отчаянно ругался, запикивая на третью полку свой багаж.

Курбатов, усадив закутанную Таню к окну и оберегая ее от толчков, пытался разглядеть в этом полумраке людей. В вагоне кисло пахло овчиной, дегтем, потом; надо полагать, что ехали в Печаткино строители, разный народ. Курбатов знал, что тут и крестьяне, кому не по душе пришлась колхозная жизнь, и любители «длинного рубля», а то и кулачки, вовремя сбежавшие с насиженных мест. И по тому, как тихо начинали спорить из-за места люди, остервенелым шепотом матерились, усаживаясь, Курбатов понял, что дороге ему предстоит невеселая, если только самому не влезть в разговор. «А ну их к черту, не влзу, — подумал он. — Надоело. Доеду — посмотрим...»

Очень хотелось курить, но он боялся выйти и потерять место. Когда же в темноте разгорелись красные точки цигарок и потянуло едким махорочным дымом, Курбатов посмотрел на Таню:

— Как ты?

— Ничего, — шепнула она.

Дома Курбатов курил в форточку: Таню от дыма тошнило. Сейчас он проглотил набежавшую слюну ишло поглядел на огоньки...

Кто-то зажег свечку, и сразу же из темноты выплыли котомки, армяки, барашковые шапки, обросшие щетиной лица. В неверном дрожащем свете люди казались какими-то напряженными, словно готовыми к драке — неизвестно за что и почему. Может быть, это только так казалось Курбатову, но он сразу почувствовал, как какое-то отчуждение появилось между ним и сидевшим напротив крепким стариком с жилистыми в узелках вен руками, которыми тот всё время терл лямки своего мешка, положенного на колени. Старик рассматривал Курбатова и Таню в упор, будучи удивляясь тому, что в купе появились двое городских. Один в хорошем полупальто, другая в пальто с меховым воротником и добротной шали. Он смотрел на них не мигая, острым, каким-то покалывающим взглядом и Курбатов нахмурился.

Очевидно, Таня тоже почувствовала себя неловко. Откуда-то она вытащила белый сухарь и сунула в руку Курбатова:

— Поешь. С утра ведь ничего не успел...

Курбатов, медленно откусив кусок сухаря, досадливо поморщился, хотелось пить. «Выбегу на остановку, чего-нибудь найду», — подумал он. И тут же эта мысль была оборвана. Старик, сидевший напротив, заметил надтреснутым, скрипучим голосом:

— Вон вы какие! Люди-то с голодухи пухнуть стали, а вы белые сухари трескаете. Из комиссаров, значит?

Таня, смутившись, ответила скороговоркой:

— Это по карточке вместо сахара выдали.

Курбатов, зло взглянув на старика, отвернулся:

— Не говори, Таня, этот всё равно не поймет.

— Отчего же, мы всё понимаем, — мелко засмеялся старик. «Ну вот и влез в разговор. Теперь до Печатино старик не уймется, если не оборвать». Но неожиданно с верхней полки кто-то спросил:

— Да что ты понимаешь, панихида?

— А вот всё понимаем, — визгливо ответил тот.

Раньше-то мы головами сахар брали и завсегда сладко пили, а теперь большевики такой прижим народ сделали, что нидохнуть, ниохнуть. Заместо сахару нам наемдни в Перми какую-то южную фрукту выдали, курюк язвистый...

Не курюк, а урюк, деревня, — лениво отозвался с верхней полки.

Ну, пуцай будет по-твоему. А разве это порядочек, заместо сахара-то? Ни сласти, ничего в нем нет, одно слово — советский сахар.

Курбатов откинул лицо в тень: «Так и знал, подкулачник какой-нибудь. Кто это ему отвечает?» А старик продолжал, голос у него начал дрожать от волнения:

И что это твориться стало? Ране мужик-христианин всю Россию кормил. Гражданская была — терпели: ладно, думаем, пройдет... А теперь што? Я опять уже про себя скажу. Корни-то мои в деревне, и хозяйство не плохое, хлеба хватало, да и государству излишки сдавал, а теперь вот мотаюсь по свету с артелью однодеревенских. В мои-то годы по правилу мне на печи лежать...

Неподалеку от старика, забившись в угол, сидел, съежась от холода, щуплый мужик с узким, как на иконе, лицом. Курбатов заметил его недобрые глаза и поэтому не удивился, когда тот оборвал старика:

— Хватит, всласть полежал. Еще бы тебе не вспоминать, когда пять коров да три лошади было. Да лавку на два раствора имел. Конечно, тебя и тянет. А что с деревни сбежал — так испугался в кулацкое поселение попасть.

Старик дернулся и затряс острой, редкой бородкой:

— Цыц ты, языкастый. Забыл, какой промежду нами уговор был? Мы ведь однодеревенские, за друг друга стоять должны... А ты, што язык распустил, ровно хвост кобылий?

— И верно, Евсей, замолк бы ты; всё-таки артельный наш, — раздалось откуда-то из темноты. Мужик еще глубже засунул руки в рукава и прикрыл глаза, мол, ну вас всех к черту, я свое сказал, а там — как хотите... Старик, желая замять неприятный разговор, нагнулся к Курбатову и спросил, не скрывая ехидной улыбки:

— Вот ты, гражданин хороший, вроде самостоятельный будешь? Так ты мне вот что объясни: слухи разные ходят... — Он замолчал, прислушиваясь, как осторожно стучит на стыках поезд, будто ощупью пробирающийся в темноте. Курбатов даже не заметил,

когда они тронулись и когда за окнами словно разлили черную тушь.

— ...Вроде войне быть, говорят, — продолжал старик. — Вроде те, кто за границу удрал в семнадцатом, ныне не могут уже терпеть. Видят, значит, как власть народ прижимает, ну и поднимают опять германца, англичанина и ханцуза, чтобы опять на Россию идти и народ освобождать. Так это, а то, может, болтают?

В купе сразу стало тихо. Только поезд постукивал, да что-то трещало, скрипело в стенках вагона. Курбатов почувствовал, что пришла и его пора ответить как следует; конечно, все сейчас ждали, что ответит он. А сказать — и это он тоже знал — надо было так, чтобы дошло до всех: народ тут тертый, и если просто оборвать старика, то восстановишь против себя всех.

— По-моему, болтают, — усмехнулся Курбатов, сдерживаясь. — Уж если нас, голых да босых, в гражданскую не свалили, сейчас и подавно пупы сорвут. А вот, что мы промышленность строим, свою, собственную, вот это, папаша, не слухи. Сам, наверное, видел...

— Видел, видел, — словоохотливо поддакнул старик.

— Ну, значит знаешь... Не те мы стали, что раньше, теперь нас не возьмешь.

— Истинно, истинно, — снова поддакнул артельный. Курбатова не обманывало это согласие: хитер мужик, сидит и посмеивается — мол, слышали мы твою агитацию. Но Курбатов видел, что тон был взят верный.

— Вот едешь ты строить тракторный завод. А что такое трактор? Это ведь сколько земли поднять можно.

— Так, так, так...

— И, значит, будет всего больше, и колхозы встанут на ноги как следует, отменят карточки. Только ведь всё это сделать надо... своими руками. Стало быть, время еще какое-то пройдет...

Старик даже руками развел: «Скажи на милость, как разъяснил всё!» А с верхней полки снова раздался голос; на этот раз спрашивали Курбатова:

— Ты вот что скажи: в Москве, говорят, которые ученые, супротив колхозов пошли. Трещит, говорят, партия ваша.

Мужик с узким лицом снова открыл глаза и, наклонившись к Курбатову, шепнул, обдавая горячим чесночным запахом:

— Это Микешка, в ТОЗе председателем был, за инквизиторию выгнали...

Курбатов понял, что речь зашла об отдельных выступлениях правых. Но в печати об этом еще не сообщалось, и Курбатов не мог говорить с артельщиками о том, что знал из партийных документов, но и промолчать было нельзя. Он ответил, стараясь говорить как можно равнодушнее, будто всё это было не стоящей внимания мелочью:

— Да и это вранье. Не трещит наша партия. Кому выгодно, тот, конечно, хочет, чтобы она трещала... А рабочий класс говорит — нет не допустим.

Старик, вздернув бороденку, хихикнул:

— Зачем не допустит? Я теперь как рабочий класс — слободно это допущу, колишь мне што...

Только теперь Курбатова взорвало; напрягшиеся нервы не выдержали:

— Не рабочий ты класс, папаша, верно о тебе тут говорили: кулак ты. Вредный человек.

Таня прижалась к Курбатову, словно сейчас должно было произойти что-то страшное. Но ничего не произошло. Артельный, протянув: «Ну, вот спасибо, поговорили», начал деловито развязывать котомку, сидящие на других скамейках опять закурили, потянувшись к свечке и окутав ее огонек густым, почти коричневым дымом.

— Подъезжа-аем, — равнодушно зевнул кто-то, и с верхних полок неторопливо начали сползать артельные, доставая свои мешки. Тягостного разговора словно бы и не было. Но Курбатов его запомнил.

* * *

Он не рассчитывал, что его будут встречать. Едва он сошел с подножки, бросил вещи и поднял руки, чтобы помочь сойти Тане, как откуда-то на него налетел Кият, неловко чмокнул в щеку холодными губами, и Курбатов не успел ахнуть, как тот уже держал Таню.

— Ну и перепугал, долговязый, — с шутливой грубоватостью проворчал Курбатов. Ему хотелось обнять Вальку, но что-то мешало ему — может быть, сознание

того, что они теперь люди взрослые и разводить сентименты вроде бы ни к чему. Но он был очень счастлив сейчас, что старый друг каким-то образом узнал о его приезде, пришел, да еще, наверное, мерз, ожидая поезда.

Алешин тоже пришел на вокзал. Он стоял возле са-ней и уже издали махал огромной рукавицей.

— А потомство где? — затормошил он Таню. — А-а, не успела еще? Ну садитесь, садитесь, рысаки-то чухалинские, сам приказал за вами поехать.

Пока все со смехом рассаживались, укутывали Таню, Курбатов думал только об одном: о том, что старое не ржавеет и что здесь у него всё-таки лучшие друзья, лучшие из всех, какие только были за всю жизнь. Уже сидя в санях, он спросил:

— Ну, а сам-то Александр Денисович, как? Я ж его целых сто лет не видел, соскучился.

Алешин, отстранив возницу и трогая вожжами дымящихся на морозе коней, как-то неопределенно хмыкнул. Курбатову ответил Кият:

— Да так, чудит старик.

Этот ответ внезапно насторожил Курбатова. Еще Давилов говорил ему, что Чухалин переменялся, но, ничего не зная, Курбатов не мог представить себе всей перемены. По тому, как уклончиво ответил Кият, он безошибочно догадался: Валька просто не хочет говорить подробней, портить встречу. Однако теперь Курбатов спросил уже встревоженно и так, что Кият должен был сказать всё.

— А в чем дело? Чего ты темнишь?

— Да в общем другим стал, — нехотя буркнул Кият. — Всех под себя подмять хочет. Сам увидишь.

Сани остановились. Курбатов, оглядевшись, увидел новый двухэтажный дом, окна были освещены.

— Сюда, — кивнул Валька. — Остановишься пока у меня, тебе хоромы еще не готовы, а у меня не комната, а зала для танцев.

Когда вещи были перенесены, все разделись, Курбатов вошел в комнату первым и почувствовал, как у него сладкой спазмой перехватило горло. Стол был накрыт, здесь стояла и бутылка с вином, и какая-то посуда с винегретом. Овощи зимой! Там, в городе, Курбатов не видел их месяцами... Кият побежал разжи-

тать плитку и греть чай, Таня устало села на потрепанный диван, а Алешин, поглаживая поредевшие волосы, ходил по комнате, не зная, с чего начинать разговор:

— Ты, наверно, завтра с утра уже побежишь? А Таня как?

— Я в Наробраз пойду, тоже с утра, — улыбнулась Таня.

Опять наступила долгая и томительная пауза. Курбатов оглядывал неуютную холостяцкую комнату друга, Алешин всё поглаживал свои волосы. Возможно, не будь здесь Тани, они нашли бы о чем поговорить, и им хотелось сейчас поговорить (Курбатову спросить, а Алешину рассказать) о Клавье.

Наконец, вытирая перепачканные руки, вошел Кият, стал искать мыло и, усмехнувшись, сказал Алешину:

— А про хозяина-то уже успел доложить?

— Нет еще, — поморщился Алешин. — Знаешь, женился ведь Чухалин.

Курбатов, не отрывая глаз от стены, на которой висела коллективная фотография комсомольцев (он там снят был рядом с Клавой), ответил:

— Да бросьте вы меня разыгрывать. Лучше, дядя Павел, скажите, как мне с Булгаковым держаться? Боюсь старика.

— Булгаков — что... А я тебя, между прочим, не разыгрываю.

Курбатов недоуменно взглянул на него...

Уже за столом Алешин выложил ему все новости. Это было продолжение разговора о Чухалине, и по тому, как грустно говорил Алешин, Курбатов догадался, что всё это накипело у него на душе и что он рад высказаться новому человеку.

— ...Всё же мы, как-никак, с ним еще в подполье работали, поэтому он считается со мной, иногда даже советуется. Словом, дней десять назад звонит мне его секретарь и говорит, что «сам» вызывает. Ну, захожу в кабинет, а Чухалин ко мне вприпрыжку. Сияет, словно премию от наркома получил. Сунул меня в кресло, садись, говорит, Павлуха, и сам сел напротив: «Бобыли мы с тобой, Павлуха, и, ох, как надоело бобылем быть». Я это смотрю на него и ничего не понимаю. А он говорит: «Помню, сердился я, как узнал, что ты за

покойницей Настасьей Курбатовой ухаживал, считал, что не пара она тебе была. Да ведь и время-то тогда другое было». Ну, не понять мне, к чему он это клонит.

...А он продолжает: «Жениться я, Павлуха, задумал. Варьку мою в пятом году на Пресне убили, считай больше четверти века я в бобылях был — надоело. Да и старость уже здесь. Свернусь — и ходить за мной некому будет. Как ты про всё это думаешь?»

...Я аж обомлел от всего этого, чувствую, что и глазами двигать не могу, уставился на него и молчу — чисто селедка в горле застряла. Только и выдавил из себя: «Дай попить».

Потом всё-таки начал говорить кое-как: «Ну что ж, женись, Александр Денисович. Народ-то только что скажет?» А он мне: «Народ, народ! Да плевал я на твой народ, он у меня вот где...»

Алешин, рассказывая, показал кулак, а Курбатов слушал и не мог поверить ему. Будто бы совсем о другом человеке шла речь, а не о том, которого знал и любил Курбатов. Временами ему хотелось оборвать Алешина, в нем всё кипело, но он наталкивался на его грустные глаза, на хмурый взгляд Вальки и говорил себе: «Нет, это правда».

Алешин продолжал:

— Вижу, разговаривать с ним бесполезно, просто спятил человек. Ты, Яша, в нем прежнего Чухалина не ищи, его давно нет, а вот когда он потерялся — все мы проглядели. И я тоже проглядел. Он теперь «сам», «хозяин», вот даже Кият его иначе не зовет — привык. Никакого коллективного мнения он не признает, критику любит, если она его не касается, а чуть заденешь — тигром рычит... Подхалимы появились, а ему это льстит. Трудненько тебе с ним, Яша, работать придется.

...Ну, спросил я у него все-таки, а кто ж эта баба? Старая, наверно, что за тебя замуж идет? А он уже по кабинету забежал. «А вот и нет, тридцать лет всего». — «Да она, говорю, тебе во внучки, почитай, годится!» Тут он такое сказал, что я при Тане и повторить не могу. Словом насчет старого коня.

Женился он на Тузовой, может помнишь, бывшего главного бухгалтера дочка? Ну, он еще у Печаткина

работал? Эту Тузову весь город знает — кукла разма-
леванная. Рабочие после этого Александра Денисовича
совсем не влюбились, и так-то уж накопилось. Теперь до
чего дошло: жена его звонит и требует, чтобы ей на
дом рабочих прислали, пол там помыть или обои на-
клеить. Тут я уж не утерпел, сказал Чухалину, он за-
претил ей эти звонки.

Вот так-то, Яша. А дела, между прочим, на комби-
нате хуже пошли. Чухалин во что ни вмешается —
только напортит. Черт его знает, может отошла уже
пора «красных директоров», а? Вот Валя на своих пле-
чах весь комбинат и везет.

— Ты скажешь, дядя Павел, — вспыхнул Кият.

— А что? Яшка сам в этом убедится. Я по-стари-
ковски скажу: молодец ты, Валька, действуй так же!

Вино было выпито, винегрет съеден, но расходиться
не хотелось. Таню, которая жадно слушала, о чем го-
ворят мужчины, заставили лечь и уснуть. Пока она
раздевалась, мужчины вышли покурить в кухню.

Там было теплее: горела плита. Стоя у окна, все
трое молчали, думая каждый о своем.

— А ты, дядя Павел, где сейчас?

— Кадрамиправляю, — с иронией ответил Але-
шин.

Курбатов оживился:

— Так ведь это же работа! Это же люди...

— Да уж, — усмехнулся Алешин. — Только я
больше штамую. «Сам» всё делает. Вот, если простого
рабочего принять или сезонника, это пожалуйста, это
мое дело.

— А много сезонников у вас? Что они строят? —
вспомнил Курбатов старика с козлиной бороденкой.

Алешин ответил коротко: «Два новых корпуса» и,
вытащив большие, еще отцовские — Тита Титовича ча-
сы, заторопился, попрощался и ушел.

— Пошли и мы спать, — предложил Кият, обни-
мая Курбатова за плечи и подталкивая к двери.

Таня уже спала: дорога, даже не очень долгая,
утомила ее. Кият помог Курбатову развязать узел с
постельным бельем, тихо, стараясь не шуметь, прита-
щил из кухни «козлы» и доски. Потом они вместе се-
ли на постель, и Кият, внимательно и тревожно глядя
Курбатову в глаза, спросил шепотом:

— Ну так как, Яшка? Справимся? Чухалин старик крепкий.

— Посмотрим, — так же шепотом ответил Курбатов. — Только я ведь сюда не с Чухалиным воевать приехал, Валя. Вот еще о чем я не узнал. Булгаков как? Не сердится на меня, а?

— Он тоже постарел, — уклончиво ответил Кият. Курбатов недовольно нахмурился. На какую-то секунду ему показалось, что Валька вообще настроен против стариков. Хотя нет, дружен ведь он с Алешиным...

Лежа на неудобном, жестком топчане, Курбатов долго не засыпал, пытаясь представить себе другого Чухалина, и не мог. Тихо было в доме, только во сне временами тихо начинала стонать Таня: наверно, шевелился ребенок.

II

Всё было здесь уже совсем, совсем иначе, несмотря на то, что Курбатов ездил последний раз в Печаткино всего лишь год назад. Собственно, не было даже Печаткино: город, бурно разросшийся на обоих берегах Сухоны, теперь назывался — Новогорск.

Снег еле слышно поскрипывал под ногами: за ночь прошел небольшой снегопад, потом сразу похолодало, и снег лежал ровный, пушистый, нетронутый. До начала смены оставалось минут сорок, когда Курбатов и Кият, наспех позавтракав, отправились на завод. Кияту вроде бы там еще нечего было делать, но он не хотел отпустить Курбатова одного: «Покажу тебе заводоуправление. Такую домину отгрохали!»

Там же помещался и партком. Курбатов еще издали заметил темное, мрачноватое (или это только так показалось в сумерках) здание и присвистнул: это да! Только от комбината далековато.

— Телефонная связь, — ответил Кият, и не понять было, сказано ли это в осуждение или с гордостью. Курбатов пока еще как-то не понимал своего друга: ему казалось, что Валька то иронизирует, то хвастает.

Из домов, тоже не знакомых Курбатову, каменных коробок с широкими, но низкими окнами, выходили люди и шли к заводу. Курбатов невольно замедлял шаг. Он любил, когда по улице движется плотная толпа.

па, здороваются люди, находятся знакомые. Но до гудка было еще далеко, и это шли те, у кого на заводе были какие-нибудь особенно срочные дела.

— Не узнаешь? — кивнул Кият на рабочего в ватной куртке, сутулого, с бумажным свертком под мышкой.

— Нет.

— А догони-ка?

Курбатов знал, что знакомых на заводе много, готовился к самым неожиданным встречам, и всё-таки эта была совсем неожиданной:

— Дядя Ваня!

Мелентьев — старый мастер, когда-то учивший Яшку всяческой житейской мудрости, остановился и, подслеповато щуря глаза, рассматривал Курбатова.

— Не узнал? Ну, неужели не узнал?

— Нет... постой, постой. Нет, не узнаю.

Курбатов, хохоча, сгреб мастера в охапку и, расцеловав, потряс за плечи:

— Да я ведь — Яшка. Ну? Курбатов!

Мелентьев как-то недоверчиво оглядел его и, смущенно улыбнувшись, ответил:

— Где ж тебя узнать? Вон с какую версту коломенскую вымахал. — И добавил: — А я вот, видишь, к земле стал расти.

— Ну, что ты, дядя Ваня. Я ж тебя сразу узнал. Ты мало изменился.

Мелентьев хмыкнул и пошел рядом с Курбатовым, на ходу пожав руку главному инженеру Кияту:

— Не говори пустое — «мало»... На седьмой десяток повалило, а я не Чухалин, чтоб козлом прыгать. Полею вот, поясница замучила и гнет, понимаешь...

— А чего ж ты в санаторий, на курорт не съездишь?

— Ишь ты, — проворчал дядя Ваня. — А на какие я шиши поеду-то?

— Как это на какие?

— Да вот так, на какие, — передразнил он. — У нас в завкоме... — и тут же, словно спохватившись, спросил сам: — А ты-то сюда чего приехал, к кому?

— В партком приехал, к Булгакову иду.

— Сходи, сходи. — Мелентьев сразу куда-то затоптался, переложил свой сверток и начал торопливо

совать Курбатову руку. — Я-то давненько у него и был, боюсь, кабинет запачкаю.

Курбатов задержал его руку в своей, они снова пошли рядом. Что-то уже знакомое промелькнуло в словах Мелентьева, уже слышанное вчера, — и горечь, и ирония, и просто злость обиженного человека, так неприятно поразившая поначалу Курбатова в Алешине и Кияте. Теперь вот — Мелентьев. И если о делах на комбинате говорилось вскользь, как о деле второстепенном, то для Курбатова это было понятно: всё, что было плохо, связывалось у людей с Чухалиным и, быть может, с Булгаковым.

Курбатов не хотел отпускать сейчас Мелентьева. Пусть выскажется. Чем больше я буду знать, тем лучше — легче будет разговаривать там, в заводууправлении. Поэтому сейчас, услышав — «кабинет запачкаю», Курбатов недоуменно переспросил: — Что?

— Кабинет, говорю. Ковры везде, в сердцах плюнуть некуда. А в кресло сядешь — уснуть хочется. Чухалин в городе все комиссионные облазил.

— Ничего не понимаю, — повернувшись к Кияту, сказал Курбатов.

— Если надолго приехал, то поймешь, — снова хмыкнул мастер, торопливо уходя вперед.

Курбатов смотрел, как он семенит, переваливаясь с боку на бок, шаркая по снегу подшитыми валенками, и смутное, но уже серьезное подозрение, возникшее вчера, стало переходить в раздражение. Тряхнув головой, словно сгоняя с себя какое-то наваждение, Курбатов кивнул Кияту: «Пойдем», но тот протянул ему руку:

— До вечера. Я в цеха.

— А-а, ну хорошо. Я тоже скоро приду.

Войдя в дверь, Курбатов остановился, подумав — туда ли я попал, может быть, в клуб? Прямо шла лестница, покрытая ковровой дорожкой. У перил, хитроумно приделанные, стояли кадки с фикусами. Уборщица, вязавшая носок, равнодушно оглядела Курбатова и, вдруг оживившись, загородила ему дорогу:

— Не полагается, молодой человек, не полагается...

— Чего не полагается-то?

— А в одежде не полагается. И рано еще, народу еще мало. Сдайте пальтишко-то на вешалку.

Снимая шинель и шапку, Курбатов спросил, неужели и рабочих заставляют так раздеваться, и уборщица ответила, что новшество это было введено, как сюда приехали, только ничего особенного нет — рабочих стало ходить меньше. Переехали они недавно, с месяц, а в старом здании (уборщица отвечала охотно) остался отдел кадров, комсомол и страхкасса, что платит по бюллетеням...

— Так. Значит, шикарно зажили? — усмехнулся Курбатов. — Как мне к Булгакову-то пройти?

— А по коридору налево.

Там, на обитых черной пахучей клеенкой дверях, висела табличка: «Приемная и кабинет секретаря парткома комбината т. Булгакова». Курбатов толкнул дверь, она не открывалась. С трудом ему удалось приоткрыть ее: наверху зазвенела тугая пружина...

Он вошел в приемную. Первое, что ему бросилось в глаза, — белые, обтянутые чехлами кресла вдоль стен. В этой огромной комнате люди как-то терялись, он не сразу увидел двух мужчин и девушку в углу, возле массивного бюро.

Курбатов, кивнув на другую дверь, спросил: «Здесь?», но девушка, вскочив, встала между ним и дверью, точно так же, как три минуты назад это сделала уборщица.

— Вы куда, товарищ?

Она почти выкрикнула эти слова. Курбатов улыбнулся:

— Как куда? К секретарю парткома.

— Секретаря нет, он у директора, вам придется подождать.

Девушка выпалила всё это Курбатову, и ему показалось, что испуг, вызванный у нее тем, что Курбатов подошел к двери, мало-помалу начал исчезать. А он почувствовал, как раздражение начинает снова расти, и трудно было справиться с ним сейчас.

— Скоро он придет?

— Вот этого я не знаю.

Курбатов, покосившись на табличку «Не курить», решил — черт с ним, не буду курить, и сел в кресло. Двое мужчин переглянулись, один сказал:

— Иногда бывает, он полдня у директора сидит. Соберутся старики, ну и...

— Ты что, Чухалина за старика считаешь? — расхохотался второй, ничуть не стесняясь присутствия чужого человека. — Да такая баба, как у него, на тебя и смотреть не станет.

Девушка вспыхнула и смущенно поглядела на Курбатова. Он понял этот взгляд: «Ну, чего мелет! Вы уж извините его...» Тот, кто только что «проехался» насчет Чухалина, обернулся к Курбатову:

— А вы кто будете?

— Я из обкома партии.

— А-а... Прежде мы, кажется, не встречались. Заорг парткома Семенов, — представился тот и первый протянул Курбатову руку. Он поздоровался со вторым:

— Завагитмасс парткома, — фамилию Курбатов не разобрал.

— Ну, — спросил Курбатов весело, — нравится вам эта обстановка?

Семенов и завагитмасс снова переглянулись, словно советуясь, как лучше ответить на этот вопрос и какой подвох в нем кроется. Семенов протянул поначалу нерешительно:

— Н-нет...

— Это почему же?

— Рабочие стали меньше ходить, — выпалила девушка и нырнула за свое бюро. Очевидно, она просто передала сейчас то, о чем еще совсем недавно говорили эти двое, потому что завагитмасс кивнул и пояснил:

— А если и придут, то стоят, жмутся... Да и нас засасывает эта тишина. Пойдемте в его кабинет, товарищ...

— Курбатов.

— ...товарищ Курбатов.

Он видел: они довольны, что беседуют с ним. Они уже перешагнули ту черту обычной осторожности, которая возникает между незнакомыми людьми, и для Курбатова не было секретом, почему это произошло так быстро. Не потому, что он сам располагал к этой откровенности, вовсе нет! Просто у людей наболело, быть может, точно так же, как у Алешина, Кията, Мелентьева, и они, торопясь, стремились всё рассказать не Курбатову, а человеку, приехавшему из обкома партии. «Значит верят обкому, — удовлетворенно подумал

мал Курбатов. — И Булгакова не боятся — это хорошо».

...На большом столе стояли канделябры, чернильница с тремя медведями, пресс-папье из малахита. На полу — голубой пушистый ковер, в котором сразу же утонула нога. Низкий книжный шкаф, на нем — фарфоровый слон, задравший хобот. Обернувшись, Курбатов крикнул секретарше:

— Слушайте, девушка, как вас зовут?

— Шура, а что?

— А вы не позвоните товарищу Булгакову? Скажите — его ждут.

* * *

Они встретились в приемной. Булгаков торопливо пересек комнату, не поднимая глаз, только показал Курбатову на дверь своего кабинета и что-то буркнул под нос. Курбатов правильно понял этот жест: «Прощу».

Только тогда, когда за Курбатовым закрылась дверь, Булгаков, раскинув руки, обнял его и сразу добревшим голосом сказал:

— Ну, здорово, сынок.

Они расцеловались. Всё-таки Курбатов любил старика, и то, что его потрясло полчаса назад, всё ещё казалось ему каким-то тяжелым недоразумением, ошибкой, которую, если объяснить, можно исправить.

Булгаков хлопал его по плечу, расплываясь в улыбке, и говорил, что Якова не узнать, что он совсем не похож на «того заскребыша».

— Значит, на свое болото кулика потянуло?

— Да вот... приехал.

— Я знаю, что прислали. Значит, перья выросли. Мне Данилов о тебе много рассказывал, хвалил, говорит — правильного парня воспитали.

Он засуетился, усаживая Курбатова и сам садясь рядом. Курбатов был ему благодарен за то, что старик избавил его от необходимости самому говорить о себе, о том, зачем он сюда приехал. Сейчас он мог, слушая, наблюдать за ним, и чем дольше он слушал, тем больше убеждался в том, что Булгаков не очень переменился: разговаривал он по-прежнему прямо, не задумываясь над тем, как лучше сказать. Курбатов на какую-то секунду даже устыдился того, что мог поду-

мать плохо о старике; нет, тот сохранил всё, и главное — прямоту.

— И правильно это, — тихо говорил Булгаков, что меня на покой посылают. Я хоть к этому и стремлюсь, но — понимаю. Не по плечу мне комбинат стал, шутка ли — три тысячи большевиков. Поменьше мне надо что-то... И опять же: давно я здесь, затупился как-то. Да и Чухалин...

Он махнул рукой. Курбатов промолчал.

— Социалистическое соревнование — слышал, начали в Ленинграде?

— Да.

— Угробил его у нас Чухалин. Это уже тебе расхлебывать придется. Но трудненько тебе, Яков, с ним будет, ой как трудненько! Ты уж, наверно, слышал о нем... Мне его сдерживать не под силу. Ко мне он привык, как к мебели какой, не считается. Данилова боится, себя уважает. Как ты к нему сумеешь подойти — не знаю, смотри сам.

Заметив, что Курбатов рассматривает слона, Булгаков опередил его вопрос:

— На обстановку смотришь? Верно, кабинет не для секретаря парткома. Не хотел я из старого дома переезжать, так Чухалин распорядился ночью всё мое хозяйство сюда перетащить. Вот тебе и «графский будуар» — это так рабочие говорят. Ну, поругались, подулись друг на дружку, но только я остался... И, знаешь, по совести скажу: стал я на этого слона похож. Трублю, хобот задираю, да всё в своем кабинете. Вот что комната с человеком сделать может. Хорошо еще Данилов ничего этого не видел... Ты когда дела будешь принимать?

Курбатов, шумно вздохнув, встал:

— После конференции. И... ты меня прости, что я о тебе тоже плохое подумал.

Булгаков, грустно покачав головой, тоже встал и, отвернувшись, ответил:

— Я, брат, сам о себе плохо думать стал. Очевидно, старость всё-таки. Ну, отпоют меня на конференции и с плеч долой...

Обоим после этого разговора стало легче. Курбатов уже не испытывал того мучительного смущения от сознания того, что человек, который был ему дорог,

может не понять, обвинить... Булгаков смотрел на вещи трезво, и если была в его словах какая-то хватающая Курбатова за душу грусть, то он хорошо понимал это. Конечно, ему нелегко сейчас. Нелегко признаваться, в первую очередь, самому себе в том, что да, устал, работает плохо. Булгаков ходил по пушистому голубому ковру, и Курбатову казалось, что он разговаривает сейчас сам с собой, словно высказывая вслух давно уже пришедшие мысли:

— ...Критиковать будут — и есть за что. Рабочие верно поняли призыв «невзирая на лица». Хотя сейчас кто повыше критику не очень-то любит. Ты заметил, наверно? И газеты не те стали. Вроде бы теперь всё хорошо у нас и бюрократов нет. Критику теперь все на низы, на низы направляют. А Чухалина — того уже с оглядкой критиковать надо. Его, между прочим, Баранов и нарком крепко поддерживают. Данилов — тот Чухалину спуска не дает. Вот увидишь: будет Данилов на конференции — будет и критика.

— Когда конференция у вас назначена?

— Торопишься? — улыбнулся Булгаков. — Через три дня. Ты времени не теряй, походи по цехам, по стройке... Ну, и к Чухалину — обязательно. Он уже спрашивал сегодня о тебе. В цехах еще стариков много. Мелентьев...

— Я его видел уже.

Булгаков кивнул, словно одобряя то, что Курбатов успел встретиться с ним.

— Вот Мелентьева Чухалин тоже обидел. Тот ведь мастером был, золотые руки, но — практик. Снял его Чухалин и поставил вместо него юнца с дипломом, а Мелентьев в другой цех бригадиром пошел. Юнец участок заваливает, план уже вот пять месяцев подряд свистит... Алешин пробовал было говорить с Чухалиным, да куда там! Словом, новые установки проводит формально. Конечно, мастер нам нужен с высшим образованием, а только... Как это я тебя учил — помнишь? Ну?

— Теория без практики слепа, практика без теории мертва, — улыбнувшись, ответил Курбатов. Улыбнулся и Булгаков.

— Ну, а теперь иди. Дай мне одному побыть.

Он подошел к Курбатову вплотную и, заглядывая

ему в глаза снизу вверх, тихо и жестко сказал:
— Только со мной никогда дипломатию не разводи. Не люблю я эти (он покрутил в воздухе пальцами) шунды-мунды. Если что есть — режь прямо. Понял?
— Я это знаю, батя, — так же тихо, выдерживая взгляд Булгакова, ответил Курбатов.

* * *

Чухалина он не узнал.

Отправившись от него на комбинат, уже с постоянным пропуском в кармане, Курбатов испытывал не злость, не раздражение, не удивление перед тем, что случилось, а какую-то не понятную самому себе растерянность, и только свернув по дороге к Алешину, в старое здание, подумал над тем разговором, который у них произошёл.

Собственно говоря, внешне всё выглядело так, как и ожидал увидеть Курбатов: роскошный кабинет, молодящийся старик, величественный жест навстречу: «А, прибыл!» И всё-таки то, что говорил Чухалин, оказалось выше рассказов о нем: это была какая-то фантазмагория, нечто такое, с чем Курбатову никогда прежде не приходилось встречаться. Он знал просто плохих и просто хороших людей, знал, что из плохих люди иногда делаются хорошими и наоборот, но он никогда не предполагал о существовании той степени душевного падения, на которой неизвестно когда очутился Чухалин. Чухалин! Тот самый человек, благодаря которому он, Яков Курбатов, выбрал из всех своих путей один.

Слова Чухалина «мой завод», «я работаю» неприятно кольнули Курбатова — но и только. Но, когда речь зашла о делах, Курбатов стал теряться, хотя и пытался говорить с директором твердо.

Чухалин, прицепившись к тому, что Курбатов встречал Алешина, просто обрушился на своего друга.

— Держу его на кадрах, человек нового не понимает и не разделяет.

— О каком новом вы говорите, Александр Денисович?

— Не знаешь? Может объяснить? Ну, например, коллективность в руководстве. Теперь, брат, это время отошло, вопросы надо решать единолично.

— Это вы о единоначалии на производстве говорите, — уточнил Курбатов. — Я с вами согласен, только ведь и единоначалие можно по-разному понимать.

— А я понимаю. Наука не хитрая. Я приказываю и попробуй не выполнить.

— Ну, — откинулся на спинку кресла Курбатов, — плох тот директор, который ни к кому и ни к чему не прислушивается. Единоначалие не есть единоначалие.

Чухалин брюзгливо выпятил губу. Он возразил быстро и раздраженно:

— Что ж, по-твоему, я должен с каждым рабочим советоваться? Не знаю, как мы с тобой поладим в таком случае. Хотя... тебя ведь еще не выбрали.

— Не выберут — обижаться не буду, — резко, уловив скрытую угрозу, сказал Курбатов.

Директор примирительно махнул рукой:

— Это я пошутил, выберут, тебя здесь с пеленок, считай, знают.

Потом разговор зашел о работе парткома, и Курбатов, стараясь говорить как можно мягче, сказал, что, по его мнению, партком надо перевести в старое здание, ближе к цехам.

— В деревянное-то? В развалины-то? — удивленно вскинулся Чухалин. — Там Павлуха со своими кадрами сидит, народищу, что на толкучке, от сезонников дух такой, что хоть святых выноси вон.

— И всё-таки для парткома там лучше.

— А ну тебя к чёрту, — обозлился Чухалин, обеими руками поглаживая бритую желтую голову. — Хочешь — переезжай, только я на твои заседания бегать не буду. За семь-то верст киселя хлебать.

Теперь разолился Курбатов. Разговора не выходило. Он не знал, как себя держать сейчас, и поэтому млился еще больше.

— Не только на заседания, а и когда понадобится придете.

— Это к тебе-то? Да ни в жизнь. Чтобы я на вызов Лшки Курбатова пошел, которого уму-разуму учил?

— Александр Денисович, — не смирясь, почти кричал Курбатов. — Ну да, вы и учили! Вы же меня учили, что перед партией все равны. Вы?

Чухалин жестко оборвал его:

— Ты попробуй себя с Барановым сравнить. Забыл уже, как тебя высекли? Данилова благодари, что не заведешь красным чумом в каком-нибудь медвежьем крае.

На этом разговор кончился. Курбатов уходил от него с пылающим лицом и острым чувством обиды. Растерянность росла; он не пытался сейчас объяснить себе, как всё это могло случиться. Он ушел от Чухалина с ясным ощущением того, что они останутся теперь чужими, не понимающими друг друга, и это было горько, как горько бывает приехать домой после долгого отсутствия и узнать, что любимый человек умер.

На какую-то секунду Курбатову показалось, что он уже переживал однажды такое же, похожее чувство. «Да, верно, — подумалось ему. — Когда Клава ушла и Трохову...».

* * *

Здесь на него сразу пахнуло знакомыми, родными с детства запахами горячего металла, кокса, масла. На дворе, перед цехами, снега не было, он лежал только по углам, покрытый густыми прядями черной копоти. И эти запахи, и эта копоть, и шлак, похрустывающий под ногами, и очертания старых цехов — всё, всё возвращало Курбатова к тем далеким уже временам, когда здесь зарождалась его судьба. И если бы не горечь от последней встречи с Чухалиным, может быть, он и отдался бы сейчас воспоминаниям. Ничего, что все его воспоминания были печальными; даже хорошие воспоминания печальны потому, что они в прошлом.

На комбинат он пришел один, упросив Алешина не идти с ним. Окинув с порога глазами цех, он улыбнулся: и здесь вроде бы ничего не изменилось. Хотя нет, старым было только здание, коробка цеха: внутри всё уже было новым. Блестели черным лаком станины многочисленных станков; он не увидел трансмиссий, не услышал привычного жужжания и шелеста приводных ремней.

Час был еще ранний, но в цехе он не сразу заметил людей, и первой мыслью было: «Неужели ушли на обед? Так рано?» Потом он увидел нескольких рабочих, сидевших возле остановленных станков и читавших газету. Человек пять или шесть, устроившись в уг-

лу цеха, покуривали, разговаривали: на Курбатова никто не обратил внимания—мало ли народа здесь ходит. Возле большого строгального станка, тоже молчащего, возился старик со сморщенным, как печеное яблоко, лицом и седыми волосами, выбившимися из-под засаленной кепки. Курбатов улыбнулся: да это же молчун — Киуру! Тот самый, который его судил когда-то вместе с Титом Титовичем. Курбатов шагнул к нему:

— Здравствуйте, дядя Тойво!

Старый строгаль, сидя на корточках, медленно поднял голову и сердито взглянул на Курбатова своими бесцветными, по-стариковски немигающими глазами:

— Здравствуй, «племянничек».

— Не узнали! — Курбатов даже опешил от этого ехидного «племянничка». Строгаль поднялся и, пригладившая какую-то деталь, коротко спросил:

— Ну?

— Значит не узнали.

— А чего тебя не узнать. Всё в комиссарах ходишь?

— Узнал, — вздохнул Курбатов. Он хотел было обнять старика, так же, как обнимал и Мелентьева, но наткнулся на сердитый, словно отталкивающий, взгляд.

— Приехал сюда, здесь работать буду.

— Значит спихнули тебя с комиссаров? У верстака спокойнее будет. Слесарь ты не плохой был.

Тойво Киуру повел рукой вокруг себя и снова опустился на корточки. Курбатов видел: дед сердит, он говорит как-то особенно отрывисто и зло. Еще не понимая, отчего строгаль так встретил его, Курбатов ответил:

— Нет, дядя Тойво, я... на другую работу приехал. А что это цех стоит? Простой почему?

Киуру проворчал что-то неразборчивое, Курбатов только и смог разобрать: «план... пятилетка в четыре года... литейный... перкеле», старик ругался, путая русские и финские слова.

Заинтересованные, а может быть потому, что им просто нечего было делать, подошли рабочие. Один из них, с тонкой гусиной шеей, обмотанной грязным шарфом, простуженно прохрипел:

— Что, работаешь, Тойво?

— Почему у вас простой? — нахмурившись, обернулся к нему Курбатов. Рабочий, коротко взглянув на него, отвернулся: вопрос был задан властно.

— А потому, что литейный цех план выполняет.

— Как выполняет?

— А так вот. Им план в тоннах дают. А начальник у них жук такой, не приведи бог. Ну и льет детали, что потяжелее, а нам такие не нужны. Иди, погляди, весь двор этими отливками завален, а нужные-то детали промежду прочим идут. Вот и стоим.

Курбатов, глубоко засунув руки в карманы шинели, стоял перед рабочими, не замечая, что те с любопытством разглядывают его, словно оценивая, поможет им этот человек или нет. Когда он сказал сквозь стиснутые зубы: «Безобразис» — все одобрительно закивали, а Киуру пробурчал снизу:

— Конечно, безобразие.

— Только об этом все знают, — просипел рабочий с шарфом. — Да всё равно литейный на паровозе едет, а мы на раке...

Курбатов не понял: какой паровоз, какой рак? Рабочие объяснили ему хором, перебивая друг друга, что в проходной есть доска, а на ней нарисованы картинки: самолет, паровоз, глссер, улитка, черепаха... Кто выполняет план — того сажают на самолет или паровоз, а вот цех механической обработки посадили даже на рака.

— Это еще что! — крикнул, стараясь перекрыть все голоса, какой-то паренек. — У нас еще похуже дела есть. Вы кем будете?

— Думаю, буду секретарем парткома.

Парень присвистнул и, быстро придвинувшись к Курбатову, спросил:

— Вроде Булгакова, значит, будешь?

— Вроде, — улыбнулся Курбатов.

— Ну, тогда нам в разные стороны. Пошли, ребята, загорать.

Старик Киуру, на секунду обернувшись, бросил парню короткое «дурак», и тот, опешив, переспросил: «что?», даже забыв согнать с лица ироническое выражение. Киуру, побряхтывая, поднялся и, тронув Курбатова за рукав, отрывисто, как всегда, сказал:

— Не слушай. Голова у него, как табурет. Плохо у нас, правда, много. Походи, посмотри. И таких, — он кивнул на парня, — тоже много. Болтуны. Языком работают.

Считая, что он уже сказал достаточно, Киуру отвернулся и начал закреплять деталь.

— Я еще зайду к тебе, дядя Тойво, — тихо сказал Курбатов и взглянул на растерянного парня. — А с тем, что плохо — разберемся, надо полагать. Если сами поможете, конечно.

* * *

В механо-сборочном, в разговоре с комсомольцами, Курбатов узнал, как на комбинате было завалено социалистическое соревнование. Вихрастый, весь какой-то колючий сын покойного Захара Пушкина, комсомольский вожак цеха, рассказывал это Курбатову, не скрывая злых слез. Он передал ему и слова Чухалина: «Здесь вам не Ленинград, не «Красный выборжец» — там кадры, а у нас черт-те знает что». Курбатов подумал, что об этом на конференции надо будет поговорить в первую очередь, а потом пройти по цехам, посмотреть, с чего начинать соревнование. Ну, да и коммунисты подскажут.

Прежде чем уйти из механо-сборочного, Курбатов отвел в сторону Колю Пушкина и показал ему на грязный пол, на стружку, разбросанную повсюду, на залежи тряпок по углам, свалявшуюся и похожую на тряпки паутину, затенявшую окна:

— А вот с этим соревнование не пойдет. Убрать надо бы. Ты не говорил о соревновании с дядей Ваней, с Мелентьевым?

Пушкин присвистнул:

— Сунулись было.

Курбатов улыбнулся, представив себе, что же было, когда к Мелентьеву «сунулись» комсомольцы. Попросив Пушкина зайти в партком в начале недели, Курбатов ушел на строительство новых корпусов, потом в кузнечный цех. Там разговор о делах только начался, когда раздался низкий, басовитый, знакомый Курбатову гудок.

— Перерыв. Ну, идите, товарищи, потом поговорим. В столовую, наверно, торопитесь? Где она у вас?

— Да там... Только мы туда не ходим. Если туда

обедать ходить, то и двух часов не хватит. Опять же — кролики. От них сам Снежков плачет.

Потом Курбатову объяснили подробней: Снежков — начальник ОРСа. Чухалин приказал ему разводить за городом кроликов. Эти длинноухие плодились так, что вскоре у Снежкова не оказалось никаких кормов — кролики начали дохнуть. Пришлось всех перерезать и несколько тысяч штук лежали сейчас на ледникаж. Весь комбинат их ест уже вторую неделю, а Чухалин требует, чтобы Снежков снова наладил хозяйство. Хочешь не хочешь, а пришлось незадачливому снабженцу разводить проклятых «зайцев», как он их называл.

И это тоже отметил Курбатов: организацию питания на комбинате. Тоже надо будет поговорить.

Домой, к Кияту, он вернулся в полночь, усталый, измотанный, но живой, и носился по комнате, рассказывая о том, что видел. Кият слушал его, улыбаясь: нет, Яков не переменился, такой же подвижной. Но Курбатов не заметил, что у Тани обиженное лицо, и едва Кият вышел, как она тихо сказала:

— Что же ты не спросишь, как я себя чувствую? И я ведь тоже по делам ходила. Тебя это не интересует?

— Прости, Танюша. Так как у тебя?

Она отвернулась. Курбатов успел увидеть досадливую гримасу на изменившемся, покрытом некрасивыми темными пятнами, лице:

— Никак. И долго мы здесь гостить будем? Ты теперь на комбинате хозяин, можешь себе квартиру достать.

— Таня!

— Что «Таня»! — вскинулась она. — Живем, как попало, а ты не хочешь о семье подумать. У тебя ребенок будет...

Так неожиданен был для Курбатова этот переход от многих, глубоко его взволновавших дел к обыденному, к незаслуженным Таниным обидам, что он долго не мог ей ответить.

— Хорошо, — наконец глухо выдавил он. И, хотя он понимал, что Таня по-своему права, он почувствовал, как чем-то чужим повеяло от нее, незнакомым и неприятным. Это было с ним впервые. Курбатов попробовал было обвинить себя: кто-то ему говорил или

где-то он читал, что мужья часто становятся равнодушными, когда их жены беременны. Чепуха! Просто Таня устала, нервничает, капризничает. Ничего, это пройдет.

Минуту спустя он уже и думать забыл об этом.

III

Конференция должна была открыться в три часа дня, а в двенадцать по улицам Новогорска промчался, чихая, крытый брезентом, обкомовский «газик» и остановился возле проходной комбината. Это была старая привычка Данилова: не заходя в партком, походить сначала по цехам, посмотреть всё самому.

Курбатов сидел у Булгакова, когда в кабинет вбежал Чухалин. Первого взгляда было достаточно, чтобы определить: человек нервничает. Директор, неслышно ступая по голубому ковру, то и дело гладил рукой жесткую бритую голову, дергал нависшими бровями, потом сказал, обращаясь к обоим:

— Данилов приехал — и прямо в цеха... Видел его в окно.

Курбатов широко улыбнулся: в глубине души он ждал этого приезда, надеялся на то, что Данилов будет на конференции. Чухалин заметил эту улыбку и быстро отвернулся.

— Кстати, — сказал он, видимо, Курбатову, — нарком нам две машины прислал, заграничные, «Шевроле». Мы теперь с тобой, Яков, загазуем. Одну машину я к тебе с Киятом прикреплю, вместе будем за утками да стерлядью на Кубенское ездить.

Курбатов взглянул на Булгакова, тот понял этот взгляд и ответил сам:

— А ведь, надо полагать, нарком не для того машины прислал, Александр Денисович... Эх, Саша, не о том ты... На строительство бы лучше сходил, а то там сезонники вот-вот разбегутся.

Чухалин оборвал его:

— Критиковать начал? У тебя еще будет сегодня эта возможность. Пожалуйста, критикуйте — нынче это модно. А на строительство я велю Трешкину сходить, у него ноги помоложе будут. Я не собираюсь работать ни в всех.

Тут же он насторожился. Издалека, через закрытые двери, через приемную, из коридора, доносился роко-чуший бас Данилова.

— Ну, держитесь теперь, — криво усмехнулся Чухалин, вытирая платком ладони.

От сильного толчка дверь распахнулась с гулом, и Данилов не вошел, а ворвался в кабинет. Ни с кем не здороваясь, он тяжело опустился в кресло, потом привстав, снова сел, да так, что внутри кресла застонали пружины. На скулах Данилова медленно перекачивались тяжелые желваки. Он сцепил на груди пальцы и долго (всем показалось — очень долго) осматривал комнату.

— Ну? — наконец спросил он, ни к кому не обращаясь.

Чухалин, криво усмехнувшись, ответил таким же вопросом:

— Что?

— А черт знает что, — не сдержавшись, заревел Данилов, рывком выбрасывая из кресла свое могучее тело. — Кабинетки поразвели, в креслах спать можно, как это только швейцара не догадались завести. Да вы что это, а? Я спрашиваю, что это?

Курбатов откровенно любовался им сейчас, этой бушующей, не знающей границ, яростью. Данилов не «нагонял страху», не подавлял: те, кто знали его, знали и то, что Данилов сердится всегда из-за дела, и, если уж сердится, — лучше признать свои ошибки: он прав.

Сейчас он стоял, засунув кулаки в карманы галифе, расставив ноги, и от этого его фигура казалась еще более мощной.

— Что это, а? Монтаж оборудования сорван, заграничная техника, за которую народным золотом плачено, под снежком стоит, сортность целлюлозы снизили, на строительстве черт знает что творится, а они здесь — извольте! Креслица, коврики, рамочки, слоники... Директор на старости лет женился сдуру. Так или нет, я вас спрашиваю?

— Григорий Иванович... — проговорил Чухалин.

— Молчи! — снова заревел Данилов. — Сам всё знаю. А ты-то что, — обернулся он к Булгакову. — Тебя-то на что здесь поставили? Что там у тебя?

Он откинул штору, за ней была маленькая дверь; Данилов приоткрыл ее, поглядел и снова повернулся к красному, какому-то обмякшему, секретарю парткома:

— А-а, вот что! Персональный сортир. Леня уже по нужде в общий сбегать. Эх, старики, что же с вами стало? С Чухалиным у меня еще особый разговор будет, он этим не отделается. Идем, Курбатов.

Нахлобучив на ходу фуражку, Данилов так же рывком открыл дверь, вытолкнул вперед себя Курбатова и вышел следом:

— Ты проследи, чтоб всё партийное хозяйство сегодня же из этого «будуара» в старое помещение переехали. Я теперь им жару задам, Чухалина на бюро обсуждать будем. Надо же дойти до такого... Черт его знает что... — Он взглянул на часы. — До конференции полтора часа. Нервничаешь?

— Немного.

— А это хорошо. Самоуверенными только невежды да нахалы бывают. Я сегодня поговорил с народом о тебе — ничего, одобряют. Только... ну, да сам знаешь. И, если что, и с тебя три шкуры спущу, понял?

Он хлопнул Курбатова по спине, но легонько, так, чтобы не потревожить недавнюю рану. Выйдя на широкую площадь перед заводоуправлением, он махнул подбежавшему шоферу — «не надо, мы пешком» — и кивнул на центральную улицу: пойдем поглядим.

Они шли медленно, в ногу, чуть покачиваясь и касаясь друг друга плечами. На улице было почти пусто, только промчалась куда-то ватага ребятишек, да прошла женщина с ведрами.

Данилов, поднимая голову, осматривал большие серые дома, выстроившиеся вдоль улицы, и досадливо кричал, морщился, а потом, не выдержав, выругался:

— Ну и понастроили! Комоды, а не дома, честное слово. «Удешевленное строительство, удешевленное строительство», — передразнил он кого-то, — а на деле получается безобразие. Строй дешево и быстро, но уж делай так, чтоб и красиво было! Социализм и в строительстве, в жизни красоту предполагает. Я Чухалину это сколько раз говорил, а вот, пожалуйста, — понатыкал комоды. Зайдем, посмотрим, что ли?

Данилов вошел в первую же попавшуюся дверь. На

узкой лестнице было сыро и сумрачно, тяжелые своды словно давили на голову, и Курбатов невольно пригнулся. Данилов, заметив это, понимающе усмехнулся и, поискав рукой звонок на дверях в одну из квартир, не нашел его: пришлось стучать.

Дверь открыла пожилая женщина. Вытирая руки о фартук, она разглядывала двух незнакомых мужчин, пока Данилов не спросил:

— К вам можно?

— Что, комиссия, наверно?

— Вот-вот, комиссия, — словно обрадовался Данилов.

Женщина сразу засуетилась и, пропустив их, начала подбирать с пола детские игрушки. Курбатов, разглядывая комнату, спросил:

— Ну, как вы живете здесь? Довольны квартирой?

— Довольны, милостивец, довольны, — торопливо ответила хозяйка.

Курбатов и Данилов переглянулись. Чем она довольна? В полу щели, разошедшаяся дверь открылась со скрежетом, в узкое окно, упершееся в стену соседнего «комода», еле пробивался свет.

— А правду? — тихо спросил Данилов.

— А правду, так... Холодно вот ребятишкам зимой-то. Стенки тут тонкие. Ребята кашляют. И что у соседей делается — всё слышно. А так — ничего, живем, и на том спасибо.

Данилов кивнул Курбатову:

— Вот, видишь. Учти и это, не выпускай строительства из рук. О людях речь идет. Верно, мамаша?

— Что? — поначалу не поняла та.

— Люди, говорю, в домах-то живут, о них заботиться надо.

— Это верно, верно, кормилец.

Курбатов понял: женщина просто боится, как бы не вышло чего плохого, как бы не сказали ей — не нравится, ну, и отдавай тогда квартиру назад. Ему была знакома эта запуганность: хозяйка чем-то отдаленно напоминала ему погибшую мать, и Курбатов, чувствуя, как спазма сдавила горло, первым вышел на улицу.

Пора было идти в клуб. Данилов, опять поглядев на часы, озабоченно сказал:

— Давай, шагай. Конференцию надо открыть ми-

нута в минуту. Знаешь, как нас Владимир Ильич учил время ценить? Я как-то раз в Париже опоздал на занятия, так помню, потом Ильич подошел ко мне, голову так на бок, прищурился и спросил: «Не стыдно, такой большой, а вести себя не умеет?»

Он улыбнулся, вспомнив это, и улыбка была такой печальной и вместе с тем нежной, что Курбатов, увидев ее, понял, какой великой, нерастраченной, неиссякаемой любовью был полон этот сильный и внешне грубоватый человек.

* * *

Заводская партконференция проходила бурно.

Чухалин, сидя у края стола, поминутно потирал бритую голову и то и дело, придвигая к себе графин, пил воду. Это заметили, и, едва он протягивал руку к стакану, по залу проходил легкий смехок. Курбатов оказался прав в своих предположениях: приезд Данилова был словно толчком для людей. Чухалина и Булгакова критиковали крепко, так что Курбатов — и тот ежился, представляя себе, что они должны сейчас испытывать.

Им припомнили все: и сорванное соцсоревнование, и плохое снабжение рабочих, и зазнайство, и, конечно, роскошные кабинеты. Алешин, тяжело поднявшись на трибуну, долго надевал очки, читал, шевеля губами, какую-то бумажку и, наконец, скомкав ее, сказал:

— Вот ведь как оно получается, товарищи. Помню, в семнадцатом году, в октябре, когда мы к нашей революции готовились, всё было иначе. Считаю, Александр Денисович, не так-то уж это давно и было. И, помню, заболел ты тогда, едва на ногах держался, а работал. И как работал-то, мы все у тебя учились, и Булгаков в том числе. А нынче... Ты меня прости, хотя чего ж за правду-то прощения просить, — но будто бы и не был ты никогда революционером, будто...

— Но-но... — прикрикнул Чухалин.

— Что, разве не так? А ты знаешь, как о тебе теперь говорят?

Чухалин, повернувшись к Алешину, глядел на него тяжелыми, немигающими глазами.

— Кажется, у нас сегодня партийная конференция, — глухо сказал он.

— А ты член парткома, — усмехнулся Алешин. — И здесь хотел удрать. Так знаешь всё-таки, как говорят?

— Ну? — Чухалин потянулся к графину. В зале наступила томительная тишина; слышно было, как звенит горлышко графина о стакан и булькает вода. Алешину трудно было выговорить одно-единственное слово. Он сказал его почти шепотом, но оно было услышано всеми:

— Барин...

Работу парткома решено было считать неудовлетворительной. Повестка дня, как сообщил председатель, исчерпана; Курбатова наряду с другими выдвинули в состав парткома, обсудили кандидатуры, приступили к голосованию. В ту пору голосовали открыто, простым поднятием руки, и Курбатов, сидя в президиуме, старался не смотреть в зал, чтобы не смущать голосующих.

— Единогласно, — сказал председатель и тут же добавил: — При одном воздержавшемся.

Курбатов невольно вздрогнул и поглядел туда, куда повернулся председатель.

Воздержался от голосования Чухалин. Встретившись взглядом с Курбатовым, он насупился и, шумно вздохнув, начал разглядывать какую-то бумажку. «Так, — подумалось Курбатову. — Трудновато нам с тобой придется, Александр Денисович».

IV

На него сразу обрушилось столько дел, что по одному их количеству можно было судить о том, как была запущена на комбинате работа и партийная, и хозяйственная. Курбатову хотелось разобраться во всем самому, но, просидев в парткоме два дня, он понял, что это невозможно, и попросту сбежал в цеха, коротко сказав освобожденным членам парткома:

— Занимайтесь пока всей текучкой сами.

Он знал, с чего надо начинать на комбинате: тот разговор с Колей Пушкиным не выходил из головы. Паренек понравился Курбатову своей напористостью, был он горяч, быстр — полная противоположность своему соседу по участку, дяде Ване Мелентьеву. Но

Курбатову хотелось столкнуть именно их, сделать то, что уже было однажды в его комсомольские годы.

С Колей Пушкиным разговор был недолгий: тот понял Курбатова с полуслова и только перемигнулся со своими ребятами. С Мелентьевым пришлось беседовать куда дольше.

Едва Курбатов подошел к нему и поздоровался, дядя Ваня, ревниво косясь на молодежную бригаду, спросил:

— Что, уже впрягся?

— Да, вот сейчас по цехам хожу...

— Видел я, как ты с этими молокососами шуры-муры разводил.

Курбатов засмеялся, откидывая назад голову, а Мелентьев, вытирая ветошью испачканные маслом руки, недовольно сопел, хмурился: он и впрямь обиделся на Курбатова, что тот сначала подошел не к нему.

— Чего ж ты о них так? — всё еще смеясь, сказал Курбатов. — Хорошие ведь ребята. Или работают плохо?

— Нет, в общем-то ничего... — Мелентьев всё еще сопел, всё хмурился. — Только никакого почтения к нам, всё хотят выскочить. «Мы» да «мы» — коровник какой-то, а не цех. На первое место хотят, на наше то есть.

Подошли рабочие из мелентьевской бригады; все закурили, прислушиваясь к разговору. Мелентьев тоже закурил, держа сигарку зажатой между большим пальцем и мизинцем, чтобы не испачкать. И Курбатов понял, что люди приготовились к долгому разговору с новым секретарем парткома — к долгому потому, что они уже отвыкли видеть партийное руководство у себя в цехе.

Когда Мелентьев проворчал, что комсомольцы хотят «выскочить» на первое место, Курбатов, обращаясь уже ко всем, сказал:

— Так ведь это же хорошо, товарищи! Они за вами тянутся, а вы не уступайте им своего места, боритесь. В Ленинграде уже давно развивается социалистическое соревнование. Если так подумать, то ведь именно оно и поможет нам завершить пятилетку в четыре года. Как вы-то сами считаете?

Мелентьев кивнул:

— Слыхали мы... Соревнование... Только что ж, по-твоему, мы с этими сопляками соревноваться будем?

— А хотя бы и так, — подзадорил Курбатов.

— Да ни в жисть. Это только срам на себя принимать. Ну как обштопают, тогда что?

— Ты никак боишься, дядя Ваня, — присвистнул Курбатов. Он знал характер Мелентьева: старик долго раскачивается, но если уж его взять за живое — загорится не хуже молодого. И поэтому сейчас, посмеиваясь про себя, Курбатов брал старого рабочего за это «живое», видя понимающие улыбки и сам отвечая улыбкой.

Мелентьев спросил:

— Это я-то боюсь? Чижиков этих-то. На подначку меня берешь? Ну, пускай сунутся, мы им нос натянем.

— Они и сунутся.

— Не бойся, дядя Ваня, — примирительно сказал один из рабочих. — Где им за нами гоняться: не сунутся.

Курбатов, присев на высокий табурет, расстегнул шинель и снял фуражку; рабочие придвинулись ближе. Он обвел взглядом их лица и, легонько хлопнув фуражкой по колену, начал говорить тихо, будто речь шла о самом обыденном в жизни:

— Нет, товарищи, комсомольцы хотят с вами соревноваться. Я уже говорил об этом с молодежной бригадой. Они сейчас свои обязательства обдумывают и вызовут вас. Это, товарищи, большое дело, о нем еще в девятнадцатом году Владимир Ильич писал. Вот я и думаю: ваши две бригады это соревнование начнут, потом в него включатся цеха, завод, комбинат, а потом и другие заводы города вызовем.

— Значит, на всю железку хочешь закрутить! — буркнул Мелентьев.

— Этого не я хочу, а все хотят, дядя Ваня, — по-прежнему тихо ответил Курбатов. — И ты тоже хочешь.

Старик ожесточенно задвигал белесыми бровями, словно пытаясь что-то возразить, но так и не найдя, видимо, никаких слов, нужных для этого случая, махнул рукой:

— Мы, конечно, не против. Только не они нас, а

мы их вызовем. Ты только помоги нам эту бумагу составить... как ее там...

— Обязательство, — подсказал кто-то.

— Вот это самое — обязательство.

— Ладно, помогу, встретимся после работы.

Тут уже зашумели рабочие: зачем после работы? Садись с Иваном Петровичем, пиши, мы за него отработаем. У Курбатова на душе отлегло: начало есть.

Они писали, перечеркивали написанное, спорили и снова писали и даже не заметили, как хриплым баском гудка окончилась смена. Курбатов потребовал внести пункт о чистоте в цехе, и Мелентьев, яростно сплюнув на пол, рявкнул:

— Пиши, и это пиши!

Молодежная бригада Пушкина появилась в пролете в полном составе. Но, едва только их бригадир открыл рот, как Мелентьев, не давая ему сказать ни слова, вытянул вперед обе руки: в одной была бумажка с обязательством, а другой дядя Ваня изображал широко известную комбинацию из трех пальцев:

— Накося, выкуси. Мы первые вас, сопляков, вызываем. Рано вам еще поперед бабки в пекло лезть.

Смущенный Пушкин обернулся к ребятам. Те никак не ожидали, что «старики» выкинут такую штуку. Курбатов, давась от смеха, подошел к Коле и хлопнул его по плечу:

— Не горюй, что опоздал. Дело общее.

Тогда послышался один смешок, другой, третий и минуту спустя уже смеялись все, над бойкостью стариков — одни, над обидой комсомольцев — другие, и только Мелентьев, хмуясь для порядка, что-то бурчал себе под нос.

* * *

Чухалин, вопреки своим угрозам, пришел на первое же заседание парткома и, к общему удивлению, доидел до конца. Очевидно, шестьдесят два голоса «против», полученные при выборах на конференции, поставили его призадуматься.

Он не ушел и тогда, когда заседание кончилось. Сидя перед Курбатовым, он, по привычке поглаживая ладонью, сказал:

— Я вот тут на конференции воздержался голосовать за тебя, но ты не думай, что я против тебя что-

нибудь имею. Я тогда просто подумал, что если ты единогласно пройдешь — загордишься, нос поднимешь, а так хоть чувствовать будешь, что всяко может быть.

Курбатов, внутренне усмехнувшись, подумал: «В чем он оправдывается?» Ответил он тихо:

— Я, Александр Денисович, нос не задеру. Не приучен.

— Не зарекайся. Я вот — задрал было...

— Как это произошло, дядя Шура? — еще тише спросил Курбатов, сам удивившись тому, как это у него вырвалось старое, почти забытое «дядя Шура». Чухалин тяжело и как-то скорбно вздохнул:

— Не знаю. Чувствую только, что попал, как муха в паутину. А вот выкарабкаться...

— Вы расскажите...

— Нет, нет, не сейчас, потом как-нибудь. — Чухалин сорвал с вешалки пальто и торопливо, будто опасаясь разговориться, выскочил в коридор. Курбатов, не торопясь, оделся и вышел: ему хотелось сейчас пройтись, подумать о том, что происходит с Чухалиным, зайти домой к Алешину, посоветоваться...

Был вечер; сизые сумерки надвинулись на город, и все предметы казались неясными, расплывчатыми. Не успел Курбатов дойти до ворот, как навстречу ему бросилась какая-то фигура: маленького роста человек размахивал руками и что-то пытался сказать, но Курбатов не разбирал слов. Ветер раздувал на человеке брезентовый плащ, и тот хлопал, заглушая обрывки слов:

— Блохин... я... прораб... там... беда... ой, маменька...

Курбатов, резко рванув человека за руку, притянул его к себе:

— А ну, без паники. Что случилось?

Человек пришел в себя и, словно приобретя от этого рывка дар речи, захлебываясь словами, сбивчиво и путано, но всё-таки объяснил, что он прораб со стройки Блохин и что сезонники отказались идти на работу.

Курбатов, подталкивая Блохина, вернулся в партком, сел и кивнул на стул прорабу:

— Ну, а теперь рассказывайте спокойно. Да выпейте воды, на вас лица нет.

Наконец прораб немного очухался. Дело было так

он пришел на строительство и не увидел ни одного рабочего. Тогда он побежал в барак.

— ...А там уже гармошка играет, пляшет кто-то, аж стены гудят. Я к коменданту: что, говорю, здесь такое? А он мне грубо отвечает: довели, говорит, людей, вот они и не работают. Вижу — плохо дело, ну и вошел в барак. Увидели меня в дверях сезонники да как заорут: «Уговаривать, мол, пришел! Не пойдем на работу, хоть ты обос...» Ну, я тоже, значит в сердцах, крикнул на них, милицией пригрозил. А те: «Хоть, говорят, всё советское войско с пушками пришли — не пойдем! Уходи, не то осерчать можем». Что ж делать-то, товарищ Курбатов?

Он ответил не сразу. С таким он сталкивался впервые. Почему-то вспомнились штурм водопровода там, в Няндоме, и поход с бала на плотину, и далекие, но навсегда оставшиеся в памяти первые субботники... Почему же возмущаются сезонники, люди, жадные до работы? Не сводя глаз с Блохина, он так и спросил его об этом. Блохин заерзал на стуле:

— Да одна у них причина, — выдавил он нехотя. — Каждый месяц им получку задерживаем. Нынче тоже так получилось: должны были два дня назад дать...

— Почему же у вас так получается?

— По пустяку всё. Нынче вот бухгалтерия не успела по конвертам деньги разложить. Прошлый раз кассир заболел, а еще раньше по процентовкам ассигнования опоздали послучить... Ну, а они-то ведь несознательные.

Курбатов почувствовал, как его начинает что-то медленно душить, и, стараясь держаться спокойней, он спросил, перегибаясь к прорабу через стол:

— А если вам, Блохину, каждый месяц задерживать получку, вы бы сознательно относились к этому? Как к вынужденной необходимости, а?

Блохин растерянно взглянул на Курбатова и пробормотал:

— Ну, это другое дело. Они же сезонники, у них тут семей нет.

Курбатов сдержался. Он только посмотрел на Блохина так, что тот, съезжившись, стал напяливать на овою узкую, похожую на огурец, голову меховую

ушанку. Когда Курбатов встал, прораб бросился вперед и предупредительно открыл дверь...

В огромной комнате барака вдоль стен в два этажа тянулись нары. Сейчас люди сидели или лежали на них; откуда-то сверху, едва Курбатов вошел, свесились грязные, в рыжих пятнах, портянки.

С порога Курбатов увидел всю комнату: грубо сложенный стол, две печки-буржуйки, натопленные до вишневого цвета, сложенные в углу робы. Кисло и неприятно пахло овчиной, потом, грязным бельем, гарью...

Курбатов шагнул в комнату, дошел до стола и сел, сняв фуражку и приглаживая волосы. Его заметили не сразу, но голоса начали стихать, и, наконец, наступила гробовая тишина, только слышно было, как гудит в печках огонь да потрескивают нары.

Молчал Курбатов — молчали и сезонники. Эта тишина была всем в тягость. Одни начали рыться в своих корзинках, другие потянулись к печкам — подкинуть дров, а кто-то, притворившись спящим, всхрапнул. Но Курбатов видел, чувствовал, что все глаза, даже у «спящего» из-под прикрытых век, направлены на него и что люди ждут — с чем он пришел? С бранью или посулами?

Но Курбатов заметил и другое. Кое-кто уже протянул руки туда, где лежали зипуны, шапки или висели портянки. Значит, есть на кого опереться, не все же такие, как этот «спящий».

Молчание продолжалось. Сезонники начали говорить между собой вполголоса, и это были посторонние разговоры — о том, что сегодня потеплело, и что хорошо бы к масленице раздобыть винца, и что у какого-то Прошки обнаружилась здесь сестренка: повезло человеку. С нар слез, побряхтывая, старик в белой до колен рубашке, жилетке, с седой реденькой бородкой и, прикрепив к столбу литографию с изображением какого-то святого, начал молиться, часто кладя земные поклоны.

Голос показался Курбатову знакомым. «Точно, он... В поезде о войне спрашивал. Три лошади, пять коров... Сбежал от раскулачки...»

Теперь всё встало на свое место: он знал, что ему надо делать.

Курбатов поднялся, шумно отодвинув табурет. Опять, теперь уже сразу, наступила тишина, и он громко сказал, почти крикнул в эту тишину:

— Кто здесь коммунисты и комсомольцы — выходите ко мне!

Никто не вышел.

— Кто участники гражданской войны, красные партизаны, давайте сюда!

Люди зашевелились, человек десять угрюмых мужиков подошли к столу и, переминаясь с ноги на ногу, встали рядом с Курбатовым.

— Кто тут есть из крестьян-бедняков, которых мироеды гнули? Колхозники — выходите.

Барак зашевелился теперь, как разбуженный муравейник. Сезонники шли к столу, на ходу надевая армяки, накидывая старые, издавшие виды, шинели, латанные полшубки, подпоясываясь обрывками веревок. Когда вокруг стола столпилось человек шестьдесят, Курбатов обернулся к ним:

— Как же это получается, товарищи? За советскую власть вы своей жизни не жалели, с кулаком в деревне покончили, чтобы можно было новую жизнь начинать. А здесь кулацкого шепота послушались, этой новой жизни навредить хотите?

— Да не хотим мы, — робко сказал кто-то из толпы.

— Знаю. Но еще знаю, что вот этого деда наслушались, а у него три лошади да пять коров было. Человек от раскулачивания сбежал, ездит, воду мутит.

Старик, медленно повернувшись, подошел и встал прямо перед Курбатовым. Глаза, прикрытые тяжелыми веками, были опущены, но на какую-то долю секунды Курбатов уловил в них злой, ненавидящий огонек.

— Ты в своем кошеле считаешь, — прокрипел он, — а чужой со своими счетами не лезь.

— Да тут не один он такой есть, — сказал один из сезонников, вставая между стариком и Курбатовым. — И еще и почище есть... вредные-то.

Курбатов, улыбнувшись сезоннику, снова повернулся к остальным:

— Так вот, товарищи, забудем то, что произошло. То, кто зарплату задерживает, кто бараки до такого состояния довел — с тех мы еще особо спросим, они

ответят. А сейчас всё-таки надо идти на работу, товарищи. Потом займемся уборкой. Может, и эти, — он щелкнул ногтем о ноготь, — у вас есть?

— Как не быть, — почему-то весело ответил кто-то. — Всего есть помаленьку. И вошка — божья коровка, и блошка-попрыгунья, и клоп-кровапивец, и сам король ерманский — прусак.

Эта бесхитростная шутка рассмешила всех: с людей словно бы сразу спало напряжение последних минут. А Курбатов уже торопил:

— Есть бывшие командиры Красной Армии? Давай, выходи, стрсей всех и веди на работу.

Нашелся и командир, и через пять минут опустел барак, только человек десять осталось лежать на нарах, да скрипучий старик клал поклоны цветной литографии.

Выйдя на улицу, Курбатов спросил Блохина:

— Вы коммунист?

— Да... То есть, конечно, кандидат в векапёбэ.

— Тогда зайдите завтра ко мне в партком.

— По какому вопросу? — испуганно вскинулся Блохин.

— А вот по этому самому, — и, кивнув на уходящих в неровном строю сезонников, зашагал по улице домой: уже была ночь.

...Дверь ему открыл Кият. Раздевшись, Курбатов вошел в комнату и с удивлением спросил:

— Где же Таня?

Кият улыбался. Он даже жмурился от удовольствия, наблюдая за Курбатовым, за его растерянностью. Курбатов, встряхнув Кията, заорал:

— Да говори же ты, пень!

— У-а, у-а, у-а, — тоненько пропищал, подражая ребенку, Кият. Курбатов оторопело поглядел на него, пробормотал что-то невразумительное и в чем был выскочил за дверь. Кият, с шинелью и фуражкой в руках, догнал его уже на улице:

— Идиот!.. Престудишься, олух царя небесного. Ошалел, папаша...

* * *

Но наутро в партком пришел не Блохин, а вкатился какой-то крохотный и непомерно толстый человечек. Он постучал и открыл дверь, не дожидаясь ответа; но-

ги-коротышки мигом перенесли его круглое тело к курбатовскому столу. И торопливо, тонким бабьим голосом он запричитал, размахивая руками, хватаясь за голову, что эти проклятые кролики его сживут со света:дохнут окаянные. Курбатов, уже догадавшись кто это, всё-таки спросил, чтобы успокоить толстяка:

— Простите, мы, кажется, еще не знакомы?

— А? Да, да. Я Снежков из ОРСа.

— Я кое-что слышал о вас, товарищ Снежков.

Директор ОРСа заволновался:

— Слышали? Что вы слышали? А вы слышали, как страдает Снежков, мне все говорят — ты работаешь на износ. Это же безумие, нонсенс!

Мало-помалу он успокоился и, поблескивая из-за стекол очков умными, печальными глазами, рассказал Курбатову, зачем он пришел.

Чухалин приказал ему опять разводить кроликов. Корм кое-как удалось раздобыть, но «эти проклятые коровы» опять началидохнуть, как мухи: в одну ночь погибло не менее пятисот штук.

— А вы врача-ветеринара вызывали? — перебил его Курбатов. Снабженец удивленно поглядел на него:

— Я извиняюсь — врача к этим... козявкам?

— Но ведь... козявки-то, вы говорите,дохнут?

— Н-нет, — протянул Снежков, словно раздумывая над этим. — Не звал. Мне казалось, врача к кроликам — нонсенс, бессмыслица.

Курбатова рассмешил этот человек с его «нонсенсом», его беспомощностью. Он посоветовал ему всё-таки немедленно вызвать ветеринара, и Снежков, будто окрыленный, уже вскочил, собираясь уходить. Но Курбатов остановил его:

— Нет, нет, вы посидите. Основной разговор у нас еще впереди. Скажите, Снежков, сколько у вас в ОРСе столовых?

— Десять, а что?

— В какой из них можно быстро и вкусно пообедать?

Снежков, почуяв подоплеку вопроса, заерзал:

— Вы знаете, это какой-то ужас... Тарелок и ложек не хватает, воруют их, а повара у нас не квалифицированные.

— Значит, ни в одной столовой по-настоящему и пообедать нельзя? Так ведь?

Снежков сидел, положив живот на расставленные ноги, и молчал. Вид у него был виноватый, пришибленный, такой, что Курбатову даже стало как-то жалко его. Надо было кончать разговор. Курбатов спросил, нельзя ли пригласить поварами-жен рабочих, а посуду взять из магазина: он видел, магазин просто забит ею. Снежков, опять воскреснув, вытащил из одного кармана кусок оберточной бумаги, из другого — огрызок карандаша, что-то лихорадочно чиркнул и спросил:

— Что еще?

— Вы раньше официантом работали? — еле сдерживая смех, спросил Курбатов.

— Да, а что?.

— Просто к слову пришлось. Так вот, Снежков, завтра к вам с десяти утра будут приходить женщины — наниматься в повара. Вы вежливо поговорите с каждой и отбирайте лучших. Кстати, пожилые обычно лучше готовят, учтите это. И чтоб через неделю в каждой столовой можно было пообедать вкусно и за полчаса, это я сам проверю. Затем, выделите столы для ударников и по карточке ударника выдавайте какое-нибудь дополнительное блюдо. Вот теперь, кажется, у меня всё.

— Но где же возьму продукты? — простонал Снежков. — Разрешите я этих кроликов ликвидирую, а вместо них такой откорм свиней разведу...

Курбатов поморщился: опять эти кролики! Снежков был уже в дверях. Оттуда он крикнул:

— Хорошо, хорошо, не буду. Пусть лучше они меня сожрут...

Откинувшись на спинку стула, Курбатов расхохотался. Ему было почему-то очень легко сейчас; может быть — потому, что работа налаживалась и он чувствовал ее ритм, а может и потому, что где-то неподалеку от него жил на земле новый человек, с которым он еще не был знаком, — Оленька.

V

Собственно, мысль о том, что работа налаживается, была не совсем верной; в этом Курбатов убедился чуть ли не через два дня и понял, что работы впереди —

край непочатый, и если так — то рано еще утешать себя этой мыслью.

Но соревнование наладилось, и это можно считать главным. На комбинате уже соревновались не две, а тридцать бригад; Курбатов не ошибся — Коля Пушкин оказался «заводным» парнем, вместе со своими ребятами он обошел несколько цехов, одним растолковал о новом деле, других, так же как и старика Мелентьева, взял «на подначку».

Но как-то утром, просматривая сводки о работе комбината, Курбатов нахмурился. Цифры были в общем-то утешительные, за несколько недель выпуск продукции увеличился; однако в конце сводки стояла графа — «прогулы», и Курбатов поначалу подумал: полно, не напутали ли в заводууправлении. Он снял трубку и попросил соединить его с Алешиным:

— Павел Титович, что это у нас так много прогулов?

— Как много? — удивился тот.

— Да вот у меня здесь сводка за прошлый месяц.

— А, ты вот о чем, — засмеялся Алешин. — Ну, ничего, у нас раньше еще хуже было. Да и что поделаешь: поди, справься с такими орлами, как Густарев или Матвеев. Я уже говорил с ними, так они меня, знаешь, как отшили? Сказать стыдно, телефонистка может услышать... Вот так, брат, дела.

Говорил он об этом спокойно, как о зле, с которым надо примириться, привыкнуть к нему. Курбатов спросил:

— Что, и коммунисты среди них есть?

Алешин ответил по-прежнему равнодушно:

— А как же, конечно, есть. Тот же Матвеев, хотя бы.

Курбатов со злостью бросил трубку. Черт его знает что! На комбинате прогулы, а член парткома говорит об этом так, будто не понимает, что ж тут плохого или необычайного. Он снова позвонил Алешину:

— Слушай, а ты сам-то пытался как следует поговорить с людьми? С этим хотя бы... с Матвеевым?

— Слушай, — передразнил его Алешин, — а ты со стенкой когда-нибудь разговаривал? Нет? Так попробуй, результат один. Сходи, он в инструментальном работает. А я к тебе, между прочим, по этому же пово-

ду зайти хотел... — Голос у Алешина сразу как-то изменился, стал строгим. — Понимаешь, я эту сводку сам просматривал, ну и подумал, не ввести ли нам самоотчеты коммунистов на партгруппе? Ты сам над этим подумай, по-моему, дело стоящее.

И повесил трубку. Курбатов улыбнулся: называется — проучили! Позвонил, хотел строго вопрос задать, а он уже всё продумал, сам подсказал... Курбатов не обиделся на этот разговор: наоборот, он смеялся потому, что Алешин и помог как раз тогда, когда он, Курбатов, не знал, что ему делать. «А теперь я тебя подкушу, — подумал он. — Посмотрим, что это за несгибаемый Матвеев у тебя».

По дороге в инструментальный цех он вспоминал: «Матвеев, Матвеев... Не тот ли, с которым вместе меня судили за инструмент и пьянку? Ну да, наверно, он... Еще сопляком меня тогда покрыл».

В инструментальном он попросил одного из знакомых коммунистов показать ему, где Матвеев.

— Да вон он у верстака охается.

Человек, который «охался» у тисков с большой прессформой, мало напоминал того, которого много лет назад судили вместе с Яшкой Курбатовым. Но это был несомненно он, и Курбатов подошел к нему:

— Здравствуйте, товарищ Матвеев.

— Здравс...

Он исподлобья посмотрел на Курбатова, что-то хмыкнул и отвернулся.

— Вы, наверно, не помните меня?

— Да вроде бы помню... — Он круто повернулся к Курбатову; на пол полетели напильник и зубило. — Что, пришли мораль читать? Не требуется — не пойдет. Меня вон и так уже грозят из завода выгнать. Секретарь в цехе есть — к нему и идите. Он мне всё время свербит, как жук-точильщик: вот доложу о тебе в партком. Ну и разбирайтесь с ним.

— Прогуливаете-то вы, а не он, — усмехнулся Курбатов.

Матвеев поглядел на него с каким-то сожалением и отвернулся опять.

— У вас что-нибудь случилось? — тихо спросил Курбатов. — Если да, то зачем же товарищей сторониться?

Матвеев не ответил. Так и пришлось Курбатову уйти; но он знал, что разговор еще не кончен, надо пригласить Матвеева в партком. По пути он зашел к секретарю цехового бюро: тот на вопрос о Матвееве махнул рукой: гнать надо, не работник он, за свою рыбалку отца родного продаст — чисто алкоголик какой!

— Какую рыбалку? — не понял Курбатов.

— Да ведь он почему прогуливает: на рыбалку ходит. Как засядет со своими удочками — не ото-рвешь.

Тут Курбатов взъярился:

— И вы ничего не можете сделать? Только с работы грозите выгнать? Приходите сегодня вдвоем — разберемся.

Потом он поостыл, позвонил Алешину и рассказал о своем разговоре в инструментальном. Тот протянул:

— Я же говорил тебе — орешек. Ты его к Ерошкину определи, в спортсекцию, или к Снежкову — пусть рыбу поставляет заместо кроликов.

Курбатов переспросил:

— А Ерошкин кто?

— Да в завкоме, в спортсекции. Положено же иметь там «спорт — охоту», вот и определи — в освобожденные инструкторы по насадке живца или жарке леща в каше.

— А ведь ты и здесь прав, — опять рассмеялся Курбатов.

Когда вечером Матвеев пришел к нему, он уже знал, что делать. Он усадил хмурого, настороженного инструментальщика и спросил в упор:

— Что ж, товарищ Матвеев, будем дальше гулять? Рыбка — она, конечно, важнее работы, а?

— Ну, не важнее, да...

— Да интересней?

— Конечно, занятно...

— И много ловите?

— Как когда... Да в том-то всё и дело, — Матвеев оживился. — Понимаете, уйду ловить до смены, час сижу, два, и хоть бы какой паршивенький ершишка схватил. А как на работу идти — вот тут и зачнет кле-вать, так и тягаю, так и тягаю... А потом... — он снова нахмурился и отвернулся. Курбатов снял трубку и по-

просил спортсекцию. Ерошкина долго разыскивали, наконец нашли, и Курбатов услышал молодой ломающийся басок: «Я слушаю».

— Это секретарь парткома говорит, Курбатов. Скажите, товарищ Ерошкин, как у вас работает секция рыболовов и охотников?

Молодой басок сразу сломался, превратился в тенор: «А... А у нас такой... вовсе нет...»

— Что же у вас есть?

— Вчера в футбол у «Сокола» выиграли: двенадцать—семь... Гимнастика есть... Но если вы желаете...

— Я-то не желаю, а вот люди желают. Пришел здесь ко мне товарищ Матвеев — может знаете, из инструментального. Страдает человек без такой работы. Вот вы бы и поручили ему создать такую секцию, он человек опытный, а рыбаков у нас много. Придет время — купим сеть, может, даже в самом деле нашим снабженцам поможем. Словом, я его попрошу зайти к вам, договоритесь.

Матвеев сидел, как говорится, сам не свой. Повернувшись к нему, Курбатов сказал с нарочитой строгостью:

— Учтите, я сам — заядлый рыбак. Так что записывайте меня первым в свою секцию, сам буду проверять, как она работает. Ну... Ни пуха ни пера!

Когда обескураженный Матвеев ушел, Курбатов, нахмурившись, повернулся к секретарю цехового бюро:

— Вы слышали когда-нибудь о воспитании коммунистов не лекциями и докладами, не нотациями, а на делах, на поручениях? Матвеев — коммунист по своим убеждениям, иначе он не пошел бы в партию. Но упустили вы человека, не увидели, как он отошел от дела, не нашли ему такого дела по душе.

— Он всё равно не будет работать, — упрямо сказал секретарь. Курбатов с досадой махнул рукой:

— Экий вы... невера. Спорить с вами, что ли? А по-моему, будет.

* * *

Домой он приходил теперь поздней ночью — усталый, взъерошенный, и его хватало только на то, чтобы вымыться, постоять над Оленькиной кроваткой, нехотя чего-то съесть и дотащиться до постели. Некогда было

даже отпраздновать рождение дочки и новоселье. Что ни день, то больше дел прибавлялось у Курбатова: споры с Чухалиным относительно хозрасчета в бригадах, отправка комсомольцев на Амур, учеба коммунистов, поход на грязь в общежитиях... В выходной день он блаженствовал до полудня; после обеда его неудержимо тянуло в город, походить, поговорить с людьми, но Таня протестовала. Приходилось идти на хитрость. Он шел гулять с Оленькой и обязательно встречал кого-нибудь.

За всеми делами он не заметил, что с Таней что-то происходит. Ей не нравилась эта квартира, не нравились соседи, не нравился город. Ее раздражало всё: и то, что сипит водопровод, и косо повязанный галстук Курбатова, и то, что она начала полнеть после родов.

Как-то ночью Курбатов проснулся: приснилась какая-то глупая чертовщина. Внезапно он услышал тихие, приглушенные всхлипывания и, испуганно поднявшись, спросил:

— Танюшка, что ты?

— Оставь меня, — раздраженно ответила она.

— Ну, что ты, глупенькая? Могу же я знать, почему жена плачет?

Таня повторила с прежним упорством:

— Оставь. Тебе до этой жены никакого дела нет, тебя не интересует, что происходит дома...

Курбатов мягко перебил ее, стараясь говорить веселей и свести весь разговор к шутке:

— Но, сколько я знаю, дома никаких революций не происходит.

Шутка подействовала примиряюще. Но утром на работу Курбатов ушел с тяжелой головой и тяжелым сердцем. Ничто в жизни не проходит бесследно, а этот ночной разговор испугал его. Где-то в душе у обоих были уже какие-то царапины, и Курбатов, вспоминая поговорку, что милые бранятся — только тешатся, всё-таки не мог успокоиться.

* * *

Может быть потому, что этот разговор выбил его из колеи, он особенно остро переживал любые неполадки на комбинате, которые в иное время попытался бы спокойно исправить или подумать хотя бы — как исправить.

Вечером Курбатов пошел проверять, как идут занятия в сети партийного просвещения. Был четверг — день партийной учебы. Уже по сводкам Курбатов знал, что в политкружки люди ходят нехотя; стало быть, надо посмотреть, почему так получается. «Черт его знает, — думал он по дороге, — вот уж воистину: хвост вытянешь — нос завязнет».

Занятия проходили в клубе — бывшем доме Печаткина, а тот стоял в добром километре от комбината. Вечер был темный, выюжный, крепчал мороз.

По коридору навстречу Курбатову, взлохмаченный, в накинутом на плечи полушубке, растерянно разводя руками, шел Рачков — заваитпропом парткома. Щуря свои подслеповатые глаза, он остановился перед Курбатовым и, видимо, хотел сказать что-то значительное, но вместо этого только выдохнул:

— Вот всегда так. Каждое занятие срывается, а ведь и повестки всем рассылаем...

Но Курбатов не стал слушать его; он толкнул ближайшую дверь и вошел в комнату. Здесь было холодно, по углам выступил серебряный иней. Посередине комнаты, будто там было теплей, одиноко сидел человек в грязном засаленном ватнике и дышал на окоченевшие пальцы. Курбатов пригляделся: Мелентьев! Пробравшись между столами, он подошел к Мелентьеву и сел рядом: — Здравствуй, дядя Ваня.

— Здорово, племяш. — Курбатов почувствовал, что это «племяш» было сказано с раздражением.

— Ты что здесь один сидишь?

— Да вот, учиться пришел, — проворчал Мелентьев. — Только, видишь ли, завклубом дров пожалел, к тому же и наш политстоп опаздывает.

— Кто, кто? — не понял Курбатов.

— Да я про руковода говорю. Между собой мы его «политстоп» зовем.

— Это почему же? — усмехнулся Курбатов, уже предчувствуя, что сейчас Мелентьев, разозлившись, «пойдет критиковать». Так оно и получилось. Мелентьев, язвительно поджимая губы, сказал:

— Да так вот, Яша, и получается, что истинный он политстоп. Я вот с ним второй год занимаюсь, а всё дальше пражской конференции пройти не можем. Как придет, разложит свои книжки на столе — и зачнет по

ним дуть. Дует и дует, ровно псаломщик какой. Ему нипочем, интересно нам или нет. А то еще такие слова начнет загинаять, что аж в брюхе заурчит. И говорит-то всё на одной ноте, спать охота. Но это бы всё ничего, историю-то мы знать должны, но я вот думаю — должны мы знать, что и сегодня в партии да в стране делается. Вот я тебе пример приведу: работаю я тут как-то и подходит ко мне Тойво Киуру. Ты знаешь его — молчун, а ядовитый, между прочим, старик. Вот это он подходит да с подковыркой и спрашивает: «А скажи, говорит, Иван, как это понимать надо — не было у нас колхозов и продкарточек не было, а стали колхозы и карточки появились?» Меня, понимаешь, аж в пот шибануло. Взопрел весь. Не ответить нельзя, коммунист всё-таки, свою ответственность чувствую. Ну, конечно, ответил, как в газетке прочитал, путано, в общем, ответил. А он, дьявол старый, только хмыкнул и отошел. Вот я этот вопрос и задал нашему политстопу. Так знаешь, что он мне ответил? «Это говорит, к истории партии отношения не имеет, а потому я вам и не отвечу». Так ведь и не разъяснил, что к чему. Как есть, стало быть, политстоп: ни тпру, ни ну, ни ку-кареку!

Курбатов спросил присевшего рядом Рачкова:

— Кто здесь руководитель?

— А из ОРСа, Снежков, — беспокойно, чувствуя грозу, ответил тот.

Мелентьев, нахлобучив шапку, пробурчал: «Ну, я пошел, видно не придет наш политстоп» и вышел, не простившись. Курбатов молчал, молчал и Рачков. Наконец, совершенно неожиданно для самого себя, Курбатов грохнул кулаком по столу:

— У вас здесь не учеба, а...

Он сказал, что здесь вместо учебы, и Рачков, покраснев, переспросил: «Что?»

— Вы, кажется, не страдали отсутствием слуха, — произвел Курбатов. — Надо же додуматься: поставить людей Снежкова, которому еще самому надо разуму набираться. Ох, Рачков, Рачков, плохо вы, в таком случае, людей знаете.

А выход где? — уныло спросил тот. — Чухалин преподавать не будет, Булгаков... Кият не станет преподавать, да и вы сами...

— А вы меня спрашивали? К Кияту обращались? Нет. Кстати, Булгакова надо поставить на это дело в первую очередь. И Снежкова посадить заниматься в его группу, пусть учится, как занятия вести надо. Что же касается меня... Ну, буду и я вести группу, придется потесниться со временем.

— А с директором, значит, вы сами поговорите! — сразу повеселев, сказал Рачков. Но Курбатов задумался, а потом тряхнул головой:

— Нет, я с ним говорить не буду. Он... занят.

* * *

Неожиданно в начале апреля на комбинат приехал Данилов: он столкнулся с Курбатовым лицом к лицу в одном из цехов и, здороваясь, пробасил:

— Ну, ведем в свои хоромы. Приехал смотреть, какие ты кресла завел.

Курбатов хитровато улыбнулся. Данилов не умел лукавить: конечно, он приехал сюда за тем, чтобы посмотреть, как работает новый секретарь парткома, и, по своему обыкновению, успел побывать в цехах, поговорить, порасспросить людей. Сейчас, ведя Данилова в партком, в старое здание, Курбатов невольно заволновался. Всё-таки это было похоже на экзамен. И хотя экзаменатор — человек хорошо знакомый, но спуска не даст...

Раздевшись, Данилов сел на широкий кожаный диван, устало вытянул ноги и задумчиво сказал:

— Крепкий мужик, а устарел, устарел Чухалин. Надо кого-то помоложе да поумнее на это дело. А? Ты как об этом думаешь?

Курбатов ответил уклончиво. Ему не хотелось сейчас рассказывать Данилову обо всех спорах и ссорах, которые происходили за этот месяц с Чухалиным. Особенно не хотелось рассказывать о последнем, самом серьезном разговоре, когда партком обязал Чухалина ввести хозрасчет в бригадах. Чухалин тогда демонстративно поднялся и ушел с заседания парткома, хлопнув дверью и крикнув напоследок: «Кто здесь всё-таки хозяин: вы или я? Если вы, то вводите хозрасчет сами». Так ничего и не понял он, забыл, что было месяц назад на партконференции.

— А что, если мы твоего дружка директором по-

ставим — Кията? Не разведете вы тут семейственность?

— Ну, что вы, Григорий Иванович... — только и успел сказать Курбатов. Секретарь обкома уже подходил к вешалке, словно в партком ему нужно было действительно только поглядеть, не обзавелся ли Курбатов голубым ковром и слонами. А Курбатов понял, что назначение Кията — дело уже решенное, и обрадовался: вот когда можно будет развернуть работу.

Данилов и Курбатов заехали на «газике» за директором. Тут уже Чухалин не мог отговариваться: пришлось ехать на стройку жилого дома. Данилов, облазив строительство, долго стряхивал с себя рыжую кирпичную пыль, извести, а потом удовлетворенно сказал Курбатову:

— Следишь, значит? Питание и жилье сейчас главный наш таран против текучести рабочей силы. Одним хотением постоянные кадры рабочих не создашь, нужны еще человеческие условия жизни.

Чухалин стоял в стороне с таким видом, будто хотел сказать: «Правильно, поучай его, юнца. Но меня-то зачем сюда вытащили?»

Оттуда снова поехали на комбинат. Здесь Чухалин был спокоен: план выполнялся, и секретарь обкома знал об этом. Однако на половине пути Данилов попросил шофера остановиться и, открыв дверцу, вышел на улицу.

Была оттепель. Лило с крыш, на дороге стояли длинные вытянутые лужи. Талый, тяжелый снег успел перемешаться с грязью, и прохожие шли осторожно, стараясь не поскользнуться и не полететь в это серо-коричневое месиво.

Данилов, в забрызганных грязью сапогах, стоял, щурясь от яркого апрельского солнца. Не поворачиваясь к своим спутникам, он спросил:

— А что, товарищи, не пора ли за цветники взяться, газоны, сиверы разбить? И дороги починить, а? Как ты думаешь, Александр Денисович?

— Да ведь ты, Григорий Иванович, лучше знаешь, — как-то обиженно протянул Чухалин. Курбатов понял, почему тот ответил таким тоном: я директор комбината, у меня своих дел по горло хватает. Но тут же Чухалин, словно спохватившись, добавил: — Рань-

ше, когда ни столовых, ни квартир не было, то о цветах не говорил, а сейчас, стало быть, можно и за них приниматься.

Понял эту «поправку» и Данилов. Когда он обернулся к Курбатову, тот уловил в глазах секретаря обкома лукавый огонек:

— А ты как, Курбатов, не поднимаешь секретаря обкома на смех, что он цветы любит? Хорошая это вещь — цветы. А еще лучше, что время подоспело такое, что в свободные часы и цветами можно заняться.

Данилов сказал это задумчиво, словно сожалея о чем-то своем...

Уже сидя в машине и низко пригибая голову, чтобы не удариться на ухабе о планку, Данилов уже серьезно повторил:

— Так вы, товарищи, подумайте об этом и в долгий ящик не откладываете. Наш рабочий класс заслужил комфорт, он его начинает требовать... А вообще — хороший советский народ растет. Только дороги надо асфальтом залить, чтобы глаз рабочего не видел больше старой печаткинской лужи...

* * *

Через некоторое время бледный, с трясущимися губами, Чухалин вошел в кабинет Курбатова, тяжело опустился на стул и со стоном, закрыв лицо руками, выдохнул только одно слово:

— Сняли...

Хотя для Курбатова это уже не было новостью, он растерялся: горе Чухалина было ему понятно, и он не знал, что ему сейчас сказать. Говорить, что это для пользы дела — жестоко, утешать, произносить какие-нибудь подходящие случаю слова — пошло. По его молчанию Чухалин понял, что секретарь всё знает, и, открыв лицо, сказал уже тверже:

— Сняли. Устарел.

— Ты успокойся, дядя Шура. Трудно тебе было, хотя не говорил ты, не сознавался.

— Конечно трудно... Что я? Мастером был... Образование четыре класса да курсы механиков... Техника вон какая! Но обидно. Валька Кият — директор, а я...

— А вы куда?

— Нарком звонил, сказал — начальником экспери-

ментального цеха. Потом из него институт сделают. Ну, да все это ладно, а вот... — Чухалин снова закрыл лицо руками. Плечи у него затряслись, Курбатов услышал глухие, хрипящие всхлипывания. И так страшен был плач старика, что Курбатов, испугавшись, схватил его за дрожащие плечи такими же дрожащими руками:

— Дядя Шура, да полно... Ну, выпейте воды... дядя Шура, что с вами?

— Что? — сквозь силу проговорил тот. — Да то... что жена... ушла.

Потом, немного успокоившись, он говорил, не поднимая глаз, и Курбатов глядел на него с такой болью, что хотелось просто обнять старика, махнуть рукой и посоветовать: «Ладно, давай работать сначала...»

— Дурак я был, — тихо говорил Чухалин. — Сам это понимаю, да вот как черт в меня влез. Ты думаешь у меня с ней жизнь была? И здесь я молчал, как она помыкала... Из-за этого и работать хуже стал. А как узнала вчера, что меня сняли, собрала свои тряпки и ушла к матери: «Ты, говорит, старая плешь, мне больше не нужен. Только имей в виду, в положении я. Я, говорит, еще на тебя в суд на алименты подам». И ведь врёт она, Яша... не мой это ребенок, а стыда теперь не оберешься...

Курбатов, словно дотронувшись до этого большого, чужого горя, вспомнил о своем. И они оба долго еще сидели и молчали, пока Курбатов, вздохнув, не сказал:

— А я вот с вами хотел поговорить. Понимаете, что-то с моей Татьяной происходит...

* * *

Уже подходило к концу строительство цехов будущего тракторного завода. Курбатов теперь дневал и ночевал там: вопрос о пуске завода в эксплуатацию должен был слушаться на днях на бюро горкома. Уже было известно и первое задание: выпустить партию пропашных тракторов. Кият был недоволен: ему снились гусеничные многосильные машины. Собрав документы и не посоветовавшись с парткомом, Кият уехал в Москву. Курбатов, узнав об этом, пришел в ярость: что за чухалинские выходки?!.. Он позвонил Данилову, тот тоже разозлился и дал вслед Кияту телеграмму о не-

медленном возвращении. Курбатову он сказал по телефону:

— Я приеду на бюро, ты сообщи, когда будете обсуждать вопрос о пуске... Поговорим.

Кият, уже имевший с Курбатовым неприятный разговор, сидел на бюро горкома сам не свой, но Данилов, вопреки всем ожиданиям, не сказал ему ни слова. Расхаживая по обыкновению возле стола, он тихо, сдерживая голос, говорил:

— ...Знаете ли вы, что такое пропащик? Это новая культура труда на хлопковых полях. Вы только представьте себе влияние этого нового орудия производства на психологию человека, психологию туркмена, с детства привыкшего к мотыге... С этого ведь начинается революция, товарищи, — революция в сознании хлопкороба. В этом самом, не любимом некоторыми из вас, пропачнике, он увидит конкретное дело, заботу о нем социалистического государства. Я уже не говорю о том, что именно так крепнут наши узы с крестьянами, и слаб тот коммунист, который этого еще не понимает...

...Ну, а во-вторых — это больше хлопка, его новое качество и новое количество. Словом, как не погляди — со всех сторон хорошо.

Каждый раз, слушая Данилова, наблюдая за ним, Курбатов невольно ловил себя на том, что хочет подражать ему. Он пытался разобраться: в чем же его сила, в чем, в конце концов, внутренняя, сразу не видимая красота этого некрасивого, грубоватого человека? Ну, логика, вера в свое дело, гибкий ум, скромность — этих качеств можно было бы назвать еще с полсотни, и все они в равной мере относились бы к нему.

Наконец он всё-таки понял: стиль. Собственно говоря, Курбатов, если бы его спросили, не смог, наверно, сказать, в чем даниловский стиль. Он был во всём, и порою, говоря с людьми или делая что-нибудь, Курбатов часто спрашивал себя: «А как бы сказал Данилов? А как бы он сделал?»

Данилов влезал во все мелочи, такие, что мимо иного (и Курбатова тоже) прошли бы стороной. Столовые? Что ж, Курбатов занимался ими. Но Данилов, зайдя в столовую, смотрит, какие там тарелки и стаканы, какие вилки, как они моются. Он звонит

ночью и, радостный, кричит в трубку так, что Курбатов ничего не может разобрать поначалу: оказывается, правительство отменило карточную систему: «Завтра с утра пройди по цехам, порадуй людей, особенно тех, которые поворчливей». И, когда Курбатову звонили и говорили, что приехал секретарь обкома, он неизменно спрашивал: «В каком цехе?»

Так было и в тот день, накануне областного партийного актива. Курбатов увидел Данилова на тракторном: секретарь обкома, окруженный инженерами, рассматривал картер будущего пропащика. «Зря я пришел, — подумалось Курбатову. — Попадет еще». Данилов не любил, когда с ним ходило «начальство»: «Что я, принц, чтоб меня свита сопровождала». Но Данилов, занятый разговором, не заметил его. До Курбатова донеслось рокошующее:

— Вот это литье! Раньше так чисто не лили. Только не кажется ли вам, товарищи, что стенки больно толстые? Сколько весит картер после обработки?

Один из инженеров назвал ему цифру.

— А до обработки после литья?

Назвали другую цифру.

— Многовато, товарищи, многовато. И времени на обработку много уходит, и металла много теряется. А потом, он сам по себе тяжеловат для пропащика. Ведь с весом связан и расход горючего, и лишнее разрыхление междурядий. — Он обернулся к главному инженеру тракторного завода. — Ты подумай об этом.

Увидев Курбатова, он кивнул ему и, попрощавшись с инженерами, пошел к выходу; Курбатов за ним. «Пошла свита... — проворчал Данилов, здороваясь за руку. — Чего не сидится-то? Сидел бы себе в парткоме, на то ты и начальство». Курбатов улыбнулся шутке и также шутливо буркнул: «От начальства слышу...»

В парткоме Данилов бегло просмотрел листки, исписанные куриным курбатовским почерком, — выступление на завтрашнем партактиве в областном городе, и одобрительно кивнул.

— Только, — чиркнув по бумаге крепким ногтем, сказал он, — слово «увеличение» через «е» пишется, грамотей, а у тебя — «увиличение».

Курбатов густо покраснел; Данилов заметил это и кивнул: «Вот-вот, о том и разговор. Учиться надо, а то на этом «увеличении» далеко не ускачешь. Пошли на стройку. Вечером поедем вместе».

Перед тем как уехать, Данилов зашел к Курбатову и сразу зашумел, забасил, да так, что Оленька потаращила-потаращила глаза и разревелась. Таня бросилась к ней — сияющая, довольная, что дочка Данилову понравилось: много ли надо матери, чтобы обрадовать ее — только похвалить ребенка... А Данилов, осматривая квартиру (точно такую же, какую осматривал однажды вместе с Курбатовым), внезапно спросил:

— Слушай, Татьяна, а ты что — всё время с дочкой сидишь?

— Да.

— А не устаешь?

— Н-нет, — растерянно протянула она.

— И работать не хочется? — Данилов не дожидаясь ответа, набросился на Курбатова. — Ну, что ты скажешь, феодал? Где в Новогорске ясли? Сколько женщин вот так сидит день-деньской дома, пылью покрываются, а? Ты погоди, Татьяна тебе еще все печенки выест, такая жизнь черт знает до чего может довести...

Курбатов поглядел на жену: та, поняв, отвернулась. Данилов кончил уже резко:

— Вернешься с партактива, обсуди вопрос о детях на парткоме. А теперь прощайся, поехали... Как поедешь-то?

— Мы на своей.

— А остальные?

— Так ведь грузовая еще идет...

Данилов, ни слова не говоря, кивнул: «Одевайся, пошли. Нам еще в партком надо, хочу в город позвонить». Уже на лестнице он задумчиво сказал:

— Так. Значит народ на грузовой, а начальство на легковой...

— Я же...

Данилов перебил его:

— И правильно решил. Пускай Кият на легковой едет, а ты с народом, с народом.

Курбатов, опять покраснев, обрадовался темноте, стоящей на лестнице...

Из парткома Данилов позвонил в обком, долго дул в трубку: было плохо слышно.

— Вася! — кричал он. — Мы минут через десять выезжаем. Как там? Ничего! Кто был, кто спрашивал меня? Кто? Нет, не знаю... Какой Галкин? А-а, этот... Ладно. Ты передай моей старухе, чтобы не волновалась, я домой не заеду.

Повесив трубку, он повернулся к насторожившемуся Курбатову:

— Галкина помнишь? Приходил чего-то. Ну, поехали... Хотя, погоди-ка, директор. Что же это ты, любезный, бочку с олеонафтом прямо в цехе поставил? Хозяева, называется, режим экономии, черт вас возьми!

Курбатов рассмеялся: ай да Григорий Иванович, вспомнил всё-таки напоследок. Кият пробовал было оправдаться: «Да я...», но Данилов гаркнул:

— И помолчи, всё знаю.

Замечание было верным. На днях Кият распорядился открыть и поставить в цехе бочку машинного масла, чтобы рабочие могли брать его в масленки, когда понадобится. Этим он хотел сохранить рабочее время: не бегать же каждый раз в кладовую.

— А тебе известно, — гремел Данилов, — что теперь рабочие олеонафтом руки моют? Прямо в бочку грязными руками — и моют, я сам видел. Теперь это масло ни к чертям не годится.

Кият, махнув рукой, признался:

— Да, не додумал. Но ведь, Григорий Иванович, всего одна бочка...

Курбатов даже руки к голове поднес: что теперь будет. И Данилов, хотя минуту назад торопил всех с отъездом, сел, словно готовясь к долгому разговору. Лицо у него сразу стало злым:

— Ах, вот что! Всего одна? — он говорил это тихо, но Курбатову показалось, что в груди Данилова что-то клокочет, как металл в мартене, готовый выплеснуться наружу. — Так ты, друг любезный, учти: будешь бочками бросаться — весь комбинат в трубу вылетит. Да учили тебя, черт побери, — взорвался он, наконец, — что режим экономии из куска проволоки состоит, а не то, что из бочки? Ладно, я этот разговор еще на активе передам, я еще тебя в пот вгоню. Едем.

Кият — растерянный, красный, взъерошенный — пошел вместе с Курбатовым: он тоже ехал на грузовой. По пути Курбатов успел ему шепнуть: «Не горюй, я сегодня два раза краснел, а ты только один».

* * *

Впереди шел «газик» Данилова; грузовая, тяжело переваливаясь на ухабах, отстала.

Стоял вечер — светлый, весенний вечер, когда солнце опускается только за край горизонта, и небо — светлое, а верхушки сосен и легкие, вытянутые, неподвижные облачка словно вспыхивают в его лучах.

Было еще холодно; навстречу бил ветер, и люди в грузовике повернулись к нему спинами. Кият даже задремал, закутавшись в широкий брезентовый плащ. Курбатов, морщась от этой тряски, ветра, бьющегося в спину, с завистью поглядел на него. Кто-то из рабочих весело крикнул:

— Эх, и места! Ровно тайга какая. На охоту бы сходить!

И Курбатов подумал, что действительно хорошо бы в следующий выходной взять у Алешина ружье и забраться в лес.

Машина вышла на прямое, как стрела, булыжное шоссе, тряска сразу кончилась. Курбатов, приподнявшись и щуря от ветра глаза, взглянул вперед. Там, далеко ушедший вперед, катил даниловский «газик», а еще дальше на шоссе виднелась какая-то темная точка. «Грузовик наверно, — подумал Курбатов. — Наверно, наш, продовольственный».

На таком расстоянии он не мог заметить, как та машина затормозила, как выскочил из нее человек и скрылся в кустах. А Курбатов стоял и, задыхаясь от встречного ветра, радовался. Чему? Да тому, что так хорош был этот вечер, эти розовые по краям облака, эти бронзовые на косогорах сосны. И он заметил, но уже поздно, как столкнулись две машины — грузовая и «газик», как сразу повалил густой дым, и легковая, завалившись набок, отлетела к придорожной канаве.

Шофер машины, на которой ехали участники актива, подлетел к столкнувшимся машинам почти вплотную. И тогда Курбатов, не узнавая своего голоса, закричал; расталкивая людей, добрался до борта и

спрыгнул па землю, громко ахнув от тупой боли в груди; заныла старая рана. «Газик» уже горел — вернее, горело то, что осталось от машины. Из-под брезентового пылающего верха виднелось окровавленное, черное лицо Данилова.

Курбатов, подбежав первым, откинул брезент и попытался вытащить Данилова. Сил у него не хватило. Только когда подбежали остальные, удалось его поднять и осторожно положить на невысокую, молодую придорожную траву...

Данилов был еще жив. Через несколько минут он открыл глаза, уже помутневшие, равнодушные, словно налитые тяжелой и светлой водой, поглядел прямо перед собой и выдохнул:

— Все... Вы... всегда... всю жизнь...

Когда он дернулся и глаза у него остекленели, Курбатов дико закричал и, шатаясь, пошел по дороге, никого не видя и не замечая. Кто-то побежал за ним. Люди, опомнившись, почему-то понесли оба тела — Данилова и его шофера — на руках. Так они и шли по прямой, как стрела, мощной булыжником дороге, и никто сначала не сообразил, где же убийца: среди обломков грузовика не было никого.

Потом человек десять коммунистов бросились в лес. Курбатов уже сидел возле Данилова в каком-то забытии, еще не представляя себе, что Данилова нет. Он не слышал ни криков, ни одиночного выстрела, не заметил, как из леса вышли несколько человек, ведя одного, с вывернутыми назад руками. И только тогда, когда этого человека поставили перед ним, Курбатов медленно поднял сухие, невидящие глаза.

Постепенно лицо человека стало принимать четкие очертания. Курбатов, встав, смотрел на него долго, пристально, а потом, со стоном сжав зубы, бросил его на землю страшным ударом в подбородок.

Он мог это сделать. Он чувствовал, что это его суд, что совесть это позволяет ему. И лишь когда кто-то осторожно, но властно взял его за руку, Курбатов прокрипел:

— Трохов...

* * *

Данилова хоронили через три дня.

Не было конца идущим колоннам; в воздухе, слов-

но рыдая, звенели трубы. Медленно двигался пушечный лафет, и впереди него, на алых подушечках, несли старые большевики два даниловских ордена — скромную награду за ратные его труды.

Было мало слов; они будто замерзли в горле у говорящих. Таня, примчавшаяся в город, шла с Курбатовым, держа его под руку. Она пошла с ним и тогда, когда он начал пробираться сквозь толпу, окружившую лафет, чтобы сказать и свое, то, что рвалось из груди, как стон от тяжелой, скрытой пока боли. Но едва он поравнялся с лафетом — понял, что ему ничего не сказать сейчас.

Сдерживая себя, чтобы не разрыдаться, он положил руку на холодную сталь лафета, и словно от этого короткого, почти обжигающего прикосновения, вдруг ясно подумал: «Только так, как ты. Прожить так, как ты. Через жизнь пронести твою ленинскую чистоту. Так же любить людей, как ты, и жить для них».

Он повернул голову. увидел лица людей — строгие, собранные, нахмуренные — и понял, что ничего не надо говорить сейчас: все в эту минуту думают то же, что и он. И от того, что он понял это, сейчас он особенно остро ощутил себя частицей огромного человеческого моря, замершего вокруг, — моря, для которого нет преград и нет смерти.

VI

Месяца через два Курбатову стало казаться, что на работу у него и времени уходит меньше и устает он тоже меньше. Потом он понял: просто жизнь вошла в привычную колею. Утром он просматривал записи в календаре: «10 ч. — открытие яслей, 12 — поговорить в мех., чистота, дев. зап. в стружке — безобразие. Узнать, как с пут. Б.» Вторая запись значила, что надо поговорить с людьми в механическом цехе: вчера девушка-работница, споткнувшись, упала на стружку и сильно поранила руки; комсомольцы должны первыми начать поход за чистоту. Третья касалась Булгакова: старик болел, Курбатов настаивал, чтобы ему дали путевку на юг.

Понял Курбатов и другое: работать стало легче потому, что руководил комбинатом знающий, умный че-

ловек. В партком уже не бегали, не жаловались, что директор выступает против хозрасчета или что-то «запретил», «не разрешил», «не велел». Кият сам приходил в партком — взъерошенный, красный, злой и, вытянув длинные ноги, начинал тихо ругаться:

— Плохо ты воспитываешь людей. В десятом цехе черт его знает какой рутинер — этот Бойков...

— Знаю.

Он любовался Киятом, любовался, как тот злился, если не ладилась работа, и, поднимаясь, шел вместе с ним, на ходу растолковывая, что злиться не надо и выговора тому же Бойкову пока тоже не стоит делать, а нужно поговорить с человеком, растолковать, объяснить.

— Вот ты и объясняй, — ворчал Кият, и первый начинал разговаривать с рабочими на отстающих участках.

Вечерами Курбатов был дома. Что-то переменялось в этих двух комнатах: не новые вещи — нет, их не было, а просто изменившаяся жизнь неудержимо тянула его сюда каждый вечер. Взять на руки дочку. Увидеть по-прежнему лучистый взгляд Тани. Сказать, что она плохо выглядит: наверно, устала за день — шуточное ли дело ясли, больше ста детей!

Да, жизнь налаживалась, и даже начались «малые приемы», как шутил Алешин. Гости приходили неожиданно, большей частью под выходной, сидели, разговаривали, курили в открытое окно и расходились, потягиваясь, уже далеко за полночь.

Но однажды пришел гость, которого Курбатов никак не ждал.

Он приехал глубокой ночью и осторожно постучал у дверей. Стук слышали не сразу. Когда Курбатов проснулся, ему сначала показалось, что это — еще во сне, и он недовольно заворочался. Но стук повторился, и, откинув одеяло, в одних трусиках, Курбатов пошел открывать.

— Кто там?

— Это я, Яшка, открой.

Он распахнул двери и, чувствуя, как радость заливает его теплой, мягкой волной, втащил гостя в комнату:

— Ты!

Он толкнул его к окну, за которым плыла белая, светлая северная ночь, и начал тормошить Лобзика, трясти его, еще не веря, что тот — бог весть какими судьбами — очутился здесь.

Потом они обнялись, похлопывая друг друга по спинам. Курбатов хотел было разбудить Таню, но Лобзик остановил его: не надо. Пойдем, посидим на скамеечке. Я к тебе ненадолго.

Уже по самому его тону Курбатов понял: что-то случилось. Лобзик казался подавленным, усталым, и прежние черные глаза-плошки смотрели без обычного, лукавого огонька.

Стараясь не шуметь, Курбатов быстро оделся, и они вышли. Здесь, позади дома, начинался небольшой сад, спускающийся к Сухоне. Молча они дошли до реки и сели. Сухона тихо журчала у берегов, нагибая камыш, временами на ее гладкой поверхности всплескивала рыба и уходила в глубину; круги от всплеска относило течением.

— Что произошло? — шепотом спросил Курбатов, хотя они были уже не дома и можно было говорить громко. Лобзик, оглянувшись, медленно повернулся к Курбатову:

— А ты ничего не слышал?

— Нет... — Курбатов встревожился еще больше.

— Я не могу не рассказать... Это... нехорошо, Яшка. Что-то перевернулось у нас, но где, как — я не знаю...

Он рассказал Курбатову о нескольких необоснованных репрессиях и нарушении революционной законности. Говорил он это с такой тоской, что Курбатов схватил его за руку:

— Лобзик, не ври...

— Я не вру, Яков, — он медленно высвободил свою руку. — И это страшно... Это... выше моего понимания. Ты знаешь, я Дзержинского один раз в жизни видел. Для меня этот человек был — ну, вроде цели. А теперь заветы, методы работы, установленные Дзержинским, извращаются; старых чекистов увольняют. А молодые... — он замолчал, махнув рукой, и Курбатов ничего не мог ответить ему.

Молчание было долгим. Наконец Курбатов сказал:

— А может быть, ты не прав? У нас много врагов,

и чем мы больше строим, тем они больше сопротивляются? Ты знаешь, кто это сказал?..

— А я ведь не уверен, что это так — что чем мы больше строим, тем сильнее внутреннее сопротивление классовых врагов.

Курбатов покачал головой.

— Ты знаешь, меня ведь тоже увольняют и ни за что. Я хочу в Москву ехать. Как ты думаешь?

Курбатов кинул в воду камень. Тот, подпрыгнув несколько раз «блинчиком», пошел на дно. Курбатов ответил, подумав:

— Если ты уверен — поезжай.

Он поднялся и, стряхивая с брюк песчинки, посоветовал:

— Пойдем к Вальке, обсудим вместе. Что-то мне одному всё это не додумать. Если и есть перегиб, то ЦК быстро разберется. Не в нашей природе такие вещи, Лобзик, не в социалистической, вот я о чем думаю. Ну, пошли?

Он не заметил, что Лобзик смотрит на него долгим, пристальным взглядом, и лицо у него бледное, бледнее обычного — или это только могло показаться так в белой ночи.

— Пойдем же, — тронул его Курбатов за рукав. — Пойдем к Кияту.

— Сегодня бюро крайкома сняло его с работы. Принято предложение Баранова — исключить его из партии. Баранов говорит, что Валька скрыл свое прошлое. Кулаки-родственники за рубежом...

* * *

Курбатов знал, что единственным человеком, который сдерживал своевольного и грубого секретаря крайкома, был Данилов. Теперь он мертв; исчезла преграда на пути Баранова к тому, чтобы «показать себя».

Баранов его не принял. Два дня Курбатов просидел в приемной; наконец его пригласили к председателю комиссии партконтроля. Молодой, остроносый, с тонкими в ниточку губами человек разговаривал с ним односложно:

— Я вам еще раз повторяю: Кият снят с работы, как скрывший свое прошлое и связи с границей. Это же послужило причиной исключения из партии.

— Чепуха, это не доказано, — Курбатов еле сдерживал себя. — В конце концов я, как секретарь парткома, имею право знать истину. Кият поднял рабочих, за короткий срок сделал столько, сколько прошлый директор не мог сделать за годы, и...

— И тем не менее, это так. Пока это всё, что я могу сказать. Вы свободны, товарищ...

Он подписал пропуск (их недавно ввели в крайкоме и для коммунистов) и поднялся, давая понять, что дальнейшая беседа ни к чему. Курбатов механически вышел в полутемный коридор и, почувствовав, что ему душно, быстро дошел до лестницы. Ничего, будем говорить в другом месте, кстати, надо же и познакомиться с новым секретарем обкома. О Кленове он слышал мало, знал только, что тот — воспитанник секретаря крайкома Баранова. Ну что ж, и воспитанники бывают разные.

Уже несколько дней он жил здесь, в областном городе, добиваясь приема к Кленову и стараясь увидеть Лобзика. В общежитие, где тот жил, Курбатова не пустили. Когда он вышел из проходной общежития на улицу, какой-то мужчина в штатском догнал его и, поровнявшись, не поворачивая головы, быстро сказал:

— Вольский убит на операции... — и прошел мимо.

Курбатов оторопело посмотрел ему вслед. «Лобзик!» И вдруг покачнулся: поплыли перед глазами дома, ребята, играющие с мячом на дороге, и он, судорожно хватая ртом воздух, прислонился к забору.

* * *

Записка, переданная ему утром, была короткой: «Если освободишься — зайди, мне чего-то совсем плохо, а поговорить треба. Булгаков». После всех дневных дел, тревог, раздумий Курбатов обычно спешил домой: только здесь он успокаивался, и утихало, как боль от лекарства, ледяющее душу чувство жестокой несправедливости. Но к старику надо было зайти. «Кстати, поговорим и об этом...».

Булгаков, увидев его, улыбнулся; улыбка была жалкой, болезненной. Курбатов не видел старика неделю и сейчас заметил, как тот переменялся — стал каким-то прозрачным, будто восковым. На стуле стоял

стакан, бутылка с сигнатуркой, лимон; Булгаков, сдвинув их, прохрипел:

— Убери на стол... И дверь прикрой... Вот так.

Он пожал Курбатову руку и, еще раз улыбнувшись, сказал:

— Видишь, как всё оно... Старость, брат, не радость. Врачи по плечу хлопают, говорят — еще будешь топтать, а я, Яшка, уже подняться не могу. Сразу скрутился.

Он поправил седую копну волос. Курбатову хорошо был известен этот жест. Булгаков всегда поправлял волосы, когда думал о чем-нибудь.

— Я говорил с врачом, — тихо сказал Курбатов. — Ничего страшного, просто сердце немного подкачало. Конечно, встанешь...

Старик подмигнул ему: мол, брось ты это, сам знаю. Потом он спросил:

— Ты эту комнату хорошо помнишь?

— Хорошо, дядя Сеня.

— Считай, ты здесь вырос, Яшка, — прохрипел старик. — Ты здесь первую ленинскую книжку прочитал. Тебя здесь плохому не учили. Верно или нет?

Курбатов обвел глазами комнату — эти стены, оклеенные старенькими, выцветшими обоями, многочисленные фотографии на стенах, листовка в рамке из багета (ее помогал когда-то печатать Курбатов, там в пещере над Шограшом), портрет Ленина в простенке между маленькими окнами. И стены, и старинные ходики с кукушкой, и стопка книг на полке, и пузатый комод с гильзой снаряда, в который были воткнуты сухие рыжие бессмертники — всё это было давным-давно знакомо ему и дорого с детства. Даже кот — облезший, подслеповатый Филимон, названный так за свою вороватость и блудливость в честь недоброй памяти мастера Филимонова, — даже он был неотделим от этой комнаты в его воспоминаниях.

— Так вот, Яша, зачем я позвал тебя, — насупился Булгаков. — Как там с Валькой — ничего больше не известно?

— Нет.

— Плохо. Очень плохо, Яшка. Я тут лежу, времени у меня много... Словом, хочу тебе свои думки расска-

зять. Боишься — сразу уходи, не обижусь, сейчас многие с оглядкой живут. Не боишься...

— Не боюсь.

Старик поднял на него выцветшие, как и эти обои на стенах, глаза и одобрительно кивнул:

— Добре. Худые у меня мысли, Яшка. Ты не думай — свихнулся старик. Может быть, я многого еще не понимаю, что происходит, — да скорей всего так и должно быть, — но вот тревожит меня одна вещь... Нового много. Это верно, я тебя так и учил, что «всё старое неизбежно умирает, гибнет, а новое неумолимо нарождается и занимает место старого, но с новым своим качеством». Так, кажется, умные люди говорили. а?.. Конечно, диалектика тут, объективный закон. Только то новое, что появилось сейчас, мне не по душе. Не знаю, как ты понимаешь всё это, а новая мода мне не нравится. — Он тяжело перевел дыхание, говорить ему было трудно.

... Вот Вальку, который у нас вырос, которого я сам, можно сказать, в партию за руку ввел — вот, мол, твоя судьба — взащей гонят. Кто? Бюро крайкома? Чепуха. Вспомни-ка, как тебя с работы снимали — один Баранов всё сделал. Вот оно как пошло — всё один да один. А остальные... Ну, может, кой-кого и запугать мог, Баранов-то. А от смелых тоже легко отделаться — не выберут в пленум, а там и в бюро не пройдешь... Один человек это решил, Яша, один. Ты не сдавайся, пиши в ЦК, поезжай туда. Без партии, без народа решать один человек у нас не имеет права.

Курбатов слушал, хмурясь; то, что говорил ему сейчас Булгаков, отвечало его самым сокровенным и скрытым пока от всех мыслям.

— Я вот о чем тебя спросить хотел, — тихо сказал он Булгакову. — Ты думаешь, в ЦК не знают об этом? О Баранове?

— О барановщине-то? — переспросил Булгаков. — Наверно знают. Но, может, ты еще подскажешь, всё-таки слово коммуниста... Поезжай. Деньги у тебя есть? У меня тут — возьми на всякий случай в шкафу — рублей двести есть. И Вальку возьми с собой.

Курбатов промолчал. Ему не хотелось огорчать старика, рассказывать, что Кият, ни с кем не простившись, собрал вещи и тайком уехал — куда, неизвестно. За-

писка, оставленная на столе, лежала теперь у Курбатова в кармане: «Я был всегда коммунистом и им останусь. Эта несправедливость заставляет меня уехать, я не могу работать, хотя бы чернорабочим, там, где меня оскорбили в самом святом — в моей верности партии. Может, Яша, это глупо, но я решил уехать на Север, буду работать кем придется, лишь бы не видеть на себе косых взглядов из-за несправедливых обвинений». Глупо! Но Курбатов понимал и его обиду, и этот необдуманый поступок. Зачем Кият довел свою обиду до абсурда? Ведь не свет клином сошелся на Баранове...

— Ничего, — приподнялся на локте старик. — Наша партия здоровая, ленинская, если и есть что нездоровое — вылечит. Ты это, Яша, твердо помни.

Курбатов простился с ним и ушел, не догадываясь, что это их последний разговор.

Булгаков скончался ночью...

* * *

Его хоронил весь город.

И когда Курбатов поднялся на холм, насыпанный рядом с вырытой могилой, он увидел, как люди стоят, плотно прижавшись друг к другу, и смотрят на него.

Он не узнал своего голоса: он был срывающийся, хриплый, словно чужой. Потом он не мог точно вспомнить, что говорил: о пути ленинца, о борьбе за правду, за счастье, за коммунизм. О том, что дороже всего были Булгакову интересы народа, что ставил он их выше личных, о том, что всегда Булгаков нес в сердце имя Ленина. Кажется, он сказал и о последних тревогах старого большевика.. Потом спохватился: не надо было этого говорить. Присутствовавший на похоронах третий секретарь обкома отвел Курбатова в сторону и, сверля маленькими зелеными глазками, тихо сказал:

— А мне не понравилась ваша речь, товарищ Курбатов. Вы продумали ее? Дайте мне ваши записи.

Курбатов качнул головой:

— Я по шпаргалке никогда не выступаю.

— А напрасно. Я слышал, кстати, что вы в Москву собрались ехать? Относительно Кията?

Курбатов стал лихорадочно припоминать, кому он

говорил о своем намерении ехать в Москву. Кто мог передать? Но он ответил спокойно:

— Да. Я считаю, что всё это было сделано несправедливо. Кият ни в чем не виновен.

Секретарь смотрел на него, не мигая.

— Вот что, — тихо разделяя слова, сказал он. — Вы уже не в первый раз начинаете протестовать против действий крайкома. Товарищу Баранову, да и остальным это надоело, вы слишком много на себя берете. Поехали в партком, я вам передам последнее решение крайкома.

Всю дорогу они молчали. В кабинете Курбатова секретарь, сев за его стол, несколько раз провел рукой по лысеющей голове и сказал:

— Вы, конечно, поняли, что я не на похороны приехал?

— Нет, не понял... Булгаков — старый большевик, не грех и секретарю обкома его почитать.

Тот, усмехнувшись, сунул руку в портфель, достал и протянул Курбатову какую-то бумажку. Он взял ее — и странная вещь! — не вздрогнул, не побледнел, не заволновался: это было решение крайкома, подписанное Барановым, о снятии Курбатова с работы.

— И жаловаться я вам не советую. Мы уже сообщили в ЦК мотивировку: как склочника, во-первых, и за разведение приятельских отношений. А там пока что верят нам, а не вам. Ясно?

Курбатов тоже усмехнулся: вот именно — «пока что»... Но всё-таки было ясно, что ехать в Москву бесполезно, Баранов успел предупредить его приезд, отношение будет соответственное характеристике... Секретарь, поднявшись из-за стола, закончил:

— На работу мы вас устроим. А жаловаться... Баранов, по совести говоря, настаивал и на вашем исключении из партии, только потом вспомнил ваши заслуги. Учтите и это.

Секретарь обкома уехал, не попрощавшись. Домой Курбатов вернулся раньше обычного и долго сидел один, в пустой квартире.

Оставаться одному было тяжело. «Пойду в партком, надо вызвать Прохорова — кажется, дельный человек, правильно решил с занятиями в бригаде... Хотя я уж...». Он надел пальто: его знобило. Выйдя на ули-

цу, он глубоко вдохнул свежий осенний воздух, постоял, посмотрел на подернутое сумеречной дымкой небо и медленно побрел по улице...

«Да, они опередили меня. Но я не Кият. Не о себе — я о нем напишу всё. Старик был прав: наша партия здоровая, ленинская — разберется. Пусть не сейчас, пусть не сразу, но я не стал бы жить, если б не знал этого».

VII

Промышленным отделом обкома заведовал давнишний товарищ Курбатова еще по комсомольской работе — Петр Колчин, тот самый Колчин, который когда-то познакомил его с Таней. Идя к нему, Курбатов испытывал странное, незнакомое чувство просителя: черт его знает, как всё это неприятно получается. Однако Колчин принял его так, что это ощущение сразу же пропало; просто — встретились два человека, которые давно знают друг друга, долго не виделись, и им есть о чем поговорить. Курбатов, здороваясь с ним, усмехнулся:

— А я вот шел по коридору, человек пять знакомых встретил и хоть бы один поздоровался.

— Может, не узнали, — попытался оправдать их Колчин. — Ты здорово переменился. Вон, — кивнул он на волосы Курбатова, — ты уже и снежком обзавелся?

Стараясь долго не задерживать Колчина, Курбатов вкратце рассказал ему, зачем пришел. Колчин слушал, кивал, а потом перебил его:

— Теперь тебя, конечно, на партийную работу не пошлют. Кленов, сам понимаешь, слушать даже об этом не захочет. А если до Баранова дойдет... Знаешь, иди лучше на хозяйственную работу. Так и лучше и... скорее.

Они договорились встретиться завтра, и весь день до следующего утра Курбатов провел нервничая. Да и как не нервничать, когда будущее пока рисуется неизвестно каким. В девять утра он уже был в обкоме — усталый, измотанный бессонной ночью, с воспаленными красными глазами.

Колчин встретил его так же учтиво и еще издали замахал рукой:

— Есть, есть... Всё уже согласовано, поедешь до-

мой, в Новогорск. Ты бывал там на фабрике фото-пленки?

Курбатов грустно усмехнулся. Фабрика была настолько мала, что ее всерьез никто и не принимал: так, дымит какая-то трубчонка, совсем, как на комбинате, только пониже да дым пожиже. От Колчина эта грустная усмешка не ускользнула. Он сказал мягко, стараясь убедить, и по-прежнему тихо, не договаривая, словно боясь, что их кто-нибудь может услышать:

— Так надо. Пока. Сам понимаешь. Поезжай в Москву, в главк за назначением. Фабрика-то Москве подчинена.

— Хорошо. Только домой на день съезжу...

— Я тебе советую скорее ехать в Москву, иначе как бы не опередили. Там давно уже директора ищут. Поедешь, привезешь приказ.

Курбатов, подумав, согласился. Отправив телеграмму в Новогорск, в тот же вечер он уехал в Москву.

* * *

Он всегда любил знакомиться с людьми, стараясь определить их с первого взгляда, с первых слов. То, что начальник главка фото-кинопленочной промышленности Гризодуб — мужчина огромного роста, могучего телосложения, чем-то напоминающий Данилова — встретил его как-то ровно, хотя и сдержанно, то, что он сразу кивнул ему на кресло и сказал на ты: «сидись», — Курбатову понравилось, и он сразу почувствовал себя легко и свободно.

Гризодуб, просматривая документы, временами исподлобья взглядывал на Курбатова:

— Так, так... Значит, не инженер, не химик... Образование низшее, но — партработник. Люблю партработников. Они для меня на хозяйстве ценнее, чем какой-нибудь старый спец или молодой инженер. Я сам вот был партработником... На Украине. Потом сюда прислали. Трудненько, конечно, пришлось; начал учиться, три курса уже кончил. А ты как дальше думаешь?

— Надо учиться. Сначала хочу хотя бы среднюю школу окончить. Директор завода кончает среднюю школу, — пошутил он. Очевидно, шутка была невеселой, потому что Гризодуб несколько раз махнул рукой:

— А и хорошо это, хлопчик. Учиться никогда не поздно. Мне под пятьдесят с половиной, а учусь, до поздней ночи над книгами сижу. Что же ты с партийной-то работы ушел?

Курбатов вспыхнул, будто его уличили в чем-то нехорошем:

— Там дальше написано... в автобиографии.

Гризодуб, быстро перелистав несколько страниц, кивнул головой: вот оно что! Ничего, крепче будешь...

Чем больше Курбатов говорил с ним, тем всё сильнее чувствовалось ему в этом человеке что-то уже знакомое, словно виденное однажды; потом он догадался: да, первое сходство не было обманчивым, точно так же говорил с людьми Данилов, с такой же внешней грубоватостью, за которой неизменно крылась ласка. И, поняв это, Курбатов невольно потянулся к Гризодубу, как в свое время тянулся к Данилову, чтобы перенять для себя что-то новое, обновиться самому, будто прикоснувшись к сказочному живому роднику.

А Гризодуб, спокойно захлопнув папку с документами, уже отодвинул ее в сторону, и это движение было тоже хорошо знакомо Курбатову. Данилов — тот так же терпеть не мог документов, когда перед ним сидел их хозяин.

— Ты в отдел кадров иди, я скажу, чтоб тебя приказом оформили. — Гризодуб, тяжело поднявшись, протянул Курбатову широкую — ни дать ни взять моржовый ласт — руку. И Курбатов, неожиданно для себя, пожал ее с такой горячностью, что Гризодуб грустно улыбнувшись, не то спросил, не то просто подумал вслух:

— А и досталось тебе, хлопчик...

Когда Курбатов уже был в дверях, Гризодуб пробашил ему вслед:

— Если затрет — смотри, обязательно звони мне или приезжай.

Быть может, ничего особенного не было в этом разговоре, но Курбатов, выйдя в коридор, не мог заставить себя спуститься этажом ниже, где был отдел кадров.

Стоя в пустом коридоре, он дрожащими руками пытался зажечь спичку и закурить, но спички ломались, не зажигаясь. Он плакал...

Гости собрались как-то все сразу, будто поджидали друг друга на улице. Таня, возбужденная, раскрасневшаяся, всё металась от стола на кухню, всё суетилась и, казалось, готова была всплакнуть, просто так — просто потому, что плохое уже позади, а сейчас всё, как встарь: и гости за столом, и Оленька на руках у отца, и дома тепло, и так уютно поет самовар — подамок дяди Павла Алешина.

Алешин, поначалу тоже возбужденный и радостный, теперь сидел, нахмурившись. Улыбнулся он только один раз, — когда Курбатов рассказал, как его принял Гризодуб. Курбатов заметил, что Алешин мрачен, и спросил:

— А ты что задумался, дядя Павел?

— Да так... Чёрт его знает: маталлиста в какую-то вонючую живопырку загоняют. Знаю я эту фабрику...

Курбатов положил свою руку на руку Алешина:

— Ничего, дядя Павел. Всё уладится.

Но как ни верилось ему в это «всё уладится», ночью он не мог уснуть. Он стоял у окна: на улице было темно, под косыми струями ливня мотался одиноким желтым пятном фонарь. В серой мути не было видно ничего, только это желтое пятно. Курбатов курил, щурясь от дыма, и внезапно легкая, даже, пожалуй, какая-то незнакомая мысль мелькнула в голове: «Да ведь я живу! Живу! И, действительно, всё уладится».

Тихо спала дочка, разметалась во сне Таня. Он осторожно прикрыл обнаженные плечи жены и, глядя в ночную темноту, на одинокое светлое пятно, затянутое пеленой воды, беззвучно рассмеялся от радости, что действительно жизнь продолжается и что всё будет в ней — и счастье, и работа, и люди, к которым он привык...

Он так и не уснул в эту ночь. Дождь кончился уже под утро, когда за стеклом проступили серые, мглистые осенние сумерки. Осторожно, чтобы не разбудить Таню и Оленьку, он побрился «на ощупь» — без зеркала, оделся и, снова улыбнувшись, вышел — просто побродить по просыпающемуся городу, потому что на работу еще идти рано: приказ не пришел.

Все эти дни он был словно пьян. Всё, что окружало его, — люди, дома, вещи — воспринималось им с какой-то почти детской, уже забытой восторженностью. И он не замечал ничего, что прежде заметил бы сразу, безо всякого труда.

Таня? Нет, она встретила его хорошо. Она, конечно, была счастлива и растерялась, когда Курбатов вошел. Но он не заметил каких-то мелочей, чего-то нового, другого, незнакомого, что появилось в ней за те две недели, что он провел в Москве, вдобавок к тому, что уже было и когда-то пугало Курбатова.

На третий день после возвращения из Москвы он проснулся рано: опять не спалось. Неосторожно повернувшись, чтобы взять папиросу, он толкнул Таню, и та, открыв глаза, пробормотала:

— Что ты не спишь, Яша? Мне мешаешь...

— Не могу спать! Да уж и некогда, пять часов утра. В семь надо вставать — сегодня на работу.

— Тогда хоть эти два часа полежи спокойно. — Приподнявшись на локте, она посмотрела на мутное окно. — Ну и погода, не похоже, что только сентябрь. Спи спокойно.

— Спокойно? — улыбнулся Курбатов. — Да разве я могу быть спокойным! Столько лет на партийной работе, Татьяна... а сегодня меняю профессию. Хозяйственник... директор. Всё неизвестно. Новые люди... А мне доверяют.

— Освоишься! — сонно ответила Таня.

Курбатов оживился.

— Конечно, освоюсь, но ведь всякое начало волнует. Хочешь, расскажу, что мне в Москве Гризодуб говорил?

— Яша, спать хочется. Ну, расскажи...

Курбатов, по-прежнему ничего не замечая, взволнованно приподнялся на локте и зашептал, удивляясь тому, как это раньше ничего не рассказал ей:

— Понимаешь, вызвал он меня и говорит: «Вот, Курбатов, ты и директор. А директор, говорит, это не шутка, это почетное для коммуниста звание. Ты правильно сделал, что согласился идти на маленькое предприятие. Большие дела всегда начинаются с малых. Если хочешь быть хорошим хозяйственником, начинай хозяйствовать с малого. Только всегда помни, что де-

бет, кредит да баланс — это еще не самое главное. Главное — люди...» Всюду люди, Таня. Да ты слышишь?

Таня спала. Курбатов, медленно погасив папиросу, откинулся на подушку, еще не понимая, как она могла уснуть сейчас. «А может быть, это я эгоист? Она ведь устала... Нет. Неужели мы всё-таки разные с ней?».

Ему хотелось закричать, словно от неожиданной боли. Зарывшись лицом в подушку, он проглотил душащий ком, вставший в горле, и с минуту лежал так, пока не успокоился.

В семь часов, когда Таня встала, он спросил ее:

— Значит, ты так ничего и не слышала?

— Я заснула, — словно извиняясь, ответила Таня. Курбатов, притянув ее к себе и целуя в теплые волосы, снова спросил с мягким укором:

— Тебя разве это не интересует?

Таня отпрянула. Она глядела на него задумчиво, словно не узнавая, и Курбатов испугался этого взгляда.

— Ты прав.

— Но, Таня...

— Я устала, Яков, устала, понимаешь? Устала ждать тебя каждый вечер. Я устала от всего.

Таня говорила шепотом, сдавленной скороговоркой, она словно не могла остановиться, а Курбатов не мог ее перебить. Всё, что наболело, она выносила сейчас, не задумываясь над словами, над тем, обидно это или нет. Курбатов не узнавал ее. Только, будто бы очнувшись, на улице он подумал: «Права? Не знаю...».

Шел дождь, мелкий, холодный, осенний дождь, и Курбатов поднял воротник своего макинтоша: его знобило.

* * *

Это здание было старинное, тяжелое; в прошлом — пересыльная тюрьма, оно ничуть не напоминало фабрику. Узенькие окна, похожие на бойницы, подслеповато таращились на обширный мощеный двор и дощатые сарайчики. Подходя, Курбатов еще издали увидел какие-то ободранные стены, все в сырых подтеках, будто покрытые грязью. Кое-где штукатурка отбилась, виднелись кирпичи, и Курбатов усмехнулся: ничего себе помещение! Вспомнилось, как мальчишками они побаивались ходить сюда, в пустые залы со сводчатыми

низкими потолками. Здание стояло на отшибе разросшегося города, словно бы город не хотел принимать его к себе...

Теперь Курбатов, издали рассматривая фабрику, внутренне морщился: действительно, даже трубы-то порядочной нет. Он быстро подавил в себе возникшее вдруг чувство неприязни и заспешил: смена уже началась, он пришел вовремя, а дальше задерживаться уже не надо.

Но едва он вошел на широкий двор, как из дверей фабрики, словно бы навстречу ему, появилось несколько рабочих, которые что-то несли, Курбатов не сразу разглядел — что. Потом он ахнул: рабочие положили прямо на землю, на брошенную кем-то куртку молодую женщину, видимо, работницу. Курбатов был уже рядом. Рабочие стояли понуро, не глядя на меловое, почти неживое лицо женщины.

— Под суд за это надо, — тихо сказал кто-то. Впереди Курбатова стоял человек в форме пожарно-сторожевой охраны. Осторожно тронув его за плечо, Курбатов так же тихо спросил:

— Что с ней?

Тот обернулся и словно толкнул Курбатова неприязненным, тяжелым взглядом:

— А вам-то что за дело?

Курбатов снова поглядел на лежащую. Да, совсем молоденькая, почти девчонка.

— Надо же позвать врача, — резко сказал Курбатов. — Своего медпункта здесь нет?

— Попа ей нужно уже, а не врача, — сказал один из рабочих. — А вы, гражданин хороший, идите отсюда, идите... Нечего вам тут.

Курбатов качнул головой:

— Я новый директор фабрики. Что с ней?

Пожарник, вытянувшись по-военному, хотел, видимо, представиться, но шумно выдохнув, опять словно сник:

— Отравилась. стакан нашатыря выпила... А веселая была.

— Прежний директор довел, — пояснил тот рабочий, который только что гнал отсюда Курбатова. — Обманул девчонку, ну и...

— Какого ж черта... — вспыхнул Курбатов, но тут

же оборвал себя: по улице, хватая за душу гудком сирены, уже спешила скорая помощь.

Когда девушку увезли, все еще долго стояли молча посреди двора; наконец Курбатов, поглядев на людей, заметил, что они уже смотрят на него, и во взглядах — любопытство, ожидание, пожалуй, даже настроенность.

— Кто у вас парторг? — спросил он.

— А я и есть парторг, — ответил пожарник, поднося руку к фуражке. — Палкин, начальник охраны.

— Да, веселая у нас встреча, — криво усмехнулся Курбатов. — Ну, что ж, пойдем работать... Пойдемте, товарищ Палкин.

Палкин довел его до дверей директорского кабинета; оттуда, из-за них доносился высокий, сразу же показавшийся Курбатову неприятным голос. Он толкнул дверь: за столом сидел грузный бритоголовый мужчина и кричал в телефонную трубку, прижимая ее плечом к уху:

— Что, что? Кто это? Канючин, ты меня слышишь?.. Да, я... Как живу? Да как генеральские погоны — без просвета и в зигзагах. В зигзагах, говорю... Подожди-ка минутку. — Он оторвался от трубки и, недовольно поглядев на Курбатова, бросил ему:

— Я занят. Выйдите в коридор.

— Работайте, работайте, я вам не помешаю. — Курбатов спокойно прошел в кабинет и сел на маленький скрипучий диванчик.

— Нет, выйдите!

— Ну, а если я всё-таки не выйду? — уже зло ответил Курбатов. Бритоголовый опешил, прикрывая ладонью трубку. Потом, видимо, что-то сообразив, прокричал: «Канючин? Я тебе позже позвоню. Да, позже... Сделаем, сделаем...» — и, повесив трубку, снова обернулся к Курбатову:

— Простите, с кем имею честь?

Он уже не нравился Курбатову — и это была твердая антипатия. Курбатов, сказав, что он — новый директор, встал; вскочил и бритоголовый, да не просто вскочил, а выпорхнул из-за стола мотыльком и, подбежав к Курбатову, вцепился обеими руками в его руку:

— Заждались! Кривин. Кривин, Лука Кузьмич, ваш зам. по коммерческой части.

Он выхватил из рук Курбатова кепку, и тот не успел опомниться, как Кривин уже снимал с него макинтош. Курбатов вырвался. Ах, дьявол, какой подхалим и ведь даже не пытается скрыть это. При прежнем директоре так было принято, что ли?

Он повесил свой макинтош и, стягивая сзади под поясом гимнастерку, прошел к столу. Сразу же в нос ударил резкий запах спирта: мебель в кабинете была отремонтирована, и Курбатов поморщился — как остро пахнет лак.

Но тут же он перехватил взгляд Кривина, брошенный на графин и, поняв, протянул руку к стакану. Краешком глаза он заметил, что Кривин как-то съёжился и втянул голову в жирные, покатые плечи, пока директор наполнял стакан. Спиртом запахло резче. Курбатов, понюхав, усмехнулся:

— Что это — вы на работе вместо воды водку хлещете?

— Нет, нет, что вы, — испуганно забормотал Кривин. — Это старый директор, товарищ Андронов велел себе в графинчик наливать. Любители они были... Так уж завелось... А я сюда заскочил только — вот, по телефончику переговорить.

Курбатов, оглядев стол, нашел кнопку и нажал ее. Девушка-секретарша, которую он не заметил, входя сюда, появилась на пороге.

— Уберите-ка эту дрянь, — кивнул на графин Курбатов. Когда девушка, поспешно схватив графин, уже снова была в дверях, он остановил ее. — Подождите. Пригласите сюда главного инженера, главного бухгалтера, ну и... — какие еще должности есть на фабрике, он еще не знал и попросил позвать Палкина. Куда тот ушел, почему не прошел вместе с ним в кабинет? — Из цехов никого пока не зовите, я сам туда пройду.

— Я всех позову, всех, — пискнул Кривин, выбегая вслед за секретаршей. Курбатов усмехнулся: побежал выкладывать свое мнение о новом директоре.

Он не знал, что слух о его прибытии уже распространился по всей фабрике, и это словно бы перебило, успокоило ту боль, которая вспыхнула у людей часом раньше.

Женщины вытирали покрасневшие глаза (жаль было девушку) и тут же переходили к живому, обычно-

му любопытству: «Кто он такой?», да «Откуда?», да «Будет ли он с Сориным работать или выгонит?», и если выгонит, «то вот хорошо-то было бы!» Кто-то уже рассказал о случае с графином — очевидно, уборщица, и люди говорили, что «новый-то вроде непьющий». Сорин, главный инженер фабрики, пожимал плечами, слушая, что ему торопливо докладывает Кривин:

— Ну, производства-то он, положим, не знает. Так, отец-командир...

В кабинет Курбатова они входили все вместе, сдержанно здоровались, называя себя:

— Сорин, главный инженер.

— Курбатов.

— Фонин, главный бухгалтер.

— Полуштукин, начальник ПЭО.

— Как? — переспросил Курбатов. — ПЭО?

— Да, планово-экономический отдел, — словно извиняя это незнание, с деланным равнодушием пояснил Полуштукин.

— И большой отдел у вас? — не выдержал Курбатов, разглядывая этого чистенького, розового, седого человека.

— Нет! Пока трое, — ответил тот. — Зато, знаете, объем...

— Понятно! — Курбатов обернулся ко всем. — Так вот, товарищи, я к вам назначен директором. Вот приказ главка.

Все закивали головами, словно желая сказать: «Да чего там, знаем уже». Полуштукин сразу же сел в кресло возле стола, раскрыл папку и вынул какую-то бумагу:

— Мне нужно согласовать с вами ряд вопросов, товарищ директор. — Он особенно нажал на это слово: «директор». — За прошлый месяц у нас себестоимость одного квадратного метра пленки несколько прыгнула вверх, но не это страшно, а...

— Подождите, товарищ Полуштукин! — шутливо поднял руки Курбатов. — Я ведь только пришел на фабрику, вначале нужно с людьми познакомиться, с производством.

— Вот, всё здесь! — хлопнул Полуштукин по папке. — Не извольте беспокоиться, я вас со всем познакомлю. Тут цифры...

— Да, но я всё-таки хочу вначале познакомиться с людьми, — перебил его Курбатов.

— С людьми? С какими людьми? — изумленно спросил Полуштукин. — Вот, — он повел рукой, — они здесь.

— Я хочу познакомиться с теми, кто решает выполнение плана, с рабочими, с инженерами в цехах, с техниками.

Полуштукин, поджав сухие губы, тихо сказал:

— Вот как? Значит, мы не основные люди на производстве? Спасибо для первого знакомства.

Курбатов вспыхнул. Теперь он уже внимательно поглядел на всех троих. «Где же Палкин?» Главный инженер и бухгалтер смотрели куда-то в стороны. «Что это? Такие кадры себе Андронов подбирал? Похоже, что так». Злость, поднявшаяся в нем, мешала говорить, но он всё-таки ответил Полуштукину спокойно:

— Нет, вы меня не так поняли. Я думал, вы тоже знаете, что в конечном счете всё зависит от рабочих. Они вершат судьбу производства. А я пришел к вам с партийной работы и привык думать именно так, а не иначе.

Вошел Палкин и в нерешительности остановился.

— Проходите, товарищ Палкин. Хотя... мы тут уже познакомились, теперь я пройду по цехам. А с вами нам обязательно надо будет потом поговорить. Тут у нас с товарищами, — он улыбнулся, — некоторые разногласия получились.

Выйдя из кабинета, он почему-то подумал, что Палкин мялся на пороге, будто боясь переступить его. И это андроновщина? Неужели и здесь придется начинать, с чего он начинал когда-то на комбинате: с борьбы с тупой, ненавистной, чуждой ему обывательщиной?..

* * *

Увидев табличку «Лаборатория», Курбатов открыл дверь и вошел в помещение. В большой комнате стояли заставленные приборами столы, за каждым сидели лаборантки в белых халатах — всё это было похоже на городскую аптеку, если заглянуть в нее через окно. Курбатов, подойдя к одной из лаборанток, спросил, можно ли видеть начальника лаборатории, и та, соскочив с табурета, ринулась в соседнюю комнату. Курба-

тов, отглядываясь, заметил уже знакомые ему любопытствующие взгляды и неожиданно смутился: здесь работали только девушки, и взгляды были не просто любопытствующими, но и кокетливыми.

Через минуту дверь из соседней комнаты открылась, и в лабораторию вошла, щурясь от яркого света, женщина. Она сразу же зажмурила глаза, а потом широко раскрыла их и, увидев Курбатова, направилась к нему. Он шагнул к ней навстречу.

— Чайка.

— Курбатов.

Она была с ним одного роста, и Курбатов, глядя в серые, лучистые, как у ребенка, глаза женщины, вдруг поймал себя на том, что снова смутился; этого только не хватало; хорошо, что она, по-видимому, еще не привыкла к свету и всё щурит глаза, а то было бы во все неудобно.

— Извините, я только из темной комнаты, плохо вижу... Там мы проявляем светочувствительные пленки, глаза привыкли к темноте... Вот так, сейчас лучше...

— Я вас попрошу познакомить меня с лабораторией и методикой проверки пленки. Ну, а главное — с людьми, — улыбнулся он.

Чайка долго водила его по лаборатории, и Курбатов, стараясь прогнать появившееся было — совсем некстати! — смущение, слушал ее, впрочем не всё понимая. Она называла какие-то длинные химические формулы, и Курбатов пытался просто запомнить их, чтобы разобраться на досуге, а потом мысленно махнул рукой — всё равно не запомню, легче будет прочесть — и просто слушал ее ровный, неторопливый голос. Неожиданно он улыбнулся: лаборантки все смотрели на него. Чайка, уловив эту мимолетную, короткую улыбку, посмотрела на девушек, и те, опустив головы, уткнулись в свои пробирки, словно желая сказать, что новый директор — не бог весть какое выдающееся событие и эти пробирки куда интереснее. «Однако они ее побаиваются», — подумалось Курбатову.

Полчаса спустя, выходя из темной комнаты, где проявлялись пленки, Курбатов признался Чайке:

— Откровенно говоря, я больше половины не понял. Тут уж вам, товарищ Чайка, придется меня про-

свещать. Впрочем, говорят, я не такой уж непонятливый. И вот еще что... о чем я хочу вас попросить...

Чайка ждала: Курбатов, хмурясь и улыбаясь одновременно, сказал:

— Я тут всего часа два, людей не знаю, а в кабинет идти не хочу. Боюсь. Там на меня ровно волки с бумагами набрасываются. Не люблю я бумаг, по совести говоря. Может, провели бы вы меня по цехам да растолковали еще, что к чему?..

Женщина кивнула:

— Я, конечно, с удовольствием пойду, но... С одного посещения трудно будет растолковать всю нашу технологию. Она у нас сложная. А вы...

Она замялась, и Курбатов, поняв то, что было недоговорено, подхватил:

— Химию в объеме средней школы я знаю. А в цехах я не один раз собираюсь бывать. Вы инженер?

Она кивнула снова.

Войдя в эмульсионный цех, Курбатов растерялся. Просто трудно было поверить, что здесь могут работать люди. Мимо него двигались какие-то мутные черные гени, в углах светились густо-красные пятна светофильтров, их закрывали клубы дыма. Духота здесь стояла такая, что у Курбатова сразу перехватило дыхание. Чайка, словно поняв состояние Курбатова, решительно взяла его под руку.

— Темно... — словно в чем-то оправдываясь, сказал Курбатов. Это прозвучало так неожиданно робко, что Чайка улыбнулась, но он не видел ее улыбки:

— Это только в начале так. Глаза скоро привыкнут.

Действительно, глаза привыкли к темноте, он начал различать предметы: черные тени,двигающиеся взад и вперед, оказались людьми.

— Почему рабочие в черных халатах? — спросил он. — Ведь в белых-то легче работать в этой темноте?

— У нас еще много этих «почему», — ответила Чайка, усмехнувшись.

Остановившись у одной из ванн, Чайка начала объяснять ему, что такое температурный режим и какой режим нужен для создания эмульсии. Вдруг она перебила себя и спросила в темноту:

— Правильно объясняю, Федор Андреевич?

Оттуда донесся глухой голос:

— Да верно вроде бы...

— Знакомьтесь, — распорядилась она. — Это наш новый директор, а это — товарищ Мурашко, бригадир. Он хотя и не инженер, но у него и инженеру не стыдно поучиться. Сорок лет работает — почти человеческая жизнь...

— Здравствуйте, товарищ Мурашко, — Курбатов протянул руку в темноту; ему ответили крепким пожатием. — Я вас не вижу, но вы всё-таки расскажите, как здесь колдуете.

— Отколдовался уж я, — так же глухо ответил Мурашко.

Чайка неожиданно встревожилась:

— Что с вами?

— Да так вот... Последний день сегодня работаю. Уволен.

— Почему? — Курбатов спросил это резко, сразу почувствовав, что опять начинает злиться. Мурашко не ответил: ответила Чайка. Уволил бригадира Сорин — это была старая вражда; Сорин не терпел, чтобы кто-нибудь лучше его знал производство.

— Ну, в этом-то разберемся, — зло сказал Курбатов. — Вы, товарищ Мурашко, заходите ко мне в кабинет. Сегодня заходите — поговорим.

— Не бывал я там, — усмехнулся Мурашко. — Может, и не стоит?

— Не «не стоит», а обязательно заходите, я буду ждать.

— Ну, если только ждать будете... — голос старого рабочего неожиданно потеплел. — Я тогда со всеми приду... Соберу всех и придем...

Обойдя фабрику, Курбатов с Чайкой вернулись в кабинет. Около дверей, нервно переминаясь с ноги на ногу, стоял Фокин; увидев Курбатова, он капризно пожаловался:

— Я вас уже битых три часа жду. Надо баланс и отчет за прошлый квартал подписать... Вот...

Он пошел за Курбатовым, на ходу развязывая тесемки папки.

— Нет, я подписывать ничего не буду, — через плечо ответил Курбатов. — Я тогда еще не работал. Идите к главному инженеру или заместителю по коммерческой части.

— Но у меня и другие вопросы, — раздраженно сказал Фонин.

— Решим завтра. Сегодня ко мне рабочие придут.

Главбух остановился и долго, недоверчиво и недоуменно смотрел на Курбатова. Внезапно он ответил резко и грубо:

— Я главный бухгалтер. Рабочие могут обожда^{ть} за дверью.

Курбатов вспыхнул. Чайка смотрела на него, ожидая, что он скажет; на какую-то долю секунды он уловил в ее серых лучистых глазах требование — да ответь же как следует, что ты тянешь? Но Курбатов, медленно подойдя к Фонину вплотную, ответил тихо, так, что Чайка вся подалась вперед, чтобы услышать:

— Нет. Так никогда не будет. Для рабочего двери моего кабинета будут открыты всегда.

— Странно... — криво улыбнулся Фонин. — Очень странно. Это уже что-то новое...

Курбатов еле сдерживал себя.

— Ничего нового, — так же тихо продолжал он. — И очень плохо, если для вас это новость.

Фонин, иронически поглядывая на Курбатова снизу вверх, пожал плечами:

— Что ж это, вы фабрику в партачейку хотите превратить? Неужели вы и себя и нас с рабочими будете равнять?

Теперь уже Курбатов повысил голос. Он держался из последних сил, держался, чтоб в первый же день с треском не выгнать из кабинета, с фабрики людей, которые, судя по всему, решились на эту борьбу:

— Нет. Равнять не буду. Вы, я — все мы только приказчики у рабочего класса.

Фонин, опустив глаза, завязывал на своей папке тесемки и всё еще улыбался кривенькой, ехидной улыбкой:

— Так, так, это понятно... Я при проклятом царском режиме у купца Вахрамеева приказчиком служил, теперь в наш светлый век, значит, тоже в приказчиках хожу?

— А вы понятливый, — с такой же издевкой ответил Курбатов. Случайно взглянув на Чайку, он увидел, что лицо женщины словно светится радостью; она еле сдерживала смех...

Рабочие входили нерешительно, жались к стенам, садились на краешки стульев, не зная, куда девать руки. Курбатов, стоя возле стола, ждал, пока все рассядутся, и думал, что жизнь всё-таки странная вещь: ведь за одно это, за то, что рабочие так робко входят в директорский кабинет, что они словно бы не чувствуют себя хозяевами — за одно это прежнего директора надо было отдать под суд. А ведь нет — живет и здравствует где-то этот человек, и водочку пьет себе, и в ус не дуёт. Спасает его от всех бед звание «бывший директор». Другим, быть может, и невдомек, что же этот директор делал, как работал: «Ах, вы были директором. Значит опыт есть? Пожалуйста, примите под свое начало такую-то фабрику...» Курбатов даже зубами скрипнул от злости: когда же у нас не по анкетам будут судить о людях?

Он не заметил, как большой кабинет наполнился; надо полагать, Мурашко постарался на совесть, пришла половина цеха. Курбатов поискал глазами, нашел Палкина и кивнул ему: «Проходите сюда, вместе будем разговаривать».

За час до собрания он продумал, что и как будет говорить, а теперь всё забыл, и когда начал говорить, то удивился — как это получается легко и просто:

— Я, товарищи, сегодня всего первый день на фабрике. Работать же думаю не день и не два. По совести — производства не знаю. Директором вообще работаю только первый день. Не скрою от вас, новой работы немного побаиваюсь. Однако, если поможете, то с работой справлюсь. Хотя я сегодня и был в цехах, но еще многого не усвоил. Да и говорить-то во время работы много нельзя — вы ведь на сдельщине. Ну, а сейчас над нами не каплет. Вот я и прошу вас откровенно рассказать не только о своем цехе, но и вообще о фабрике. Конечно, меня интересуют больше недостатки, сам-то я их не скоро обнаружу, а если вы их подскажите, то скорей можно будет и выправить. Я вас не стесняюсь, когда говорю о том, что не знаю производства, но научусь. Вам тоже стесняться и бояться не нужно. Сегодня, кроме товарища Палкина, меня и вас, на нашей беседе никого нет, а потому выкладывайте, у

кого что болит. Начнем с товарища Мурашко. Он, кажется, ветеран этой фабрики...

Курбатов осмотрел лица рабочих, пытаясь узнать, догадаться, кто из них Мурашко: ведь несколько часов назад они встретились в темноте. И он не ошибся, остановившись взглядом на низеньком, сухоньком старике с бледным, словно бескровным, лицом: это и был Мурашко.

Тот встал со стула и, растерянно комкая в руках кепку, пробормотал:

— Да я и говорить-то на собраниях не умею. А потому... Ну, да вот насчет предложений... Говорят, партия рабочих очень поддерживает, которые разные предложения делают. А у нас вот Сорин этого не любит. Я вот, к примеру, два года бьюсь, чтоб заменить посуду для варки эмульсии. Посуда у нас тяжелая, керамическая, да и мала уже. На других, говорят, фабриках из нержавеющей стали посуда есть. Она и рабочему лучше... Так я вот насчет этого, товарищ директор. В два раза больше можно будет эмульсии варить... И вот еще что...

Мурашко повернулся к рабочим, и те закивали, заулыбались ему — словно легкий и теплый ветерок прошел по кабинету:

— ...И вот еще что... Мне сегодня как-то удивительно стало. С нами, с рабочими, новый директор на равных держится. Прежние-то только фыркали, да и сейчас кое-кто из начальства фырчит. Ну, а раз директор с нами так, значит и мы с ним так будем... Мне-то, конечно, не придется, уволен уже... Вот и всё. Вспомню чего — еще скажу.

Мурашко сел, натягивая кепку на колено и разглаживая ее. Теперь все смотрели на Курбатова: тот протянул Палкину какой-то листок бумаги, парторг прочитал и одобрительно кивнул. Тогда Курбатов повернулся к Мурашко:

— Приказ Сорина я отменил, будете работать по-прежнему. Кто следующий?

Он сидел и слушал, как выступают работницы, жалуются на брак, на грязь, на то, что Сорин две комнаты занимает, а в обеденный перерыв негде поесть, что для сушки пленки не хватает пару — мал котел, что зря пропадает много азотнокислого серебра, целлу-

лойда, желатина... Он слушал — и почти не слышал, механически записывая всё на листке бумаги. Он просто был счастлив сейчас. «Пойдет дело. Пойдет!»

VIII

Он ждал этого технического совещания и не скрывал, что побаивается его. Побавается потому, что было ясно: Сорин решил бороться. Фонин и Полуштин с ним, и, если сразу же не осадить их, они могут напортить много.

Когда Курбатов сказал об этом Палкину, тот простодушно ответил:

— А ты их выгони. У нас все спят и во сне видят, чтоб Сорина выгнали. Чем тебе Чайка не главный инженер, а бухгалтера-то найти проще пареной репы.

— Нет, так негоже, — качнул головой Курбатов. — Надо их заставить работать.

Палкин внимательно поглядел на него, будто хотел сказать: «Ну что ж, заставляй, порти себе кровь», — и промолчал. Это молчание было красноречивым; сейчас, ожидая, пока все соберутся, Курбатов нервничал. Неужели уже сейчас придется начинать драку? Сорину уступать нельзя, этот человек из тех, кто всю руку съест, если ему палец дашь. Фонин чувствует за собой поддержку и попросту грубит. Ну да там будет видно...

Сорин начал свое выступление так:

— Вот при прежнем руководстве, когда мы не ощущали скованности в своих действиях...

Курбатов перебил его:

— Меня интересуют причины брака, а не ваши приятные воспоминания.

Это получилось резко, но Сорин сразу же вскинул на Курбатова светлые, нагловатые, чуть навывкате глаза. Курбатову показалось — в них метнулся испуг. Но Сорин уже взял себя в руки и усмехнулся:

— Видите ли... Это вопрос сугубо технический, и я боюсь, что... люди, несведущие в производстве, в нем не разберутся. Если говорить об этом интересующем вас явлении популярно, то дело в плохой сенсibilизации пленки. Аргентум эн о три имеет привходящие примеси. Надеюсь, я объясняю понятно?

— Да, спасибо, достаточно. А вы что скажете? — обернулся Курбатов к Полуштукину.

Плановик, переглянувшись с Сориным, поднялся и несколько раз неопределенно покрутил в воздухе руками:

— Я могу, так сказать, нарисовать картину в экономическом разрезе. Старое руководство... э-э... уделяло экономике большое внимание. Мы... э-э... из месяца в месяц получали прогрессивку. Так сказать, говоря о резервах, то мы их вполне исчерпали. Себестоимость... э-э... как видело еще старое руководство...

— Простите, товарищ Полуштукин, вам что, больше не о чем говорить?

— Не о чем, — выдохнул плановик, вытирая платком лицо и торжествующе глядя на Сорина: мол, и я выдержал.

Курбатов видел: разговора не получается. Что-то глухо и невнятно пробормотал еще Фонин; Чайка говорить отказалась; техническое совещание не длилось и двадцати минут.

Когда все вышли, Курбатов вопросительно поглядел на Палкина. Тот чувствовал себя явно неловко: в производстве понимал, пожалуй, даже меньше Курбатова и, впервые присутствуя на техническом совещании, попросту робел.

— Ну, что всё-таки делать-то будем? — усмехнулся Курбатов. — Вчера на партийном собрании мы приняли в общем-то расплывчатое решение: «Усилить... рекомендовать... обратить внимание...» Видел, какие у нас руководящие кадры? Аргентум эн о три.

Усмехнулся и Палкин. Потирая правой рукой левую, в розовых перевязках шрамов от страшного сабельного удара, он сказал уже знакомое:

— Выгони ты их...

В дверь постучали: это вернулся Полуштукин. Палкин сразу же заторопился: нашлись какие-то дела. Плановик дождался, пока за ним закрылась дверь, и, не глядя на Курбатова, сказал:

— Я к вам зашел согласовать контрольные цифры к плану будущего года и подписать отчет о выполнении плана за прошлый месяц. — Он многозначительно постучал по папке.

— Оставьте, я просмотрю.

Полуштукин забеспокоился:

— А зачем оставлять? Тут всё обсчитано, экономически грамотно. Старый директор нам верил и подписывал не читая. Позвольте спросить, вы... вы нам не верите?

Это беспокойство не скрылось от Курбатова. Положив локти на стол и закрыв ладонями принесенные Полуштукиным бумаги, он впервые за всё время взглянул на плановика пристально, не мигая. Только теперь он разглядел его как следует — и этот ровный пробор в седеющих жидких волосах, и «аристократические» мешочки под глазами, и черные, очевидно, крашенные усыки.

— Нет, отчего же, — ответил Курбатов. — Просто у меня есть кое-какие соображения относительно будущего года.

Полуштукин, увидев, что разговор можно наладить, оживился, и это оживление тоже было понятно Курбатову: сдавалось, что Полуштукин просто струхнул выступать против нового директора, хотя бы и с такими союзниками, как главный инженер и бухгалтер.

— Вы не беспокойтесь, — протягивая палец к бумагам, сказал он. — Тут всё обстоит так, что на будущий год вам обеспечена и легкая жизнь, и прогрессивка.

— Что ж, это ваше заверение я учту, а документы вы мне всё-таки оставьте.

Полуштукин забеспокоился снова: уловка не удалась. Протягивая руку к отчету, он попросил:

— Нет, нет... Разрешите... Я вспомнил, что неверно одну цифру написал.

— Нет, Полуштукин. — Это было сказано резко, чересчур резко, Курбатов даже поморщился: ну, зачем так сразу. — Материалов я обратно не дам. Я сам их буду смотреть, у вас было время проверить все цифры. Как это вы можете идти к директору с материалами, в которых сами сомневаетесь?

Полуштукин, быстро оглянувшись на дверь, заговорил быстрым, срывающимся шепотом:

— Это не я... Я вполне разделяю и одобряю ваше мнение и методы. Вот мне и хотелось бы рассказать про главного инженера и Фонина, что...

Он не договорил. Курбатов, грохнув кулаком по

столу так, что медная крышка сорвалась с чернильницы и покатила по полу, крикнул:

— Хватит! Шептун, подлая душа! Передайте этим, на кого вы собирались наушничать, что я их не боюсь. Понятно? Не боюсь. А сейчас уходите отсюда.

Последние слова он выкрикивал уже тогда, когда Полуштукин, бледный, с отвисшей челюстью, был в дверях. Потом, рывком подвинув к себе документы, Курбатов попробовал было прочесть, что там написано, но строчки так и прыгали у него перед глазами.

Через час он вызвал плановика. Тот вошел, опасливо поглядывая то на директора, то на сидящего рядом со столом Палкина. Курбатов предложил ему сесть, и плановик сел, не зная, куда девать руки. Он то застегивал и снова расстегивал пиджак, то проводил ладонью по волосам, словно желая убедиться, на месте ли пробор, то поправлял свой пестренький галстук.

— Зачем вы составляли этот отчет? — тихо спросил Курбатов. — Я ведь не из тех директоров, которым дважды два — не четыре, а «сколько нужно»?

— Я еще не совсем... не совсем понимаю... о чем конкретно...

— Да вот об этом. — Он протянул плановику лист бумаги. — Почему по оперативной сводке мы на два и две десятые процента не выполнили план, а в отчете указано, что мы его перевыполнили почти на шесть процентов? Ведь ребенку ясно, что это — вранье, липа. Вот погляди, Палкин, что он сделал с этим отчетом. Объясните же это, Полуштукин...

Полуштукин был человеком неглупым и, конечно, понял, чем может кончиться для него вся эта история. Сейчас перед Курбатовым сидел просто подавленный, испуганный человек, похожий на загнанного зверька, и глядел тоскливыми, обреченными глазами:

— Я... я думал... Так мы всегда делали...

Курбатов зло оборвал его:

— Вот что, Полуштукин: завтра утром представьте мне новый отчет. На первый раз будем считать то, что произошло, простым недоразумением, рецидивом от старых времен. Второй раз не простим. Контрольных цифр я вам не отдам — сохраню на память.

Обо всем этом он рассказал Чайке. Они сидели друг против друга, и Курбатов чувствовал, как вся злость,

раздражение, усталость, накопившиеся за день, куда то уходят, и, хотя речь шла о делах, он отдыхал в этом разговоре. Уже был вечер, темнота словно шторой задержала окна. Курбатов попросил:

— Вы не поможете мне сегодня, а? Надо разбраться с контрольными цифрами плана будущего года. Одному мне, наверно, не поднять, Валерия Ардаля оновна... Ну, и трудное у вас отчество!

— А вы не зовите меня по отчеству, зовите по имени: Валя, Лера, Валерия, как вам понравится. Меня кто как, по-разному зовут. Вон старик Мурашко — так даже Варей окрестил. Вам нужно обязательно сегодня? — спросила Чайка.

— Да, сегодня. Завтра надо обсудить на совещании и отправить в Москву. А что? Вы сегодня не можете? — с беспокойством поднял на нее глаза Курбатов.

— Нет, пустяки, просто у меня билет на «Сильву», хотела пойти...

— Тогда не надо, не надо, — перебил ее Курбатов. — Я не хочу лишать вас удовольствия!

— Нет, что вы! В театр я всегда успею, гастроли кончатся не скоро, а дело прежде всего. Только я попрошу вас — сейчас отпустите меня, надо подружке билет завести. Я скоро вернусь.

— Нет, нет, не надо жертв! Вас, наверно, там ждать будут? А я... — шутливо развел руками Курбатов, чувствуя, что получилось это не очень естественно и что Чайка поняла, почему он спросил об этом.

— Никто меня не ждет и ждать не будет, — качнула головой Чайка. — Подруга только... У меня ее билет.

— Вы так печально и безнадежно говорите и качаете головой, что будто у вас в жизни ничего и ничего нет!

Чайка не ответила на это. Сказав: «Через час — полтора я вернусь», — она вышла из кабинета, а Курбатов, почему-то смущенный, задумчиво стал листать «контрольные цифры», чтобы подавить в себе это смущение.

* * *

Чайка вернулась ровно через час. В кабинет Курбатова она вошла без халата в скромном, красиво сшитом, белом шерстяном платье. Она и в самом деле была похожа сейчас на белую морскую птицу.

— Вот и я, — весело сказала она.

Взглянув на нее, Курбатов покраснел и опустил глаза. Чайка сделала вид, что ничего не заметила.

Придвинув стул, Чайка села рядом с Курбатовым, и они вместе стали просматривать бумаги.

— Вот по эмульсионному цеху... — начал было Курбатов.

Чайка перебила его, словно догадавшись, о чем он собирался сказать:

— Если бы нам заменить посуду? Достать бачки из нержавеющей стали и большей емкости, тогда на этих же площадях можно увеличить выработку эмульсии в два раза.

Курбатов, как бы спохватившись, ответил:

— Вот, вот. И рабочие мне говорили об этом. Посуду мы новую достанем. Посчитайте-ка — назову вас Лера — сколько эмульсии мы тогда изготовим за год?

Улыбнувшись, Чайка нагнула голову и спросила:

— Вам нравится звать меня Лерой?

На логарифмической линейке она считала, заглядывая в материалы.

— Вот получилось, — сказала она. — Можно увеличить выработку на пятьдесят процентов. Давайте теперь перейдем к поливному цеху.

— Рабочие говорили, что надо пересмотреть установку вешал, — сказал Курбатов.

— Дело там не только в вешалах. От этого котла не хватает пара для сушки пленки. Вот как с котлом быть? Вызвали бы вы Дьякова, он главный механик, хотя и не инженер, но очень толковый практик.

— Уже ночь, между прочим, — засмеялся Курбатов. Чайка, взглянув на черное окно, удивленно подняла брови и тут же ответила:

— Да. Время позднее. Но Дьяков на фабрике, он ведь здесь же и живет... в вахтерке.

Курбатов попросил уборщицу вызвать к нему Дьякова и, возвращаясь к столу, подумал, что надо заняться жильем рабочих: в словах Чайки ему послышался скрытый намек, и он был благодарен ей за него.

...Вошел пожилой рабочий, с седеющими усами, в засаленной кепке, сдвинутой назад. Поздоровавшись, Курбатов сразу же спросил его, положив руки на плечи, чтобы Дьяков сел в кресло:

— Как можно, товарищ Дьяков, увеличить мощность нашего котла? Это очень необходимо.

Подумав, тот ответил:

— Видите, товарищ директор, дело-то в том, что котел у нас системы «Стреля», самый простой и мало-мощный. В таком виде с ним ничего не сделаешь. — Дьяков посидел, снова подумал, шевеля губами, и, наконец, добавил: — Вот разве секции добавить. Этот котел, когда монтировали, то зачем-то треть секций выбросили. Они сохранились. Вон, за вашим окном под навесом валяются. Пожалуй, если добавить все секции, то пару можно будет больше снять... Этак примерно на четверть, а то и более.

— Сколько нам дополнительно нужно пара, товарищ Чайка? — обернулся к ней Курбатов.

— Того, что Николай Ильич обещает, хватит, — уверенно ответила Чайка.

— А можем мы, товарищ Дьяков, перемонтировать котел своими силами? — спросил Курбатов.

— А почему нельзя? Работа не сложная. А если хозяин еще рабочих подбросит, то дня за три управимся.

— Это хорошо. Спасибо вам, товарищ Дьяков. Только вот не надо меня хозяином называть.

Немного опешивший Дьяков жал руку Курбатова и говорил:

— Чудно! Раньше бы нам такого не сказали. Всё сделаем, товарищ директор, это как бог свят. Когда прикажете приступить?

— Я потом вам скажу, — ответил Курбатов. Заметив, что главный механик вроде бы разочарован этой неопределенностью, он поспешно добавил:

— Делать эту работу мы будем обязательно, только нам еще всё подсчитать надо.

— Известно, — сразу оживился Дьяков. — Хозяйство счет любит. Ну, я пойду, в добрый вам час. Если что нужно, то крикните, я здесь буду.

— Вот всё и ясно! — удовлетворенно выдохнул Курбатов.

Чайка улыбнулась и, сразу посерьезнев, опять нагнулась над расчетами. Наконец она откинулась на спинку стула и, глядя на Курбатова своими лучистыми глазами, лукаво сказала:

— С учетом страховки план будущего года можно увеличить на сорок процентов, себестоимость снизить на десять. В два раза поднимется производительность труда.

Курбатов, посмотрев на нее, словно пошатнулся, словно куда-то поплыл, и уже что-то полузабытое, радостное, светлое, искрящееся обдало его теплой волной. Конечно, то, что он только и мог ей тихо сказать: «спасибо» — было немного смешно, но Чайка даже не улыбнулась.

IX

Решительное объяснение с Сориным состоялось раньше, чем Курбатов мог предполагать. Очевидно, тот не выдержал курбатовского характера и первый полез на рожон; Курбатов же был рад тому, что это случилось и что Сорин потерял самообладание. Впрочем, вспоминая потом весь разговор, он морщился: можно было бы отвечать не резкостью, а издевкой на издевку, просто у самого не хватило нервов.

Всё началось с того, что передавая Полуштукину папки с бумагами, Курбатов сказал:

— Вот ваши контрольные цифры, а вот мои. Сегодня в четыре часа будем обсуждать. Доклад сделаете вы, но на моих цифрах, потому что ваши не учитывают резервов производства.

Полуштукин вернулся через полчаса и, тараща глаза, надувая губы, пробормотал:

— Что вы делаете? Это же безумство — сорок процентов прироста за год!

— Ладно, ладно, — усмехнулся Курбатов. — Вы повнимательнее просмотрите это «безумство», а потом уже доложите на совещании. Однако имейте в виду, что в Москву я еду через два дня, так что вам придется ночку не поспать, приготовить все документы.

Полуштукин ушел в полной растерянности. Нетрудно было понять, что он думал о директоре в эту минуту. Курбатова интересовало: как-то отзовется на всё это Сорин? Ждать долго не пришлось, Сорин сам пришел к нему.

Едва заметно кивнув, он сел в кресло и, вытянув ногу, начал рыться в кармане — искал спички.

Курбатов понял — разговор будет долгим — и закурил сам, чтобы продлить молчание.

Выпустив изо рта колечко дыма и следя, как оно, покачиваясь, поплыло над полом, Сорин спросил:

— По-видимому, со мной вы решили не считаться? Вы больше с мадам Чайкой производство изучаете, я имею в виду азы, конечно...

Курбатов не разозлился, не вспыхнул: он курил по-прежнему молча, с каким-то любопытством наблюдая за главным инженером и ожидая, что последует дальше. Сорин, не глядя ему в глаза, переспросил:

— Так ведь?

— Слушайте, Сорин, — начал было Курбатов. Тот перебил его:

— Я весь превратился в слух!

Курбатов рассматривал его в упор и словно впервые видел это холеное, даже, пожалуй, красивое лицо, идеальный пробор, нервные сухие руки с длинными ногтями. Издевательские слова прошли мимо: Курбатов просто не расслышал их. Он лихорадочно думал сейчас об одном: только бы не сорваться. И когда начал говорить, сам удивился тому, как спокоен голос:

— Так вот, товарищ Сорин. Вы знаете, что у нас на фабрике нет ни столовой, ни красного уголка. Рабочим нигде отдохнуть, и обедают они в коридоре...

— Позвольте, но при чем здесь я! — перебил Курбатова Сорин. — Какое мне до всего этого дело? Если им неудобно, то они могут и совсем не обедать, это их личное дело.

Курбатов, положив локти на стол, словно сам приготавливаясь к долгому и спокойному разговору, спросил, будто удивляясь необычному человеку, сидящему перед ним:

— Кто вы такой? Кто вам дал право так относиться к рабочим? Да понимаете ли вы...

— Что? Вы еще кричите на меня из-за такой мелочи?

— Мелочи, вы говорите? — крикнул Курбатов. — Да понимаете ли вы, что эти самые «мелочи» и есть те кирпичи, из которых мы жизнь строим!

— Давайте ближе к делу! — грубо сказал Сорин.

— Пожалуйста, — вновь успокоился Курбатов. — Я предлагаю вам сегодня же освободить свой кабинет

и переселиться в кабинет Кривина. В вашем мы оборудуем красный уголок для рабочих.

— Ах вот оно что? Хотите пряник рабочим бросить? Подождите, они же, рабочие ваши, подбросят вам апельсиновую корку, на которой вы поскользнетесь так же, как и ваш предшественник.

Посмотрев на лицо Курбатова — впервые за всё время разговора — он добавил:

— Если это вы серьезно, то такого приказа я не выполняю, не рассчитывайте. У меня тоже характер с сучком, и не вашему топору срубить этот сучок. Вы лучше хорошенько подумайте о том, можно ли меня равнять с какими-то рабочими. Таких, как я, немного, а рабочих хоть отбавляй.

Сорин сказал это так, что Курбатов понял: больше сдерживаться не надо, он всё равно ничего не поймет. Тогда он крикнул:

— Слушай, кто ты? Я тебя никогда бы и не подумал равнять с рабочими. Они для меня всё — они хозяева, а не мы... Мне непонятна ваша роль на фабрике. Вы здесь, как горящая букса, — только мешаете... Сегодня! Понимаете — сегодня же освободить кабинет!..

Сорин вскочил; он был бледен, губы его дрожали; он визгливо закричал:

— Этого не будет! Вы еще не знаете, с кем имеете дело. Я крупный специалист по фотохимии. Не безумствуйте, молодой человек...

— Товарищ Сорин, лучше давайте по-хорошему, а то...

— Что «то»? — кричал Сорин.

— Да то, что я вообще с вами работать не буду, — тихо и жестко ответил Курбатов.

Сорин повернулся к нему:

— Вы украли мою мысль. Я хотел сказать то же самое. Интересуюсь только, как это вы думаете сделать? Не забывайте, что должность моя не выборная и не зависит от желания ваших рабочих.

Он так и буравил, так и щупал Курбатова своими узкими, ненавидящими глазками, и тому пришлось усмехнуться: ай да лисичка с прижатыми ушками.

— Вот что! — наконец сказал Курбатов. — Лучше будет, если вы подадите заявление об уходе по лично-

му желанию, а то всё равно выгоним... С треском выгоним.

— Ну этого я не допущу. Я благоразумный человек. Заявление я подам, конечно, но имейте в виду, что решать обо мне вопрос будете не вы, а начальник главка товарищ Гризодуб.

— Давайте заявление, послезавтра я еду в Москву, — устало сказал Курбатов.

— Что так спешно? Хотите скорее избавиться от меня? — ехидно спросил Сорин.

— Ну, от скромности вы не умрете, — усмехнулся Курбатов. — Не такой уж серьезный вопрос — ваш уход, чтоб специально в Москву ехать.

Сорин вскочил. Опираясь костяшками пальцев о стол так, что они побелели, он перегнулся к Курбатову:

— Я... Словом, еще посмотрим, товарищ директор...

Он произнес это слово «товарищ» с таким особенным нажимом, с такой язвительной улыбкой, что Курбатов невольно подумал: черт его знает, что за человек, надо спросить у Палкина, что он знает о нем. Встретившись с парторгом, Курбатов спросил его о главном инженере.

— В общем, штучка он, — ответил Палкин. — Сын дворянина и никакой он не ученый. Правда, написал одну брошюрку по техминимуму. Мурашко на практике больше его знает. А ты что спрашиваешь? Неужели того...

Он повел рукой — жест был красноречивым. Курбатов кивнул, и парторг обрадовался: «Правильно!»

— Значит, я в точку попал? Только уж будем доводить дело до конца. Ты, Палкин, скажи сегодня своим вахтерам, чтобы всё барахло из соринского кабинета перенесли к Кривину.

— А тот не забузит? Ты бы его предупредил, а?

Курбатов поморщился. Каждая встреча с Кривым была для него тягостной, всякий раз после нее хотелось пойти и вымыть руки, будто только что потрогал грязный липкий стакан с переслащенным чаем. Рабочие Кривина тоже не любили; не однажды Курбатов слышал, как они говорят о нем: «Спереду мажет, а сзади кукиш кажет»... Но Палкин был прав, надо предупредить, он вызвал Кривина.

Тот вошел с таким видом, будто у него долго болели все зубы. Курбатов спросил:

— Что это вы на весь мир в обиде? Или нездоровится?

— Да нет, товарищ директор. Уксусу не хватает в моей жизни, уксусу... Потому и вид у меня такой, что всю свою жизнь живу на сквозняке, всего продувает насквозь.

— Да вы юморист, товарищ Кривин, — заметил Курбатов.

— А без этого и жить нельзя. Скука. Каждый день одно и то же: «Кривин, это достань, Кривин, то достань». А всё равно на снабженцев всех собак вешают. Вон, как Сорин начнет издеваться над нашим братом, жизнь не мила станет, — с обидой сказал Кривин.

— А я думал, вы с Сориным приятели? — засмеялся Курбатов.

— Что вы? — еще более обиженно воскликнул Кривин. — Да я с ним на одном солнце и портянки сушить не буду. Он вот где у меня сидит, — он хлопнул себя по толстой, в складках, как у поросенка, шее.

— Вы теперь будете с Сориным в одном кабинете сидеть. Я решил его кабинет переоборудовать под красный уголок для рабочих.

Курбатов смотрел, какое впечатление произведет это на снабженца. Тот, по-видимому, уже знал это и только покрутил головой:

— Не хотелось бы вместе, конечно... Но рабочим помещение для отдыха надо. Знаю. Сам когда-то рабочим был...

— Вот и хорошо! — облегченно заметил Курбатов. — Сегодня, товарищ Кривин, будет совещание о контрольных цифрах плана будущего года, вам надо присутствовать.

— Да, мне уже сказали... Много сегодня об этом говорят — что вы с товарищем Чайкой контрольные цифры перевернули. Полуштукин сидит у себя и вас вслух ругает. Говорит: «Распроязви в пятку такого директора...»

* * *

Курбатов ждал этого совещания, как молодой и еще не обстрелянный командир ждет первого боя. Он и поторапливал время, которое, казалось ему, тянется

чересчур уж долго, и ловил себя на том, что ему немного страшно — от того, что новое дело могут сразу и не понять, а если так, то и не принять вовсе. Поэтому он решил провести совещание не только с руководящим составом фабрики: были приглашены все коммунисты и передовые рабочие.

Они входили уже куда уверенней, даже сдержанно посмеивались, о чем-то разговаривая между собой. Из угла, где расположилась «соринская гвардия», отчетливо донеслась фраза: «Не на совещание, а на митинг собрались».

Можно было начинать. Курбатов, постучав карандашом по металлической крышке чернильницы, хотя в этом не было никакой надобности (просто от волнения), кивнул Полуштукину. Тот, держа в одной руке бумаги, а в другой платок, шумно высморкался, будто не решаясь начать, несколько раз посмотрел в угол, где сидел Сорин, и, наконец, упершись взглядом в какую-то найденную им точку на стене, заговорил:

— В первый раз в моей жизни составленные контрольные цифры подверглись коренному пересмотру. Товарищ директор вместе с инженером Чайкой составили новые цифры с расчетом увеличения плана на сорок процентов.

— Авантюра! — с места крикнул Сорин.

Полуштукин откликнулся немедленно:

— Не то, чтобы авантюра, — но я всерьез не принимаю эти цифры. Они экономически не обоснованы. Их составляли не специалисты. Хотя директор мне и приказал переработать составленные мною конкретные цифры, но я не собираюсь выполнять этого приказа, ибо считаю его несерьезным.

«Началось, — мелькнуло у Курбатова в голове. — Ну, что ж, драться так драться»... У него нервно дергалась щека; он прикрыл ее ладонью и быстро посмотрел на Чайку, сидящую у окна. Чайка словно бы ждала этого взгляда и незаметно кивнула: кивок был успокаивающим, ободряющим.

Когда Полуштукин сел, она встала. Она стояла почти рядом с Курбатовым, и он слушал, не глядя на нее; каждое слово, сказанное Чайкой, словно бы приподнимало его, а ее сдержанное волнение, не передаваясь ему, успокаивало.

Не видя сейчас Чайки, он всё же чувствовал каждый ее жест, представлял ее лицо, и то, что она говорила, проходило мимо Курбатова: он мог только прислушиваться к ее голосу, но не вслушиваться в слова...

— Конечно, я не считаю себя специалистом-экономистом, но я инженер-технолог и производство знаю. Наши цифры учитывают имеющиеся резервы производства, а чтобы выявить их, совсем не нужно быть экономистом. И не нужно знать высшей математики. Все расчеты укладываются в четыре действия арифметики, плюс знание процентов. Увеличивая план на сорок процентов, мы исходили из проведения весьма простых мероприятий. Заведем новую, большей емкости посуду для варки эмульсии; увеличим мощность котла и перестроим вешала для сушки пленки в поливном цехе. В основном это и всё. Затраты небольшие, а эффект огромный. Мы, то есть директор и я, передовые рабочие и коммунисты, считаем новые контрольные цифры вполне реальными. Вот и всё, что я хотела сказать.

Мысленно Курбатов видел, как она села, поправляя тяжелую косу. Он спохватился, что слишком долго сидел так, прислушиваясь к тишине, и повернулся к Сорину:

— Кажется, вы что-то хотели сказать?

— Нет, я послушаю этот фантастический роман. Вот товарищ Фонин рвется высказать свое мнение.

Фонин, надо полагать, не ожидавший этого, тоненько засмеялся и замотал головой, вскочил и, как Полуштукин, долго готовился к речи: поправлял пиджак, галстук, покашливал, прочищая горло. В кабинете весело засмеялись: Фонин готовился, как певец к арии. Смех подстегнул его.

— Я хочу сказать вот о чем. Уважаемые директор и инженер Чайка сделали очевидные просчеты. Плохо, конечно, когда люди берутся не за свое дело. В их расчетах не принят во внимание выпускающий — отделочный цех. Я ответственно заявляю, что цех не имеет таких мощностей, которые позволили бы переработать такое увеличенное количество пленки. Кроме того, к чему может привести такое донкихотство? А к тому, что всем нам придется работать за одну ставку, ибо

прогрессивки мы не получим. Почему же нельзя оставить первоначальные контрольные цифры, а на деле добиваться перевыполнения плана, а этим самым и увеличения нам прогрессивной оплаты? А так уничтожается всякая наша заинтересованность в работе фабрики.

С места один из рабочих крикнул:

— А ты что — зарплату даром получать хочешь?

Это был Мурашко. Курбатов не узнавал его. Обычно застенчивый, с робкими, неуверенными движениями, Мурашко словно преобразился сейчас. Он не встал, как вставали другие, только подался вперед, щуря свои воспалительные, словно обведенные яркой киноварью глаза. И Курбатов радостно улыбнулся, поняв, откуда взялась у него такая уверенность: это была возвращенная уверенность хозяина.

Словно опомнившись, Мурашко поглядел на Курбатова, и тот торопливо ответил:

— Говорите, говорите...

— Да что тут говорить... Плановик-то у нас не Штукин, а только Полуштукин, вот он и защищает свой оппортунизм. Другой начальник собирается только за прогрессивку работать, а зарплату хочет получать только за присутствие на фабрике. Но мы-то знаем, что у нашего Фонина форсу больше, чем у дворовой барбоски блох. О Сорине и говорить нечего, он нас, рабочих, и за людей не считает. От него вообще здорово старым режимом пахнет. На деле-то мы его еще ни разу не видели, знаем только, что у него язык наперед ума рыщет. Говорят, он заявление об увольнении подал. Нам не жалко, все ему скажут: скатертью дорога. Я предлагаю кончать разговоры. Всё ясно. Надо принять то, что предлагают товарищ Курбатов и товарищ Чайка.

— Правильно!

Все сразу поднялись, гремя стульями. Поднялся и Сорин; он был бледен. Он не собирался уходить; Курбатов, разминая в пальцах папиросу, зло косился на него и облегченно вздохнул, когда Сорин, дождавшись, пока все вышли, вытащил из кармана сложенный вчетверо листок бумаги:

— Вот. Пока что вы этого добились...

И вихляющей, нервной походкой пошел к дверям.

Курбатов возвращался домой пешком; сейчас он спешил, усталость всё-таки взяла верх; ему хотелось поскорее поужинать и лечь. Конечно, сегодня за учебники не сесть, какие уж тут занятия! Впору только еще напоследок, перед сном, повозиться с Оленькой, если она не спит.

Подходя к дому, он не обратил внимания, что в окнах квартиры нет света. На звонок ему никто не открыл; он достал свой ключ.

Тихо и темно было в квартире. Почуввав недоброе, он быстро прошел в комнату, зажег свет. В глаза сразу же бросилась записка, прислоненная к вазочке. Еще не понимая, что произошло, не читая записку, он оглядел комнату. Оленькина кровать была пуста, на голых пружинах валялись вещи. Ящики комода были выдвинуты...

Он схватил записку; буквы так и запрыгали у него перед глазами:

«Яшенька, прости меня! Жить так я больше не могу. И лгать тебе тоже не могу. Для тебя существует только работа. Дочка и жена тебе не нужны. Я уехала к отцу. Когда все успокоится, мы встретимся. Таня».

Что-то кольнуло в сердце. Ему не хватало воздуха. Боль всё разрасталась — грубая, сильная, неодолимая. Он сделал несколько шагов и, теряя сознание, тяжело рухнул на пол.

Х

В Москву вместо него поехала Чайка; Курбатов написал Гризодубу большое письмо — подробный отчет за месяц работы. Чайка вернулась через несколько дней, утвержденная главным инженером (об этом Курбатов тоже просил в своем письме), и со смехом рассказывала, как ее встретил Гризодуб:

— Поднял со стола пачку бумаг и говорит: «Вон сколько на вашего директора уже понаписали. Что, много дров наломал?» Оказывается, он звонил в горком, справлялся о вашей работе.

— Что же ему ответили?

— Говорят — хорошо взялись.

— Ну, — усмехнулся Курбатов, — этого они, поло-

жим, не знают, за весь месяц никого из горкома не было.

Он еще не оправился от болезни, и Чайка с тревогой вглядывалась в осунувшееся, серое лицо Курбатова. Она не спрашивала, как он чувствует себя, это и так было видно. Когда его два дня не было на фабрике и Палкин, придя к нему домой, нашел директора в бреду (двери были раскрыты настежь), — она перепугалась, узнав об этом. Толком не представляя, что у него случилось, Чайка чувствовала, что Курбатов болен не обычной болезнью; она могла делать любые предположения, но не спрашивать...

Курбатов же работал порой просто потому, что надо было работать, что-то делать, и он делал всё механически. Уход Тани потряс его так, как до сих пор не трогало ни одно событие, даже история с Клавой. Он мог предполагать и знал, что в жизни есть непрочная дружба и неверная любовь, что друзья могут отвернуться и покинуть, но Таня была больше чем другом.

Он не вдумывался в ее слова, не предполагал, что пусть и острые, но всё-таки «семейные» ссоры смогут перерасти в значительно большее. Напрасно он искал в ее разрыве свою вину: он не видел ее. Даже больше: он, пытаясь обвинить во всем Таню, не мог этого сделать. В конце концов, силой мил не будешь, а он знал цену одиночеству.

Едва встав, он пошел к Чухалину; больше ему не к кому было идти, а он не мог один справиться с тем, что творилось в душе.

Чухалин жил один в огромной, неудобной, пустой квартире, оставшейся у него от директорских времен. Эта квартира словно бы наложила на него свой отпечаток: он сделался угрюмым, замкнутым, никуда не ходил и никого не приглашал к себе; стопка книг, среди которых чего только не было — начиная от старых изданий карамзинской истории и кончая разрозненными журналами «Мир приключений», — эта стопка книг тоже свидетельствовала скорее о его равнодушии ко всему, чем о пристрастии к чтению.

И всё-таки он загорелся. Сострадание ли, пробудившееся ли воспоминание об иных временах и своих собственных горестях — что-то вернуло его к прежнему

Чухалину, беспокойному, горячему и участливому к человеческим судьбам. Курбатов рассказал ему всё, и долго они говорили еще о том, как же это могло произойти, кто в этом повинен, да так и не нашли виновных. Зато Курбатову стало легче; сам того не подозревая, он просто искал сожаления, какой-нибудь ласки — и нашел ее здесь. О Чайке он не думал: он не мог идти к ней.

Чайка... Почему-то она казалась чужой в эти дни. Курбатов даже упрекал себя в том, что она нравилась ему.

Но всё-таки после встречи с Чухалиным стало легче. Тогда же, в тот день, Курбатов сказал ему:

— Об одной вещи хочу тебя попросить, дядя Шура. Не обидишься?

— Я уж давно ни на кого не обижаюсь.

— Иди ко мне работать.

— Вахтером, Яша?

— Нет, начальником планово-экономического отдела. — Чухалин сидел, улыбался, морща на лице желтую кожу, и, наконец, ответил:

— Что ж, спасибо, сынок. Ты об этом раньше подумал или сейчас в голову пришло?

— Давно думал.

— Пойду. Трудно мне одному... А на людях — стыдно. До сих пор за прошлое стыдно, ей богу.

...Теперь всё было ясно. Чайка — главный инженер, Чухалин занял место Полуштукина: его знаний вполне хватало на то, чтобы вести куда какие несложные расчеты — фабрика была всё-таки крохотной. Курбатов глушил себя работой, как алкоголик водкой; домой он не ходил — неприятно было оставаться одному в пустой и чужой, ненужной уже квартире, — и ночевал здесь же, на кожаном неудобном диванчике. Только потом он сообразил, что сделал ошибку: на фабрике это заметили. Чайка как-то спросила его:

— Говорят, вы бросили семью? Простите, что я задаю такой вопрос, но я не могу спорить с людьми, когда...

Она смутилась; Курбатов усмехнулся:

— Значит, уже говорят? Ну, а у меня всё наоборот — семья меня бросила. Жена ушла из дома — вот и всё.

Женщина мягко положила свою руку на его, и он поспешно ее отдернул. Чайка, на секунду опешив, всё-таки спросила спокойно:

— Почему же вы раньше ничего не говорили? Тут ведь люди не чужие...

Это был упрек, ласковый, почти материнский, и Курбатов устыдился своего резкого движения. Чайка, поднявшись, сказала ему с прежней теплой грустью:

— А ведь вы сейчас чуть не обидели меня, Яков Васильевич.

Он порывисто вскочил и, подойдя к ней вплотную, притянул к себе. Чайка осторожно уперлась ему ладонями в плечи; он смотрел ей в глаза и словно бы тонул в их бездонной синеве:

— Валерия, — он не сказал, а выдохнул это, — что мне делать? Что делать? Я... не могу...

— Сюда могут войти, — тихо ответила она, снимая со своих плеч руки Курбатова. Подойдя к дверям, она обернулась:

— Успокойтесь, Яков Васильевич. Моя жалость вам не нужна, да я и не умею жалеть. Вы подумайте, может быть, еще можно вернуть жену? Вы ее любите. Я вам честно скажу: я не хочу вставать между вами и ею... а я чувствую, что так может быть. Не надо.

Курбатов остался один и долго смотрел на дверь, которую закрыла за собой Чайка. Хорошая, славная... Но ведь он любил не ее, он любил Таню и продолжал любить ее сейчас той сложной и противоречивой любовью, к которой всё сильнее и сильнее примешивалось оскорбленное мужское самолюбие...

* * *

В горькоме Курбатову попало: за «разгон» кадров. Нажаловался Сорин, написал огромное письмо Полуштукин, к своему удивлению Курбатов услышал и еще одно имя — техника Бочкарева. Этот тихий, неприметный человек всегда краснел, смущался и терялся, как красная девица, когда Курбатов, заходя в цех, заговаривал с ним. О Бочкареве отзывались неопределенно: «Из-за угла пыльным мешком тюкнутый». И вот — Бочкарев, оказывается, тоже сочинил жалобу, да еще с такими словами, как «антигосударственная политика директора» и «подтасовка, инспирация фак-

тов». Курбатов, оправдываясь, не мог удержаться от смеха от этой «инспирации», а вернувшись, вызвал Бочкарева.

Тот, стоя на пороге и не решаясь войти в кабинет, мямл в руках кепку. Курбатов смотрел и не верил, что этот застенчивый человек мог сочинить такое. Палкин — тот прямо заявил: «Писал Сорин. Бочкарева на чем-то поймали — ну, он и переписал». Надо было выяснить, так ли это.

Однако, едва Курбатов спросил техника о письме, он торопливо, будто боясь, что ему не дадут договорить, выпалил:

— Увольнение таких специалистов с фабрики неверно. Мы в лужу сядем. Вот Чайка привезла из Москвы новые бачки для варки эмульсии, они из нержавеющей стали и для нас не годятся.

Он вытер капельки пота, собравшиеся на переносице; Курбатов, удивленно разглядывая его, подумал: неужели он прав? Может, просто честный человек, и то, что говорит — это от души?

— Но ведь такие бачки уже используются и на других фабриках. Не мы первые...

— У нас характер эмульсии особенный. Я опасюсь, что мы в этой посуде ни одной качественной варки не дадим. От металла будет большая вуаль, а это — брак... Как же на такой риск можно идти?

— Хорошо, — кивнул Курбатов. — Попробуем...

Он и сам немного волновался: в конце концов, в успехе он был уверен постольку, поскольку его поддерживали все; Сорин и другие в счет не шли. Но что, если всё это, всё новое построено больше на энтузиазме, а на нем далеко не уедешь. Может быть, действительно стоило не останавливать фабрику на неделю для полного переоборудования двух цехов, а спокойно, исподволь провести опытную варку? Он не делился своими сомнениями ни с кем: в конце концов, люди верят в успех, не надо вселять в них хотя бы малейшее разочарование.

Чайка тоже волновалась, это было заметно, как бы она ни пыталась скрывать свое волнение за внешней веселостью. Она даже весело отнеслась к тому, что Сорин отказался сдавать ей дела; пожав плечами, она сказала ему, позеленевшему от злости:

— Очевидно, вам и сдавать нечего, товарищ Сорин...

Неделю фабрика гудела, как большой, растревоженный муравейник. Настежь открыли все окна и двери, из цехов выметали мусор, мыли стекла, обрывали паутину; даже конторские работники, надев халаты, таскали ведра с водой, оклеивали стены новыми обоями, выбрасывали и жгли груды ненужных бумаг... Чайка буквально с ног сбилась в эти дни: пока рабочие убирали помещения и реконструировали цехи, лаборатория вела опытные варки, разрабатывала температурный режим... А в плановом отделе, забравшись на стол, чтобы не мешать уборщицам, сидел Чухалин и, морща лоб, изучал полуштукинское наследство.

Наконец «сабантуй», как назвал уборку Палкин, кончился. Курбатов шутил: «Не фабрика, а поликлиника, честное слово» — все ходили в новых белых халатах, неловко растопыривая руки, чтобы, не дай бог, не испачкаться, хотя чистота всюду была такая, как дома под праздник. И Курбатов, сам в белом халате, тоже неловко топырил руки, не зная, куда их девать, — это было немного смешно, и он чувствовал себя, как ребенок, получивший в подарок еще незнакомую, но новую вещь.

Чтобы никого не смущать и показать, что всё в порядке, он ушел из цеха, когда началась варка. И только оставшись один, впервые за все эти дни почувствовал, что смертельно устал, что это предел, и что он не может больше так жить, как жил последнее время. Главное — трудно было оставаться одному; он стиснул руками горло, чтобы проглотить душащий, неприятный клубок, и выскочил из кабинета, быстро прошел коридор. Туда, на воздух, к людям!..

Несколько рабочих, устроившись в бывшем кабинете Сорина, пили чай, подстелив под стаканы газеты. Когда Курбатов вошел, они разом закивали ему, загремели стульями, подвигаясь, и кто-то сразу подвинул стакан с жидким, но горячим чаем; на клочке газеты рядом со стаканом оказались два куска сахара.

Курбатов молча сел и, не замечая ожидающих глаз, отхлебнул, обжигаясь, из стакана. Молчали и рабочие; им неудобно было начинать разговор первыми. Всё-таки один из них не выдержал:

- Волнуетесь, Яков Васильевич?
- Немного волнуюсь.
- Ну, ничего... И Москва не сразу строилась.

Он вскочил, когда вошла Чайка. Всё напряжение, которое владело им, все тревожные часы ожидания, волнения — всё это собралось сейчас в один клубок, сжалось, как пружина, готовая с силой распрямиться и ударить...

— Как?

Чайка тяжело опустилась на подставленный стул:

— Не понимаю... Вуаль огромная, половина эмульсии пошла в брак. Но если это от новой посуды, то почему не во всех бачках она испортилась? Не понимаю...

* * *

Несколько дней спустя, раздумывая над тем, что произошло, Курбатов видел, что помог случай, и для всех история с Бочкаревым тоже казалась случайностью. В самом деле, случайно Палкин вернулся на фабрику, забыв в вахтерке кисет, случайно услышал шорох в слесарной, зашел туда и увидел, что Бочкарев что-то заворачивает в носовой платок. Это были железные опилки.

Мурашко и Палкин притащили Бочкарева за шиворот в кабинет Курбатова; впопыхах кто-то из них успел ударить техника, и тот стоял, закрывая рукой ядовито-фиолетовую опухоль, расплывшуюся над глазом.

— Еще ничего не доказано, — хмыкал Бочкарев. — Я буду жаловаться.

— А что надо доказать? — поинтересовался Курбатов.

— То, что надо, — увильнул от ответа Бочкарев.

На следующий день вся эмульсия вышла без брака. Курбатов позвонил в угрозыск, и оттуда попросили прислать выводы технической экспертизы. Курбатов только руками разводил: ну, кто бы мог подумать на тишайшего Бочкарева! Ясно было одно: теперь будет суд, и Бочкарев, без сомнения, вытащит на него Сори-на и всю его братию.

Как ни странно, но этот случай, взволновавший всех, послужил Курбатову поводом для тяжелых раздумий. Ну, кажется, сейчас уже всё в порядке, отчет

в Москву послан, пленка выходит только отличного качества. Но пытаюсь разобраться, что же произошло, Курбатов невольно приходил к выводу, уже сделанному не им... И помогал ему в этом Палкин, который после поимки Бочкарева ходил именинником, а в цехах твердил каждому: «Вот видите, как нужна всем нам политическая бдительность».

Курбатов думал о том, неужели действительно растет сопротивление внутреннего врага, чем больше у нас успехов, лучше жизнь. Сколько он видел их на своем веку: человек-«сова», Генка, Трохов, Рубец... Теперь вот — Бочкарев, мелкая подлая душонка.

Палкину он сказал:

— Черт его знает — вылезают откуда-то еще такие... субчики. Кажется, столько лет прошло, столько сделано, а вот ведь — живут, а?

Палкин, заложив ногу на ногу и покачивая ею, важно кивал, разглядывая новый сапог, а потом ответил сухим назидательным тоном:

— А как же. Понять их можно: завидуют нашим успехам. И как мы будем расти — они будут сопротивляться еще больше. Отсюда и соответствующая политика партии на данном этапе.

Он многозначительно поглядел на Курбатова; тот вспыхнул, догадавшись, что подразумевал сейчас Палкин. Ему не хотелось верить этому; Палкин говорил чужими словами, Курбатов усмехнулся:

— Меня убеждают, что кругом меня — враги народа, а я вижу Палкина, Чайку, Мурашко, Степанова, Чухалина...

— А Сорин? А Бочкарев?

— Их меньше. В миллион раз...

И другое, тоже тревожное, мешающее, поднималось в нем. Таня! Приходя домой, в холодную нетопленную и неуютную квартиру, он всё еще не мог представить себе до конца, что ее разрыв, наступивший так решительно, — это не просто необдуманный поступок. Ему всё казалось, что это — какая-то пусть и тяжелая, но ошибка Тани, ошибка, которую можно исправить, если отбросить в сторону всё то, что отдавалось в душе злобой. Уже перенеся однажды подобный разрыв, Курбатов знал, что не он один переживает это. Ну, неужели нельзя доказать Тане, что всё поправимо; он, ко-

нечно, все понял, все исправит и не вспомнит никогда, не упрекнет... Они прожили вместе не один год, так можно ли рушить семью? Курбатов даже повеселел от мысли, что Таню можно вернуть.

Прежде чем поехать к ней, он убрал комнату, протопил печку, вынес мусор, удивляясь тому, сколько его накопилось за это время. Он даже выстирал и выгладил занавески, пожелтевшие от табачного дыма. В этот раз он брился особенно тщательно, резался (руки всё-таки дрожали) и, морщась, останавливал кровь посконявленной бумажкой.

Однако, остановившись перед дверями чужой квартиры, он долго не решался позвонить, с нетерпением прислушиваясь к тому, как гулко и не успокаиваясь колотится сердце. Наконец он поднял руку к звонку, позвонил, услышал шаркающие шаги и отступил от дверей, до боли стискивая зубы.

Открыла ему какая-то незнакомая женщина. Коротко спросив, дома ли Татьяна Игнатьевна, он вошел, не дожидаясь приглашения.

— Нет, — ответила женщина. — Она уехала к подруге в Москву. И девочка с ней.

XI

Решение Наркомата и письмо, присланное Гризодубом, были для Курбатова сущей неожиданностью. В первом сообщалось, что фабрика киноплёнки реорганизуется в большое фотохимическое предприятие; тут же было приложено техническое задание по проектированию новых корпусов, оборудования. Гризодуб писал, что временно фабрика продолжает работу, а с постройкой и пуском нового химкомбината — войдет в него на правах цеха. Гризодуб требовал, чтобы Курбатов немедленно выехал в Москву, и тот, наскоро объяснив Чайке, в чем дело, уехал тем же вечером, не зная, где найти там жену и дочку, и с грустью думая, что опять придется менять работу. Или оставят начальником цеха? Но Гризодуб выложил ему всё сразу:

— А приехал, хлопчик? Не садись, не садись, сейчас поедем.

— Куда?

— В Наркомат.

Хохоча, он вытолкнул Курбатова из кабинета и уже в машине, хлопая его по колену, сказал, что он, Курбатов, остается директором комбината: уже всё решено, «без тебя женили».

Для Курбатова начались такие сумасшедшие дни, каких он не знал давно. Начальник строительства — старый инженер, с которым его познакомили в Наркомате, — только хватался за голову: «Молодой человек, вы здесь имеете вес... Подите, скажите, что в такие сроки не выстроить и коровника, а не то что фотохимкомбинат. Рабочая сила где? Где материалы? Нельзя же строить из воздуха...». Курбатов метался из одного наркомата в другой, таскал за собой по лестницам начальника строительства, ругался и не раз сам был обруган, и, вернувшись в гостиницу, валялся на кровать в полном изнеможении. А с утра всё начиналось сызнова. Хорошо еще, Гризодуб дал машину.

Нашлось всё: и рабочая сила, и стройматериалы; два дня он безуспешно бился в одном из главков, требуя стекло и кровельное железо. Гризодуб, узнав о неудаче, спросил:

— Ты с кем говорил? С Эшманом? Золотой мужик, я его выкраду для себя. А ты у него ничего не получишь, если не сводишь в театр — такой уж он человек. Да и тебе не помешает вырасти культурно, — пошутил он.

Поход в театр — и не куда-нибудь, а в МХАТ — состоялся, и Курбатову выписали стекло и железо. Передавая накладные начальнику строительства, Курбатов проворчал:

— Больше я для вас ничего делать не буду.

— А мне больше ничего и не надо.

Вечером они оба выехали в Новогорск.

Курбатов не вошел — ворвался в свой кабинет, на ходу снимая кожаный реглан. Ему хотелось скорее взяться сразу за всё: и за стройплощадку, и за кадры будущего завода. Но сразу же начались «текущие» дела — и дела неприятные...

Он не успел еще сесть за сложенные на столе материалы, сводки, как порывисто вошла Чайка, и Курбатов, радостно разводя руками, поднялся ей навстречу. Она поздоровалась с ним быстро — просто протянула руку — и сразу же заговорила:

— Надо что-то предпринимать, Яков Васильевич. Послушайте, что люди говорят. Да вы заходите, товарищи!

Оказалось, за дверью ждали трое рабочих из сушильного цеха. Курбатов, встревоженный не на шутку, встал перед ними и с нетерпением повторил несколько раз:

— Ну, что стряслось? Что у вас случилось?

— Да мы о ворах пришли рассказать, Яков Васильевич.

Чайка перебила их. Дело было ясно; в отсутствие Курбатова Чайка распорядилась купить для только что выстроенного рабочего общежития новую мебель. Кривин и главбух Фонин, однако, сделали всё так, что новую мебель завезли к ним, а в общежитие отправили их старую — старые кровати, скрипящие диванчики, изъеденные жучком шкафы и буфеты.

— Главное, накладные все у Фолина. Затеряются в папках — там им и крышка!

Курбатов, зло крикнув, снова начал натягивать реглан. Чайка, поняв, что он сейчас поедет прямо на квартиру к Кривину и Фониному, спросила:

— Вы машину не отпустили?

— Нет. Едем.

В машине он, засмеявшись, сказал одному из рабочих:

— Ну и встреча; нечего сказать, славное у меня возвращение.

— С успехом съездили-то хоть, Яков Васильич?

Он заметил: все трое насторожились — и в свой черед спросил как можно равнодушной:

— А что? Какие-нибудь слухи уже пошли?

— Слухи — не слухи... а так, поговаривают, будто вы уходите...

— Ну, что ж, — решил «потемнить» Курбатов. — Верно поговаривают.

— А к нам кого же?

— Найдут кого-нибудь. Вот, кажется, Сорин своего добился. Его и назначат.

Он незаметно посмеивался, наблюдая, как, приняв всерьез его слова, рабочие скисли, переглянулись и только потом сообразили, что это шутка.

— Чайка будет у вас, товарищи. Фабрика станет

цехом, Чайка — его начальником, а вот Мурашко, я думаю, надо сделать мастером цеха. Как вы думаете?

Ответить ему не успели: машина остановилась возле дома, где жил Кривин.

Тот не ждал гостей. Когда все четверо вошли и молча остановились посреди комнаты, где только-только, надо полагать, закончилась расстановка мебели, Кривин забежал, засуетился, приглашая сесть.

— У вас обновы? — спросил его Курбатов, кивая на шкаф. Кривин заговорил нервной, визгливой скороговоркой:

— Год деньги копил на новую мебель. Древетрест — не жакоб, конечно, и не ампир, но... всё лучше, чем старая.

— Мы и старую посмотрим, — усмехнулся Курбатов. — Один человек пусть останется здесь, а мы к Фонину поедем. Он тоже, кажется, деньги копил на обстановку...

Фонин заговорил сразу:

— Понимаете, я не хотел идти на преступление. Кривин самостоятельно завез мне эту мебель.

— И вашу старую Кривин тоже без вашего соглашения увез? Смотрите, какой напористый. Ну, да ладно...

Фонин ныл, что он-де не виноват, что он осознал свой поступок, что он загладит его честным трудом. Прямо от Фонины Курбатов поехал в угрозыск и только через час вернулся на фабрику. Чайка ждала его в кабинете. Теперь, оставшись вдвоем, они могли поговорить спокойно, а Курбатову необходимо было поговорить с ней; за месяц, проведенный в Москве, он иногда остро чувствовал свое одиночество.

И странно: чувствуя это одиночество, он ясно сознавал, что Чайка, с которой у него никогда не было иных дел, иных отношений, кроме служебных, стала ему во много раз ближе, чем была, и что ему не хватает ее присутствия, ее голоса, ее взгляда. Образ Тани, потускневший и неприятный, такой, каким он держался в памяти после их последней встречи, отодвигался всё дальше и дальше, уступая место другому, яркому...

— Ну, как вы здесь хозяйничали? — шутливо спросил Курбатов. Чайка, махнув рукой, засмеялась:

— Вот общежитие заселили, это самое главное. А

так — трудно пришлось, я даже уважать стала директоров.

— До этого, значит, не уважали? — так же шутливо нахмурился Курбатов. — Ценное признание.

— Нет, нет... — Чайка, зардевшись, опять засмеялась, блестя крупными крепкими зубами. — Просто я боюсь всех бумаг. От одних слов вроде «онкольный счет» или «пролонгация» в дрожь бросает. Как подписываешь бумаги в банк — рука словно немеет. Особенно, если просишь кредит под «товары в пути». Какой из меня директор...

Курбатов, согнав с лица улыбку, качнул головой:

— А быть вам, Лера, начальником цеха... Начальником цеха, которым станет эта фабрика.

Он рассказал ей о поездке в Москву и кончил тем, что теперь в основном все дела фабрики придется вести ей самой — он, Курбатов, будет занят новым строительством и кадрами.

— Так что перебирайтесь сюда. Насовсем. Кстати, в новую квартиру вы уже переехали?

— Да. Приходите на новоселье.

— И приду! — Курбатов внимательно и пристально поглядел ей в глаза; Чайка, вспыхнув, опустила голову. — Сегодня же и приду, Лера. Нам с вами о многом надо поговорить.

* * *

В новом двухэтажном доме, выстроенном для рабочих фабрики, Валерия Чайка получила отдельную квартиру из одной комнаты, прихожей и кухоньки. Но прежде чем зайти к ней, Курбатов обошел весь дом, радуясь тому, что люди получили долгожданное жилье. Общежитие ему не понравилось; работницы, поселившиеся в нем, пожаловались на многие строительные недоделки. Курбатов обещал написать жалобу на строителей. В самом деле — это раньше, когда нужно было хоть какое-нибудь жилье, еще терпели такое строительство.

— Это верно, — согласилась одна работница. — За двадцать-то с лишком лет советской власти и не то научились делать, а вот дома строят — ровно для галочки.

— Для какой Галочки? — не понял Курбатов.

— А для такой, что в бумагах ставят. Сделают дом как попало и поставят галочку — мол, исполнено.. А что в него живой человек въехал — неважно, не им зимовать. Вот и получается, что для галочек работают.

Курбатов решил, что он обязательно поговорит о строительстве не только в исполкоме, но и в горкоме; в конце концов, строительство — это та же политика; вон как работница говорит — за двадцать с лишним лет советской власти не научились...

Чайка ждала его. Когда он, хмурый, раздосадованный недавними разговорами, вошел в ее квартиру, Чайка кивнула на вешалку:

— Ну что же вы? Или это обход по обязанности?

— А? Да, да... — Стягивая реглан и вешая его, он спросил, нравится ли ей новая квартира, и Чайка ответила, что в мире всё относительно: прошлая комната был куда хуже. Приглаживая седые виски, Курбатов вошел в комнату. Чайка весело сказала из-за плеча: «Знакомьтесь...».

Мальчик лет девяти поднял навстречу Курбатову огромные серые, такие же, как у Чайки, не детские глаза. Только глазами он и напоминал мать. Протянув тонкую, почти мраморную руку, он сказал — «Сережа» и отошел к стене, туда, где стоял маленький столик со школьными тетрадками.

— Это... ваш? — тихо спросил Курбатов. — Вы никогда...

— Просто не приходилось говорить, — ответила Чайка. — Садитесь. Я пойду разогреть чай.

Курбатов остался вдвоем с Сережей. Молчать было нельзя, но он не знал, с чего начать, и спросил обычное, скучное, то, с чего начинают взрослые, не умеющие разговаривать с детьми:

— Как учишься?

— Ничего.

— Ничего — это и есть ничего. Хорошо или... пэсэ есть?

— Что, что? — не понял Сережа.

— Пэсэ? Посредственно. Вот когда я учился, нам такую отметку ставили — «пос.», а мы называли ее — пэсэ.

Сережа хохотнул; Курбатов обрадовался — кажется, беседа налаживается. Он прошелся по комнате, рас-

смаатривая вещи, стоящие здесь, будто стремясь определить, как они связаны с хозяйкой — ведь вещи всегда несут на себе черты тех, кто ими владеет.

Но они молчали. То ли потому, что всё, или почти всё, было здесь новым, то ли потому, что Курбатов был невнимателен — он видел просто мебель и просто чистую, уютную комнату. Фотографии, развешанные на стене, над диваном и Сережиным столом, заинтересовали его больше...

В рамке из багета висел портрет мужчины — на Курбатова глядело властное, даже чуть грубоватое лицо, с капризными, тонкими губами. Курбатов кивнул:

— Это отец?

— Да.

Он поспешно отошел от фотографии. У Сережи после его вопроса стало такое же угрюмое лицо: очевидно, об отце здесь не говорили или, во всяком случае, не спрашивали.

Когда Чайка, держа в одной руке чайник, а в другой тарелку с хлебом, вошла в комнату, Курбатов и Сережа сидели на диване, и Курбатов показывал фокус: «втирал» в рукав монету, и она чудесным образом оказывалась у него за воротником. Сережа, повизгивая от восторга, спрашивал: «Как вы это делаете?».

— Идите к столу, мужчины, — распорядилась Чайка.

За столом неожиданно наступила томительная, неловкая тишина, и даже Сережа как-то торопливо допивал свой чай, косясь то на мать, то на Курбатова; потом он, попросив у Чайки разрешения, вышел из-за стола и полувопросительно, полуутверждающе сказал:

— Я пойду гулять?

Когда за ним захлопнулась дверь, Курбатов задумчиво обернулся к Чайке:

— Большой у вас сын...

Чайка промолчала. Оба по-прежнему чувствовали себя неловко. И хотя в комнате было уютно и рядом была Чайка, к которой его тянуло за лаской усталое, давно не отдыхавшее сердце, — Курбатов ощущал какое-то отчуждение. Быть может, в этом были виноваты фотографии, висящая на стене, и ребенок, похожий на того, кто был снят на этой фотографии.

Чайка первая прервала молчание: она заговорила о

делах, о новом строительстве, о том, что хорошо было бы расширить сушильный цех за счет освобождающихся складских помещений, и Курбатов видел, что говорит она это затем, чтобы скрыть такую же, как и у него, неловкость. Он отвечал односложно, думая совсем о другом — о том, что, может быть, сегодняшний вечер решит всё и он уйдет отсюда, от Чайки, уже счастливым, по-настоящему счастливым.

Он не хотел лгать ей, не хотел говорить, что он ее любит. Но Чайка была просто дорога ему, родная душа, он во всём находил в ней отклик. И, думалось ему, может, так и надо сделать? Может, и любовь эта — особенная, любовь к женщине-другу? Он тихонько окликнул ее:

— Лера...

— Что?

— Я...

— Не надо, — она сказала это тоже шепотом, опуская глаза. Они понимали друг друга с полуслова. Между ними не было недоговоренного.

— Но ведь...

— Я знаю. Не надо. Вы не представляете, как это... тяжело.

Чайка поднялась и подошла к дивану, над которым висела фотография мужа. И, когда она обернулась к Курбатову, это была уже совсем-совсем другая женщина:

— Ну, да, да, я люблю вас... Но я не имею права, понимаете, не имею права красть вас. Да, красть. Его украли у меня, это было давно, сейчас я уже всё забыла. Но Сережка... Понимаете, дети не должны расти без отцов, у вас дочка, как же вы можете... Вы так легко отказались от всего — от семьи, от жены, дочки... Без борьбы, без вашей настойчивости... Вы что — обиделись на жену? Грош цена вашей обиде, вы любите ее, а не меня. Если б не было меня, вы бы дрались. Дрались? Я знаю. Так вот — деритесь. А то, что я сказала вам, — забудьте... И идите теперь, Яша...

Курбатов выслушал ее, бледнея. То, что говорила Чайка, шло из таких глубин души, куда Курбатов никогда еще не заглядывал. Чайка тоже была бледной; когда он бросился к ней, что-то бормоча, она вытянула вперед руки, словно защищая себя:

— Идите, Яша. Я боялась этой встречи. Не так-то легко оттолкнуть вас...

Он вышел на улицу, потрясенный. Был вечер, теплый, июньский ветер шевелил верхушки молодых лип, высаженных вдоль тротуаров. В этот предвыходной день на улицах былолюдно, но Курбатов шел, никого не замечая, и не сразу расслышал, как его окликнул Алешин:

— Ты что угрюмый?

— Да так, — неопределенно ответил Курбатов.

Ему не хотелось сейчас разговаривать ни с кем, но Алешин тащил его в городской парк: «Пойдем, посидим, выпьем по кружке пива. Такая погода — и меня, старика, на люди потянуло. Пойдем». Пришлось пойти: нельзя было обидеть Алешина.

Они сидели в парке, Курбатов рассеянно отхлебывал из кружки теплое горьковатое пиво и так же рассеянно слушал, что ему говорит Алешин. Внезапно он подумал: а ведь она права, Чайка!

— Дядя Павел, погоди...

Алешин замолчал, удивленно подняв седые брови.

— Помоги-ка мне разобраться, — попросил Курбатов.

Когда он рассказал ему всё, Алешин усмехнулся:

— В двух соснах заблудился. Эх, Яшка, за одну, за одну держаться надо. Конечно, дерись. Дерись, брат!

Но было уже поздно, тысячу раз поздно. В тот самый вечер, когда они сидели в парке, когда смеялись кругом люди, когда чудесная июньская ночь плыла над миром, зажигая неяркие звезды на светлом северном небе, — чужая, огромная, полная ненависти сила уже замерла, далеко отсюда, возле границы, и прыгнула несколько часов спустя. И всё, что казалось людям главным, значительным в жизни, вдруг оказалось мелким и никчемным, а главным стало одно: выстоять.

Таня и Олечка приехали на следующий день. Он понял жену — слишком велика была человеческая беда, чтобы ее можно было встретить порознь.

ХII

Осень в том году стояла удивительная — ясная и долгая. Березы, выбежавшие на опушки в своих пестрых платках, будто застыли в изумлении перед пусты-

ми уже полями, косяками уток, тянущихся к югу, и спокойными, похожими на печальные глаза, озерами, до самых глубин наполненными небесной голубизной.

Лесные дороги петляли мимо этих рощ и озер, пустых полей и оголенных, по-старушечьи скорбных ветел. И на дорогах, как и в лесу, стояли тот же тонкий запах осени, усталой земли и тишина, тишина такая, что каждый всплеск, каждый вскрик были подобны выстрелу. Но до настоящих выстрелов было еще далеко, и тряские дороги, казалось, тянулись без конца и без края.

Провожая глазами уходящие назад леса, Курбатов со щемящей грустью думал о том, что и сюда может прийти война и что не по-хорошему оживут эти рощи, если вообще что-нибудь останется от них. Эти знакомые, с детства милые сердцу картины осени не обманывали его своим покоем. Там, в ста пятидесяти километрах, конечно, точно такие же поля и березы, но там война, и он едет туда, навстречу стремительно откатывающемуся назад фронту.

Сейчас, сидя в кузове расхлябанного, дребезжащего грузовика, он не мог думать ни о чем другом, кроме одного: об отступлении. Еще не увидев ни одного пепелища, ни одного убитого, не услышав ни одного сто-на, Курбатов уже мысленно представлял себе всю ту огромную, страшную в своем напоре, чуждую по самому духу своему силу, которая сейчас надвигалась сюда и которой он ехал навстречу. Вся его прошлая жизнь, казалось ему, отодвинулась куда-то далеко-далеко. Он усмехнулся: один раненый лейтенант как-то говорил ему, что на фронте нет «вчера» и нет «завтра» — есть только «сегодня» — и надо быть семижилым, чтобы думать о завтрашнем дне, когда на тебя валится с неба десяток «юнкеров».

Но он не мог не думать об этом завтрашнем дне — быть может потому, что не испытал еще и сотой доли того, что испытал раненый лейтенант.

Воспоминания пришли позже, ночью, когда он, усталый, запыленный, слез с грузовика в каком-то приречном селе. Грузовик ушел: Курбатов должен был ехать в другую сторону.

Только несколько часов назад здесь проезжала к фронту какая-то часть: теперь в селе было тихо, и в

избах, где на короткий привал останавливались бойцы, стоял острый запах запыленных сапог, солдатского по-та и махорки: здесь уже пахло войной. Первая же попавшаяся женщина, узнав о том, что комиссару надо переночевать в селе, повела его к себе и, суетясь, потащила наверх, на сеновал, одеяла и подушки, как Курбатов не отнекивался. Он не расспрашивал ее ни о чем: эта заботливость была заботливостью солдатки, а, может быть, уже и вдовы...

Но, когда он лег и попробовал уснуть, он понял, что уснуть ему этой ночью не удастся. Глаза у него были сухие, воспаленные от ветра и пыли, больно было смыкать веки. Так он и лежал с открытыми глазами, глядя через крохотное чердачное окно на извечный хоро-вод звезд, собравшийся в густо-черном небе.

... В конце концов, иначе он поступить не мог. Что из того, что у него была, как говорилось, «броня». По-надобилось немало хлопот, нервотрепки и убежденности, чтобы секретарь горкома сдался, наконец. «Да ты понимаешь, что ты хочешь? У тебя завод, ты должен работать. Это тот же фронт!» — почти кричал секретарь горкома, ярясь еще и оттого, что Курбатов, соглашаясь с ним, только кивал головой, а потом начинал всё-таки свое. Это всё верно. И пленка нам нужна — тоже верно. Но ведь есть здесь не менее опытные, чем он, Курбатов, только старше годами. Есть — и справятся не хуже. Он понимал, что и секретарь горкома по-своему прав, но чувствовал и свою правоту, и тот, надо полагать, чувствовал то же и так же. Курбатова отпустили. Все дела он сдал за один день Чайке — не потому, что дел было мало, а потому, что оба спешили. Курбатову было предписано прибыть в свою часть через три дня. Хорошо, что не было в Новогорске Тани; ее срочно вызвали в область, организовывать эвакуацию интернатов на Урал. Она уехала вместе с дочкой, и Курбатов, собираясь в дорогу, с грустью брал в руки брошенные хозяйкой игрушки, смотрел на дверной косяк, где карандашными черточками каждый год отмечался Оленькин рост, на пустую дочкину кровать с холодными, уже успевшими запылиться пружинами... Глядел, грустил — и одновременно радовался тому, что тяжело расставаться пока что ему одному. Таня пока ничего не знает...

Уезжал он оттуда, из Новоторска, на рассвете. Еще не шла смена на заводы, еще робко раздвигались, плавились, пропуская рассвет, предутренние сумерки. Он шел по спящему городу, где всё было его, родное, такое же близкое, как и семья, дочь, жена, свой дом. А через два дня он уже был в своей части...

Командир полка — маленький, вертлявый, необычайно крикливый подполковник Ездаков, понравился Курбатову. И в том, как он принял нового комиссара — без частой у кадровиков полунасмешливой мины — и в том, как сразу же начал рассказывать о трудностях, Курбатов безошибочным чутьем угадал в подполковнике простоту, которая вырабатывается среди таких же простых людей. Ездаков, помимо всего прочего, устал, надо полагать, смертельно.

— От самой границы шагаем, чёрт их дери. Ты посчитай, сколько это...

Ездаков говорил торопливо, будто боясь, что ему не дадут договорить, а куда-нибудь вызовут или начнется бой...

— Комиссара у нас убили... Человек он был так себе, кандидат философских наук, говорил больше лозунгами. Кстати, учти, солдатам словеса, что об стенку горох. Вот когда коммунист поднимается первым в атаку да крикнет — «За Родину!», пойдут, хоть земля расколись. А все эти речи невтерпёж. Сам знаю, что надо, а — скучно. И так-то ребята, как говорится, под богом ходят, сегодня живут, а завтра глядишь — и нет. Песню — любят, разговор попроще любят, а вот политбеседы — по обязанности.

Курбатов неожиданно усмехнулся, и Ездаков, сразу уловив эту усмешку, повернулся к нему:

— Что? Знаю, скажешь сейчас: так положено...

— Нет, — качнул головой Курбатов. — Просто вспомнил, как приехал я однажды в Няндому, секретарем райкома. Так мне ребята там точно так же завили...

— Вот-вот, — мгновенно подхватил Ездаков, обрадовавшись тому, что комиссар понял его сразу. — Ну, да сам увидишь. Ты сейчас куда — в подразделения? Иди, попозже встретимся, разъясню обстановку. Хотя... хреновая она, брат, обстановка-то. Немец два дня молчит, не иначе, как перед наступлением.

Курбатов вышел из землянки. Всё здесь было ново и не знакомо ему, но даже и он, человек необстрелянный, почувствовал, что тишина, стоящая над землей, — настороженная и недобрая. Время от времени вдалеке вспыхивало небо; будто сполохи играли там, но это были неслышимые на расстоянии разрывы: там шел бой.

Время от времени и здесь, на невидимой пока глазу линии фронта сухо трещали винтовочные выстрелы и дробно отзывался пулемет. Ракета поднималась в воздух, озаряла всё кругом своим бледно-голубым мертвенным светом. Шагая по ходу сообщения, Курбатов неожиданно остановился: его поразило, что здесь стоит другой, еще не знакомый ему кислый запах порохового чада, бензина и гари.

Выбравшись из хода, он прошел мимо обгоревших деревьев, рядом с которыми стояла черная печь. От углей, рассыпанных вокруг нее, шло еле заметное тепло: надо полагать, дом сгорел совсем недавно.

Его окликнули сразу, едва он прошел руины. Он назвал пароль и подошел к часовому. Увидев батальонного комиссара с красной звездочкой на рукаве, тот вытянулся.

— Что здесь? — спросил Курбатов, жалея, что Ездаков не дал ему провожатого: в конце концов, такие расспросы могут показаться подозрительными. Но часовой равнодушно ответил:

— Разведчики отдыхают, товарищ комиссар.

Курбатов шагнул к землянке. Голоса были еле слышны, кто-то тихо брел на гитаре. Пригнув голову, чтобы не удариться о притолоку, Курбатов спустился по осыпающимся земляным ступеням и толкнул дверь.

Здесь, в просторной землянке, было человек пятнадцать. Кто лежал, кто сидел на нарах, а коренастый паренек в голубой, полинявшей от пота майке, что-то рассказывал им, очевидно смешное, потому что на всех лицах, повернувшихся к вошедшему, застыли улыбки.

Кто-то скомандовал — встать! — и люди встали нехотя, вразвалочку. Курбатов подумал: «Плохо. Дисциплина есть дисциплина, хотя и для уставших». Парень в майке, отложив в сторону гимнастерку, бойко

доложил, что отделение разведчиков отдыхает после задания, происшествий нет. Потом он, склонив голову набок и прищулив зеленые кошачьи глаза, спросил:

— А я вроде вас, товарищ комиссар, впервые вижу.

— Я новый комиссар полка, — неторопливо ответил Курбатов. — Вот — пришел знакомиться. Да вы... Вольно, товарищи.

Он чуть было не сказал по обыкновению «да вы садитесь» — и спохватился, но поздно. Парень с кошачьими глазами понятиливо кивнул:

— Значит с гражданки прибыли?

— Да. Но вы что-то рассказывали, кажется. Досказывайте, а я послушаю.

Но один из разведчиков, придвинувшись к нему на нарах, вдруг тихо спросил:

— Долго здесь стоять будем, товарищ комиссар? Назад-то скоро опять идти?

— Почему назад? — помедлив, отозвался Курбатов и понял, что ответ был не тот, которого от него ждали: люди уже прошли сотни километров, вдоволь хлебнули и стыда и горя, а он только приехал и многозначительно дает понять, что отступление вроде как бы и закончено.

— Конечно, идем-то вперед, — раздался тут же чей-то насмешливый голос.

Курбатов мельком взглянул в сторону говорящего и заметил ехидную улыбочку, такую неприятную, будто в ней было недосказанное: много ты понимаешь. Ты вот пошагай с наше, поголодай и на брюхе под огоньком с наше поползай, подружи от страха, а потом уж говори...

Он ждал таких улыбочек и таких настроений. Быть может, парень не хотел сказать ничего подобного, но настороженному Курбатову почудилось именно это. Он сказал медленно, но веско:

— Отступать скоро кончим... Гитлер хвастался, что к осени выйдет к Уралу — и застрял. Пора, вроде бы, и назад ему...

Слова были снова не те, которых ждали, но других Курбатов не нашел: именно в них были все его мечты, все надежды — всё то, чем он жил эти месяцы.

Он попросил сержанта проводить его, и тот с готовностью вскочил, натягивая гимнастерку.

— Стреляют там, — услышал он всё тот же ехидный голос. Курбатов, резко повернувшись, встретился с говорившим глазами и сказал внятно, так, чтобы запомнился даже самый тон, каким он говорил:

— Ты пугаешь, а мне не страшно. В меня, брат, еще тогда стреляли, когда ты в штанишки ходил...

Разведчики рассмеялись этим «штанишкам» и, с грохотом встав, проводили комиссара. Вместе с сержантом Курбатов вышел из землянки.

— Языкастые у вас, — недовольно проворчал Курбатов. Сержант, смущенно помолчав, ответил словно бы извиняясь:

— Так ведь народ такой... Аховый, прямо скажем, народ. Что ни день — у жизни на самом краешке ходят, ни в чох ни в сон не верят... Ну, и начальство балует, конечно.

— Голубая кровь? — усмехнулся Курбатов. — Коммунистов в отделении много?

— Я один. Остальные — комсомол всё. И один бывший.

— Как бывший.

— Да так вот. Исключенный из партии. Он сейчас как раз в поиске. Только вот что, товарищ комиссар, — вдруг неожиданно горячо заговорил сержант, дотрагиваясь до рукава Курбатова. — Я знаю всю его историю: неверно его из партии выгнали. Я и еще два коммуниста тут заявление составили — чтобы, значит, пересмотреть...

Они спустились в траншею: всё чаще и чаще их окликали, спрашивая пароль, и Курбатов не дал сержанту договорить:

— Хорошо, после разберемся. Приходи, как будешь посвободнее, ко мне — поговорим. И своего «бывшего» тащи....

Этой ночью он побывал в нескольких ротах, заводя новые знакомства, разговаривая с коммунистами, и вернулся в штаб полка засветло. Ездаков словно бы не ложился спать, но был бодр и суетлив по-прежнему, только синие мешки под глазами свидетельствовали о том, что командир полка прикурнул на пару часов.

— Ну, как? — повернулся он к Курбатову. Зна-

комья, наш начштаба, а это (он кивнул на двух офицеров) — комбаты — два и три. Чего интересного нашел?

— С первого взгляда много не найдешь, — уклончиво ответил Курбатов. — Как дальше дела пойдут? Наступления ждать?

— Надо думать, полезут, — ответил Ездаков, кивая на карту. — А приказ пришел — занять стойкую оборону. Видал, чего за два дня мы наворотить успели? Первый раз такую оборону занимаем. Обычно копнет солдат лопаткой — голову спрятать, а фундамент весь снаружи торчит.

Курбатов посмотрел на карту. Среди голубых жил, желтых и зеленых пятен, названий и цифр вились нарисованные красным карандашом линии траншей, значками торчали пушки, четко виднелись сектора обстрелов. Это был район обороны полка. Курбатов, всматриваясь в черточки и кружочки, сказал:

— А настроение-то у многих неважное. Не верят люди, что мы здесь остановились. Разведчики — и те спрашивают, когда назад пойдём.

— Это всё тот, наверно, воду мутит, — вскинулся Ездаков, — исключенный.

Курбатов насторожился. Об этом человеке он слышал сегодня второй раз.

— А в чем дело? — спросил он, словно ничего не знал.

— Да так. Есть у них там такой... деятель. Его когда-то из партии выгнали. Отчаянный человек, на любое дело идет, честный мужик... а злой. Обозленный. Мне разведчики все уши прожужжали. Ну, еще что заметил? Настроение? Вот и поднимай настроение-то. Это уже твоя обязанность, комиссар. Без настроения воевать — всё равно что живым в землю ложиться.

ХІІІ

Время торопило его. С утра до вечера он был в подразделениях, на партийных собраниях, и всюду вопрос стоял один — о задачах подразделений в обороне. Война приучила людей к немногословию, и собрания заканчивались быстро.

Война!..

Зачем прения? Разве не ясно, что коммунист должен быть там, среди бойцов, и если надо — пойти первым? Конечно, ясно.

На этих собраниях он тоже был немногословен. У кого-то семья осталась в оккупации, горюет человек — докажи ему, что он сам должен освобождать ее и иного пути нет. У кого-то убит друг: пусть горе превратится в ненависть.

— Ну, — хмыкнул на это кто-то из коммунистов. — Ненависти хоть отбавляй. Всего нагладелись. Ни одного в живых не оставим.

Курбатов, пристально поглядев на говорившего, качнул головой:

— Зайдите, если ничего не случится, завтра утречком: потолковать нам с вами надо по этому поводу. Война!..

Она ожесточила людей. Курбатов никогда прежде не встречал такого сгустка жестокости и ненависти. Он сам ненавидел тех людей — нет, не людей в серо-зеленых шинельках, которые были там, за недалгим лесом. И всё-таки нутром, каким-то особым чувством он понимал, что ненависть не должна быть слепой.

Первый бой застал его в одной из рот. Когда суматошно и часто затрещали выстрелы, он вздрогнул и приподнялся над бруствером. Где-то наверху прошелетели и грохнули позади первые снаряды. С неприятным квакающим звуком лопнула одна, другая, третья мина, и земля словно зашевелилась от стали, корещащей ее тело.

Курбатов ощущал это движение земли почти физически. Он весь прижался к ней, словно стараясь уйти в нее, холодную и сырую, подальше от этих разрывов, каждый из которых нес одно: смерть. И это желание на какую-то минуту стало сильнее его; с трудом он заставил себя приподнять голову и оглядеться.

Рядом с ним в траншее сидело двое солдат: один прикуривал у соседа, но Курбатов заметил, что у обоих дрожат руки. «Крепятся... Значит, ничего... Значит, и я так должен». Он сунул руку в карман, вытащил портсигар, бросил в рот папиросу. Спички куда-то исчезли, напрасно он нахлопывал их по карманам. Боец поднес ему свою сигарку:

— Прикуривайте, товарищ комиссар...

Во рту было сухо от волнения; первая же затяжка обожгла горло.

— Немец еще не скоро пойдет, — доверительно сказал ему солдат. — Так что успеем покурить.

Бой был трудным. Первая и вторая волны наступающих словно бы наткнулись на какую-то невидимую стену и затухли, залегли. Третий бросок гитлеровцам удался: они ворвались в траншею слева, но тут же, отсеченные огнем, откатились назад. С прорвавшимися расправлялись врукопашную. Вскоре там всё затихло.

И когда — с опозданием — ахнули позади наших траншей пушки, Курбатов впервые за эти минуты боя подумал о том, что забыл о себе, о том, что могут убить, и только стрелял из винтовки, бог весть откуда появившейся у него в руках. Оглянувшись, он увидел солдата, у которого прикуривал: тот лежал на дне траншеи, подвернув под себя ноги, и глядел в небо тусклыми, уже остекленевшими глазами.

Курбатов вернулся в штаб с одной мыслью: вымыться, вытряхнуть из гимнастерки землю и снова пойти по подразделениям. Надо узнать, как выполнялись короткие — устные, не записанные нигде! — решения партийных собраний. Потом: безобразие, что артиллерия опоздала; даже он, человек штатский, догадался, что между передней линией траншеи и наступающими надо было поставить огневой заслон. И он шел к артиллеристам, знакомился с майором, командовавшим полковой артиллерией, и ругался с ним — прямо, с хода, даже не спросив его фамилии.

Ездаков разыскал его через связных:

— Шумишь уже? Шуми, без этого ничего не выйдет. На начарта я взыскание позже наложу, это будь спокоен. Видите ли, не нашли время пристреляться!.. Засуетились! Словно первый день воюют.. А ты, между прочим, комиссар, не всегда на рожон лезь: мне говорили — лежит себе да из винтовочки пуляет.

Неожиданно лицо Ездакова стало жестким. Он быстро пробежал по землянке, сколько позволяли ему бревенчатые стены и, резко остановившись перед Курбатовым, спросил:

— Тебя раньше за личный пример никогда не били?

Курбатов улыбнулся: — Били.

— А здесь будем вдвойне бить. Наш-то философ хоть и любил митинговать, а зря погиб... Пошел в контратаку вот так же, с винтовочкой. Нет, брат, уж если надо — коммунист должен красиво погибать. Так должен погибнуть, чтоб людям жить хотелось.

В землянку, постучавшись, вошел связной: Курбатова вызывали в политотдел дивизии. Он недовольно поморщился. Не успел приехать, освоиться — и уже куда-то вызывают. Ездаков заметил это недовольство и расхохотался:

— Ничего, ничего, иди... У нас так положено.

Курбатов ожидал попасть на какое-нибудь совещание или инструктаж, а его сразу провели к начальнику политотдела. Пожилой и не очень опрятно одетый полковник, даже не поздоровавшись, кивнул головой: садитесь.

— Сейчас придет один человек... Мы его направляем к вам, обратно пойдете вместе. Как у вас утром — серьезные номера были?

Курбатов ответил, и полковник, снова кивнув, уже звонил какой-то «Ласточке» по телефону и ругал эту «Ласточку», что она задерживает отчет о приеме в кандидаты партии. Потом, внезапно бросив трубку, он повернулся к Курбатову с открытой, необычайно молодой и свежей улыбкой:

— Вы еще не заметили? Сколько заявлений о приеме в партию — каждый день разбираем. А хорошо это! Очень хорошо! В трудный час люди коммунистами становятся... А-а, приехал! — Это относилось уже не к Курбатову.

Он взглянул на вошедшего. Высокий старик в военной форме, но без знаков отличия, шел к начальнику политотдела, на ходу расстегивая шинель. Что-то неуловимо-знакомое показалось Курбатову и в лице, и в походке, но стоило только старику сказать — «здравствуй, полковник» — как смутный, стершийся в памяти временем образ вдруг ясно встал перед глазами, и Курбатов, вздрогнув, замер.

Полковник, так же как и Курбатову, кивнул старику:

— Не надо терять времени. Вот с ним и поедешь. Знакомьтесь, словом: это работник политотдела армии.

Старик повернулся к Курбатову; тот встал. Прерывающимся голосом, чувствуя, как бешено колотится сердце, он тихо спросил:

— Вы... не узнаете меня?

Старик пытливо вглядывался в его лицо, а потом, смущенно улыбнувшись, развел руками:

— Нет... Память уже, должно быть, плохая.

— Я напому... «Клеба, клеба им нато. Вот нета Франц; Ирма, Марта — кушать нет. Франц пу-пу пьлен». А потом — пещера на реке, листовки. Да это же я, дядя Франц!

Последние слова он почти выкрикнул, видя, как мало-помалу у старика розовеют бледные, дряблые щеки. Франц медленно обнял голову Курбатова руками и, прижавшись к его лицу своим, прошептал:

— Боже мой!.. Мальчик мой... Ты уже вырос...

Начальник политотдела стоял, еще ничего не понимая. Франц обернулся к нему, и полковник сразу с деловым и озабоченным видом взял со стола какие-то бумаги: он не мог видеть, как плачут старики.

* * *

Когда уже обо всё было сто раз вспомнано, Курбатов начал жадно расспрашивать Франца о его жизни. Тот был немногословен: вернулся в Германию в 1918 году, а в тридцать третьем уже бежал: партия отправила его в Советский Союз. Потом дрался в Испании, в Тельмановском батальоне, и снова вернулся в Москву. Теперь служит в политотделе армии, ездит по передовой со своей говорящей машиной.

Курбатов выложил на стол всё, что у него было; они пили чай, обжигая губы о жестяные кружки, когда Курбатов вспомнил:

— Подожди. Сейчас я одного коммуниста приглашу, очень нужен он при этом разговоре...

Он снял трубку и позвонил во второй батальон, где вчера было партийное собрание. Замполиту он приказал:

— Слушай, пришли ко мне сейчас этого паренька... Ну, Егорова... Да, да, того самого.

Сержант Егоров, который говорил «ни одного немца не оставим», появился в землянке через пятнадцать минут. Он постучал, вошел, еще не понимая, зачем его

так спешно вызвал комиссар, и удивился еще больше, когда Курбатов кивнул ему:

— Садись. Ты уже пил чай? Ничего, еще выпей... Вот, с консервами. Да наливай, наливай, не стесняйся...

Франц в это время рассказывал о фашистском путче, об арестах коммунистов, и сержант, поднося к губам кружку, тут же ставил ее на место, не отхлебнув. Наконец, Франц кончил, вернее, оборвал свой рассказ и заторопился:

— Ну, я к тебе попозже зайду. Машину надо ставить, время самое подходящее.

Курбатов рассмеялся: здесь, на фронте, терялись представления о времени. Уже было четыре часа, а Франц говорил «попозже». Простившись, Франц ушел, а сержант долго молчал, считая неудобным заговорить первым.

— Ну, что ж ты чай-то не пьешь? — спросил наконец Курбатов. Егоров поднял на него глаза и ответил вопросом, который, надо полагать, мучил его уже давно:

— Кто это, товарищ комиссар?

— Это? Старый коммунист, немец...

Он особенно подчеркнул последнее слово — «немец» — и Егоров, наконец-то всё поняв, вспыхнул. При неверном свете копилки Курбатов увидел, как по лицу Егорова расползлись красные пятна.

— Ясно, товарищ комиссар... — растерянно пробормотал Егоров.

— Ясно? Ну, вот и хорошо, — спокойно отозвался Курбатов. — Значит, уже не всех немцев собираешься перебить? Я тебя сегодня нарочно вызвал. Потом расскажешь ребятам, что воюем-то мы против одной Германии, гитлеровской. А есть и вторая... Ты ее сегодня видел...

Ранним утром, спрятанная в роще, заговорила установка. Солдаты в траншеях прислушивались к незнакомому голосу, незнакомым словам, пытались хотя бы определить их смысл. Временами кто-то понимающе разъяснял: «Арбайт — это, значит, работа. Вот сказал — «коммунизм»: про нас говорит, значит...» Молчали немецкие позиции. Вдруг оттуда яростно ударили, рывкнули, словно подворотные шавки, минометы;

немцы кидали мины вслепую: голос Франца растекался по земле.

Курбатов, слушая передачу, скорее дотадывался, чем понимал, о чем говорит Франц. О бессмысленности этой войны, о гибели, которая ждет чужие войска на русской земле, о том, что недалек час, когда германский народ скинет с себя гитлеризм... Разрывы мин не мешали: голос гремел в чистом осеннем воздухе, и его было слышно далеко-далеко отсюда.

Это был голос другой Германии, той, с которой Курбатов встретился еще в детстве...

XIV

Ездаков нервничал.

Это было заметно: он срывал свое настроение на всех — «фитили» получали и комбаты, и командиры рот, особенно доставалось интенданту; начальник штаба тянулся перед подполковником и бледнел, и только с Курбатовым командир полка утихал, словно смиряясь перед этим спокойным, даже чуть медлительным в словах и движениях человеком.

Ездаков нервничал потому, что дивизионная разведка ушла и не вернулась, рация молчала уже пять дней, на связь разведчики не выходили. Его «хлопчики», как он называл разведчиков, пытались трижды пройти в тыл к противнику — и трижды отходили, обнаруженные. Несколько дней — случай даже во время отступления редкий для Ездакова — несколько дней он жил как будто с закрытыми глазами и завязанными ушами. Чёрт его знает, что готовили немцы там, за лесом. На всякий случай солдаты сооружали прочную оборону, и Ездаков вместе с Курбатовым не раз и не два обходили блиндажи, проверяли расположение траншей, подолгу смотрели, вглядываясь в ночную темень, как саперы минируют подходы к переднему краю и окутывают «колючкой» самую землю. Ездакову казалось, что почему-то именно эти, совсем не знакомые прежде места стали ему особенно дорогими, словно роднее всех остальных, и уйти отсюда он уже не сможет.

В один из вечеров, сидя за картой и стискивая себе виски так, что на скулах натягивалась бледнеющая

кожа, он буквально вскрикнул, как от давней, долго мучившей его боли:

— Что же делать-то будем, а? Что ж всё-таки делать?

Курбатов, расхаживая по землянке, ответил ему не сразу и не заметил, что Ездаков поднял на него ожидающие, даже какие-то просящие глаза.

— Надо посылать людей в поиск. Языка достать, что ли... Кстати, и я с ними схожу — пора уже.

— На стыках не пройти... — задумчиво качнул головой Ездаков. — У них такое боевое охранение на стыках, что мышь не проскользнет. Разве только...

— Что?

— Ложная атака. Отвлечь внимание на ложный участок прорыва, а в это время перебросить разведку. Только ты, конечно, никуда не пойдешь, об этом и разговору не будет.

Курбатов улыбнулся: — Нет, будет.

— Нет, не будет, комиссар, — повысил голос Ездаков. — Хватит. Научили нас немцы уму-разуму. Я видел, как командиры и комиссары в атаку шли: словно на банкет. Офицеров немцы выбивали, и батальоны гибли, полки... Хватит. Не позволю. И кончай со мной говорить об этом.

Курбатов промолчал, понимая, что спорить с ним сейчас бесполезно: человек взвинчен, незачем его подогревать дальше. Ездаков принял это молчание как согласие и успокоился:

— Да... Ну, словом, так и сделаем. Завтра пойдут разведчики.

— У меня от них два заявления о приеме в партию, — вспомнил Курбатов. — Надо рассмотреть, люди на серьезное дело идут.

— Вот и рассматривай, — примирительно сказал Ездаков. Лицо у него было такое, что Курбатов понял: мол, не лезь ты куда тебя не просят, и без тебя разведчики в поиске обойдутся. «Ладно, — улыбаясь про себя, подумал Курбатов. — Поживем — увидим».

— Как их фамилии? — спросил Ездаков.

— Не знаю, заявления еще не читал.

Вечером в землянке собрались члены бюро; высушившись из землянки, один из них окликнул ждущих приема.

Сначала Курбатов увидел сапоги, осторожно ступающие по земляным неукрепленным ступеням, потом и самих людей. Впрочем, оба были высокие, их лица терялись в тени под самым потолком землянки. Курбатов почувствовал, как в землянке сразу запахло свежим — и не каким-нибудь, а душистым — мылом, и отметил это про себя с удовлетворением, представив, как ребята, перед тем как идти, приводили себя в порядок.

Он откинул с коптилки жестяной, горячий и закопченный колпачок, и язычок желтого пламени, стремительно мигнув, осветил лица. Один из пришедших был молодой паренек, другой... На Курбатова глядели глубокие синие глаза, которые, казалось, занимали большую часть лица. Где-то в глубине зрачков вспыхивало и гасло отраженное пламя. Вошедший смотрел на Курбатова и, надо полагать, еще не узнавал его: тот стоял спиной к свету.

Курбатов мог предполагать всё, что угодно, только не это, только не такой он представлял себе эту встречу. Он шагнул к нему, забыв, что сейчас идет заседание партийного бюро, забыв обо всём на свете и ничего не видя, кроме этих родных, печальных глаз.

Солдат отшатнулся, когда комиссар полка порывисто обнял его и растерянным, сдавленным до шепота голосом сказал: — Валька! Кият...

* * *

Он всё-таки пошел в поиск; как ни крутился Ездаков, как ни орал — спокойствие Курбатова сломило его. Ночью десять теней скользнули по земле и растворились на ней — а слева, уходя, гремел бой, там вспыхивали и так же мгновенно гасли столбы огня, трещали, захлебываясь, пулеметы. Тени на мгновение появились снова, мелькнули в низком кустарнике и исчезли — на этот раз совсем.

Курбатов шел в середине группы, чувствуя за собой прерывистое от волнения дыхание Кията. И то, что сзади него идет Валька, почему-то вселяло в него удивительно прочную и спокойную уверенность.

Впереди группы шел старший — сержант Меркулов. Он пригибался — пригибались остальные, он бросался на землю — за ним бросались все, неважно, что

было там, на земле: оборванная проволока или острые камни. Здесь действовал один приказ: делай, как я,— и все делали, как Меркулов: в его руках сейчас были девять жизней, не считая десятой, его собственной, и успех дела.

На этот раз они прошли. Петляя по роще, десять человек ступили на болото: здесь не останется следов. И чем дальше уходили они, тем глуше доносились до них разрывы; наконец они смолкли совсем.

Меркулов остановился. Они сориентировались по карте, спрятавшись под плащпалаткой, и Меркулов, широко улыбаясь, выдохнул: «отдыхать».

Курбатов и Кият лежали, прижавшись к бугру, на котором под ветром метался куст. С куста, словно воробы, спугнутые выстрелом, сыпались сухие темные листья. Разговаривать было нельзя: Курбатов лежал и думал о том, что ему вчера рассказал Кият.

Пять лет! Кого он должен винить в том, что эти годы вырваны из жизни? Он никого не винит — ни народ, ни партию. Он только не понимает еще, зачем это Баранову понадобилось лишить его звания коммуниста. Что ж, еще накануне войны Баранов ответил за все. XVIII съезд партии жестоко осудил карьеристов и партработников, извращающих ленинские принципы руководства; коммунисты не выбрали Баранова в состав крайкома. ЦК послал его на небольшую хозяйственную работу. Война — вот что самое главное теперь.

— Мне говорили, — сказал ему вчера Курбатов, — что ты ожесточился.

Кият усмехнулся: глаза у него были глубокие, печальные:

— Да. Я мог бы ожесточиться не в ту сторону, так бывало с людьми, такими, как я... Но я видел месяц назад ребенка. Ему распороли ножом живот. Если хочешь — спроси разведчиков: я в поиске признаю теперь только одно оружие — месть.

Кият не хотел вспоминать те, давние, казалось бы, уже времена, дни после того, как был убит Данилов. Единственное, что он сказал — и сказал с прежней тоской, будто с болью, было:

— Кто же стоял за ними? Кто толкал их и этого Трохова? Это меня мучило все годы. Ну, живы будем — разберемся.

И вот он лежит сейчас рядом, самый родной и близкий друг, которому Курбатов честно признался вчера:

— Когда тебя исключили и ты уехал, мы ходили и писали повсюду. В обкоме мне пригрозили, чтоб не шумел. Мне вспомнили снятие с секретарей обкома комсомола. Так мы ничего и не добились... — он не договорил: эти воспоминания больно резали сердце.

Лежит рядом Кият и, наверно, тоже думает об их вчерашней встрече, их разговоре, который кончился далеко за полночь. Уходя, он сказал Курбатову:

— Я снова в партию иду с открытым сердцем. У меня против нее камня нет. Она для меня... всё. Ты знаешь это.

* * *

А осень уже кончалась... Она кончилась в одну ночь и сразу: легкий мороз прихватил болотца, высеребрил тонкие ветки деревьев и словно пухом покрыл опавшую листву. Меркулов зло выругался: след будет заметен, пора уходить.

На карте уже были обозначены сосредоточения войск. Танки стояли за рощей, закрытые сетками. Артиллерию гитлеровцы оставили километрах в пяти от передовой. Никаких укреплений не было: очевидно, войска ждали наступления. По каким-то одним им ведомым приметам разведчики определили: здесь собрана дивизия, причем новая: по дорогам прошли последние транспортные «бенцы» с пехотой. Старую часть, очевидно измотанную в боях, отвели назад, в тыл.

Этого было достаточно, и Меркулов приказал: домой. Остаток дня разведчики провели в лесу, на островке посреди болота, а к ночи двинулись обратно. Курбатов, стараясь попасть в след прошедшим, думал о том, что вот кончается его первое крещение, а он не видел еще, как от его пули гибнет враг — человек, пришедший для того, чтобы убивать таких, как он, Курбатов.

Он видел их на дорогах, слышал чужие голоса, чужой смех и понимал, что сейчас стрелять — безумие: их сомнут. А помимо воли рука сама находила спуск на автомате, он отдергивал ее, словно обжигаясь.

Возвращаться они должны были кружным путем и выходить на участок соседней части — во избежание неожиданностей. Там было огромное, тянущееся на

многие километры болото, и позиции соседней части подходили к нему вплотную. Меркулов рассудил верно: если немцы готовятся к наступлению, на болоте или около него, на своем фланге, они выставят в лучшем случае охранение.

Он оказался прав. Как-то сразу идущие почувствовали гнилой запах болотной воды, не убитый морозом, и не встретили ни одной живой души. Это была удача, просто удача: значит, они пройдут без особых помех.

Впрочем, по опыту разведчики знали — а Курбатов мог только догадываться, — что об удаче можно будет говорить только тогда, когда вернешься к своим. Так было и на этот раз.

Первым увидел немцев Меркулов и бесшумно повалился в пожухлую траву, выставив вперед автомат. Человек пять или шесть — в сгустившихся сумерках трудно было сосчитать точнее — шли по самой кромке болота, безбоязненно посвечивая фонариками и громко разговаривая. У Курбатова бешено колотилось сердце: что ж он медлит, Меркулов. Неожиданно наброситься и уйти за болото. Но Меркулов лежал по-прежнему без движения, и Курбатов тоже не двигался, подчиняясь его воле.

Вдруг он ощутил какое-то легкое, едва уловимое движение слева. Две тени скользнули, как змеи, вперед, словно от ветра колыхнулась трава, и Курбатов понял: разведчики решили брать... Неожиданно возле своих глаз он увидел глаза Кията и скорее почувствовал, чем услышал, слова: «Прикрывай огнем... если понадобится».

Фонарики погасли сразу. До Курбатова донесся один приглушенный вскрик, другой, звуки какой-то короткой, но яростной возни, нескольких тупых ударов — и снова кругом была тишина. «Кончено? Неужели так быстро?».

В болото они вошли, таща на себе одного гитлеровца. Кият, кивая на какой-то спеленутый предмет, менее всего напоминающий человека, шепнул: «Кажется, офицер». И услышав этот ликующий шепот, Курбатов ясно представил себе, как сейчас выглядел бы при свете Кият, этот тридцатипятилетний человек с горящим лицом и широко, шире обычного раскрытыми

глазами. Впрочем, он сам чувствовал, что всё лицо у него горит от пережитого.

* * *

Пленного сразу же увезли в разведотдел дивизии. Отославшись, Курбатов бросился к Ездакову — узнать, о чем тот показал. Ездакова не было: ушел в подразделения. Курбатов, оставив ему короткую записку, отправился в штаб дивизии: всё равно надо зайти в политотдел, сдать заявления Кията и Ордынцева и протокол.

В политотделе уже знали о поиске ездаковских разведчиков, и начальник политотдела, наскоро приняв от Курбатова бумаги, ушел, кивнув ему — «вы свободны». Но идти назад Курбатов не мог: хотя дело это было вроде бы и не его, но он не мог справиться с собой и спросил у какого-то озабоченного лейтенанта, где находится разведотдел. Тот махнул в сторону одиноко стоящего амбара.

У входа дорогу Курбатову преградил часовой и только мотнул головой: «Не могу, товарищ комиссар, не велено никого пускать». Курбатов отошел и сел на какой-то трухлявый пенек, закуривая.

Было у него в разведотделе одно дело — хотя, быть может, с ним скорее всего надо было обращаться в армейский разведотдел.

Кият! Этот человек сейчас не давал Курбатову покоя. Человек был снят с работы и исключен из партии ни за что, ни про что. Воюет дай бог как. Честности — внутренней, партийной, той, которая движет всеми мыслями и делами нашего человека, — у него хватит и на других. Курбатов был убежден в том, что к его мнению прислушаются и Кият займет в армии свое место. На всякий случай надо поговорить сначала в разведотделе.

Он не заметил, как перед ним остановился молодой капитан, совсем мальчишка, с легким золотистым пушком над губой, и, стараясь казаться как можно более взрослым, басовито спросил:

— Вы не ко мне, товарищ комиссар?

— Не знаю, кто вы. Если из разведотдела — то к вам.

— Я начальник разведотдела.

Очевидно, это назначение капитан получил недавно и ему нравилось лишний раз называть свою должность. Курбатов встал:

— Тогда к вам.

Они прошли мимо вытянувшегося часового, вошли в амбар, где было чисто прибрано, стоял стол, несколько стульев, какой-то ящик. На столе горела керосиновая лампа с рефлектором. Капитан, кивнув на стул, пригласил — «садитесь» — и сел сам, закинув ногу на ногу. Курбатов еще раз улыбнулся про себя. Ничего, это пройдет — желание быть очень взрослым. Судя по всему, легко шагал до сих пор по жизни этот молоденький капитан.

— У меня, собственно, дело к вам вот какое...

Курбатов назвал себя, рассказал капитану о Кияте и заметил, что лицо капитана становится всё более и более растерянным. Курбатов с досадой понял: тот ничего самостоятельно решить не может. Пришлось идти на хитрость:

— Я понимаю, вам самому решить этот вопрос не под силу, но мы ведь должны расставлять кадры как можно лучше. В полку Кият, в прошлом директор завода, инженер, не на месте. Он принесет больше пользы в другом месте, хотя бы в саперном подразделении. Будете в штабarme...

— Нет, нет, — запротестовал капитан, сразу как-то обидевшись. — Вы говорите — инженер? Почему же я сам ничего не могу решить? Отлично решу.

Курбатов протянул ему руку:

— А второе дело, собственно, частное. Вам вчера доставили пленного. В поиск с разведчиками ходил и я. Вот мне и хотелось знать — полезного фрица прихлопнули? Тяжел был, чёрт.

Капитан пожал плечами. Это, должно быть, означало — не могу сказать, не положено.

— Кое-что сообщил, — ответил он уклончиво. — Допрос еще не кончен.

Он крикнул в дверь — «приведите пленного» — и поднялся. Курбатов понял: пора уходить — и простился с капитаном. В дверях он еще раз обернулся к нему:

— Так вы вызовите Кията, товарищ капитан?

— Конечно. Сегодня же.

Курбатов вышел из амбара и увидел, как двое солдат ведут пленного. Очевидно, его держали в землянке, вырытой тут же, неподалеку от амбара. Пленный был в мундире с оборванными петлицами и погонами, без фуражки. Курбатов с любопытством скользнул по нему взглядом, тот поднял глаза — их взгляды встретились.

Потом пленный быстро прошел в открытые двери; Курбатов, невольно схватившись за кобуру, вошел следом, не заметив, что капитан недовольно поморщился:

— Вы что-нибудь забыли, товарищ комиссар?

Теперь его голос звучал неподдельно резко, и Курбатов ответил так же резко:

— Да, забыл. Как имя пленного?

Он смотрел на перекошенное лицо, желтые рысьи глаза, и его трясло.

— Не надо, — хрипло сказал Генка. — Я теперь... расскажу всё.

Капитан, услышав, что пленный заговорил по-русски, оторопело поглядел на Курбатова. До сих пор пленный — оберлейтенант Ганс Риттер — говорил только по-немецки.

— Я знаю его давно... — так же хрипло сказал капитану Курбатов. — Сын жандармского ротмистра... Поджигатель, бандит... Потом сотрудник немецкой разведки. Его разоблачили в двадцать шестом. Очевидно — бежал. Кстати, спросите его, что он делал возле болота с остальными. Похоже, готовили переброску.

Круто повернувшись, он вышел, понимая, что для Генки это конец. Понял это и Генка...

XV

И еще одна встреча...

Очевидно, так уж устроена жизнь, что людские тропы сходятся, сплетаются и, даже разойдясь, — сходятся снова...

Зима застала Курбатова там же, куда он прибыл месяц назад. Полк врос в землю; прошли тяжелые бои, когда в день приходилось отбивать до десяти атак. Надо полагать, немецкое командование не очень беспокоилось за этот участок фронта: гитлеровцы рвались сейчас к Москве. А здесь стояла тишина, и слышно

было, как на той стороне, в немецких окопах, играет патефон.

Для Курбатова, тем не менее, наступили самые тяжелые дни — тяжелые потому, что сводки шли одна другой хуже и надо было собирать всю свою волю, чтобы появляться в подразделениях по-прежнему спокойным, ровным, уверенным. Солдаты молчали. Это было ожидающее молчание. Душой они были там, в Подмоскovie, где сейчас решалась судьба невиданной битвы.

И Курбатов тихим, ровным голосом неизменно объяснял, что там, под Москвой должен наступить перелом. Кто-то из солдат, поддерживая его, сказал:

— Даже если отдадут — ничего. Кутузов отдал ведь Москву французам.

Курбатов обернулся к говорящему. Он понял: это было оправдание на тот случай, если немцы всё-таки возьмут Москву. Его не обманула эта попытка солдата успокоить самого себя и других.

— Так ведь то когда было, — качнул головой Курбатов. — Теперь всё другое — и война другая, и Москва другая. Столица! Отдать ее нельзя... Я, товарищи, в Москве Ленина видел...

И он рассказывал притихшим бойцам о том, что не стерлось в памяти временем, зная, что такой рассказ будет сильнее, чем сто политбесед.

Иногда он ловил сам себя на том, что думал: «А сам ты веришь, что Москву не сдадут?» И отвечал сам себе: «Нельзя сдать». Это была не слепая вера в какое-то чудо, в какое-то свершение: он всем своим существом чувствовал это «нельзя» и знал, что то же самое чувствуют сейчас все сто шестьдесят миллионов советских людей.

Время тянулось томительно долго. Дни были похожи один на другой, и порою даже забывалось, что здесь тоже фронт и тоже война. Бои шли под самой Москвой.

Неожиданно на рассвете грохнули первые снаряды. Такого здесь не было давно, и Курбатов кинулся на КП. Ездаков был уже там и, прижав к глазам бинокль, всматривался в серую рассветную муть.

— Неужели пойдут в атаку? — спросил он будто бы самого себя.

Снаряды рвались то впереди, то с шелестом и завыванием проходили над головой и вздыбливали перемешанную со снегом землю.

— Перепились они там все, что ли? — недовольно ворчал Ездаков. — Соедините меня с дивизией.

Он что-то кричал в трубку, закрывая рукой одно ухо, несколько раз переспрашивал — что, что? А потом, почти побелев от волнения, обернулся к Курбатову:

— Слышишь? Поперли их от Москвы! Поперли! По всему фронту бегут!

Курбатова заколотило, как в лихорадке. Он отвернулся: не надо, чтобы кто-нибудь видел его слезы.

Теперь его место было там, в траншеях: рассказать людям о том, что немцы от Москвы бегут и что это от ярости сегодня гитлеровцы устроили такой концерт. Он выскочил из блиндажа, пригнувшись, скатился в траншею и побежал, нагибая голову.

Траншея кончилась. Курбатов выкарабкался из нее, не чувствуя, как в рукава набился колючий снег, и, поискав глазами, увидел ход сообщения...

Но было уже поздно.

Огнем плеснуло ему в лицо, жаркая волна бросила на землю, вспыхнули еще раз и померкли какие-то светляки перед глазами.

Он очнулся, не зная, сколько пролежал так, на снегу. Очевидно, лежал он недолго, потому что кругом всё еще гремели разрывы. Первое, что он увидел, повернувшись, — это его развороченная полевая сумка: из нее вывалились бумаги, а из пробитой жестяной банки высыпался табак.

Он попробовал встать — и не смог. Словно кто-то невидимый больно держал, дергал его за ногу. Стиснув от боли зубы так, что что-то хрустнуло во рту, Курбатов пополз, волоча за собой ногу, и, задыхаясь, потерял сознание.

* * *

...Белый потолок, люди в белом, белые стены — их можно увидеть, если скосить глаза. Постепенно из-за каких-то шумов и гулов до Курбатова начали доноситься далекие голоса, они всё приближались, и Курбатов напряг слух. Говорили по-русски, но вдруг слышались какие-то непонятные слова, и он догадался:

латынь. Врачи, столпившись над ним, покачивали головами, как будто спорили, и Курбатов понял: говорят о нем. Потом он, приподняв голову, увидел, что какая-то женщина делает ему гипсовую повязку.

— Доктор, — тихо позвал он, не узнавая своего голоса. — Как там? Скоро я... встану?

Все повернулись к нему и смотрели молча; они не заметили, как раненый пришел в себя. Женщина скорбно улыбнулась и как-то тяжело сказала:

— Ну, о чем вы думаете? Вам долго поправляться надо... Лежите, не думайте ни о чем.

Но Курбатов, очнувшись, уже подсознательно сопротивлялся душащему дурману, который навалился на него, и не мог не думать.

Он спросил, какое сегодня число, и, услышав ответ — вздрогнул: «Долго же я валялся без сознания». Впрочем, сквозь прошедшее беспамятство начали проступать какие-то отрывки воспоминаний: вой сирены, тревожные гудки паровозов... Где-то неподалеку был взрыв — это он помнит. Вагон? Да, он был в вагоне, это точно. Вагон словно бы подпрыгнул на рельсах, стекла так и брызнули внутрь, и в них повалил густой черный дым...

Здесь воспоминания обрывались. Другое, что он помнит, — чьи-то торопливые слова: «Шесть вагонов... в щепки... хорошо, что снег пошел...» Сейчас Курбатов, чтобы проверить себя, позвал снова:

— Доктор...

— Что вам?

— Нас в поезде бомбили? Я знаю — шесть вагонов.

— Лежите, лежите, — испуганно откликнулась женщина. — Вы всё время спали.

Курбатов улыбнулся: значит, я прав. Спрашивать, что с ним, с Курбатовым, случилось, серьезно ли ранение — ему не хотелось. Он чувствовал, что зацепился за жизнь, что голова у него вроде бы в порядке — а это, вероятно, главное. То, что его потащивало, а во рту появилась густая, неприятная слизь, в конце концов было делом пустым; ну, тряхнуло маленько при взрыве. И как глупо это получилось, и досадно, что не дошел, не донес бойцам такую весть...

Однако его мысли о том, что за жизнь он уцепился прочно, были еще далеки от истины.

На второй день ему сделали серьезную операцию — резекцию коленного сустава — и уложили раненую ногу в тяжелый гипс, который доходил до груди. Воспалительный процесс обострялся, медицина бессильна была его приостановить: начался сепсис — общее заражение крови. К вечеру температура поднялась, появилась сильная боль, и только уколы пантопона или морфия успокаивали его: он забывался, засыпал и пробуждался всё от той же боли.

То, что его жизнь была теперь в опасности, он понял по лицам и по отдельным репликам лечивших его врачей. И чем тревожней были эти лица, тем злее он повторял себе: нет, врешь, не помрешь, вроде бы рановато... Выкарабкаемся еще!

И врачи и профессор принимали все меры к тому, чтобы сохранить Курбатову ногу и жизнь. Он молчал, когда они подходили к его койке; однажды, лежа с закрытыми глазами, он услышал, как профессор сказал:

— Мы бессильны... Завтра прилетает главный хирург фронта. Может быть, он...

Курбатов открыл глаза и с усмешкой поглядел на профессора. Тот ступевался, отвернулся, поняв, что раненый всё слышал, и грубовато подтвердил:

— Да, да, может быть. Может быть, придется топать на одной ноге, молодой человек.

— Ну, это еще полбеды, — ответил Курбатов.

Когда его принесли в перевязочную и сняли тяжелый гипс, он догадался: приехал главный хирург фронта. Профессор — с виду грузин — внимательно осмотрел рану и кивнул врачам на дверь, ведущую в смежную комнату. Дверь осталась открытой — то ли нарочно это было сделано, то ли нечаянно, — но Курбатов мог слышать всё. Ординаторы подробно доложили профессору о состоянии и поведении больного, профессор спрашивал у каждого, что он считает необходимым предпринять, чтобы спасти раненого. Те односложно отвечали: «Все меры приняты, всё исчерпано, мы бессильны».

Тогда стал говорить профессор. Говорил он тихо, уверенно и настойчиво, с заметным акцентом, но каждое слово Курбатов слышал отчетливо:

— Да, положение очень серьезное, спасти комис-

сара выше наших сил. Я предлагаю последнее, может быть это не решит, но может и прервать воспалительный процесс. Предлагаю ампутировать ногу вместе с очагом, от которого идет заражение — во второй трети бедра. Но, повторяю, надежд никаких, хотя в то же время они могут и появиться.

После совещания операционный стол, на котором лежал Курбатов, окружили врачи. Вышел, натягивая на лицо маску, профессор. Он подошел к изголовью, положил свою ладонь Курбатову на лоб и тихо сказал:

— Отрежем ногу, комиссар. И без ноги жить можно. Вон, посмотри, как профессор без ноги прыгает — мне за ним не угнаться. Так отрежем или нет?

— Я слышал, что вы говорили там, в комнате, — ответил Курбатов.

— Ну и хорошо, что слышал. Значит сознательно даешь оперировать. Если ногу не отнять, то надежды сохранить жизнь — никакой. А если отрежем — всё может быть, и проживешь еще полсотни лет! Ведь жить-то охота?

— Давайте уж скорее, — тихо и зло попросил Курбатов.

— Приготовить больного к операции, — властно приказал профессор.

Мигом все забежали, засуетились. Курбатов с каким-то любопытством наблюдал, как профессор мыл руки, как протирал их спиртом, как надевали на него стерильный халат и перчатки. Наконец он подошел к столу. В это время на лицо Курбатова надели маску: «Считайте». В нос ударил приторно-сладкий запах, он начал душить его, и Курбатов невольно захотел поднять руку и сорвать маску, но его держали...

Очнулся он в палате. Сквозь смутную пелену, стоящую перед глазами, проступило какое-то неясное белое пятно. Оно расплывалось, то приближаясь, то отдаляясь от него, и он не мог понять, что это.

— Яшенька, милый, проснулся! — услышал он какой-то далекий голос. — Ты узнаешь меня?

Он понял, что это — лицо и, очевидно, женское: да, говорила женщина. Постепенно пятно приобрело четкие очертания, он увидел до боли знакомые ямочки на щеках и почему-то большую седую прядь. «Всё же кто она такая?» Женщина глядела на него влажными

глазами, в которых перемежались и бегали лучики света. «Да ведь это Клава! Клава Алешина!»

— Клава, это ты? — тихо спросил, скорее выдохнул Курбатов.

— Я, я, милый. А теперь лежи спокойно, я от тебя не уйду. Мы еще обо всем поговорим. Я ведь в этом госпитале, только начальником другого, тоже хирургического отделения. Лежи спокойно, Яшенька. Всё сошло хорошо, даже профессор остался доволен. У тебя сегодня и температура меньше. Завтра тебе кровь перельем — и всё будет хорошо. А сейчас постарайся уснуть. Давай я тебе помогу.

Клава положила одну руку на его голову, а второй стала нежно гладить его лицо.

— Клава... Клава, я буду жить? Мне надо жить, Клава!

— Будешь, мой милый, успокойся! Всё пойдет хорошо.

Он снова стал проваливаться в какую-то теплую, ласковую волну, а когда открыл глаза — Клавы не было. Он лихорадочно начал припоминать, о чем они говорили — какие-то обрывки слов приходили на память, и больше он ничего не мог вспомнить. Полно, не пригрезилось ли это всё ему в бреду?

Курбатов позвал сестру. Пожилая женщина подбежала к кровати, схватив со столика маленький фарфоровый чайник: после наркоза больные хотят пить.

— Где врач, — прохрипел Курбатов. — Алешина.

Видя, что сестра не понимает, он повторил уже с раздражением:

— Алешина Клавдия Павловна!

— Да ты успокойся, родненький, нету у нас такого врача. Успокойся, попей немного.

Курбатов, подняв руку, вытер ее тыльной стороной проступивший на лбу пот.

— Поблазнило тебе, родненький...

Он и сам, впрочем, думал о том, что Клава ему просто померещилась: трудно было отличить сейчас, где кончалась явь и начинался бред. Но и в бреду, выгибаясь на койке, он повторял только одно: «жить, жить, жить», и соседи по палате настораживались, смотрели на него, а один из них, легко раненый, подходил и здоровой рукой поправлял одеяло, будто хоть тем ста-

раясь облегчить боль этого огромного, грузного и такого беспомощного сейчас человека.

* * *

Он всё-таки выкарабкался. Выжил. И хотя он не мог еще двигаться, хотя казалось ему, что всё его тело стало чужим, ватным, он видел кругом жизнь — и улыбался ей. «Нет, — смеялся он про себя, — старик Декарт врал. Как это он говорил? „Я живу — значит, я существую». Нет, я вижу — значит, я живу. Живу!»

Он уже был знаком с соседями по палате. Справа от него лежал пожилой офицер: его только что перевели сюда из коридора.

Соседу было за пятьдесят, а чин у него оказался — младший лейтенант. Стриженная голова с отросшими русыми волосами, торчащими ежиком, бледное, открытое русское лицо словно бы говорили о том, что человек этот или много страдал или еще страдает. Как только его внесли в палату, он воскликнул:

— Вот и хорошо! А то один со скуки подыхаю — слова не с кем сказать. Соскучал по живому человеку!

И Курбатову сразу стало приятно, что сосед у него — общительный, простой.

Познакомившись, к вечеру оба уже были друзьями. Как на фронте, в землянке, так и в госпиталях люди особенно быстро сходятся. Общая участь заставляет открывать в таких случаях друг другу самые потаенные думы и желания — всё то, о чем в обычное время человек никому и не рассказал бы. В бою у Погостья Василий Лапин — так звали соседа — был тяжело ранен, ему ампутировали кисти рук. До войны он работал председателем колхоза в одном из районов Поволжья. Коренной волжанин, он и говорил на «о», на какое-то круглое, большое «о». Разглядывая две забинтованные култышки, он, казалось, склонен был даже иронически отнестись к тому страшному и непоправимому, что с ним произошло. Василий рассуждал так:

— А что, брат, я ведь и без рук не пропаду? Голова на месте — значит, работать смогу. Я так думаю, что снова председателем колхоза смогу работать. Я ведь там всё хозяйство до тонкости знаю. Только вот как народ? Доверят ли мне колхозники? Выберут ли

меня? Как ты думаешь, комиссар? — обратился он к Курбатову.

Курбатов живо откликнулся:

— Обязательно доверят и выберут, Вася. Ты, наверное, и сам знаешь, какой у нас народ. Он беду и нужду понимает. Тем более твою беду поймет: ты для народа старался и себя не жалел. Так разве может народ к тебе по-плохому относиться?

Василий, продолжал, не дослушав:

— Однако, комиссар, ведь я тоже так думаю. Народ меня поймет. А я буду работать, да еще как работать! Лучше и больше, чем раньше.

Он сказал это с твердой уверенностью, и Курбатов поверил ему: да, так оно и будет, на войне люди особенно научились ценить мирную жизнь.

— Одного я боюсь, — говорил сосед, — без рук-то уж больно беспомощный я. Меня ведь одевать да и раздевать надо, и вот покушать тоже... Правда, мне говорили, что протезы потом сделают, что я даже писать смогу. — И уже как-то задумчиво закончил: — Жена у меня — вроде хорошая, душевная. Да кто ее знает, что там теперь, без меня-то? Она хоть и в годах, а всё еще красивая.

Курбатов спросил его:

— А есть основание задумываться над семейной жизнью?

— То-то и оно, что нет, а всё же чёрт его знает... Я далеко, а она одна там. Уж больно много я слышался, что женщины — порода слабая.

Курбатов продолжал допытываться:

— А ты, Вася, и раньше за женой что-нибудь замечал?

— Что ты, комиссар! Ничего такого я не замечал. Я в ней даже уверен, вместе как-никак пятнадцать лет прожили. Строгая она у меня, не вертушка, — и постоянная. Серьезно-то ни разу и не ругались. Работник она тоже хороший. Телятницей в колхозе работала. Когда я на курсах был, так один ерник из района ее обхаживать стал. Она так его турнула, что он больше в колхоз и носу не показывал. Не знаю, не понимаю, как это люди могут за каждой юбкой волоочиться. Я мужиков таких и за людей не считаю, брандахлысты они какие-то, а не люди. Как по-твоему, комиссар?

Курбатов ответил, подумав:

— Я, Вася, согласен. И вот еще что — нам в этом и война поможет разобраться. В войну всё слабенькое наверх плышет, как дерьмо по воде. А дерьма, слабины всякой, нам, может, и не надо... Не пригодится потом.

К этому разговору прислушивались все. Как-то само собой получилось, что только что пришедший в себя комиссар и младший лейтенант с такой, в сущности, трагической судьбой, что даже не сознавал еще всей глубины своей трагедии, — стали центром внимания.

Прислушивался и лежащий в самом дальнем углу молоденький танкист. Несколько дней назад, когда его вносили в палату, он стонал, вскрикивая, и почему-то матерно ругал санитарок, перекладывавших его на кровать. Всем он как-то не понравился: ну, ранен, ну, больно, зачем же так распускаться да еще ругать людей, которые для тебя же добро делают.

Курбатов познакомился и с ним.

Он был ранен в горящем танке: начали рваться снаряды. Ранение было тяжелое и опасное: у него, как и у Курбатова, был общий сепсис; капитан температуры, ничего не ел, был раздражителен, неразговорчив, замкнут. Курбатову и Василию казалось, что он озлоблен на всю жизнь, словно сломался. Ему ампутировали обе ноги, и вот уже несколько дней Заславский рыдал, ничто не могло его успокоить. Когда Курбатов или Василий пытались с ним говорить, он только зло огрызался в ответ.

Успокоился он через несколько дней, но ушел в себя, только стороной Василий Лапин как-то разузнал, что тот женат, жена живет в Москве, у родителей, отец ее занимает там какой-то большой пост. Маргарита — так звали жену Заславского — была единственной, избалованной дочерью; Сергей, еще лейтенантом, влюбился в нее по уши и сам не понимал, как это она согласилась выйти за него замуж. Она была взбалмошна, и Заславский не верил ей: слишком много любви к развлечениям и слишком много поклонников.

Сейчас Заславский переживал — и это было ясно всем — из-за своей жены. Как-то раз, закинув руки за голову, он безучастно глядел в потолок и вдруг сказал, не обращаясь ни к кому:

— Как теперь она на меня посмотрит? Калека! Как в загадке: без рук, без ног, а стекла бьет.

Он заплакал. Курбатов громко, чтобы слышали все, сказал:

— Чёрт его знает, как самому охота зареветь. Глядишь, больше здоровья прибавится. Зареветь, товарищи, что ли?

Заславский, яростно выругавшись, крикнул:

— Отстаньте вы от меня! Я в вашей морали не нуждаюсь, хватит мне комиссары преподавали эту мораль. Не ваше дело, как я себя веду и как мне надо себя вести. «Место в жизни», «народ в обиду не даст», — передразнил он кого-то.

— Вот ведь человек, — вздохнул Василий. — До чего же баба парня довести может? Ну и тряпка ты, однако!

Летели дни, проходили недели и месяцы. Для Курбатова было отрадой всё: и письма от Тани (она жила в Свердловске), и смешные Оленькины рисунки, и фронтовые «треугольники» от Кията, и книги, и неторопливые — благо времени было много — разговоры, бесконечные разговоры с людьми о жизни, о том, что было и что будет еще впереди.

Наступил май. Открылись окна. Деловитая возня воробьев доносилась сюда, в эту сразу повеселевшую палату. Прогремли первые весенние громы, прошли теплые дожди. В окна было видно, как просыпалась от зимней спячки природа, набухали и лопались почки на деревьях, раскрывая навстречу солнцу глянцевые ладошки листьев. Весенний воздух пьенил, сн был тем неповторимым лекарством, которое будоражило людей, срывало их по утрам с опостылевших коек к скнам, к розовому рассвету, к воробьиной возне в тополях.

Наконец в палату зашел комиссар госпиталя — старый, уже седой офицер — и объявил, что дела у всех в палате идут на поправку и не позднее июня «вашу компанию» выпишут из госпиталя. Но так как инвалидность тяжелая и всем самостоятельно до дому не добраться, то командование послало извещения семьям о том, чтобы кто-либо приехал.

Услышав это, Заславский побледнел и с какой-то особой злостью бросил комиссару: «Мерси за дурац-

кую услугу». Поначалу все оторопели, но тот, приподнявшись на руках, уже кричал:

— Я разве просил об этом? Кто вам разрешил писать моей семье? Это издевательство над личностью! Я, может, совсем не желаю, чтобы моя семья не только приезжала за мной, но и знала о моей инвалидности. Может быть, я и домой не собираюсь ехать. Это свинство!

Никакие уговоры комиссара на Заславского не действовали. Его крик был слышен в коридоре, и раненые то и дело заглядывали в палату.

Первым взорвался комиссар:

— Тихо, не забывайте. Вы еще числитесь командиром Красной Армии, и я требую, чтобы вы и вели себя как подобает командиру, а не хлюпику. Успокойтесь. Всё обдумайте. А я еще с вами поговорю.

Заславский затих, но лицо у него по-прежнему было злое и мрачное.

Как-то утром, во время завтрака, няня открыла большое окно. В палату ворвался свежий весенний воздух. Василий громко воскликнул:

— До чего же хорошо жить, чёрт возьми! Верно, комиссар? Ведь мы будем не просто жить, мы еще и сделаем кое-что. А?

Он стоял у окна, растирая себе грудь забинтованными култышками, и Курбатов любовался им, вернее, не им, а той могучей, светлой любовью к жизни, которую Василий нес в себе.

Из угла донесся в это время тоскливый, скрипучий голос. Заславский снова говорил словно бы с самим собой:

— Народ, народ! Это красивые слова. Да где он, народ-то есть? Разве нужны мы народу! Вот кончится война — и забудут о нас, и смотреть будут на нас, как на обузу. Я-то знаю. Попомните меня: после войны через год, через два и забудут об инвалидах, да еще отмахиваться будут, как от комаров. Народ, народ! Красивые слова, да звук пустой.

Василий не сдержался. Обернувшись и махнув култышкой, он сел на кровать, словно бы с удивлением глядя на Заславского:

— И что ты за тип? Почему ты чернишь всех? Кто тебе такое право дал? Ведь сам-то молокосос еще и

жизни не видел, а как ведешь себя? Эх ты, сопляк! Я вот так думаю, комиссар, что хороших людей у нас больше, чем плохих.

Курбатов кивнул:

— Есть, конечно, и плохие люди, но, безусловно, хороших больше, чем плохих. Откуда такие настроения, Сергей?

— Что, в душу хотите залезть, отец-комиссар? Мы здесь с вами на равных, а потому имею право и не отвечать.

— Эх! — крикнул Василий. — И ума-то у тебя полная сума, да только сума с дырой, ум весь и вылетел. Тяжело тебе, Серега, жить будет, если и дальше так пойдет.

В первых числах июня, после дневного сна, когда всем еще не хотелось открывать глаза, скрипнула дверь, и глаза у всех открылись сами собой. В дверях, держась за косяк, стояла, оглядывая палату, женщина. Увидев того, кого искала, она тихонько вскрикнула:

— Вася, Васенька! Сокол мой ясный!

— Даша!

Курбатов, сам взволновавшись, с какой-то затаенной и не опасной завистью смотрел на то, как Даша обнимала Василия. Она и на самом деле была красива своей простой, русской, естественной, уже чуть увядающей красотой. Толстая русая коса была венком уложена вокруг головы. Строгое, немного печальное лицо было бледно, еле заметные издалика морщинки лучиками расходились от переносья ко лбу. От взгляда, от всей нее веяло душевным теплом, как от огонька, этой маленькой человеческой драгоценности.

Потом она подходила к каждому и, протягивая руку, грудным приятным голосом говорила:

— Здравствуйте!

Когда она говорила с мужем, все старались делать вид, что не слышат их беседы, но они никого не стеснялись и продолжали говорить громко, обсуждая колхозные и семейные новости и происшествия.

— Даша! — вдруг скорбно сказал Василий. — Я ведь... Видишь — обеих рук нет, отрезали. Нужен ли я тебе такой? За мной ведь теперь, что за телкой, уход нужен, Даша.

Он еще не кончил, как Даша перебила его и, качая головой, проговорила.

— Как у тебя от этих слов язык-то не отвалится? Что выдумал дуралей. Неужто за пятнадцать лет ты меня не узнал? Да если бы у тебя насовсем рук и ног не было, я б взяла тебя, как ребенка, на руки и домой привезла. И не думай ты ни о чем таком. Ладно, что голова осталась. Вот меня сейчас колхозники в председатели выбрали, а какой я председатель. Как приедем домой, я тебе и сдам всё хозяйство, ты и управляй.

Она ещё долго сидела и смотрела в лицо Василия, и долго в палате оставались после этих слов какие-то особенные свет и тепло.

Когда Даша ушла, Курбатов повернулся к Заславскому:

— Видишь, что значит настоящая-то женщина, жена и человек?

— Рисуетя, — сквозь зубы процедил тот.

— Кто рисуется? — громко крикнул Василий. — Моя Даша рисуется? Ах ты...

Курбатов укоризненно посмотрел на него. Хотя он и не меньше Лапина осуждал Заславского, но промолчал: не надо ссор, но не надо и жалости. Пусть и так поймет, что не на одной Маргарите у него свет клином сошелся.

Все лежали тихо, каждый ушел в свои мысли и так до сна никто не сказал друг другу ни слова.

Курбатов отлично понимал, что дальше так нельзя, что хотя Заславский и выздоравливает, но тот душевный, внутренний надлом никакими инъекциями или лекарствами не лечится.

На следующий день, подозвав Василия, он кивнул ему:

— Садись. Строго секретное совещание.

Он зажег ему папиросу, и Василий, благодарно взглянув на него, курил, щуря от дыма — или удовольствия — глаза.

— Слушай-ка, председатель, — шепнул Курбатов. — У тебя в колхозе — как? Ну, хорошо или средне?

— У нас места хлебные, — словно обидевшись, покосился на него Василий, еще не понимая, куда клонится разговор.

— Ну, а дом срубить человеку сможете? Работу найти...

— Ты это о ком?

— О Заславском. Давай, сагитируем его. В конце концов, человек он — как человек, вырос только малость кривобоким.

Василий долго и счастливо глядел на Курбатова, а потом воскликнул на всю палату:

— Ну, конечно же!

Проснувшись ночью, Курбатов вдруг слышал сдавленный шепот. В комнате еле светилась синяя лампочка, и в полумраке Курбатов с трудом разглядел, что Василий сидит на постели Заславского:

— Поедем. Ей-богу поедем... Колхоз у нас хороший, народ — тоже. Поедем, Серега.

Курбатов, улыбнувшись, спокойно уснул. Наутро, заговорщицки подмигнув Василию, он предложил:

— Давай теперь вместе убеждать. Убедим — человеком сделаем.

После перевязки Заславского принесли в палату. Лицо его было бледно, в мелком бисере пота, но он не плакал, не стонал, а лежал тихо, будто успокоившись. Курбатов издали, осторожно начал разговор о предложении Василия — поехать в колхоз. Василий поддакивал и расписывал прелестные картины Приволжья. Заславский молчал долго; потом, отвернувшись, сказал:

— И до чего же вы хорошие товарищи. Если бы у нас больше таких было!

Курбатов усмехнулся:

— Таких людей у нас, Сергей, большинство, только их там мало было, где ты с женой крутился.

На другой день пришла Даша. И на этот раз все снова почувствовали ее тепло; с ней здоровались уже как с очень хорошей знакомой. Василий начал что-то шептать ей, и Курбатов, хотя и не слышал ни слова, но понял, что разговор идет о Заславском. Даша слушала, тихо плакала и вытирала глаза концами головного платка. Потом, медленно повернувшись к Заславскому, она кивнула головой, улыбаясь сквозь слезы, и тот благодарно потянулся ей навстречу.

Ночью Курбатова поднял Василий: даже в темноте он увидел, как у того трясется голова.

— Что? Что случилось?

— Сер-гей... — как-то сдавленно прошептал Лапин.

Койка Заславского была пуста. Уткнувшись в подушку Курбатова и рыдая, Лапин сбивчиво рассказал ему, что Сергей добрался на своих култышках до окна и выбросился с четвертого этажа.

— Проморгали человека, — стиснув зубы, прохрипел Курбатов. То, что еще недавно он говорил Василию о слабых людях — о тех, которые в жизни не пригодятся, — теперь ему самому казалось злым и бесчеловечным. Заславский еще мог выпрямиться... И Курбатов молчал, глядя трясущиеся плечи Лапина.

Беда никогда не приходит одна. Он не успел подавить в себе щемящую жалость, когда неожиданно ему дали письмо; почерк был незнаком. На конверте стоял номер полевой почты. Первой мыслью было — от Кията; он торопливо надорвал конверт. Буквы так и запрыгали у него перед глазами: «Командсвание извещает вас, что военврач второго ранга Клавдия Павловна Алешина смертью храбрых погибла на боевом посту». На обороте была приписка: «Погибла во время операции. Шальной снаряд попал в операционную палатку медсанбата. Письмо, адресованное вам, нашли у нее в шинели».

Значит, это был не сон, не бред! Значит, Клава действительно была здесь!

Дрожащими руками он вынул письмо, но читать не мог. Он долго лежал, закрыв рукой глаза, и через силу заставил себя прочесть всё до конца:

«Любимый Яшенька!

Это письмо ты будешь читать тогда, когда меня уже не будет в живых. Ты поймешь, что это письмо откровенное: перед смертью люди не врут. Я не успела сама рассказать тебе о себе, о своей жизни. Я хотела сказать, что я, несмотря на то, что прошло двадцать лет, всегда тебя любила, следила за каждым твоим шагом. Мне это было легко: моя подруга жила с тобой в одном городе. Через нее я знала даже твою семейную жизнь. Ты уж извини меня за это. Несколько раз у меня возникало желание вмешаться в твою жизнь, я считала, что первая любовь никогда не забывается и всегда может возникнуть с новой силой. Но я себя сдержала: я знала — ты был счастлив.

Началась война. Меня призвали в армию, и я потеряла тебя из виду. Наша встреча в госпитале была случайной. Ты был в очень тяжелом состоянии, умирал, и я считала себя обязанной вырвать тебя у смерти, вернуть тебе жизнь. Ты был безнадежен, все врачи считали тебя покойником, я всё время была с тобой, забросила все дела. Временами меня охватывало отчаяние, я боялась за тебя. Ты, Яша, был такой же беспомощный, как когда-то в больнице, подростком, избитым до полусмерти диверсантом. Но кризис прошел, жизнь вернулась к тебе. Я знала, что ты будешь жить, и втайне радовалась, что в этой твоей жизни будет и частичка моего труда. Я целовала тебя, когда никто не видел, и при этом чувствовала такое, чего не было за всю мою серенькую личную жизнь.

Когда прошел кризис и я уверилась, что ты будешь жить, во мне всё перевернулось. Я знала, что ты любишь свою жену, Таню. В бреду ты часто звал ее. Я решила подать рапорт — на фронт.

Я любила тебя всегда, всю свою жизнь. К сожалению, исправить что-либо было уже поздно. Мы в юности не очень часто задумываемся над жизнью, а ошибки, оказывается, бывают не просто тяжелыми...

Прощай, мой родной. Твоя Клава».

Курбатов повернувшись лицом вниз, долго лежал так, скомкав в руке письмо. Лапин несколько раз подходил к нему, прислушивался и отходил на цыпочках: «Спит комиссар».

Он не спал всю ночь, и когда утром открылись двери и женская фигурка встала в дверях, он не сразу разглядел, что это — Таня.

Таня тоже почему-то держалась рукой за косяк, а потом, найдя взглядом Курбатова, медленно пошла к нему, словно слепая, вытянув руки, — и Курбатов, рванувшись к ней навстречу, застонал, забился всем телом.

Нет, всё-таки только она была самым родным человеком, и все его боли, невзгоды, горе, думы, тревоги отступали перед ней назад, в далекое, не всегда радостное прошлое.

ЭПИЛОГ

Годы, годы!..

Один раз живет на земле человек, и если не было в этой жизни кривых дорог, если прошли эти годы так, чтобы другим людям жилось легче, — то похож этот человек на яркий огонек, от которого идет к людям чистое, ясное, согревающее душу тепло...

Полвека осталось позади. Курбатов поседел за эти годы, стал грузным, и только, пожалуй, в глазах осталось то самое задиристое, молодое, открытое, что нравилось в нем другим. И когда в сорок третьем году он, секретарь горкома партии в Новогорске, проводил дни и ночи напролет в танковых цехах комбината, не гас этот огонек, согревающий других.

...Он снова входит в свой кабинет в горкоме, тяжело опираясь на палку, останавливается возле окна, затянутого изморозью, и нетерпеливо глядит на часы: бюро должно начинаться ровно в семь.

Сегодня надо обсудить вопрос: что делается на предприятиях для увеличения съема продукции? Он был вчера на многих. Чёрт его знает, сколько металла идет в стружку, брак тоже велик; литейных цехов не хватает, выпуск легированной стали сократился — мало кислорода. Директора некоторых заводов только руками разводят: где мы возьмем средства, чтобы внедрить точное литье?

Члены бюро вошли все сразу, и в кабинете стало тесно. Кият, чувствуя, что сегодня опять будет крутой разговор, о чем-то перешептывался с соседом, секретарем горкома комсомола, и оба поглядывали на Курбатова. Ничего, товарищ директор комбината, лишний раз и поспорить не грех, а я тебя всё-таки заставлю поучиться у запорожстальцев.

Директор машиностроительного института Родин

уже раскладывает бумаги. Речь пойдет и об институте: почему научные сотрудники ограничиваются одними лекциями? Пусть идут в цеха, пусть думают, ищут, решают то, что не под силу рядовым инженерам.

Можно уже открывать бюро...

На этом кончилась пока биография Якова Курбатова. Он был снова в строю — рядовым могучей и непобедимой армии, имя которой — партия. Он жил. Он остался жить наперекор всему, измученный когда-то нищетой, битый английскими диверсантами, стрелянный кулачем, истерзанный немецким снарядом, — он жил, потому что любил людей, труд, радость жизни.

Он жил, человек своего могучего поколения, для того, чтобы пришли в жизнь и начали ее улучшать другие поколения, более могучие и более счастливые, благодарные тем, кто выжил, выстоял в трудные годы.

Но кончим иначе этот рассказ. Кончим это тем февральским днем 1956 года, когда поезд Новогорск — Москва остановился на десять минут на одной маленькой станции и Курбатов спустился с подножки вагона — подышать свежим воздухом. Едущие с ним делегаты XX съезда стояли рядом и шурились от яркого зимнего солнца, перешучивались, переговаривались, кто-то слепил снежок...

Была оттепель. Солнце было еще высоко, но оно уже топило на крышах поселка снег. В свежем морозном воздухе капли, падающие на перрон, звенели. И, хотя люди говорили кругом, хотя где-то далеко в поселке слышалось радио, — было тихо, и голоса людей, звуки радио только подчеркивали эту тишину.

Внезапно до Курбатова донеслась песня. Почему-то удивительно чистой показалась она ему сейчас! Дойдя до края перрона, он увидел мальчишку лет десяти, в больших подшитых валенках и шапке с задранными вверх ушами.

И будто бы что-то изменилось в мире. Курбатов даже оглянулся — что же? Но нет, это просто звенели капли, просто светило солнце и просто шел по земле человек и пел свою песню.

1953—1956 гг. Ленинград

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Петр Григорьевич Куракин родился в 1904 году в г. Вологда. Двенадцатилетним мальчиком поступил учеником слесаря на Печаткинский артиллерийский завод. В 1918 году вступил в комсомол, а в январе 1922 года был принят в члены партии. Активная работа в комсомоле на родном заводе совмещалась с участием в ЧОНе в качестве рядового бойца в продотрядах.

В 1923 году Куракин окончил Ленинградский коммунистический университет и стал секретарем Вологодского губкоммолла. В 1927 году он перешел на партийную работу.

В 1932 году Куракин приехал в Ленинград и стал инструктором Ленинградского горкома партии. Контролируя деятельность городского хозяйства, он тесно общался с С. М. Кировым, который внимательно следил за этим участком работы. В 1935 году он был назначен директором фабрики.

В начале Великой Отечественной войны Куракин в числе первых добровольцев ушел на фронт. Тяжелое ранение, в результате которого была ампутирована правая нога, вынудило его вернуться к мирному труду. Он работал заведующим одним из промышленных отделов Ленинградского горкома КПСС, в 1949 году заочно окончил Высшую партийную школу, затем в том же году стал работать директором типографии «Печатный двор».

В конце 1951 года его постигло новое несчастье: в результате паралича отнялись левая нога и рука.

Сменив «оружие», Куракин продолжает трудиться. В 1956 году вышла в свет его книга — «Производство писчебумажных изделий в полиграфической промышленности». Большой жизненный опыт, огромный запас наблюдений, активное участие во многих событиях трудных лет революционной борьбы и событиях строительства социализма помогли ему создать роман «Жизнь побеждает».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая. Раннее утро</i>	7
<i>Часть вторая. Дороги юности</i>	101
<i>Часть третья. Верность</i>	337
<i>Эпilog</i>	491
<i>Биографическая справка</i>	493

КУРАКИН

Петр Григорьевич

ЖИЗНЬ ПОВЕЖДАЕТ

Редактор *В. К. Пудожгорский*

Художник *В. И. Сердюков*

Технический редактор *С. И. Соколова*

Художественный редактор *П. Ф. Макаров*

ГЕО3231. Подписано к печати 15. 11. 58 г.

Бумага $84 \times 108\frac{1}{32} = 7,75$ б. л., 25,42 п. л., 25,8 уч.-изд. л.

Заказ 5832.

Цена 9 р. 25 к.

Тираж 15000.

Областная типография, г. Вологда, ул. К. Маркса, 70.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

ПОКУПАЙТЕ КНИГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ВОЛОГОДСКИМ КНИЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. Тираж 5000. 280 стр. Цена 5 р. 80 к.

Сборник документов о становлении и упрочении Советской власти на территории современной Вологодской области.

Н. Лебедев. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть (1917—1920 гг.). Тираж 5000. 232 стр. Цена 4 р. 25 к.

В книге рассказывается о борьбе вологодских большевиков за власть Советов, о губернской партийной организации в деле мобилизации трудящихся на отпор интервентам и белогвардейцам.

Ты помнишь, товарищ... Тираж 6000. 152 стр. Цена 3 р.

В книге опубликованы воспоминания комсомольцев-ветеранов Вологодской организации, вожakov и руководителей первых комсомольских ячеек.

О друзьях-товарищах. Тираж 4000. 72 стр. Цена 1 р.

Сборник очерков о комсомольцах-вологжанках, самоотверженно работающих на различных участках народного хозяйства.

П. Петухов. По следам юности. Тираж 3000. 56 стр. Цена 70 к.

Автор рассказывает о становлении и первых шагах в работе Тотемской комсомольской организации.

Люди больших дел. Тираж 8000. 200 стр. Цена 5 р.

Сборник очерков о передовых людях Вологодской области.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В. Гиляровский. Мои скитания. Повесть бродяж-
ной жизни. Тираж 75000. 256 стр. Цена 5 р. 10 к:

К. Коничев. Деревенская повесть. Тираж 15000. 504 стр.
Цена 9 р. 60 к.

С. Викулов. Полюшко-поле. С т и х и. Тираж 4000. 136 стр.
Цена 2 р. 50 к.

В сборник входят поэмы «В метель», «Трудное счастье»,
стихи разных лет и новые произведения поэта.

А. Субботин. Рассказы. Тираж 15000. 256 стр. Цена 5 р.
В сборнике публикуются избранные произведения.

А. Яшин. Северное сказание. Тираж 30000. 32 стр.
Цена 1 р.

В сборнике, иллюстрированном художником С. В. Кулако-
вым, опубликованы стихи для детей школьного возраста.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Природа Вологодской области. Тираж 6000. 328 стр.
Цена 9 р.

Сборник статей о природных условиях, географическом по-
ложении, растительном и животном мире Вологодской области.

В. Минеев, В. Малков. Вологодская область (экономико-
географическая характеристика). Тираж 6000. 320 стр.
Цена 6 р.

В книге рассказывается об истории, экономике, культуре и
экономико-географических районах Вологодской области.

Книги продаются во всех книжных магазинах Книготорга
и потребительской кооперации, а также высылаются по почте
наложенным платежом.

Заказы следует направлять по адресу: Вологда, ул. Стали-
на, 14. Отдел «Книга-почтой».

9 p. 26 K.